А. И.
КУПРИН

3

А. Куприн

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

ТОМ ТРЕТИЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1902—1905

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Подготовка текста и примечания
А. Тамарченко

Оформление художника
Н. Шишловского

В ЦИРКЕ

I

Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врачом при цирке, велел Арбузову раздеться. Несмотря на свой горб, а может быть именно вследствие этого недостатка, доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную для человека его возраста любовь. Правда, к его медицинской помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире лечат ушибы, выводят из обморочного состояния и вправляют вывихи своими собственными средствами, передающимися неизменно из поколения в поколение, вероятно со времен олимпийских игр. Это, однако, не мешало ему не пропускать ни одного вечернего представления, знать близко всех выдающихся наездников, акробатов и жонглеров и щеголять в разговорах словечками, выхваченными из лексикона цирковой арены и конюшни.

Но из всех людей, причастных цирку, атлеты и профессиональные борцы вызывали у доктора Луховицына особенное восхищение, достигавшее размеров настоящей страсти. Поэтому, когда Арбузов, освободившись от крахмаленной сорочки и сняв вязаную фуфайку, которую обязательно носят все цирковые, остался голым до пояса, маленький доктор от удовольствия даже потер ладонь о ладонь, обходя атлета со

всех сторон и любуясь его огромным, выхоленным, блестящим, бледно-розовым телом с резко выступающими буграми твердых, как дерево, мускулов.

— И черт же вас возьми, какая силища! — говорил он, тиская изо всех сил своими тонкими, цепкими пальцами попеременно то одно, то другое плечо Арбузова. — Это уж что-то даже нечеловеческое, а лошадиное, ей-богу. На вашем теле хоть сейчас лекцию по анатомии читай — и атласа никакого не нужно. Ну-ка, дружок, согните-ка руку в локте.

Атлет вздохнул и, сонно покосившись на свою левую руку, согнул ее, отчего выше сгиба под тонкой кожей, надувая и растягивая ее, вырос и прокатился к плечу большой и упругий шар, величиной с детскую голову. В то же время все обнаженное тело Арбузова от прикосновения холодных пальцев доктора вдруг покрылось мелкими и жесткими пупырышками.

— Да, батенька, уж подлинно наделил вас господь, — продолжал восторгаться доктор. — Видите эти вот шары? Они у нас в анатомии называются бицепсами, то есть двухглавыми. А это — так называемые супинаторы и пронаторы. Поверните кулак, как будто вы отворяете ключом замок. Так, так, прекрасно. Видите, как они ходят? А это — слышите, я нащупываю на плече? Это — дельтовидные мышцы. Они у вас точно полковничьи эполеты. Ах, и сильный же вы человечина! Что, если вы кого-нибудь этак... нечаянно? А? Или если с вами этак... в темном месте встретиться? А? Я думаю, не приведи бог! Хе-хе-хе! Ну-с, итак, значит, мы жалуемся на плохой сон и на легкую общую слабость?

Атлет все время улыбался застенчиво и снисходительно. Хотя он уже давно привык показываться полуобнаженным перед одетыми людьми, но в присутствии тщедушного доктора ему было неловко, почти стыдно, за свое большое, мускулистое, сильное тело.

— Боюсь, доктор, не простудился ли, — сказал он тонким, слабым и немного сиплым голосом, совсем не идущим к его массивной фигуре. — Главное дело — уборные у нас безобразные, везде дует. Во время номера, сами знаете, вспотеешь, а переодеваться приходится на сквозняке. Так и прохватывает.

— Голова не болит? Не кашляете ли?

— Нет, кашлять не кашляю, а голова, — Арбузов потер ладонью низко остриженный затылок, — голова, правда, что-то не в порядке. Не болит, а так... будто тяжесть какая-то... И вот еще сплю плохо. Особенно сначала. Знаете, засыпаю-засыпаю, и вдруг меня точно что-то подбросит на кровати; точно, понимаете, я чего-то испугался. Даже сердце заколотится от испуга. И этак раза три-четыре: все просыпаюсь. А утром голова и вообще... кисло как-то себя чувствую.

— Кровь носом не идет ли?

— Бывает иногда, доктор.

— Мн-да-с. Так-с... — значительно протянул Луховицын и, подняв брови, тотчас же опустил их. — Должно быть, много упражняетесь в последнее время? Устаете?

— Много, доктор. Ведь масленица теперь, так каждый день приходится с тяжестями работать. А иногда, с утренними представлениями, и по два раза в день. Да еще через день, кроме обыкновенного номера, приходится бороться... Конечно, устанешь немного...

— Так, так, так, — втягивая в себя воздух и тряся головой, поддакивал доктор. — А вот мы вас сейчас послушаем. Раздвиньте руки в стороны. Прекрасно. Дышите теперь. Спокойно, спокойно. Дышите... глубже... ровней...

Маленький доктор, едва доставая до груди Арбузова, приложил к ней стетоскоп и стал выслушивать. Испуганно глядя доктору в затылок, Арбузов шумно вдыхал воздух и выпускал его изо рта, сделав губы трубочкой, чтобы не дышать на ровный глянцевитый пробор докторских волос.

Выслушав и выстукав пациента, доктор присел на угол письменного стола, положив ногу на ногу и обхватив руками острые колени. Его птичье, выдавшееся вперед лицо, широкое в скулах и острое к подбородку, стало серьезным, почти строгим. Подумав с минуту, он заговорил, глядя мимо плеча Арбузова на шкаф с книгами:

— Опасного, дружочек, я у вас ничего не нахожу, хотя эти перебои сердца и кровотечение из носа можно,

пожалуй, считать деликатными предостережениями с того света. Видите ли, у вас есть некоторая склонность к гипертрофии сердца. Гипертрофия сердца — это, как бы вам сказать, это такая болезнь, которой подвержены все люди, занимающиеся усиленной мускульной работой: кузнецы, матросы, гимнасты и так далее. Стенки сердца у них от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем «cor bovinum», то есть бычачье сердце. Такое сердце в один прекрасный день отказывается работать, с ним делается паралич, и тогда — баста, представление окончено. Вы не беспокойтесь, вам до этого неприятного момента очень далеко, но на всякий случай посоветую: не пить кофе, крепкого чаю, спиртных напитков и прочих возбуждающих вещей. Понимаете? — спросил Луховицын, слегка барабаня пальцами по столу и исподлобья взглядывая на Арбузова.

— Понимаю, доктор.

— И в остальном рекомендуется такое же воздержание. Вы, конечно, понимаете, про что я говорю?

Атлет, который в это время застегивал запонки у рубашки, покраснел и смущенно улыбнулся.

— Понимаю... но ведь вы знаете, доктор, что в нашей профессии и без того приходится быть умеренным. Да, по правде, и думать-то об этом некогда.

— И прекрасно, дружочек. Затем отдохните денек-другой, а то и больше, если можете. Вы сегодня, кажется, с Ребером боретесь? Постарайтесь отложить борьбу на другой раз. Нельзя? Ну, скажите, что нездоровится, и все тут. А я вам прямо запрещаю, слышите? Покажите-ка язык. Ну вот, и язык скверный. Ведь слабо себя чувствуете, дружочек? Э! Да говорите прямо. Я вас все равно никому не выдам, так какого же черта вы мнетесь! Попы и доктора за то и деньги берут, чтобы хранить чужие секреты. Ведь совсем плохо? Да?

Арбузов признался, что и в самом деле чувствует себя нехорошо. Временами находит слабость и точно лень какая-то, аппетита нет, по вечерам знобит. Вот если бы доктор прописал каких-нибудь капель?

— Нет, дружочек, как хотите, а бороться вам нельзя, — решительно сказал доктор, соскакивая со стола. —

Я в этом деле, как вам известно, не новичок, и всем борцам, которых мне приходилось знать, я всегда говорил одно: перед состязанием соблюдайте четыре правила: первое — накануне нужно хорошо выспаться, второе — днем вкусно и питательно пообедать, но при этом — третье — выступать на борьбу с пустым желудком, и наконец четвертое — это уже психология — ни на минуту не терять уверенности в победе. Спрашивается, как же вы будете состязаться, если вы с утра обретаетесь в такой мехлюзии? Вы извините меня за нескромный вопрос... я ведь человек свой... у вас борьба не того?.. Не фиктивная? То есть заранее не условлено, кто кого и в какое состязание положит?

— О нет, доктор, что вы... Мы с Ребером уже давно гонялись по всей Европе друг за другом. Даже и залог настоящий, а не для приманки. И он и я внесли по сто рублей в третьи руки.

— Все-таки я не вижу резона, почему нельзя отложить состязание на будущее время.

— Наоборот, доктор, очень важные резоны. Да вы посудите сами. У нас борьба состоит из трех состязаний. Положим, первое взял Ребер, второе — я, третье, значит, остается решающим. Но уж мы настолько хорошо узнали друг друга, что можно безошибочно сказать, за кем будет третья борьба, и тогда — если я не уверен в своих силах — что мне мешает заболеть или захромать и так далее и взять свои деньги обратно? Тогда выходит, для чего же Ребер боролся первые два раза? Для своего удовольствия? Вот на этот случай, доктор, мы и заключаем между собой условие, по которому тот, кто в день решительной борьбы окажется больным, считается все равно проигравшим, и деньги его пропадают.

— Да-с, это дело скверное, — сказал доктор и опять значительно поднял и опустил брови. — Ну, что же, дружочек, черт с ними, с этими ста рублями?

— С двумястами, доктор, — поправил Арбузов, — по контракту с дирекцией я плачу неустойку в сто рублей, если откажусь в самый день представления, хотя бы по болезни, от работы.

— Ну, черт... ну, двести! — рассердился доктор. — Я бы на вашем месте все равно отказался... Черт с

ними, пускай пропадают, свое здоровье дороже. Да наконец, дружочек, вы и так рискуете потерять ваш залог, если будете больной бороться с таким опасным противником, как этот американец.

Арбузов самоуверенно мотнул головой, и его крупные губы сложились в презрительную усмешку.

— Э, пустяки, — уронил он пренебрежительно, — в Ребере всего шесть пудов весу, и он едва достает мне под подбородок. Увидите, что я его через три минуты положу на обе лопатки. Я бы его бросил и во второй борьбе, если бы он не прижал меня к барьеру. Собственно говоря, со стороны жюри было свинством засчитать такую подлую борьбу. Даже публика, и та протестовала.

Доктор улыбнулся чуть заметной лукавой улыбкой. Постоянно сталкиваясь с цирковой жизнью, он уже давно изучил эту непоколебимую и хвастливую самоуверенность всех профессиональных борцов, атлетов и боксеров и их наклонность сваливать свое поражение на какие-нибудь случайные причины. Отпуская Арбузова, он прописал ему бром, который велел принять за час до состязания, и, дружески похлопав атлета по широкой спине, пожелал ему победы.

II

Арбузов вышел на улицу. Был последний день масленой недели, которая в этом году пришлась поздно. Холода еще не сдали, но в воздухе уже слышался неопределенный, тонкий, радостно щекочущий грудь запах весны. По наезженному грязному снегу бесшумно неслись в противоположных направлениях две вереницы саней и карет, и окрики кучеров раздавались с особенно ясной и мягкой звучностью. На перекрестках продавали моченые яблоки в белых новых ушатах, халву, похожую цветом на уличный снег, и воздушные шары. Эти шары были видны издалека. Разноцветными блестящими гроздьями они подымались и плавали над головами прохожих, запрудивших черным кипящим потоком тротуары, и в их движениях — то стремительных, то ленивых — было что-то весеннее и детски радостное.

У доктора Арбузов чувствовал себя почти здоровым, но на свежем воздухе им опять овладели томительные ощущения болезни. Голова казалась большой, отяжелевшей и точно пустой, и каждый шаг отзывался в ней неприятным гулом. В пересохшем рту опять слышался вкус гари, в глазах была тупая боль, как будто кто-то надавливал на них снаружи пальцами, а когда Арбузов переводил глаза с предмета на предмет, то вместе с этим по снегу, по домам и по небу двигались два большие желтые пятна.

У перекрестка на круглом столбе Арбузову кинулась в глаза его собственная фамилия, напечатанная крупными буквами. Машинально он подошел к столбу. Среди пестрых афиш, объявлявших о праздничных развлечениях, под обычной красной цирковой афишей был приклеен отдельный зеленый аншлаг, и Арбузов равнодушно, точно во сне, прочитал его с начала до конца:

ЦИРК БР. ДЮВЕРНУА.
СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ 3-я РЕШИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА
ПО РИМСКО-ФРАНЦУЗСКИМ ПРАВИЛАМ
МЕЖДУ ИЗВЕСТНЫМ АМЕРИКАНСКИМ ЧЕМПИОНОМ
Г. ДЖОНОМ РЕБЕРОМ
И ЗНАМЕНИТЫМ РУССКИМ БОРЦОМ И ГЕРКУЛЕСОМ
Г. АРБУЗОВЫМ
НА ПРИЗ В 100 руб. ПОДРОБНОСТИ В АФИШАХ.

У столба остановились двое мастеровых, судя по запачканным копотью лицам, слесарей, и один из них стал читать объявление о борьбе вслух, коверкая слова. Арбузов услышал свою фамилию, и она прозвучала для него бледным, оборванным, чуждым, потерявшим всякий смысл звуком, как это бывает иногда, если долго повторяешь подряд одно и то же слово. Мастеровые узнали атлета. Один из них толкнул товарища локтем и почтительно посторонился. Арбузов сердито отвернулся и, засунув руки в карманы пальто, пошел дальше.

В цирке уже отошло дневное представление. Так как свет проникал на арену только через стеклянное, заваленное снегом окно в куполе, то в полумраке цирк казался огромным, пустым и холодным сараем.

Войдя с улицы, Арбузов с трудом различал стулья первого ряда, бархат на барьерах и на канатах, отделяющих проходы, позолоту на боках лож и белые столбы с прибитыми к ним щитами, изображающими лошадиные морды, клоунские маски и какие-то вензеля. Амфитеатр и галерея тонули в темноте. Вверху, под куполом, подтянутые на блоках, холодно поблескивали сталью и никелем гимнастические машины: лестницы, кольца, турники и трапеции.

На арене, припав к полу, барахтались два человека. Арбузов долго всматривался в них, щуря глаза, пока не узнал своего противника, американского борца, который, как и всегда по утрам, тренировался в борьбе с одним из своих помощников, тоже американцем, Гарваном. На жаргоне профессиональных атлетов таких помощников называют «волками» или «собачками». Разъезжая по всем странам и городам вместе с знаменитым борцом, они помогают ему в ежедневной тренировке, заботятся об его гардеробе, если ему не сопутствует в поездке жена, растирают после обычной утренней ванны и холодного душа жесткими рукавицами его мускулы и вообще оказывают ему множество мелких услуг, относящихся непосредственно к его профессии. Так как в «волки» идут или молодые, не уверенные в себе атлеты, еще не овладевшие разными секретами и не выработавшие приемов, или старые, но посредственные борцы, то они редко одерживают победы в состязаниях на призы. Но перед матчем с серьезным борцом профессор непременно сначала выпустит на него своих «собачек», чтобы, следя за борьбой, уловить слабые стороны и привычные промахи своего будущего противника и оценить его преимущества, которых следует остерегаться. Ребер уже спускал на Арбузова одного из своих помощников — англичанина Симпсона, второстепенного борца, сырого и неповоротливого, но известного среди атлетов чудовищной силой грифа, то есть кистей и пальцев рук. Борьба велась без приза, по просьбе дирекции, и Арбузов два раза бросал англичанина, почти шутя, редкими и эффектными трюками, которые он не рискнул бы употребить в состязании с мало-мальски опасным борцом. Ребер уже тогда

отметил про себя главные недостатки и преимущества Арбузова: тяжелый вес и большой рост при страшной мускульной силе рук и ног, смелость и решительность в приемах, а также пластическую красоту движений, всегда подкупающую симпатии публики, но в то же время сравнительно слабые кисти рук и шею, короткое дыхание и чрезмерную горячность. И он тогда же решил, что с таким противником надо держаться системы обороны, обессиливая и разгорячая его до тех пор, пока он не выдохнется; избегать охватов спереди и сзади, от которых трудно будет защищаться, и главное — суметь выдержать первые натиски, в которых этот русский дикарь проявляет действительно чудовищную силу и энергию. Такой системы Ребер и держался в первых двух состязаниях, из которых одно осталось за Арбузовым, а другое за ним.

Привыкнув к полусвету, Арбузов явственно различил обоих атлетов. Они были в серых фуфайках, оставлявших руки голыми, в широких кожаных поясах и в панталонах, прихваченных у щиколоток ремнями. Ребер находился в одном из самых трудных и важных для борьбы положений, которое называется «мостом». Лежа на земле лицом вверх и касаясь ее затылком с одной стороны, а пятками — с другой, круто выгнув спину и поддерживая равновесие руками, которые глубоко ушли в тырсу[1], он изображал таким образом из своего тела живую упругую арку, между тем как Гарван, навалившись сверху на выпяченный живот и грудь профессора, напрягал все силы, чтобы выпрямить эту выгнувшуюся массу мускулов, опрокинуть ее, прижать к земле.

Каждый раз, когда Гарван делал новый толчок, оба борца с напряжением кряхтели и с усилием, огромными вздохами, переводили дыхание. Большие, тяжелые, со страшными, выпучившимися мускулами голых рук и точно застывшие на полу арены в причудливых позах, они напоминали при неверном полусвете, разлитом в

---

[1] Смесь песка и деревянных опилков, которой посыпается арена цирка. *(Прим. автора.)*

пустом цирке, двух чудовищных крабов, оплетших друг друга клешнями.

Так как между атлетами существует своеобразная этика, в силу которой считается предосудительным глядеть на упражнения своего противника, то Арбузов, огибая барьер и делая вид, что не замечает борцов, прошел к выходу, ведущему в уборные. В то время когда он отодвигал массивную красную занавесь, отделяющую манеж от коридоров, кто-то отодвинул ее с другой стороны, и Арбузов увидел перед собой, под блестящим сдвинутым набок цилиндром, черные усы и смеющиеся черные глаза своего большого приятеля, акробата Антонио Батисто.

— Buon giorno, mon cher monsieur Arbousoffff! [1] — воскликнул нараспев акробат, сверкая белыми, прекрасными зубами и широко разводя руки, точно желая обнять Арбузова. — Я только чичас окончил мой répétition [2]. Allons donc prendre quelque chose. Пойдем что-нибудь себе немножко взять? Один рюмок коньяк? О-о, только не сломай мне руку. Пойдем на буфет.

Этого акробата любили в цирке все, начиная с директора и кончая конюхами. Артист он был исключительный и всесторонний: одинаково хорошо жонглировал, работал на трапеции и на турнике, подготовлял лошадей высшей школы, ставил пантомимы и, главное, был неистощим в изобретении новых «номеров», что особенно ценится в цирковом мире, где искусство, по самым своим свойствам, почти не двигается вперед, оставаясь и теперь чуть ли не в таком же виде, в каком оно было при римских цезарях.

Все в нем нравилось Арбузову: веселый характер, щедрость, утонченная деликатность, выдающаяся даже в среде цирковых артистов, которые вне манежа — допускающего по традиции некоторую жестокость в обращении — отличаются обыкновенно джентльменской вежливостью. Несмотря на свою молодость, он успел объехать все большие города Европы и во всех труппах считался наиболее желательным и популярным товари-

---

[1] Добрый день, мой дорогой господин Арбузов! *(итал., франц.)*
[2] Репетицию *(франц.)*.

шем. Он владел одинаково плохо всеми европейскими языками и в разговоре постоянно перемешивал их, коверкая слова, может быть, несколько умышленно, потому что в каждом акробате всегда сидит немного клоуна.

— Не знаете ли, где директор? — спросил Арбузов.

— Il est à l'écurie. Он ходил на конюшен, смотрел один больной лошадь. Mais allons donc. Пойдем немножка. Я очень имею рад вас видеть. Мой голюбушка? — вдруг вопросительно сказал Антонио, смеясь сам над своим произношением и продевая руку под локоть Арбузова. — Карашо, будьте здоровы, самовар, извочи́к, — скороговоркой добавил он, видя, что атлет улыбнулся.

У буфета они выпили по рюмке коньяку и пожевали кусочки лимона, обмокнутого в сахар. Арбузов почувствовал, что после вина у него в животе стало сначала холодно, а потом тепло и приятно. Но тотчас же у него закружилась голова, а по всему телу разлилась какая-то сонная слабость.

— Oh, sans doute [1], вы будет иметь une victoire, одна победа, — говорил Антонио, быстро вертя между пальцев левой руки палку и блестя из-под черных усов белыми, ровными, крупными зубами. — Вы такой brave homme [2], такой прекрасный и сильный борец. Я знал один замечательный борец — он назывался Карл Абс... да, Карл Абс. И он теперь уже ist gestorben... он есть умер. О, хотя он был немец, но он был великий профессор! И он однажды сказал: французский борьба есть одна пустячок. И хороший борец, ein guter Kämpfer, должен иметь очень, очень мало: всего только сильный шея, как у один буйвол, весьма крепкий спина, как у носильщик, длинная рука с твердым мускул und ein gewaltiger Griff... Как это называется по-русску? (Антонио несколько раз сжал и разжал перед своим лицом пальцы правой руки.) О! Очень сильный пальцы. Et puis [3] тоже необходимо иметь устойчивый нога, как у

---

[1] О, без сомнения *(франц.)*.
[2] Смелый человек *(франц.)*.
[3] И затем *(франц.)*.

один монумент, и, конечно, самый большой... как это?.. самый большой тяжесть в корпус. Если еще взять здоровый сердца, les poumons... как это по-русску?.. легкие, точно у лошадь, потом еще немножко кладнокровие и немножко смелость, и еще немножко savoir les règles de la lutte, знать все правила борьба, то консе консов вот и все пустячки, которые нужен для один хороший борец! Ха-ха-ха!

Засмеявшись своей шутке, Антонио нежно схватил Арбузова поверх пальто, под мышками, точно хотел его пощекотать, и тотчас же лицо его сделалось серьезным. В этом красивом, загорелом и подвижном лице была одна удивительная особенность: переставая смеяться, оно принимало суровый и сумрачный, почти трагический характер, и эта смена выражений наступала так быстро и так неожиданно, что казалось, будто у Антонио два лица — одно смеющееся, другое серьезное, и что он непонятным образом заменяет одно другим, по своему желанию.

— Конечно, Ребер есть опасный соперник... У них в Америке борются comme les bouchers, как мьясники. Я видел борьба в Чикаго и в Нью-Йорке... Пфуй, какая гадость!

Со своими быстрыми итальянскими жестами, поясняющими речь, Антонио стал подробно и занимательно рассказывать об американских борцах. У них считаются дозволенными все те жестокие и опасные трюки, которые безусловно запрещено употреблять на европейских аренах. Там борцы давят друг друга за горло, зажимают противнику рот и нос, охватывая его голову страшным приемом, называемым железным ошейником — collier de fer, лишают его сознания искусным нажатием на сонные артерии. Там передаются от учителей к ученикам, составляя непроницаемую профессиональную тайну, ужасные секретные приемы, действие которых не всегда бывает ясно даже для врачей. Обладая знанием таких приемов, можно, например, легким и как будто нечаянным ударом по triceps'у [1] вызвать минутный паралич в руке у противника или не за-

[1] Трицепс, трехглавая мышца плеча *(лат.)*.

метным ни для кого движением причинить ему такую нестерпимую боль, которая заставит его забыть о всякой осторожности. Тот же Ребер привлекался недавно к суду за то, что в Лодзи, во время состязания с известным польским атлетом Владиславским, он, захватив его руку через свое плечо приемом tour de bras, стал ее выгибать, несмотря на протесты публики и самого Владиславского, в сторону, противоположную естественному сгибу, и выгибал до тех пор, пока не разорвал ему сухожилий, связывающих плечо с предплечьем. У американцев нет никакого артистического самолюбия, и они борются, имея в виду только один денежный приз. Заветная цель американского атлета — скопить свои пятьдесят тысяч долларов, тотчас же после этого разжиреть, опуститься и открыть где-нибудь в Сан-Франциско кабачок, в котором потихоньку от полиции процветают травля крыс и самые жестокие виды американского бокса.

Все это, не исключая лодзинского скандала, было давно известно Арбузову, и его больше занимало не то, что рассказывал Антонио, а свои собственные, странные и болезненные ощущения, к которым он с удивлением прислушивался. Иногда ему казалось, что лицо Антонио придвигается совсем вплотную к его лицу и каждое слово звучит так громко и резко, что даже отдается смутным гулом в его голове, но минуту спустя Антонио начинал отодвигаться, уходил все дальше и дальше, пока его лицо не становилось мутным и до смешного маленьким, и тогда его голос раздавался тихо и сдавленно, как будто бы он говорил с Арбузовым по телефону или через несколько комнат. И всего удивительнее было то, что перемена этих впечатлений зависела от самого Арбузова и происходила от того, поддавался ли он приятной, ленивой и дремотной истоме, овладевавшей им, или стряхивал ее с себя усилием воли.

— О, я не сомневаюсь, что вы будете его бросать, mon cher Arbousoff, мой дюшенька, мой голюпшик, — говорил Антонио, смеясь и коверкая русские ласкательные имена. — Ребер c'est un animal, un accapareur [1]. Он

---

[1] Это скотина, спекулянт *(франц.)*.

есть ремесленник, как бывает один водовоз, один сапожник, один... un tailleur [1], который шить панталон. Он не имеет себе вот тут... dans le coeur... [2] ничего, никакой чувство и никакой tempérament [3]. Он есть один большой грубый мьясник, а вы есть настоящий артист. Вы есть кудожник, и я всегда имею удовольствие на вас смотреть.

В буфет быстро вошел директор, маленький, толстый и тонконогий человек, с поднятыми вверх плечами, без шеи, в цилиндре и распахнутой шубе, очень похожий своим круглым бульдожьим лицом, толстыми усами и жестким выражением бровей и глаз на портрет Бисмарка. Антонио и Арбузов слегка притронулись к шляпам. Директор ответил тем же и тотчас же, точно он долго воздерживался и ждал только случая, принялся ругать рассердившего его конюха.

— Мужик, русская каналья... напоил потную лошадь, черт его побирай!.. Я буду ходить на мировой судья, и он будет мне присудить триста рублей штраф с этого мерзавца. Я... черт его побирай!.. Я пойду и буду ему разбивать морду, я его буду стегать с моим Reitpeitsch! [4]

Точно ухватившись за эту мысль, он быстро повернулся и, семеня тонкими, слабыми ногами, побежал в конюшню. Арбузов нагнал его у дверей.

— Господин директор...

Директор круто остановился и с тем же недовольным лицом выжидательно засунул руки в карманы шубы.

Арбузов стал просить его отложить сегодняшнюю борьбу на день или на два. Если директору угодно, он, Арбузов, даст за это вне заключенных условий два или даже три вечерних упражнений с гирями. Вместе с тем не возьмет ли на себя господин директор труд переговорить с Ребером относительно перемены дня состязания.

Директор слушал атлета, повернувшись к нему в

---

[1] Портной *(франц.)*.
[2] В сердце *(франц.)*.
[3] Темперамент *(франц.)*.
[4] Кнутом *(нем.)*.

пол-оборота и глядя мимо его головы в окно. Убедившись, что Арбузов кончил, он перевел на него свои жесткие глаза, с нависшими под ними землистыми мешками, и отрезал коротко и внушительно:

— Сто рублей неустойки.

— Господин директор...

— Я, черт побирай, сам знаю, что я есть господин директор, — перебил он закипая. — Устраивайтесь с Ребером сами, это не мое дело. Мое дело — контракт, ваше дело — неустойка.

Он резко повернулся спиной к Арбузову и пошел, часто перебирая приседающими ногами, к дверям, но перед ними вдруг остановился, обернулся и внезапно, затрясшись от злости, с прыгающими дряблыми щеками, с побагровевшим лицом, раздувшейся шеей и выкатившимися глазами, закричал задыхаясь:

— Черт побирай! У меня подыхает Фатиница, первая лошадь парфорсной езды!.. Русский конюх, сволочь, свинья, русская обезьяна, опоил самую лучшую лошадь, а вы позволяете просить разные глупости. Черт побирай! Сегодня последний день этой идиотской русской масленицы, и у меня не хватает даже приставной стулья, и публикум будет мне делать ein grosser Scandal[1], если я отменю борьбу. Черт побирай! У меня потребуют назад деньги и разломать мой цирк на маленькие кусочки! Schwamm drüber![2] Я не хочу слушать глупости, я ничего не слышал и ничего не знаю!

И он выскочил из буфета, захлопнув за собой тяжелую дверь с такой силой, что рюмки на стойке отозвались тонким, дребезжащим звоном.

III

Простившись с Антонио, Арбузов пошел домой. Надо было до борьбы пообедать и постараться выспаться, чтобы хоть немного освежить голову. Но опять, выйдя на улицу, он почувствовал себя больным. Улич-

---

[1] Большой скандал *(нем.)*.
[2] Пропади он пропадом! *(нем.)*

ный шум и суета происходили где-то далеко-далеко от него и казались ему такими посторонними, ненастоящими, точно он рассматривал пеструю движущуюся картину. Переходя через улицы, он испытывал острую боязнь, что на него налетят сзади лошади и собьют с ног.

Он жил недалеко от цирка в меблированных комнатах. Еще на лестнице он услышал запах, который всегда стоял в коридорах, — запах кухни, керосинового чада и мышей. Пробираясь ощупью темным коридором в свой номер, Арбузов все ждал, что он вот-вот наткнется впотьмах на какое-нибудь препятствие, и к этому чувству напряженного ожидания невольно и мучительно примешивалось чувство тоски, потерянности, страха и сознания своего одиночества.

Есть ему не хотелось, но когда снизу, из столовой «Эврика», принесли обед, он принудил себя съесть несколько ложек красного борща, отдававшего грязной кухонной тряпкой, и половину бледной волокнистой котлеты с морковным соусом. После обеда ему захотелось пить. Он послал мальчишку за квасом и лег на кровать.

И тотчас же ему показалось, что кровать тихо заколыхалась и поплыла под ним, точно лодка, а стены и потолок медленно поползли в противоположную сторону. Но в этом ощущении не было ничего страшного или неприятного; наоборот, вместе с ним в тело вступала все сильнее усталая, ленивая, теплая истома. Закоптелый потолок, изборожденный, точно жилами, тонкими извилистыми трещинами, то уходил далеко вверх, то надвигался совсем близко, и в его колебаниях была расслабляющая дремотная плавность.

Где-то за стеной гремели чашками, по коридору беспрерывно сновали торопливые, заглушаемые половиком шаги, в окно широко и неясно несся уличный гул. Все эти звуки долго цеплялись, перегоняли друг друга, спутывались и вдруг, слившись на несколько мгновений, выстраивались в чудесную мелодию, такую полную, неожиданную и красивую, что от нее становилось щекотно в груди и хотелось смеяться.

Приподнявшись на кровати, чтобы напиться, атлет оглядел свою комнату. В густом лиловом сумраке зим-

него вечера вся мебель представилась ему совсем не такой, какой он ее привык до сих пор видеть: на ней лежало странное, загадочное, живое выражение. И низенький, приземистый, серьезный комод, и высокий узкий шкаф, с его деловитой, но черствой и насмешливой наружностью, и добродушный круглый стол, и нарядное, кокетливое зеркало — все они сквозь ленивую и томную дремоту зорко, выжидательно и угрожающе стерегли Арбузова.

«Значит, у меня лихорадка», — подумал Арбузов и повторил вслух: — У меня лихорадка, — и его голос отозвался в его ушах откуда-то издалека слабым, пустым и равнодушным звуком.

Под колыхание кровати, с приятной сонной резью в глазах, Арбузов забылся в прерывистом, тревожном, лихорадочном бреде. Но в бреду, как и наяву, он испытывал такую же чередующуюся смену впечатлений. То ему казалось, что он ворочает со страшными усилиями и громоздит одна на другую гранитные глыбы с отполированными боками, гладкими и твердыми на ощупь, но в то же время мягко, как вата, поддающимися под его руками. Потом эти глыбы рушились и катились вниз, а вместо них оставалось что-то ровное, зыбкое, зловеще спокойное; имени ему не было, но оно одинаково походило и на гладкую поверхность озера и на тонкую проволоку, которая, бесконечно вытягиваясь, жужжит однообразно, утомительно и сонно. Но исчезала проволока, и опять Арбузов воздвигал громадные глыбы, и опять они рушились с громом, и опять оставалась во всем мире одна только зловещая тоскливая проволока. В то же время Арбузов не переставал видеть потолок с трещинами и слышать странно переплетающиеся звуки, но все это принадлежало к чужому, стерегущему, враждебному миру, жалкому и неинтересному по сравнению с теми грезами, в которых он жил.

Было уже совсем темно, когда Арбузов вдруг вскочил и сел на кровати, охваченный чувством дикого ужаса и нестерпимо физической тоски, которая начиналась от сердца, переставшего биться, наполняла всю грудь, подымалась до горла и сжимала его. Легким не хватало воздуху, что-то изнутри мешало ему войти.

Арбузов судорожно раскрывал рот, стараясь вздохнуть, но не умел, не мог этого сделать и задыхался. Эти страшные ощущения продолжались всего три-четыре секунды, но атлету казалось, что припадок начался много лет тому назад и что он успел состариться за это время. «Смерть идет!» — мелькнуло у него в голове, но в тот же момент чья-то невидимая рука тронула остановившееся сердце, как трогают остановившийся маятник, и оно, сделав бешеный толчок, готовый разбить грудь, забилось пугливо, жадно и бестолково. Вместе с тем жаркие волны крови бросились Арбузову в лицо, в руки и в ноги и покрыли все его тело испариной.

В отворенную дверь просунулась большая стриженая голова с тонкими, оттопыренными, как крылья у летучей мыши, ушами. Это пришел Гришутка, мальчишка, помощник коридорного, справиться о чае. Из-за его спины весело и ободряюще скользнул в номер свет от лампы, зажженной в коридоре.

— Прикажете самоварчик, Никит Ионыч?

Арбузов хорошо слышал эти слова, и они ясно отпечатлелись в его памяти, но он никак не мог заставить себя понять, что они значат. Мысль его в это время усиленно работала, стараясь уловить какое-то необыкновенное, редкое и очень важное слово, которое он слышал во сне перед тем, как вскочить в припадке.

— Никит Ионыч, подавать, что ли, самовар-то? Седьмой час.

— Постой, Гришутка, постой, сейчас, — отозвался Арбузов, по-прежнему слыша и не понимая мальчишки, и вдруг поймал забытое слово: «бумеранг». Бумеранг — это такая изогнутая, смешная деревяшка, которую в цирке на Монмартре бросали какие-то черные дикари, маленькие, голые, ловкие и мускулистые человечки. И тотчас же, точно освободившись от пут, внимание Арбузова перенеслось на слова мальчишки, все еще звучавшие в памяти.

— Седьмой час, ты говоришь? Ну, так неси скорее самовар, Гриша.

Мальчик ушел. Арбузов долго сидел на кровати, спустив на пол ноги, и прислушивался, глядя в темные

углы, к своему сердцу, все еще бившемуся тревожно и суетливо. А губы его тихо шевелились, повторяя раздельно все одно и то же, поразившее его, звучное, упругое слово:

— Бу-ме-ранг!

IV

К девяти часам Арбузов пошел в цирк. Большеголовый мальчишка из номеров, страстный поклонник циркового искусства, нес за ним соломенный сак с костюмом. У ярко освещенного подъезда было шумно и весело. Непрерывно, один за другим, подъезжали извозчики и по мановению руки величественного, как статуя, городового, описав полукруг, отъезжали дальше, в темноту, где длинной вереницей стояли вдоль улицы сани и кареты. Красные цирковые афиши и зеленые анонсы о борьбе виднелись повсюду — по обеим сторонам входа, около касс, в вестибюле и коридорах, и везде Арбузов видел свою фамилию, напечатанную громадным шрифтом. В коридорах пахло конюшней, газом, тырсой, которой посыпают арену, и обыкновенным запахом зрительных зал — смешанным запахом новых лайковых перчаток и пудры. Эти запахи, всегда немного волновавшие и возбуждавшие Арбузова в вечера перед борьбою, теперь болезненно и неприятно скользнули по его нервам.

За кулисами, около того прохода, из которого выходят на арену артисты, висело за проволочной сеткой освещенное газовым рожком рукописное расписание вечера с печатными заголовками: «Arbeit. Pferd. Klown» [1]. Арбузов заглянул в него с неясной и наивной надеждой не найти своего имени. Но во втором отделении, против знакомого ему слова «Kampf» [2], стояли написанные крупным, катящимся вниз почерком полуграмотного человека две фамилии: Arbousow и Roeber.

---

[1] Работа. Лошадь. Клоун *(нем.)*.
[2] Борьба *(нем.)*.

На арене кричали картавыми деревянными голосами и хохотали идиотским смехом клоуны. Антонио Батисто и его жена, Генриетта, дожидались в проходе окончания номера. На обоих были одинаковые костюмы из нежно-фиолетового, расшитого золотыми блестками трико, отливавшего на сгибах против света шелковым глянцем, и белые атласные туфли.

Юбки на Генриетте не было, вместо нее вокруг пояса висела длинная и частая золотая бахрома, сверкавшая при каждом ее движении. Атласная рубашечка фиолетового цвета, надетая прямо поверх тела, без корсета, была свободна и совсем не стесняла движений гибкого торса. Поверх трико на Генриетте был наброшен длинный белый арабский бурнус, мягко оттенявший ее хорошенькую, черноволосую, смуглую головку.

— Et bien, monsieur Arbousoff? [1] — сказала Генриетта, ласково улыбаясь и протягивая из-под бурнуса обнаженную, тонкую, но сильную и красивую руку. — Как вам нравятся наши новые костюмы? Это идея моего Антонио. Вы придете на манеж смотреть наш номер? Пожалуйста, приходите. У вас хороший глаз, и вы мне приносите удачу.

Подошедший Антонио дружелюбно похлопал Арбузова по плечу.

— Ну, как дела, мой голюбушка? All rigth! [2] Я держу за вас пари с Винченцо на одна бутылка коньяк. Смотрите же!

По цирку прокатился смех, и затрещали аплодисменты. Два клоуна с белыми лицами, вымазанными черной и малиновой краской, выбежали с арены в коридор. Они точно позабыли на своих лицах широкие, бессмысленные улыбки, но их груди после утомительных сальто-мортале дышали глубоко и быстро. Их вызвали и заставили еще что-то сделать, потом еще раз и еще, и только когда музыка заиграла вальс и публика утихла, они ушли в уборную, оба потные, как-то сразу опустившиеся, разбитые усталостью.

---

[1] Ну как, господин Арбузов? *(франц.)*
[2] Прекрасно! *(англ.)*

Не занятые в этот вечер артисты, во фраках и в панталонах с золотыми лампасами, быстро и ловко опустили с потолка большую сетку, притянув ее веревками к столбам. Потом они выстроились по обе стороны прохода, и кто-то отдернул занавес. Ласково и кокетливо сверкнув глазами из-под тонких смелых бровей, Генриетта сбросила свой бурнус на руку Арбузову, быстрым женским привычным движением поправила волосы и, взявшись с мужем за руки, грациозно выбежала на арену. Следом за ними, передав бурнус конюху, вышел и Арбузов.

В труппе все любили смотреть на их работу. В ней, кроме красоты и легкости движений, изумляло цирковых артистов доведенное до невероятной точности *чувство темпа* — особенное, шестое чувство, вряд ли понятное где-нибудь, кроме балета и цирка, но необходимое при всех трудных и согласованных движениях под музыку. Не теряя даром ни одной секунды и соразмеряя каждое движение с плавными звуками вальса, Антонио и Генриетта проворно поднялись под купол, на высоту верхних рядов галереи. С разных концов цирка они посылали публике воздушные поцелуи: он, сидя на трапеции, она, стоя на легком табурете, обитом таким же фиолетовым атласом, какой был на ее рубашке, с золотой бахромой на краях и с инициалами А и В посредине.

Все, что они делали, было одновременно, согласно и, по-видимому, так легко и просто, что даже у цирковых артистов, глядевших на них, исчезало представление о трудности и опасности этих упражнений. Опрокинувшись всем телом назад, точно падая в сетку, Антонио вдруг повисал вниз головой и, уцепившись ногами за стальную палку, начинал раскачиваться взад и вперед. Генриетта, стоя на своем фиолетовом возвышении и держась вытянутыми руками за трапецию, напряженно и выжидательно следила за каждым движением мужа и вдруг, поймав темп, отталкивалась от табурета ногами и летела навстречу мужу, выгибаясь всем телом и вытягивая назад стройные ноги. Ее трапеция была вдвое длиннее и делала вдвое большие

размахи: поэтому их движения то шли параллельно, то сходились, то расходились...

И вот по какому-то не заметному ни для кого сигналу она бросала палку своей трапеции, падала, ничем не поддерживаемая, вниз и вдруг, скользнув руками вдоль рук Антонио, крепко сплеталась с ним кисть за кисть. Несколько секунд их тела, связавшись в одно гибкое, сильное тело, плавно и широко качались в воздухе, и атласные туфельки Генриетты чертили по поднятому вверх краю сетки; затем он переворачивал ее и опять бросал в пространство, как раз в тот момент, когда над ее головою пролетала брошенная ею и все еще качающаяся трапеция, за которую она быстро хваталась, чтобы одним размахом вновь перенестись на другой конец цирка, на свой фиолетовый табурет.

Последним упражнением в их номере был полет с высоты. Шталмейстеры подтянули трапецию на блоках под самый купол цирка вместе с сидящей на ней Генриеттой. Там, на семисаженной высоте, артистка осторожно перешла на неподвижный турник, почти касаясь головой стекол слухового окна. Арбузов смотрел на нее, с усилием подымая вверх голову, и думал, что, должно быть, Антонио кажется ей теперь сверху совсем маленьким, и у него от этой мысли кружилась голова.

Убедившись, что жена прочно утвердилась на турнике, Антонио опять свесился головой вниз и стал раскачиваться. Музыка, игравшая до сих пор меланхолический вальс, вдруг резко оборвала его и замолкла. Слышалось только однотонное, жалобное шипение углей в электрических фонарях. Жуткое напряжение чувствовалось в тишине, которая наступила вдруг среди тысячной толпы, жадно и боязливо следившей за каждым движением артистов...

— Pronto! [1] — резко, уверенно и весело крикнул Антонио и бросил вниз, в сетку, белый платок, которым он до сих пор, не переставая качаться взад и вперед, вытирал руки. Арбузов увидел, как при этом восклицании Генриетта, стоявшая под куполом и державшаяся

---

[1] Быстро! *(итал.)*

обеими руками за проволоки, нервно, быстро и выжидательно подалась всем телом вперед.

— Attenti! [1] — опять крикнул Антонио.

Угли в фонарях тянули все ту же жалобную, однообразную ноту, а молчание в цирке становилось тягостным и грозным.

— Allez! [2] — раздался отрывисто и властно голос Антонио.

Казалось, этот повелительный крик столкнул Генриетту с турника. Арбузов увидел, как в воздухе, падая стремглав вниз и крутясь, пронеслось что-то большое фиолетовое, сверкающее золотыми искрами. С похолодевшим сердцем и с чувством внезапной раздражающей слабости в ногах атлет закрыл глаза и открыл их только тогда, когда, вслед за радостным, высоким, гортанным криком Генриетты, весь цирк вздохнул шумно и глубоко, как великан, сбросивший со спины тяжкий груз. Музыка заиграла бешеный галоп, и, раскачиваясь под него в руках Антонио, Генриетта весело перебирала ногами и била ими одна о другую. Брошенная мужем в сетку, она провалилась в нее глубоко и мягко, но тотчас же, упруго подброшенная обратно, стала на ноги и, балансируя на трясущейся сетке, вся сияющая неподдельной, радостной улыбкой, раскрасневшаяся, прелестная, кланялась кричащим зрителям... Накидывая на нее за кулисами бурнус, Арбузов заметил, как часто подымалась и опускалась ее грудь и как напряженно бились у нее на висках тонкие голубые жилки...

V

Звонок прозвонил антракт, и Арбузов пошел в свою уборную одеваться. В соседней уборной одевался Ребер. Арбузову сквозь широкие щели наскоро сколоченной перегородки было видно каждое его движение. Одеваясь, американец то напевал фальшивым баском

---

[1] Внимание! *(итал.)*

[2] Вперед! *(франц.)*

какой-то мотив, то принимался насвистывать и изредка обменивался со своим тренером короткими, отрывистыми словами, раздававшимися так странно и глухо, как будто бы они выходили из самой глубины его желудка. Арбузов не знал английского языка, но каждый раз, когда Ребер смеялся или когда интонация его слов становилась сердитой, ему казалось, что речь идет о нём и о его сегодняшнем состязании, и от звуков этого уверенного, квакающего голоса им все сильнее овладевало чувство страха и физической слабости.

Сняв верхнее платье, он почувствовал холод и вдруг задрожал крупной дрожью лихорадочного озноба, от которой затряслись его ноги, живот и плечи, а челюсти громко застукали одна о другую. Чтобы согреться, он послал Гришутку в буфет за коньяком. Коньяк несколько успокоил и согрел атлета, но после него, так же как и утром, по всему телу разлилась тихая, сонная усталость.

В уборную поминутно стучали и входили какие-то люди. Тут были кавалерийские офицеры, с ногами, обтянутыми, точно трико, тесными рейтузами, рослые гимназисты в смешных узеньких шапках и все почему-то в пенсне и с папиросами в зубах, щеголеватые студенты, говорившие очень громко и называвшие друг друга уменьшительными именами. Все они трогали Арбузова за руки, за грудь и за шею, восхищались видом его напруженных мускулов. Некоторые ласково, одобрительно похлопывали его по спине, точно призовую лошадь, и давали ему советы, как вести борьбу. Их голоса то звучали для Арбузова откуда-то издали, снизу, из-под земли, то вдруг надвигались на него и невыносимо болезненно били его по голове. В то же время он одевался машинальными, привычными движениями, заботливо расправляя и натягивая на своем теле тонкое трико и крепко затягивая вокруг живота широкий кожаный пояс.

Заиграла музыка, и назойливые посетители один за другим вышли из уборной. Остался только доктор Луховицын. Он взял руку Арбузова, нащупал пульс и покачал головой:

— Вам теперь бороться — чистое безумие. Пульс, как молоток, и руки совсем холодные. Поглядите в зеркало, как у вас расширены зрачки.

Арбузов взглянул в маленькое наклонное зеркало, стоявшее на столе, и увидел показавшееся ему незнакомым большое, бледное, равнодушное лицо.

— Ну, все равно, доктор, — сказал он лениво и, поставив ногу на свободный стул, стал тщательно обматывать вокруг икры тонкие ремни от туфли.

Кто-то, пробегая быстро по коридору, крикнул поочередно в двери обеих уборных:

— Monsieur Ребер, monsieur Арбузов, на манеж!

Непобедимая истома вдруг охватила тело Арбузова, и ему захотелось долго и сладко, как перед сном, тянуться руками и спиной. В углу уборной были навалены большой беспорядочной кучей черкесские костюмы для пантомимы третьего отделения. Глядя на этот хлам, Арбузов подумал, что нет ничего лучше в мире, как забраться туда, улечься поуютнее и зарыться с головой в теплые, мягкие одежды.

— Надо идти, — сказал он, подымаясь со вздохом. — Доктор, вы знаете, что такое бумеранг?

— Бумеранг? — с удивлением переспросил доктор. — Это, кажется, такой особенный инструмент, которым австралийцы бьют попугаев. А впрочем, может быть, вовсе и не попугаев... Так в чем же дело?

— Просто вспомнилось... Ну, пойдемте, доктор.

У занавеса в дощатом широком проходе теснились завсегдатаи цирка — артисты, служащие и конюхи; когда показался Арбузов, они зашептались и быстро очистили ему место перед занавесом. Следом за Арбузовым подходил Ребер. Избегая глядеть друг на друга, оба атлета стали рядом, и в эту минуту Арбузову с необыкновенной ясностью пришла в голову мысль о том, как дико, бесполезно, нелепо и жестоко то, что он собирается сейчас делать. Но он также знал и чувствовал, что его держит здесь и заставляет именно так поступать какая-то безыменная беспощадная сила. И он стоял неподвижно, глядя на тяжелые складки занавеса с тупой и печальной покорностью.

— Готово? — спросил сверху, с музыкантской эстрады, чей-то голос.

— Готово, давай! — отозвались внизу.

Послышался тревожный стук капельмейстерской палочки, и первые такты марша понеслись по цирку веселыми, возбуждающими, медными звуками. Кто-то быстро распахнул занавес, кто-то хлопнул Арбузова по плечу и отрывисто скомандовал ему: «Allez!» Плечо о плечо, ступая с тяжелой самоуверенной грацией, попрежнему не глядя друг на друга, борцы прошли между двух рядов выстроившихся артистов и, дойдя до середины арены, разошлись в разные стороны.

Один из шталмейстеров также вышел на арену и, став между атлетами, начал читать по бумажке с сильным иностранным акцентом и со множеством ошибок объявление о борьбе.

— Сейчас состоится борьба, по римско-французским правилам, между знаменитыми атлетами и борцами, господином Джоном Ребером и господином Арбузовым. Правила борьбы заключаются в том, что борцы могут как угодно хватать друг друга от головы до пояса. Побежденным считается тот, кто коснется двумя лопатками земли. Царапать друг друга, хватать за ноги и за волосы и душить за шею — запрещается. Борьба эта — третья, решительная и последняя. Поборовший своего противника получает приз в сто рублей... Перед началом состязания борцы подают друг другу руки, как бы в виде клятвенного обещания, что борьба будет вестись ими честно и по всем правилам.

Зрители слушали его в таком напряженном, внимательном молчании, что казалось, будто каждый из них удерживает дыхание. Вероятно, это был самый жгучий момент во всем вечере — момент нетерпеливого ожидания. Лица побледнели, рты полураскрылись, головы выдвинулись вперед, глаза с жадным любопытством приковались к фигурам атлетов, неподвижно стоявших на брезенте, покрывавшем песок арены.

Оба борца были в черном трико, благодаря которому их туловища и ноги казались тоньше и стройнее,

чем они были в самом деле, а обнаженные руки и голые шеи — массивнее и сильнее. Ребер стоял, слегка выдвинув вперед ногу, упираясь одной рукой в бок, в небрежной и самоуверенной позе, и, закинув назад голову, обводил глазами верхние ряды. Он знал по опыту, что симпатии галереи будут на стороне его противника, как более молодого, красивого, изящного, а главное, носящего русскую фамилию борца, и этим небрежным, спокойным взглядом точно посылал вызов разглядывавшей его толпе. Он был среднего роста, широкий в плечах и еще более широкий к тазу, с короткими, толстыми и кривыми, как корни могучего дерева, ногами, длиннорукий и сгорбленный, как большая, сильная обезьяна. У него была маленькая лысая голова с бычачьим затылком, который, начиная от макушки, ровно и плоско, без всяких изгибов, переходил в шею, так же как и шея, расширяясь книзу, непосредственно сливалась с плечами. Этот страшный затылок невольно возбуждал в зрителях смутное и боязливое представление о жестокой, нечеловеческой силе.

Арбузов стоял в той обычной позе профессиональных атлетов, в которой они снимаются всегда на фотографиях, то есть со скрещенными на груди руками и со втянутым в грудь подбородком. Его тело было белее, чем у Ребера, а сложение почти безукоризненное: шея выступала из низкого выреза трико ровным, круглым, мощным стволом, и на ней держалась свободно и легко красивая, рыжеватая, коротко остриженная голова с низким лбом и равнодушными чертами лица. Грудные мышцы, стиснутые сложенными руками, обрисовывались под трико двумя выпуклыми шарами, круглые плечи отливали блеском розового атласа под голубым сиянием электрических фонарей.

Арбузов пристально глядел на читающего шталмейстера. Один только раз он отвел от него глаза и обернулся на зрителей. Весь цирк, сверху донизу наполненный людьми, был точно залит сплошной черной волной, на которой, громоздясь одно над другим, выделялись правильными рядами белые круглые

пятна лиц. Каким-то беспощадным, роковым холодом повеяло на Арбузова от этой черной, безличной массы. Он всем существом понял, что ему уже нет возврата с этого ярко освещенного заколдованного круга, что чья-то чужая, огромная воля привела его сюда, и нет силы, которая могла бы заставить его вернуться назад. И от этой мысли атлет вдруг почувствовал себя беспомощным, растерянным и слабым, как заблудившийся ребенок, и в его душе тяжело шевельнулся настоящий животный страх, темный, инстинктивный ужас, который, вероятно, овладевает молодым быком, когда его по залитому кровью асфальту вводят на бойню.

Шталмейстер кончил и отошел к выходу. Музыка опять заиграла отчетливо, весело и осторожно, и в резких звуках труб слышалось теперь лукавое, скрытое и жестокое торжество. Был один страшный момент, когда Арбузову представилось, что эти вкрадчивые звуки марша, и печальное шипенье углей, и жуткое молчание зрителей служат продолжением его послеобеденного бреда, в котором он видел тянущуюся перед ним длинную, монотонную проволоку. И опять в его уме кто-то произнес причудливое название австралийского инструмента.

До сих пор, однако, Арбузов надеялся на то, что в самый последний момент перед борьбой в нем, как это всегда бывало раньше, вдруг вспыхнет злоба, а вместе с нею уверенность в победе и быстрый прилив физической силы. Но теперь, когда борцы повернулись друг к другу и Арбузов в первый раз встретил острый и холодный взгляд маленьких голубых глаз американца, он понял, что исход сегодняшней борьбы уже решен.

Атлеты пошли друг к другу навстречу. Ребер приближался быстрыми, мягкими и упругими шагами, наклонив вперед свой страшный затылок и слегка сгибая ноги, похожий на хищное животное, собирающееся сделать скачок. Сойдясь на середине арены, они обменялись быстрым, сильным рукопожатием, разошлись и тотчас же одновременным прыжком повернулись друг

к другу лицами. И в отрывистом прикосновении горячей, сильной, мозолистой руки Ребера Арбузов почувствовал такую же уверенность в победе, как и в его колючих глазах.

Сначала они пробовали захватить друг друга за кисти рук, за локти и за плечи, вывертываясь и уклоняясь в то же время от захватов противника. Движения их были медленны, мягки, осторожны и расчетливы, как движения двух больших кошек, начинающих играть. Упираясь виском в висок и горячо дыша друг другу в плечи, они постоянно переменяли место и обошли кругом всю арену. Пользуясь своим высоким ростом, Арбузов обхватил ладонью затылок Ребера и попробовал нагнуть его, но голова американца быстро, как голова прячущейся черепахи, ушла в плечи, шея сделалась твердой, точно стальной, а широко расставленные ноги крепко уперлись в землю. В то же время Арбузов почувствовал, что Ребер изо всех сил мнет пальцами его бицепсы, стараясь причинить им боль и скорее обессилить их.

Так они ходили по арене, едва переступая ногами, не отрываясь друг от друга и делая медленные, точно ленивые и нерешительные движения. Вдруг Ребер, поймав обеими руками руку своего противника, с силой рванул ее на себя. Не предвидевший этого приема, Арбузов сделал вперед два шага и в ту же секунду почувствовал, что его сзади опоясали и подымают от земли сильные, сплетшиеся у него на груди руки. Инстинктивно, для того чтобы увеличить свой вес, Арбузов перегнулся верхней частью туловища вперед и, на случай нападения, широко расставил руки и ноги. Ребер сделал несколько усилий притянуть к своей груди его спину, но, видя, что ему не удастся поднять тяжелого атлета, быстрым толчком заставил его опуститься на четвереньки и сам присел рядом с ним на колени, обхватив его за шею и за спину.

Некоторое время Ребер точно раздумывал и примеривался. Потом искусным движением он просунул свою руку сзади, под мышкой у Арбузова, изогнул ее вверх, обхватил жесткой и сильной ладонью его шею

и стал нагибать ее вниз, между тем как другая рука, окружив снизу живот Арбузова, старалась перевернуть его тело по оси. Арбузов сопротивлялся, напрягая шею, шире расставляя руки и ближе пригибаясь к земле. Борцы не двигались с места, точно застыв в одном положении, и со стороны можно было бы подумать, что они забавляются или отдыхают, если бы не было заметно, как постепенно наливаются кровью их лица и шеи и как их напряженные мускулы все резче выпячиваются под трико. Они дышали тяжело и громко, и острый запах их пота был слышен в первых рядах партера.

И вдруг прежняя, знакомая физическая тоска разрослась у Арбузова около сердца, наполнила ему всю грудь, сжала судорожно за горло, и все тотчас же стало для него скучным, пустым и безразличным: и медные звуки музыки, и печальное пение фонарей, и цирк, и Ребер, и самая борьба. Что-то вроде давней привычки еще заставляло его сопротивляться, но он уже слышал в прерывистом, обдававшем ему затылок дыхании Ребера хриплые звуки, похожие на торжествующее звериное рычание, и уже одна его рука, оторвавшись от земли, напрасно искала в воздухе опоры. Потом и все его тело потеряло равновесие, и он, неожиданно и крепко прижатый спиной к холодному брезенту, увидел над собой красное, потное лицо Ребера с растрепанными, свалявшимися усами, с оскаленными зубами, с глазами, искаженными безумием и злобой...

Поднявшись на ноги, Арбузов, точно в тумане, видел Ребера, который на все стороны кивал головой публике. Зрители, вскочив с мест, кричали, как исступленные, двигались, махали платками, но все это казалось Арбузову давно знакомым сном — сном нелепым, фантастическим и в то же время мелким и скучным по сравнению с тоской, разрывавшей его грудь. Шатаясь, он добрался до уборной. Вид сваленного в кучу хлама напомнил ему что-то неясное, о чем он недавно думал, и он опустился на него, держась обеими руками за сердце и хватая воздух раскрытым ртом.

Внезапно, вместе с чувством тоски и потери дыхания, им овладели тошнота и слабость. Все позеленело в его глазах, потом стало темнеть и проваливаться в глубокую черную пропасть. В его мозгу резким, высоким звуком — точно там лопнула тонкая струна — кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее...

НА ПОКОЕ

I

Когда единственный сын купца первой гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в наровчатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при отверстых царских вратах, основал в годовщину его смерти «Убежище для престарелых немощных артистов, имени Алексея Ниловича Овсянникова». Оттого ли, что учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим причинам, но жильцов в нем всегда бывало мало. Убежище помещалось в опустевшем барском особняке, все комнаты которого давным-давно пришли в ветхость, за исключением громадной залы с паркетным полом, венецианскими окнами и белыми, крашенными известкой, кривыми от времени колоннами. В этой зале и ютились осенью 1899-го года пятеро старых бездомных актеров, загнанных сюда нуждой и болезнями.

Посредине залы стоял овальный обеденный стол, обтянутый желтой, под мрамор, клеёнкой, а у стен между колоннами размещались кровати, и около каждой по шкафчику, совершенно так же, как это заведено в больницах и пансионах. Венецианских окон никогда не отворяли из боязни сквозняка, от этого в

комнате прочно установился запах нечистоплотной, холостой старости — запах застоявшегося табачного дыма, грязного белья и больницы. Вверху, между стенами и потолком, всегда висела серая, пыльная бахрома прошлогодней паутины.

Лучшим местом считался угол около большой голландской печи, старинные изразцы которой были разрисованы синими тюльпанами. Здесь зимой бывало очень тепло, а широкая печь, отгораживая с одной стороны кровать, придавала ей до некоторой степени вид отдельного жилья. В этом привилегированном месте устроился самый давний обитатель овсянниковского дома, бывший опереточный тенор Лидин-Байдаров, слабоумный, тупой и необыкновенно спесивый мужчина, с трудом носивший на тонких, изуродованных подагрой ногах свое грузное и немощное тело. Попав в убежище с самого дня его основания, он держал себя в нем хозяином и первый дал тон скверным анекдотам и циничным ругательствам, никогда не прекращавшимся в общих разговорах. Он же покрывал белые колонны залы и стенки уборной теми гнусными рисунками и омерзительными изречениями в стихах и прозе, на которые было неистощимо его болезненное воображение тайного эротомана.

По другую сторону печи, ближе к окнам, помещался бывший суфлер Иван Степанович — плешивый, беззубый, сморщенный старикашка. В былые времена весь театральный мир звал его фамильярно «Стаканычем»; это прозвище сохранилось за ним и в убежище. Стаканыч был человек кроткий, набожный, сильно глуховатый на оба уха и, как все глухие, застенчивый. Ежедневно по нескольку раз Лидин-Байдаров развлекался тем, что, сохраняя на лице озабоченное выражение, говорил старому суфлеру издали всякие сальности, на что Стаканыч улыбался ласковой смущенной улыбкой, торопливо кивал головой и отвечал невпопад, к великому удовольствию бывшего опереточного премьера, которому эта шутка никогда не надоедала.

С утра до вечера Стаканыч мастерил из разноцветных бумажек, тонкой проволоки и бисера какие-то удивительно хитрые коробочки. Раз или два в год он

отсылал их партиями своему сыну Васе, служившему где-то в уездном театре, «на выходах». Если же он не клеил коробочек, то раскладывал на своей кровати пасьянсы, которых знал чрезвычайно много.

По ту же сторону, но совсем у окон, обитал старый трагик Славянов-Райский. Изо всех пятерых он один пользовался некогда широкой и шумной известностью. В продолжение семи лет его имя, напечатанное в афишах аршинными буквами, гремело по всем провинциальным городам России. Но через год после его угарного заката публика и печать сразу и совершенно позабыли о нем. За кулисами, впрочем, старые актеры долго еще вспоминали о небывалых и безумных успехах его гастролей, о бешеных деньгах, которые он разбрасывал в своих легендарных кутежах, и о скандалах и драках, которые он устраивал в каждом городе.

С товарищами по общежитию Славянов-Райский держался надменно и был презрительно неразговорчив. По целым дням он лежал на кровати, молчал и без перерыва курил огромные самодельные папиросы. Иногда же, внезапно вскочив, он принимался ходить взад и вперед по зале, от окон к дверям и обратно, мелкими и быстрыми шагами. И во время этой лихорадочной беготни он делал руками перед лицом короткие негодующие движения и отрывисто бормотал непонятные фразы...

Напротив стояла кровать «дедушки», которого, так же как и Стаканыча, весь актерский мир знал больше по этому прозвищу, чем по фамилии. Уже целых три месяца дедушка не вставал с постели и, обросший белыми мягкими длинными волосами, лежал иссохший и благообразный, напоминая в своей белой рубашке иконописное изображение отходящего угодника. Он говорил мало, с передышками, глухим и тонким старческим голосом и с таким трудом, как будто бы стонал на каждом слове. У него болела грудь, но кашлять по-настоящему ему было трудно, и он только кряхтел слабо и жалобно. Дедушка был очень стар, вероятно старше всех современных русских актеров. В прежнее же время он был известен во многих труппах как хороший актер на амплуа резонеров и дельный, грамотный режиссер.

Пятым и последним обитателем убежища был комический актер Михаленко — раздутый водянкой, задыхающийся от астмы циник. Хрипя, еле переводя дыхание, с трудом выжимая из своей оплывшей груди слова, он, едва проснувшись, принимался браниться с кем-нибудь из соседей и прекращал это занятие, только ложась вечером в постель. Язык у него был острый, злой и беспощадно, по-актерски, грубый. В нем вечно кипела завистливая, истерическая злоба, заставлявшая его интриговать, сплетничать и писать на своих товарищей нелепые анонимные доносы попечителям убежища. В сквернословии Михаленко состязался с Лидиным-Байдаровым, уступая опереточному тенору в изумительной способности изобретать и сплетать между собою самые невероятные гнусности, но превосходя его злой и меткой язвительностью. Живая память сохранила ему неиссякаемый запас мерзостей закулисной жизни: любовных связей, скандалов, драк, неудач и преступлений. Ссорясь с соседями, он умел извлекать из их театрального прошлого наиболее постыдные, наиболее чувствительные страницы и так разрисовывал их своим беззастенчивым юмором, что за ним всегда оставалось последнее слово. Один глаз у него был вставной — тусклый, маленький и слезливый, зато здоровый огромным голубым шаром вылезал из своей орбиты и всегда носил разгневанное выражение.

Жизнь в убежище текла однообразно и скучно. Просыпались актеры очень рано, зимою задолго до света и тотчас же, в ожидании чая, еще не умывшись, принимались курить. Со сна все чувствовали себя злыми и обессилевшими и кашляли утренним старческим, давящимся кашлем. И так как в этой убогой жизни неизменно повторялись не только дни, но и слова и жесты, то всякий заранее ждал, что Михаленко, задыхаясь и откашливаясь, непременно скажет старую остроту:

— Вот это настоящий акцизный кашель!..

А дедушка, знавший когда-то иностранные языки и до сих пор не упускавший случая хвастнуть этим, прибавлял своим стонущим фальцетом:

— Bierhusten. Это у немцев называется Bierhusten. Пивной кашель...

Потом служивший при убежище отставной николаевский солдат Тихон приносил кипяток и неизменные сайки. Актеры заваривали чайники и уносили их к своим столикам. Пили чай очень долго и помногу, пили с кряхтеньем и вздохами, но молча. После чая рассказывали сны и толковали их: видеть реку означало близкую дорогу, вши и грязь предвещали неожиданные деньги, мертвец — дурную погоду. Сновиденья Лидина-Байдарова всегда заключали в себе какую-нибудь сладострастную пакость. Затем шло на целый день лежанье на грязных, всклоченных постелях с неприбранными, засаленными одеялами. От скуки и безделья курили страшно много. Иногда посылали Тихона за газетой, но читали ее только двое: Михаленко, ревниво следивший до сих пор за именами бывших товарищей по сцене, и Стаканыч, которого больше всего интересовали описания грабежей, столкновений поездов и военных парадов. Дедушка плохо видел и потому просил изредка почитать себе вслух. Но из этого мало выходило толку: беззубый суфлер шепелявил, брызгал слюной, и у него нельзя было разобрать ни слова, а Михаленко, читая, приделывал к каждой фразе такие непристойные окончания, что дедушка в конце концов махал рукою и говорил сердито:

— Ну, пошел врать, дурак. Эка мелет мелево!.. Уходи, не хочу слушать.

Разговаривали редко, но подолгу, и всегда кончали ссорой и уличали друг друга в лганье. В большом ходу были анекдоты, причем у каждого обозначалась своя область... Стаканыч, который происходил из духовного звания, умел рассказывать про семинаристов, попов и архиереев; Михаленко был неистощим в закулисных историях и помнил наизусть бесчисленное множество неприличных стихотворных эпиграмм, приписываемых Ленскому, Милославскому, Каратыгину и другим актерам; Байдаров говорил противоестественные и совершенно нелепые гадости о женщинах. Впрочем, на последнюю тему все они, не исключая набожного Стаканыча и не встававшего с постели дедушки, любили по-

говорить, и их собственное бессилие, их физическая и душевная немощь придавали этим разговорам уродливый и страшный характер. Ни разу, хотя бы случайно, ни один из них не помянул приличным словом женщину, как мать, жену или сестру; женщина была в их представлении исключительно самкой — красивым, лукавым и безобразно похотливым животным.

Иногда актеры вспоминали и свои собственные театральные приключения. Михаленко называл это «кислыми рассказами из прежней жизни». И, сами не замечая, они передавали один и тот же эпизод по нескольку раз, в одних и тех же выражениях, с одинаковыми жестами и интонациями; даже цеплялись у них анекдоты и кислые рассказы один за другой все в том же порядке, по одним и тем же ассоциациям мыслей. От этого часто случалось, что, проговорив час или два подряд, актеры вдруг ощущали вместе с усталостью и скукой чувство нестерпимого отвращения к самим себе и к своим сожителям.

Для них не было ничего святого. Все они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый дедушка любил рассказывать очень длинный и запутанный анекдот, где Авраам и три странника у дуба Мамврийского играли в карты и совершали разные неприличные вещи. Но по ночам, во время тоскливой старческой бессонницы, когда так назойливо лезли в голову мысли о бестолково прожженной жизни, о собственном немощном одиночестве, о близкой смерти, — актеры горячо и трусливо веровали в бога, и в ангелов-хранителей, и в святых чудотворцев и крестились тайком под одеялом и шептали дикие, импровизированные молитвы. Утром вместе с ночными страхами проходила и вера. Один только Стаканыч был сдержаннее и последовательнее других. Он даже пробовал кое-когда, вставши с постели, торопливо, украдкой, креститься на образ, но каждый раз ему мешал Михаленко, который, стоя за ним, шутовски кланялся, размахивал правой рукой, как будто в ней было кадило, и хриплым дьячковским басом вытягивал:

— Паки и паки, съели попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки...

В два часа актеры обедали и за обедом неизменно ругали непечатной бранью основателя убежища купца первой гильдии Овсянникова. Прислуживал им все тот же солдат Тихон; его огорчало, что господа говорят за столом гадости, и иногда он пробовал остановить Михаленку, который был на язык невоздержаннее прочих:

— Не выражались бы вы, господин Михаленко. Кажется, образованный человек, а такие последние слова за хлебом-солью... Совсем даже некрасиво.

После обеда актеры спали тяжелым, нездоровым сном, с храпеньем и стонами, спали очень долго, часа по четыре, и просыпались только к вечернему чаю, с налитыми кровью глазами, со скверным вкусом во рту, с шумом в ушах и с вялым телом. Во время сна они отлеживали себе руки, ноги и даже головы и, вставши с кроватей, шатались, как пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечер. После чая опять лежали, курили и рассказывали анекдоты. Часто играли в карты — в пикет и в шестьдесят шесть, — и непременно на деньги, а проигрыш приписывали к старым карточным долгам, которые иногда достигали десятков тысяч рублей. Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в свое будущее: пройдет сама собою болезнь, подвернется ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, пряная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню, в глубине своих спальных шкафчиков старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена.

В восемь часов подавали ужин, состоявший из разогретых остатков от обеда. Тотчас же после ужина актеры раздевались и укладывались спать. Но засыпали не скоро. Долго все пятеро ворочались на своих кроватях, и это было самое мучительное время суток. Сильнее давали о себе знать старые, запущенные болезни, нельзя было отогнать печальных и ядовитых мыслей о прошлом, оскорбительнее чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнее всего было думать о том, что, быть может, один из соседей тихо, незаметно ни для кого, уже умер среди этой ночи и будет лежать до самого утра молчаливый, таинственный,

ужасный. И актеры по нескольку раз в ночь окликали друг друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который час, или прося одолжить спичку. И долго, долго, до раннего света, слышались в большой комнате, вместе с треском рассыхающегося паркета, старческие вздохи, невнятный бред, глухое покашливание и торопливый шепот...

И так тянулось изо дня в день серое, мелочное существование этих людей, когда-то жадно объедавшихся жизнью. Приятно разнообразилось оно хождением в город, но это удовольствие было сравнительно очень редким, потому что деньги почти никогда не водились в убежище, а без денег не стоило и выходить за ворота. Без денег нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчике, ни зайти к дешевой раскрашенной проститутке, ни посидеть часок-другой в излюбленном ресторане, который более всего притягивает к себе бродяжнические вкусы старых актеров.

II

Четырнадцатого сентября, в праздник воздвижения, в убежище остались только двое жильцов: суфлер Стаканыч и дедушка. Остальные ушли с утра в город. Михаленко принимал участие в каком-то утреннем спектакле (он время от времени добивался для себя таких приглашений от бывших товарищей по сцене). Поэтому он еще за два дня начал низко и без всякой меры льстить Лидину-Байдарову, превознося его замечательный голос и поразительные успехи у женщин, и в конце концов выпросил у опереточного премьера бумажный воротничок и манжеты, бывшие всего раз в употреблении, а также красный заношенный до лоска галстук. Сам Байдаров по большим праздникам ходил обедать в знакомое купеческое семейство, где его снабжали кое-каким застиранным и перештопанным бельишком, папиросами, мелкими деньгами и кирпичным чаем. Впрочем, эти унизительные подробности своих праздничных визитов он скрывал от товарищей отчасти из боязни насмешек, а отчасти из скупости, так как он

очень не любил, если у него просили взаймы. Что касается Славянова-Райского, то он накануне получил субсидию из театрального фонда и теперь отправился в город с единственной целью — провести весь день в излюбленном трактирчике, носившем библейское название «Капернаум», и вернуться в убежище совершенно пьяным.

Дедушка лежал, сложив на животе и сцепив одну с другой большие исхудалые руки с коричневой кожей и резко выступающими наружу костяшками. Весь белый, с белыми волосами, неподвижный и благообразный, он теперь более, чем когда-либо, походил на святого старца, готовящегося к праведной кончине. Его бледно-серые, выцветшие глаза были упорно устремлены в широкое венецианское окно, где на густой осенней синеве неба медленно раскачивалась, вся озаренная солнцем, золотая круглая верхушка липы. Даже здесь, в душной, пропитанной тяжелым запахом комнате, чувствовалось, что там, за окном, стоит бодрый и холодный осенний день, сияет яркое, но негреющее солнце и тянет крепким ароматом увядающего листа.

Стаканыч, сидя на кровати по-турецки, раскладывал на одеяле старыми, почерневшими и распухшими от времени картами один из самых длинных своих пасьянсов — «двенадцать спящих дев», который он, из уважения к его сложности и числовому наименованию, раскладывал только по двунадесятым праздникам. Вид у Стаканыча был сосредоточенный. Он то подымал вверх брови, морща дряблую кожу на лбу в длинные, волнообразные складки, то опускал их вниз и сдвигал вместе, отчего над переносьем появлялась короткая, прямая, озабоченная морщинка. Когда же он муслил во рту палец, чтобы взять с колоды карту, от которой пахло стекольной замазкой, и в то же время задумчиво пробегал прищуренными глазами пасьянс, то его губы круглились, как будто он собирался свистать.

— Иван Степаныч, поди-ка, братец, ко мне, — позвал вдруг дедушка своим тонким старческим голосом.

— А? Ты меня, что ли, дедушка? — обернулся суфлер.

— Поди, говорю, на минуточку. Поговорить хочу.

— Сейчас, сейчас, дедушка, дай только ряд докончу. Ну, вот и вся недолга́.

Стаканыч перешел на кровать дедушки и уселся у него в ногах. Старик опять посмотрел в окно на густое, синее, спокойное небо, потом пошевелил сложенными на животе пальцами и длинно вздохнул.

— Ну, что, дедушка, скажешь? — осторожно спросил Стаканыч, слегка похлопывая старика по большой ступне, которая горбом выпячивалась под одеялом.

— Вот что, Стаканыч... — дедушка перевел глаза на суфлера, но глядел на него так равнодушно, как будто бы разглядывал что-то сквозь него. — Вот какую я тебе историю скажу. Видел я сегодня во сне Машутку, свою внучку... Есть, брат, у меня такая внучка в Ростове-на-Дону, Марьей ее зовут. Она портниха...

— Портниха? — озабоченно спросил Стаканыч. — Портних видеть — не знаю, что значит. А вот иголку с ниткой или вообще шить что-нибудь — это непременно к дороге...

— К дороге так к дороге. Оно так, пожалуй, и выходит, что к дальней дороге... Но очень бы мне хотелось ее еще раз повидать перед тем, как закончу земные гастроли.

— Что кончу? — переспросил Стаканыч, приставив ладонь рупором к уху.

— Абер глупости... ничего. — У дедушки было любимое словцо «абер», которое он без нужды совал в свою речь. — Потом глядел я все на небо. Осень теперь, Стаканыч, и воздух на дворе, как вино... Прежде, бывало, в такие ядреные дни все куда-то тянуло... на месте не усидишь... Бывало, нюхаешь, нюхаешь воздух, да ни с того ни с сего и закатишь из Ярославля в Одессу.

— Из Вологды в Керчь, — подсказал Стаканыч, вспомнив, по суфлерской привычке, слова из старой пьесы.

— Чушь! — с усилием поморщился дедушка. — Абер... я думал, что прошло уж это у меня. Но как сегодня с утра поглядел туда, — дедушка медленно перевел глаза на окно, — так и стал собираться. Выра-

жаясь высоким штилем, вижу, что мое земное турне окончено. Но... все равно.

— Что за мысли, дедушка! — рассудительным баском перебил Стаканыч и развел руки с растопыренными пальцами. — Просто напустил ты на себя мехлюзию. Еще на наши могилки песком посыплешь.

— Не-ет, брат... Вижу, что довольно. Поиграл пятаком, да и за щеку, как говорили у нас в Орле уличные мальчишки. Абер ты постой, Стаканыч, не егози, — остановил он рукой суфлера.—Мне, брат, это все равно...

— И не боишься, дедушка? — спросил вдруг неожиданно для самого себя с жадным любопытством Стаканыч.

— Ни чуточки. Наплевать!.. Гнусно мы с тобой, братец, нашу жизнь прошлепали! Это вот плохо... А бояться — чего же? «Таков наш жребий, всех живущих, — умирать». Ты не думай, Стаканыч, и тебе недолго ждать своей очереди.

Дедушка говорил эти страшные слова со своими обычными передышками, таким слабым и безучастным голосом, с таким равнодушным выражением усталых, запавших глаз, что казалось, будто внутри его говорила старая, испорченная машина.

— Так-то вот, Стаканыч. Рождение человека — случайность, а смерть — закон. Но ты был все-таки добрый малый и самый замечательный из суфлеров, каких я только встречал в своей большой и дурацкой жизни. Знакомы мы с тобой без малого лет сто, и никогда ты не был против меня жуликом. Поэтому я хочу тебе сделать презент. Возьми, брат, себе на память портсигар... вот он на столике... бери, бери, не стесняйся... Портсигар хороший, черепаховый... теперь таких больше не делают. Антик. Была на нем даже золотая монограмма, абер украли где-то, а то, может быть, я и сам ее потерял или того... как его... продал. Возьми, Стаканыч.

— Спасибо, дедушка... Только напрасно ты все это...

— Ну, ну, ну, чего там!.. В нем еще лежит мундштук пенковый. И мундштук возьми. Хороший мундштук, обкуренный...

Стаканыч вынул мундштук, повертел его и вздохнул.

— Спасибо, дедушка. Штучка великолепная. А у меня вот был тесть брандмейстер, знаешь, старого закала человек, из кантонистов. Так он давал пенки обкуривать своим пожарным. Совсем черные делались.

— Очень просто, — равнодушно согласился дедушка. — Так бери, Стаканыч, и мундштук. Все-таки когда-никогда вспомнишь товарища. А вот только о чем я тебя попрошу. Тут останется после меня разная хурда-мурда... одеялишко, подушки и из платья кое-что... Конечно, рухлядь, абер на худой конец все рублей пятнадцать дадут.

— Да? — выжидательно произнес суфлер.

— Жду я, видишь, не приедет ли внучка. Писала она мне письмо. Та́к отдашь ей. Путь не близкий, больших денег стоит.

Оба помолчали. Дедушка поиграл пальцами по одеялу и протянул суфлеру руку:

— Ну, а теперь того... прощай, Стаканыч. Полежу, подумаю...

— Священника бы? — нерешительно предложил Стаканыч.

— Абер... оставь. Был у нас в Крыжополе парикмахер Теофиль... из хохлов. Так он все говорил: обойдется цыганское веселье без марципанов. Чудак был человек. Смешно мне всегда это бывало, Стаканыч, что как ни парикмахер, так самый строгий театральный критик... Эх, Стаканыч, помнишь Тамбов? Конские ярмарки? Смольскую? Гусаров? Много, брат, мы с тобой пережили, абер все впустую, и все это мне теперь кажется, точно старая-престарая повесть... Ну, иди, иди, брат...

Стаканыч пожал его холодную, негнущуюся большую руку и, вернувшись на свою кровать, сел за прерванный пасьянс. И до самого обеда оба старика не произнесли больше ни слова, и в комнате стояла такая, по-осеннему ясная, задумчивая и грустная тишина, что обманутые ею мыши, которых пропасть водилось в старом доме, много раз пугливо и нагло выбегали из своего подполья на середину комнаты и, блестя черными глазенками, суетливо подбирали рассыпанные вокруг стола хлебные крошки.

III

Перед обедом пришли столкнувшиеся на подъезде Михаленко и Лидин-Байдаров. У опереточного премьера торчал под мышкой красный платочек, в который были завязаны какие-то припасы. Михаленко же вернулся в убежище злой и усталый. Ему не заплатили обещанной за спектакль платы, а так как свои деньги он оставил в театральном буфете, то ему и пришлось возвращаться через весь город пешком. Войдя в залу, он с силою швырнул свою шляпу-котелок о пол, цинично и длинно выругался и повалился на кровать. Он задыхался; его жирное лицо было бледно, единственный глаз выкатился наружу с выражением ненависти, а отвисшие щеки блестели от пота. Беспредметная злоба, сдавливавшая ему горло и разливавшаяся горечью во рту, искала какого-нибудь выхода. Он увидел на шкафчике у Лидина-Байдарова свою медную машинку для папирос и тотчас же придрался к этому.

— Послушай, ты, старый павиан, надо раньше спрашиваться, когда берешь чужую собственность. Подай сюда машинку, — сказал Михаленко.

— Какую там еще машинку? — надменно и в нос спросил Лидин-Байдаров. — Вот тебе твоя машинка, подавись!

— Прошу не швыряться чужими вещами, которые вы украли! — закричал Михаленко страшным голосом и быстро сел на кровати. Глаз его еще больше вылез из орбиты, а дряблые щеки запрыгали. — Вы мерзавец! Я знаю вас, вам не в первый раз присваивать чужое. Вы в Перми свели из гостиницы чужую собаку и сидели за это в тюрьме. Арестант вы!

От злости, болезни и усталости у него не хватало в груди воздуха, и концы фраз он выдавливал из груди хрипящим и кашляющим шепотом.

Байдаров обиделся. Обычная спесивая манера покинула его, и он визгливо закричал, брызгая от торопливости слюнями:

— А я вас попрошу, господин Михаленко, немедленно возвратить мне взятые у меня манжеты и галстук. И десять штук папирос, которые вы мне должны.

Х-ха! Нечего сказать, хорош драматический актер: никогда своего табаку не имеет. Потерянная личность!..

— Молчите, старый дурак. Я вам размозжу голову первым попавшимся предметом! — захрипел Михаленко, хватаясь за спинку стула и тряся им. — Я могу быть страшен, черт возьми!..

— Ак-тер! — язвил тоном театрального презрения Лидин-Байдаров. — Вы на ярмарках карликов представляли.

— А вы — вор! Вы в Иркутске свистнули из уборной у Вилламова серебряный венок и потом поднесли его сами себе в бенефис. Низкий, слюнявый субъект!

Они ругались долго и ожесточенно, ругались до тех пор, пока самые безобразные слова не потеряли своего смысла и перестали быть обидными. И самое нелепое в этой руготне было то, что они с обычного актерского «ты» перешли для большей язвительности на «вы», и это вежливое местоимение смешно и дико звучало рядом с бранными выражениями кабаков и базаров. Потом, уставши, они стали браниться ленивее, с большими перерывами, подобно тому как ворчат, постепенно затихая, но все-таки огрызаясь время от времени, окончившие драку собаки. Но из Михаленки не успело еще выкипеть бессильное, старческое раздражение. Когда принесли обед, он сначала привязался к Стаканычу за то, что тот взял стул, который Михаленко считал почему-то принадлежащим ему, а затем напал на Тихона, расставлявшего посуду.

— Ты, гарнизонная крыса, не мажь пальцами по тарелке. Ты думаешь, приятно есть после твоих поганых рук!

— Да разве я... Ах, господи! — обиделся Тихон. — Откуда же у меня руки будут поганые, когда я мыл их перед обедом с мылом?

— Знаю я тебя, кислая шерсть, — продолжал ворчать Михаленко. — Тоже подумаешь — севастополец. Герой с дырой... Севастополь-то вы свой за картошку продали... герои...

Тихон всегда довольно терпеливо сносил крупную соль актерских острот, но он никогда не прощал Михаленке Севастополя и легендарной картошки. И

теперь, побагровев от негодования, с дрожащими руками, он закричал плачущим и угрожающим голосом:

— А вы вот что, господин Михаленко! Если вы про Севастополь еще одно слово, я завтра же пойду к смотрителю. Так и скажу, что житья мне от вас нет. Только пьянствуете и ругаетесь. Небось, как из богадельни вас попросят, куда вы сунетесь? Одно останется: руку горсточкой протягивать.

Перед обедом Стаканыч готовил себе салат из свеклы, огурцов и прованского масла. Все эти припасы принес ему Тихон, друживший со старым суфлером. Лидин-Байдаров жадно следил за стряпней Стаканыча и разговаривал о том, какой он замечательный салат изобрел в Екатеринбурге.

— Стоял я тогда в «Европейской», — говорил он, не отрывая глаз от рук суфлера. — Повар, понимаешь, француз, шесть тысяч жалованья в год. Там ведь на Урале, когда наедут золотопромышленники, такие кутежи идут... миллионами пахнет!..

— Все вы врете, актер Байдаров, — вставил, прожевывая говядину, Михаленко.

— Убирайтесь к черту! Можете спросить кого угодно в Екатеринбурге, вам всякий подтвердит... Вот я этого француза и научил. Потом весь город нарочно ездил в гостиницу пробовать. Так и в меню стояло: салат а ла Лидин-Байдаров. Понимаешь: положить груздочков солененьких, нарезать тоненько крымское яблоко и один помидорчик и накрошить туда головку лука, картофеля вареного, свеклы и огурчиков. Потом все это, понимаешь, смешать, посолить, поперчить и полить уксусом с прованским маслом, а сверху чуть-чуть посыпать мелким сахаром. И к этому еще подается в соуснике растопленное малороссийское сало, знаешь, чтобы в нем шкварки плавали и шипели... Уд-дивительная вещь! — прошептал Байдаров, даже зажмурясь от удовольствия. — А ну-ка, Стаканыч, дай-ка попробовать, что ты там накулинарил?..

Дедушка отказался от обеда. Садясь за стол, Михаленко и его задел ядовитым словом:

— Что, дедушка, помирать собрался? Пора бы уж, старик, пора; землей пахнешь. Тебе, чай, на том свете давно провиант отпускают.

Дедушка спокойно, без всякого выражения скользнул взглядом по Михаленке, точно поглядел мимоходом на неодушевленный предмет.

— Противный ты человек, Михаленко, — сказал он равнодушно.

Когда актеры кончили обед и Тихон принялся убирать со стола, дедушка поманил его к себе рукой и спросил:

— А что, Тихон, обо мне никто там не справлялся?

— Где-с, Николай Николаевич? — изумился Тихон.

— Говорю, не приходили ли ко мне?.. Дама одна...

— Никак нет, никто не приходил. — Тихон от удивления даже развел руками, нагруженными посудой.

— Абер... ты вот что, Тихон... Если я засну или что, а там придут ко мне, так ты меня того... разбуди. Барыня одна придет... внучка моя... Так ты разбуди...

Дедушка слабо махнул рукой и отвернулся от Тихона. И до глубокой ночи он лежал молча, еле заметно двигая пальцами по одеялу и пристально, со строгой важностью глядя то в противоположную стену, то в широкое венецианское окно, за которым тихо и ярко горела вечерняя заря.

А Михаленко с Лидиным-Байдаровым после обеда как ни в чем не бывало сели играть в шестьдесят шесть. Но Михаленке не везло и в картах. Он проиграл два с полтиной, что вместе со старым долгом составило круглую сумму в две тысячи рублей. Это рассердило Михаленку. Он стал проверять записи партнера и кончил тем, что уличил его в нечестной игре. Актеры опять сцепились и в продолжение двух часов выдумывали друг о друге самые грязные и неправдоподобные истории.

IV

Славянов-Райский с утра не покидал «Капернаума». Стоя у прилавка, он держал рюмку двумя пальцами, оттопырив мизинец, и жирным актерским баритоном

благосклонно и веско беседовал с хозяином о том, как идут дела ресторана, и о старых актерах, посещавших в былые времена из года в год «Капернаум». Ресторанный воздух точно воскресил в нем ту наигранную, преувеличенную и манерную любезность, которой отличаются актеры вне кулис, на глазах публики. Случалось, что кто-нибудь тянулся через него к стойке. Тогда он учтиво и предупредительно отодвигался вбок, делал свободной от рюмки рукой плавный, приглашающий жест и произносил великолепным тоном театрального старого барина:

— Тысячу извинений... Пра-ашу вас.

Устав стоять, он сел за ближайший к прилавку столик, облюбованный, по старой привычке, завсегдатаями «Капернаума», и спросил газету. Ресторан быстро наполнялся. Сюда обыкновенно ходили, привлекаемые дешевизной и уютностью, студенты, мелкие чиновники и приказчики. Скоро не осталось ни одного свободного места. Два запоздавшие посетителя — один, постарше, хохластый, с крючковатым носом, похожий на степенного попугая, а другой маленький, подвижный, с длинными маслеными волосами и в пенсне — не находили где присесть и, смеясь, озирались по сторонам. Райский перехватил взгляд длинноволосого. Слегка приподнявшись, он произнес с напыщенной вежливостью:

— Если вас только не стеснит... э-э... я позволю себе предложить вам место за своим столом...

Посетители рассыпались в благодарностях и пошли к буфету пить водку. Оба они считались в ресторане почетными гостями, «дававшими хорошо торговать». Они поздоровались с хозяином за руку и заговорили с ним вполголоса. Славянов-Райский понял, что речь шла о нем. Притворяясь углубленным в «Новое время», он ловил привычным ухом отрывки фраз, которые шепотом говорил хозяин, наклоняясь через стойку:

— Ну да, тот самый... Помилуйте, пятьсот за выход. Это в те-то времена! Талантище зам-мечательный... Только двое: он да Иванов-Козельский... Что? Ну, конечно, если бы не пил...

Гости, дававшие торговать, были польщены. Прежде чем сесть, тот, что был похож на попугая, сморщил лицо в заискивающую улыбку и, кланяясь и потирая руки, сказал:

— В таком случае... хе-хе-хе... нельзя ли уж нам всем познакомиться... Знаете ли, в тесноте, да не в обиде... Позвольте представиться...

Он оказался оценщиком земельного банка, а его товарищ — воскресным фельетонистом местного листка. Фельетонист встряхивал маслеными волосами и бормотал:

— Мы оба с вами представители искусства... Ваше громкое имя... Печать и сцена, как два полюса, всегда должны идти рука об руку.

Славянов-Райский, падкий на ресторанные знакомства, пожимал им руки, приветливо кивал головой и улыбался широкой, деланной, актерской улыбкой, обнаружившей беззубый рот.

— Очень приятно встретиться... В теперешнее время забывают нас, старых артистов, и тем более отрадно... Нет, нет, благодарствуйте, от завтрака я откажусь... Но если вы уже так настаиваете, то разве одну только м-маленькую рюмочку водки... за компанию. Только уговор: расчет по-американски, каждый за себя... Merci. Ваше здоровье!.. Пожалуйста, не беспокойтесь, мне отлично сидеть. Благодарю вас, коллега, благодарю, — говорил он покровительственным баском, пожимая с фамильярной лаской руку фельетониста выше локтя.

Славянов и вправду не хотел есть, потому что, как застарелый алкоголик, давно страдал отсутствием аппетита. Водку же и пиво он пил благосклонно, но опьянел от четырех рюмок и стал врать. Поклонники ели порционный завтрак, а он критиковал кушанья и объяснял подробно, как выкармливают в Тамбове поросят, как отпаивают телят в Суздале и какую уху он ел у рыбаков на Волге. Потом он рассказывал о баснословных кутежах, которые в его честь задавал в каком-то губернском городе директор банка, угодивший впоследствии под суд, и о торжественном обеде, устроенном ему в Москве печатью. При этом он без затруднения

сыпал фамилиями, выхватывая их из старых пьес или просто сочиняя, и всех называл уменьшительными именами: «Сашка Путята... сверхъестественный мужчина... двадцать четыре тысячи в год, не считая суточных!.. И с ним вместе Измаилка Александровский... Измаилушка! Вот это были люди! Измаил на вытянутой руке подымал восемнадцать пудов... Пойми ты, огарок, воссем-надцать пудов!» Он уже обращался к своим новым знакомым на «ты» и, забыв американский расчет, бесцеремонно распоряжался за столом.

Затем он начал читать монологи пьяным, хриплым голосом, с воплями, завываниями и неожиданной икотой в драматических местах. Иногда он забывал слова и, с трудом вспоминая их, делал вид, что длинной паузой усиливает смысл фразы; тогда он молча и бессильно раскачивался на стуле с рукой, застывшей в трагическом жесте, и со страшными, вращающимися глазами. Но так как оба его соседа начинали чувствовать себя неловко, а многие посетители, оставив свои места, собирались вокруг почетного столика, то сам хозяин подошел к пьяному актеру и стал его уговаривать:

— Меркурий Иваныч, не разоряйтесь, пожалуйста. Знаете ли, безобразно... и другие гости обижаются. Ну разве нельзя честь честью! Тихо, мирно, благородно...

— Уйди от меня, буржуй! — закричал Славянов, отмахиваясь от хозяина локтем и меряя его грозным взглядом. — С кем говоришь!..

И он принялся скандалить, как скандалил после выпивки всю свою жизнь, во всех городах и во всех ресторанах. Сначала он обозвал скверными словами хозяина, потом своих собеседников, пытавшихся его образумить, и наконец обрушился на всю глазевшую на него публику.

— Все вы свиньи, ненавидимые мной! — кричал он, качаясь взад и вперед на стуле и стуча кулаками по столу. — Ненавижу вас и презираю!.. Публика! Есть ли на свете слово низменнее этого? А-а! Вы сбежались посмотреть на скандал? Ну, так вот вам, глядите! — Славянов с размаху хлопнул себя ладонью по груди. — Вот перед вами первый в России трагический актер, который влачит нищенское существование. Любопытно?

И все-таки я презираю вас, хамы, всеми фибрами своей души! Вы, кажется, смеетесь, молодой идиот в розовом галстуке? — обратился он вдруг к кому-то за соседним столиком. — Кто вы такой? Вы приказчик? Камердинер? Бильярдный шулер? Парикмахер? Ага! Улыбка уже исчезла с вашего лошадиного лица. Вы — букашка, вы в жизни жалкий статист, и ваши полосатые панталоны переживут ваше ничтожное имя. Да, да, смотрите на меня, жвачные животные! Я был гордостью русской сцены, я оставил след в истории русского театра, и если я пал, то в этом трагедия, болваны! А вы, — Славянов обвел широким пьяным жестом всех глазевших на него встревоженных людей, — вы мелочь, сор, инфузории!..

— Позвольте!.. Это скандал!.. Мы этого не потерпим! — раздались негодующие восклицания. — Где хозяин? Выкинуть этого субъекта! Послать за полицией!..

Трактирный слуга бережно взял Славянова под мышки и повлек к выходу. Славянов не сопротивлялся, но и не переставал браниться. Когда же его просовывали в двери, он разбил кулаком оконное стекло и окровянил себе руку. Оценщик банка и фельетонист решили вдруг, что с их стороны будет постыдно бросить на произвол судьбы пьяного, больного старика. С большим трудом узнали они у первого трагического актера его адрес и при помощи дворника усадили его на пролетку. Но, отъехав два шага, Славянов вдруг остановил извозчика.

— Послушайте, как вас? — пьяным движением руки подозвал он к себе оценщика. — Это я с вами, кажется, сидел? Дайте рубль.

— Ах, пожалуйста, — любезно заторопился бухгалтер, вынимая из кармана портмоне.

— Давайте сюда... Отлично. Запишите этот день красными чернилами в своем гроссбухе. Сегодня вы подали милостыню артисту Славянову-Райскому. Черт вас побери!..

И всю дорогу, до самого убежища, он бранился скверными словами, раскачиваясь в разные стороны на пролетке.

V

В убежище он явился совершенно пьяный. Глаза у него остекленели, нижняя челюсть отвисла, из-под сидевшей на затылке шляпы спускались на лоб мокрыми сосульками волосы. Войдя в общую комнату, он скрестил руки, свесил низко на грудь голову и, глядя вперед из-под грозно нахмуренных бровей, так что вместо глаз виднелись одни только белки, начал неистовым голосом гамлетовский монолог:

...Для чего
Ты не растаешь, ты не распадешься прахом,
О, для чего ты крепко, тело человека!

— Н-да-а, хоро-ош! — сказал Стаканыч, качая головой.

— Тихон, — взвизгнул фистулой Михаленко, — уберите немедленно этого пьяного господина!

Но Славянов продолжал декламировать, не обращая на него внимания. И, несмотря на сильное опьянение, несмотря на хрипоту и блеяние в голосе, он все-таки, по бессознательной привычке, читал очень хорошо, в старинной благородной и утрированной манере:

И если бы всесильный нам не запретил
Самоубийства... Боже мой, великий боже!
Как гнусны, бесполезны, как ничтожны
Деянья человека на земле!

— Эй, суфлер, что же ты не подаешь? Заснул! — крикнул Славянов на Стаканыча, который смотрел на него, сидя на кровати и кривя рот в довольную усмешку.

— Меркурь Иваныч, вы же знаете, что я по Полевому не могу. Я по Кронебергу.

— Подавай, как тебе велят...

Жизнь! Что ты? Сад, заглохший
Под дикими бесплодными травами!.
Едва лишь шесть недель прошло...

— Прошу вас, пьяный актер Райский, прекратить вашу дурацкую декламацию! — опять закричал Михаленко. — Вы не в кабаке, где вы привыкли кривляться за рюмку водки и бутерброд с килькой.

— Молчи, червяк! — бросил ему с трагическим жестом Славянов. — С кем говоришь?.. Подумай, с кем ты говоришь... Ты, считавший за честь подать калоши артисту Славянову-Райскому, когда он уходил с репетиции, ты, актер, игравший толпу и голоса за сценой! Раб! Неодушевленная вещь!..

— У! Дурак пьяный! — выдавил из себя вместе с припадком кашля Михаленко.

— А-а! Ты забыл разницу между нами? Негодный! Это целая бездна. Во мне каждый вершок — великий артист, вы же все — гниль и паразиты сцены.

— Однако вы потише, господин Райский, — гордым тоном вмешался Лидин-Байдаров. — Если вы будете продолжать ваши пьяные оскорбления людей, которые вас не трогают, то вы можете сильно за это поплатиться, черт возьми!..

— Ты... ты... ты!.. — захлебнулся Славянов от негодования. — Как у тебя повернулся язык? Этот вот, — он величественно указал на Михаленку, — этот хоть ходил по сцене, подавая стаканы, но он все-таки актер...

— Эфиоп вы! — более спокойным тоном огрызнулся Михаленко.

— А ты, кан-налья, ты вылез на сцену, не имея на это никаких прав, кроме толстых ляжек в розовом трико. Ты пел козлом и делал гнусные телодвижения. «О сновиденье, о наслажденье!» — передразнил Славянов, сделав непристойный жест. — Ты попал в храм искусства по недоразумению, случайно, как мог бы попасть в распорядители кафешантана или открыть публичный дом. Ты — медная голова, ты — бесстыдник! Вот именно, бес-стыд-ник! У тебя, как у мелкого, гаденького и похотливого зверюшки, никогда не было стыда за свой жест, за свою мимику, не было стыда лица и тела. Тебе, с твоей развязностью продажного мужчины, ничего не стоило бы голым выскочить пред публику, если бы только на это дал позволение околоточный надзиратель, которого одного ты боялся и уважал во всю свою презренную жизнь.

— Я не понимаю, что меня удерживает от удовольствия вышвырнуть вас в окно! — воскликнул напыщенно Лидин-Байдаров.

— У-у, кретин! Ведь в каждом звуке твоего голоса слышна глупость, в каждом твоем движении видно разжижение мозга. Но у тебя никогда нельзя было разобрать, где у тебя кончается глупость и где начинается подлость. Даже от твоего театрального имени веет пошлостью и нахальством. «Лидин-Байдаров»! Скажите пожалуйста!.. А ты просто шкловский мещанин Мовша Розентул, сын старьевщика и сам в душе ростовщик.

— Пропойца, скандалист, дутая знаменитость!

— Пропойца! — презрительным басом и выпятив нижнюю губу, протянул Славянов. — Соглашаюсь, был Славянов-Райский пропойцей. Пил чрезмерно и много безобразничал, бил портных и реквизиторов, бил антрепренеров и рецензят, иудино племя. Но спроси, кто помнит зло на Славянове-Райском? Через мои руки прошли сотни тысяч денег, но спроси, где они? От меня ни один бедняк, ни один маленький актеришко не вышел без помощи. Шарманщики, уличные акробаты, слепые музыканты были моими друзьями. А сколько пиявок питалось около меня!.. И так я жил!.. Широко жил, с размахом. Вон Стаканыч знает меня пятнадцать лет, он скажет. Правду я говорю, Стаканыч?

— Вы мне, что ли, Меркурь Иваныч? — спросил суфлер, отрываясь от своих коробочек и делая руку над глазами щитком.

— Всегда первый номер в самой дорогой гостинице. Прислуге швырял золото, как индийский принц. Лучший экипаж, лошади — львы, кучер — страшилище, идолом сидит на козлах. Свой собственный лакей был — Мишка. Кто не знал моего Мишку? Антрепренеры в нем заискивали, чтобы узнать, в каком духе я проснулся сегодня... за руку с ним здоровались. А как я одевался! Всегда фрак и английское белье. Каждый день Мишка покупал для меня новую сорочку: стираного не носил, гнушался. Портные за честь считали шить для меня в долг. Городские франты нарочно ходили в театр поучиться у меня, как надо носить платье.

— Вот, брат, и проносился, — ехидно вставил Лидин-Байдаров.

— О тварь, ненавидимая мною! — завопил Славянов. — Да, я проносился, пропился и пал до того, что

живу в одной грязной клетке с такой мерзкой обезьяной, как ты. Но я прожил огромную жизнь, я испытал сладость вдохновения, и за мною шла сказочная, царственная слава. Я заставлял людей плакать и радоваться. О, что я делал с толпой! Когда в «Макбете» в сцене с кинжалом я показывал рукой в пространство, то полторы тысячи зрителей вставали с своих мест, как один человек. А каким я был Коррадо! В Харькове полиция не дала мне доиграть последнего акта, потому что тогда разрыдались все — и мужчины, и женщины, и даже на глазах у актеров, игравших со мною, я видел слезы. Пойми же, орангутанг, слезы!.. Ты, балаганный Петрушка, бесчестил швеек, обещая сделать из них опереточных примадонн, в тебя стреляли, как в бешеную собаку, когда ты убегал из опозоренных тобою спален, ты дрожал над каждой копейкой и отдавал тайком деньги в незаконный рост, и только потому не сделался под старость содержателем ссудной кассы, что тебя, когда ты стал скорбен главою, обобрала первая попавшаяся судомойка. Ты в каждом городе оставлял грязные хвосты, и есть тысячи людей, которым ты, при всей своей наглости, не посмеешь поглядеть в глаза. А я по всей России, от Архангельска до Ялты и от Варшавы до Томска, прошел с гордо поднятой головой, не чувствуя ни стыда, ни страха. Со мною губернаторы считались! Когда на Волге описали за долги мой театр и ко всем дверям приложили печати, что я сделал? Я не тронул печатей, но снял с петель все двери и все-таки дал спектакль. Кто бы мог это сделать, кроме Славянова-Райского?.. Стой, Тихон! — остановил он солдата, который в это время бережно нес к образу зажженную лампадку. — Дай закурить...

Славянов потянулся к огню, но Тихон сурово посмотрел на актера и отвел руку с лампадкой в сторону.

— Стыдитесь, господин Райский, —сказал он внушительно. — Пора бы уж и о смертном часе подумать, а вы святотатствуете. Где же это видано, чтобы от лампадки закуривали? Да еще в такой праздник?

— Ну, ну, гарниза-пуза, пошел разговаривать! — крикнул со своей кровати Михаленко. — Вот, постой, я

перебью все твои лампадки. Только вонь разводишь. Идолопоклонник!..

— Эх, уж вы-ы! — безнадежно махнул рукой Тихон. — Одно слово, безбожники вы, господин Михаленко. Вот господин Райский... они хоть и выпивши, а я на них никак не надеюсь, чтобы они такое слово сказали.

Обличительная речь Тихона дала вдруг новое направление пьяным мыслям Славянова. Он умилился и со слезами полез целовать солдата.

— Тихон, душа моя!.. Добрый, старый, верный Тихон! Понимаешь ты Славянова-Райского? Жалеешь? Дай я поцелую твою честную седую голову.

— Господи, да как же нам не понимать! — расчувствовался в свою очередь Тихон. Он утерся рукавом и с готовностью подставил губы Славянову. Потом, с кряхтеньем установив лампадку и слезая с табурета, он сказал, добродушно и укоризненно покачивая головой: — А нет того, чтобы отставному севастопольцу пожертвовать на построение полдиковинки. Сами кушаете водочку, а свою верную слугу забываете.

— Тихон! Радость моя! Голубка! Все я растранжирил, старый крокодил... Впрочем, постой... Там у меня, кажется, еще что-то осталось. — Он пошарил в кармане и вытащил оттуда вместе с грязной ватой, обломками спичек, крошками табаку и другим сором несколько медных монет. — На, получай, старый воин. И знай, Тихон, — вдруг с пафосом воскликнул Славянов, ударив себя в грудь кулаком, — знай, что тебя одного дарит своей дружбой жалкая развалина того, что раньше называлось великим артистом Славяновым-Райским!

И он расплакался обильными, пьяными, истерическими слезами. Оплакивал он свою погибшую шумную жизнь, и свою сиротливую старость, и то, что его никто не понимает, и то, что его давеча так оскорбительно вывели из ресторана. Его сожители давно уже лежали под одеялами, а он все говорил и говорил, изредка обращаясь к своему соседу Стаканычу, который отвечал сонным, невнятным мычанием. И в этом неясном бреде безобразно сплетались экипажи, фраки, губерна-

торы, серебряные сервизы, отрывки ролей и грязная ругань. И когда он, наконец, заснул, то все еще продолжал бормотать в тяжелом, полном призраков, пьяном сне.

VI

К часу ночи на дворе поднялся упорный осенний ветер с мелким дождем. Липа под окном раскачивалась широко и шумно, а горевший на улице фонарь бросал сквозь ее ветви слабый, причудливый свет, который узорчатыми пятнами ходил взад и вперед по потолку. Лампадка перед образом теплилась розовым, кротко мерцающим сиянием, и каждый раз, когда длинный язычок огня с легким треском вспыхивал сильнее, то из угла вырисовывалось в золоченой ризе темное лицо спасителя и его благословляющая рука.

Все актеры, кроме Славянова, бредившего во сне, проснулись среди ночи и лежали молча, со страхом и тоскою в душе. Лидин-Байдаров, у которого от прежних привычек осталась только жадная любовь к сладкому, ел принесенную им днем ватрушку с вареньем и старался делать это как можно тише, чтобы не услыхали соседи. Михаленко, покрывшись с головой одеялом, пугливо прислушивался к глухому и тревожному биению своего сердца. Каждый раз, когда ветер, напирая на стекла и потрясая ими, бросал в них с яростной силой брызги дождя, Михаленко глубже прятался головой в подушку и наивно, как это делают в темноте боязливые дети, закрещивал мелкими быстрыми крестами все щелочки между своим телом и одеялом. Стаканыч слез с кровати и стоял на коленях. В темноте слышались его глубокие вздохи, однообразный, непрерывный и торопливый шепот и глухой стук его лба о пол. Напротив его, все так же прямо и неподвижно вытянувшись, лежал дедушка. Глаза его медленно переходили с черного окна на нежно-розовый мерцающий свет лампадки и на тени, качавшиеся по потолку. Лицо у него было важное, спокойное и задумчивое.

Позднее других проснулся Славянов-Райский. Он был в тяжелом, грузном похмелье, с оцепеневшими

руками и ногами, с отвратительным вкусом во рту. Сознание возвращалось к нему очень медленно, и каждое движение причиняло боль в голове и тошноту. Ему с трудом удалось вспомнить, где он был днем, как напился пьяным и как попал из ресторана в убежище.

Он вспомнил также, что у него в кармане пальто лежит полбутылка водки, которую он всегда, даже в самом пьяном состоянии, запасал себе на утро. Это у него была своеобразная, приобретенная долгим пьяным опытом и обратившаяся в инстинкт привычка старого алкоголика. Он встал и прошел босиком к шкафу, где висело верхнее платье. Через минуту оттуда послышалось, как задребезжало в его дрожащих руках, стуча о зубы, горлышко бутылки, как забулькала в ней жидкость и как сам Славянов закряхтел и зафыркал губами от отвращения.

— Райский, душечка, одолжи и мне, — молящим шепотом попросил Михаленко, — такая тоска... такая тоска...

Славянов поднял бутылку и нерешительно посмотрел сквозь нее на свет лампадки. Ему было жаль водки, но он никогда не умел отказать, если его о чем-нибудь просили.

— Эх, ну уж ладно, давай стакан, — сказал он, сморщившись.

В темноте опять заплескала жидкость, и зазвенело стекло о стакан.

— Ну, вот спасибо, братик, спасибо, — говорил Михаленко. — Ффа-а-а, ожгло!.. Славный ты товарищ, Меркурий Иваныч...

— Ну ладно уж... чего уж там... Давеча я наговорил тебе неприятностей, так ты уж того... не очень сердись.

— Вот глупости. Чай, мы с тобой не чужие. Свой брат, Исакий. Ты мне, я тебе, без этого не обойдешься.

— Верно, верно, милый... именно не обойдешься, — со вздохом зашептал Славянов, усаживаясь на кровати Михаленки. — Трудно без этого. Живем мы кучей, тесно и все друг о друга тремся. Видал ты, в некоторых домах ставят такие стеклянные мухоловки с пивом? Наберется туда мух видимо-невидимо, и все они в соб-

ственном соку киснут да киснут, пока не подохнут. Так и мы, брат Саша, в своей мухоловке закисли и обозлились... А кроме того, я и особо сердит на этого идиота, Байдарова. Ну, скажи на милость, какой он нам товарищ? Какой он артист? Все равно, что из грязи пуля. Другое дело, взять хоть бы нас с тобой, Сашуха..., все-таки мы как-никак, а послужили театру.

— Что уж вы, Меркурий Иваныч, ровняете меня с собой. Вы, можно сказать, — кит сцены, а я так... пескаришка маленький...

— Оставь, Саша. Оставь это, братец мой. У тебя тоже талантище был: теплота, юмор, свежести сколько. У теперешних механиков этого нет. Другой шерсти люди. Нутра им вовсе не дадено от природы. А ты нутром играл.

— Где уж нам, Меркурий Иваныч! Наше дело маленькое. За вас вот обидно.

— Нет, нет, ты не греши, Саша, ты этого не говори. Я ведь тебя хорошо помню в «Женитьбе Белугина». Весь театр ты тогда морил со смеху. Я стою за кулисами и злюсь: сейчас мой выход, сильное место, а ты публику в лоск уложил хохотом. «Эка, думаю, переигрывает, прохвост! Весь мой выход обгадил». А сам, понимаешь, не могу от смеха удержаться, трясусь, прыскаю — и шабаш. Вот ты как играл, Сашец! У нынешних этого не сыщешь. Шалишь!.. Но не везло тебе, Михаленко, судьбы не было.

— Что ж, Меркурий Иваныч, — согласился польщенный Михаленко, — это верно, что и меня публика хорошо принимала. Только голосу у меня нет настоящего, вот что скверно. Астма эта проклятая.

— Вот, вот, вот... я это самое и говорю. Астма или там, скажем, судьба — это все равно. Мне вот повезло, и я покатил в гору, а ты хоть и талантлив и знаешь сцену, как никто, а тебе не поперло. Но это и не суть важно. Главное, что упали-то мы с тобой все равно в одно место, в одну и ту же отравленную мухоловку, и тут нам пришел и сундук и крышка.

— Не пили бы, так и не падали бы, Меркурий Иваныч, — с горькой насмешкой вставил Михаленко.

— Молчи, молчи, Саша, — испуганно и умоляюще зашептал Славянов, — не смейся над этим... Разве легко падать-то? Погляди на меня. Я ли не был вознесен, а теперь что? Живу на иждивении купчишки, хожу по трактирам, норовлю выпить на чужой счет, кривляюсь... Бывает ведь и мне стыдно, Саша... ох, как стыдно!.. Ведь мне, Саша, голубушка ты моя, шестьдесят пять лет в декабре стукнет. Шестьдесят пя-ать... Цифра!.. В детстве, я помню, начну, бывало, считать свои года и все радуюсь, какой я большой, сколько времени на один счет уходит. А ну-ка, посчитай теперь-то! — неудержимо зарыдал вдруг Славянов. — Дедушка ведь я, маститый старец, патриарх, а где мои внуки, где мои дети? Черт!

Темнота ночи все сильнее взвинчивала нервы Славянова, разбитые тяжелым похмельем. Он бил себя в грудь кулаками, плакал, сморкался в рубашку и, качаясь, точно от зубной боли, взад и вперед на кровати Михаленки, говорил всхлипывающим, тоскливым шепотом:

— Мира я хочу, тишины, простого мещанского счастья!.. Иду я иной раз вечером по улице и — привычка у меня такая — все в чужие окна гляжу. И вот, бывало, видишь: комнатка этакая мирная, лампа, круглый стол, самоварчик... тепло, должно быть, там... пахнет жильем, домовитостью, геранью. А кругом народ, молодой, бодрый, веселый, любящий... И старикашка тут же где-нибудь пристроился — седенький, опрятненький, благодушный. Сидит себе с черешневым чубуком, и все к нему так ласково, с почтением... А я, старый шут, стою на улице и мерзну, и плачу, и все смотрю... Слыхал я и по пьесам знаю, что бывают милые, верные на всю жизнь женщины, сиделки в болезни, добрые друзья в старости. Где они, эти женщины, Михаленко? Любили, брат, и меня, — но какая это была любовь? После бенефиса поехали за город, тройки, галдеж, пьяное вранье, закулисные прибаутки, и тут же затрепанные, загаженные слова: «Люблю тебя свободною любовью! Возьми меня, я вся твоя!» Отдельный кабинет, грязь, пьяная, угарная любовь, скитание вместе по труппам, и вечно старый, гнусный водевиль

«Ревнивый муж и храбрый любовник». И вот жизнь прошла, и нет у меня во всем мире ни души. Н-ни души! Тоска, мерзость... Знаешь, Саша, — Славянов наклонился к самому уху Михаленки, и в его шепоте послышался ужас, — знаешь, вижу я теперь часто во сне, будто меня кто-то все догоняет. Бегу я будто по комнате, и много, много этих комнат впереди, и все они заперты... И знаю я, что надо мне успеть открыть двери, вытащить ключ и запереться с другой стороны. И тороплюсь я, тороплюсь, и страшно мне до тошноты, до боли... Но ключи заржавели, не слушаются, и руки у меня, как деревянные. А «он» все ближе, все ближе... Едва успею я запереться, а «он» уж тут, рядом, напирает на двери и гремит ключом в замке... И знаю я, чувствую я, что не спастись мне от него, но бегу из комнаты в комнату, бегу, бегу, бегу...

— Эх, не скулил бы ты, Меркурий Иванович, — с безнадежным унынием перебил Михаленко.

— Но хуже всего, что гадок я себе самому, гадок! — страстным шепотом восклицал Славянов. — Отвратителен!.. Милостыней ведь живу, Христа ради... И все, все мы такие. Мертвецы ходячие, рухлядь! Старая бутафорская рухлядь! О-о-о, гнусно, гнусно мне!..

Он схватился обеими руками за ворот рубашки и разодрал ее сверху донизу. В груди у него что-то клокотало и взвизгивало, а плечи тряслись.

— Уйди ты, уйди, ради бога, Меркурий Иванович! — умолял Михаленко. — Не надо, родной... боюсь я... страшно мне...

Шлепая по полу босыми ногами, с мокрым лицом, шатаясь на ходу от рыданий, Славянов тяжело перевалился на свою кровать. Но он еще долго метался головой по подушке, и всхлипывал, и горячо шептал что-то, сморкаясь в простыню. Не спал и Лидин-Байдаров. Крошки от ватрушки набились ему под одеяло, прилипали к телу и царапались, а в голову лезли все такие скучные, ненужные и позорные мысли о прошлом. Стаканыч, намазавший на ночь грудь и поясницу бобковой мазью, кряхтел и ворочался с боку на бок. Его грыз застарелый ревматизм, который всегда с особенной силой разыгрывался в непогоду. И вместе со словами

молитв и привычными мыслями о сыне в его памяти назойливо вставали отрывки из старых, забытых всем миром пьес.

Один дедушка лежал неподвижно. Его руки были сложены на груди, поверх одеяла, и не шевелились больше, а глаза были устремлены вперед с таким строгим и глубоким выражением, как будто дедушка думал о чем-то громадном и неизмеримо превышающем все человеческие помыслы. И в этих немигающих, полузакрытых глазах, не проникая в них, отражался стеклянным блеском розовый свет лампадки.

А ночь тянулась нестерпимо долго и тоскливо. Было еще темно, когда Михаленко, охваченный внезапным страхом, вдруг сел на кровати и спросил громким, дрожащим шепотом:

— Дедушка, ты спишь?

Но дедушка не ответил. В комнате была грозная, точно стерегущая кого-то тишина, а за черным окном бушевал ветер и бросал в стекла брызги дождя.

БОЛОТО

Летний вечер гаснет. В засыпающем лесу стоит гулкая тишина. Вершины огромных строевых сосен еще алеют нежным отблеском догоревшей зари, но внизу уже стало темно и сыро. Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Неслышно и быстро опускается на землю мягкая северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Одни только дятлы еще выбивают лениво, точно сквозь сон, свою глухую, монотонную дробь.

Вольнопрактикующий землемер Жмакин и студент Николай Николаевич, сын небогатой вдовы-помещицы Сердюковой, возвращаются со съемки. Идти домой, в Сердюковку, им поздно и далеко: они заночуют сегодня в казенном лесу, у знакомого лесника — Степана. Узкая тропинка вьется между деревьями, исчезая в двух шагах впереди. Высокий и худой землемер идет, сгорбившись и опустив вниз голову, — идет тем редким, приседающим, но размашистым шагом, каким ходят привычные к длинным дорогам люди: мужики, охотники и землемеры. Коротконогий, низенький и полный студент едва поспевает за ним. Он вспотел и тяжело дышит открытым ртом; белая фуражка сбита на затылок; рыжеватые спутанные волосы упали на лоб; пенсне сидит боком на мокром носу. Ноги его то скользят и разъезжаются по прошлогодней, плотно улежавшейся хвое, то

с грохотом цепляются за узловатые корневища, протянувшиеся через дорогу. Землемер отлично видит это, но нарочно не убавляет шагу. Он устал, зол и голоден. Затруднения, испытываемые студентом, доставляют ему злорадное удовольствие.

Землемер Жмакин делает, по приглашению госпожи Сердюковой, упрощенный план хозяйства в ее жиденьких, потравленных скотом и вырубленных крестьянами лесных урочищах. Николай Николаевич добровольно вызвался помогать ему. Помощник он старательный и толковый, и характер у него самый удобный для компании: светлый, ровный, бесхитростный и ласковый, только в нем много еще осталось чего-то детского, что сказывается в некоторой наивной торопливости и восторженности. Землемер же, наоборот, человек старый, одинокий, подозрительный и черствый. Всему уезду известно, что он подвержен тяжелым, продолжительным запоям, и потому на работу его приглашают редко и платят скупо.

Днем у него еще кое-как ладятся отношения с молодым Сердюковым. Но к вечеру землемер обыкновенно устает от ходьбы и от крика, кашляет и становится мелочно-раздражительным. Тогда ему снова начинает казаться, что студент только притворяется, что его интересует съемка и болтовня с крестьянами на привалах, а что на самом деле он приставлен помещицей с тайным наказом наблюдать, не пьет ли землемер во время работы. И то обстоятельство, что студент так живо, в неделю, освоился со всеми тонкостями астролябической съемки, возбуждает ревнивую и оскорбительную зависть в Жмакине, который три раза проваливался, держа экзамен на частного землемера. Раздражает старика и неудержимая разговорчивость Николая Николаевича, и его свежая, здоровая молодость, и заботливая опрятность в одежде, и мягкая, вежливая уступчивость, но мучительнее всего для Жмакина сознание своей собственной жалкой старости, грубости, пришибленности и бессильной, несправедливой злости.

Чем ближе подходит дневная съемка к концу, тем ворчливее и бесцеремоннее делается землемер. Он желчно подчеркивает промахи Николая Николаевича и

обрывает его на каждом шагу. Но в студенте такая бездна молодой, неисчерпаемой доброты, что он, по-видимому, совершенно не способен обижаться. В своих ошибках он извиняется с трогательной готовностью, а на угловатые выходки Жмакина отвечает оглушительным хохотом, который долго и раскатисто гуляет между деревьями. Точно не замечая мрачного настроения землемера, он засыпает его шутками и расспросами с тем же веселым, немного неуклюжим и немного назойливым добродушием, с каким жизнерадостный щенок теребит за ухо большого, старого, угрюмого пса.

Землемер шагает молча и понуро. Николай Николаевич старается идти рядом с ним, но так как он путается между деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. В то же время, несмотря на одышку, он говорит громко и горячо, с оживленными жестами и с неожиданными выкриками, от которых идет гул по заснувшему лесу.

— Я живу в деревне недолго, Егор Иваныч, — говорит он, стараясь сделать свой голос проникновенным, и убедительно прижимает руку к груди. — И я согласен, я абсолютно согласен с вами в том, что я не знаю деревни. Но во всем, что я до сих пор видел, так много трогательного, и глубокого, и прекрасного... Ну да, вы, конечно, возразите, что я молод, что я увлекаюсь... Я и с этим готов согласиться, но, жестоковыйный практик, поглядите на народную жизнь с философской точки зрения...

Землемер презрительно пожал одним плечом, усмехнулся криво и язвительно, но продолжал молчать.

— Посмотрите, дорогой Егор Иваныч, какая страшная историческая древность во всем укладе деревенской жизни. Соха, борона, изба, телега — кто их выдумал? Никто. Весь народ скопом. Две тысячи лет тому назад эти предметы были точка в точку в таком же виде, как и теперь. Совсем так же люди тогда и сеяли, и пахали, и строились. Две тысячи лет тому назад!.. Но когда же, в какие чертовски отдаленные времена сложился этот циклопический обиход? Мы об этом не смеем даже думать, милый Егор Иваныч. Здесь мы с вами проваливаемся в бездонную пропасть веков. Мы

ровно ничего не знаем. Как и когда додумался народ до своей первобытной телеги? Сколько сотен, может быть тысяч, лет ушло на эту творческую работу? Черт его знает! — вдруг крикнул во весь голос студент и торопливо передвинул фуражку с затылка на самые глаза. — Я не знаю, и никто ничего не знает... И так — все, чего только ни коснись: одежда, утварь, лапти, лопаты, прялка, решето!.. Ведь поколения за поколениями миллионы людей последовательно ломали голову над их изобретением. У народа своя медицина, своя поэзия, своя житейская мудрость, свой великолепный язык, и при этом — заметьте — ни одного имени, ни одного автора! И хотя все это жалко и скудно в сравнении с броненосцами и телескопами, но — простите — меня какие-нибудь вилы удивляют и умиляют несравненно больше!..

— Ту-ру-ру, ти-лю-лю, — запел фальшиво Жмакин и завертел рукой, подражая шарманщику. — Завели машину. Удивляюсь, как это вам не надоест: каждый день одно и то же?

— Нет, Егор Иваныч, ради бога! — заторопился студент. — Вы только послушайте, только послушайте меня. Мужик, куда он у себя ни оглянется, на что ни посмотрит, везде кругом него старая-престарая, седая и мудрая истина. Все освещено дедовским опытом, все просто, ясно и практично. А главное — абсолютно никаких сомнений в целесообразности труда. Возьмите вы доктора, судью, литератора. Сколько спорного, условного, скользкого в их профессиях! Возьмите педагога, генерала, чиновника, священника...

— Попросил бы не касаться религии, — внушительным басом заметил Жмакин.

— Ах, не в этом дело, Егор Иваныч, — нетерпеливо и досадливо замахал рукой Сердюков. — Возьмите, наконец, прокурора, художника, музыканта. Я ничего не говорю, все это лица почтенные. Но каждому из них, наверное, хоть раз приходила в голову мысль: а ведь, черт побери, так ли уж нужен человечеству мой труд, как это кажется? У мужика же все удивительно стройно и ясно. Если ты весною посеял, то зимою ты сыт. Корми лошадь, и она тебя прокормит. Что может быть вернее

и проще? И вот этого самого практического мудреца извлекают за шиворот из недр его удобопонятной жизни и тычут лицом к лицу с цивилизацией. «В силу статьи такой-то и на основании кассационного решения за номером таким-то, крестьянин Иван Сидоров, нарушивший интересы чересполосного владения, приговаривается», и так далее. Иван Сидоров на это весьма резонно отвечает: «Ваше благородие, да ведь еще наши деды-прадеды пахали по эту вербу, вот и пень от нее остался». Но тогда является на сцену землемер Егор Иваныч Жмакин.

— Прошу без намеков по моему адресу, — обидчиво прервал Жмакин.

— Является... ну, скажем, землемер Сердюков, если это вам больше нравится, и изрекает: «Линия АВ, отграничивающая владения Ивана Сидорова, идет по румбу зюйд-ост, сорок градусов тридцать минут». Очевидно, что Иван Сидоров совместно с дедом и прадедом запахал чужую землю. И вот Иван Сидоров сидит в кутузке, сидит совершенно правильно, по всем статьям уложения о наказаниях, но все-таки он ровно ничего не понимает и хлопает глазами. Что значит для него ваш румб в сорок градусов, если он с молоком матери всосал убеждение, что чужой земли на свете не бывает, а что вся земля божья?..

— К чему вы все это выражаете? — угрюмо спросил Жмакин.

— Или вот еще: гонят Ивана Сидорова на военную службу, — горячо продолжал Сердюков, не слушая землемера. — И вот дядька учит его: «Доверни приклад, втяни живот, делай — рраз! Подавайся всем корпусом уперед...» Да позвольте же, господа! Я сам прослужил отечеству два месяца и охотно верю, что для военной службы эти кунштюки[1] необходимы. Но ведь это же для мужика чистая абракадабра, колокольня в уксусе, сапоги всмятку! Как хотите, но не может же взрослый человек, оторванный от простой, серьезной и понятной жизни, поверить вам на слово, что эти фокусы действительно необходимы и имеют разумное

[1] Ловкие приемы, фокусы (от нем. Kunstück).

основание. И, конечно, он глядит на вас, как баран на новые ворота.

— Не довольно ли на сегодняшний раз, Николай Николаевич? — сказал землемер. — Мне, по правде говоря, надоела уже эта антимония. Что-то вы такое из себя хотите изобразить, но толку у вас ничего не выходит. Какого-то донжуана из себя строите! И к чему весь этот разговор, не понимаю я.

Огибавший куст студент рысцой догнал мрачно шагавшего землемера.

— Вот вы сегодня утром говорили, что мужик глуп, что мужик ленив, мужика надо драть, мужик раздурачился. Говорили вы это с ненавистью и потому, конечно, были несправедливее, чем хотели бы. Но поймите же, дорогой Егор Иваныч, что у нас с мужиком разные измерения: он с трудом постигает третье, а мы уже начинаем предчувствовать четвертое. Сказать, что мужик глуп! Послушайте, как он говорит о погоде, о лошади, о сенокосе. Чудесно: просто, метко, выразительно, каждое слово взвешено и прилажено... Но послушайте вы того же мужика, когда он рассказывает о том, как он был в городе, как заходил в театр и как по-благородному провел время в трактире с машиной... Какие хамские выражения, какие дурацкие, исковерканные слова, что за подлый, лакейский язык. Господа, нельзя же так! — воскликнул студент, обращаясь в пространство и разводя руками с таким видом, как будто весь лес был наполнен слушателями. — Ну да, я знаю, мужик беден, невежественен, грязен... Но дайте же ему вздохнуть. У него от вечной натуги грыжа, — историческая, социальная грыжа. Накормите его, вылечите, выучите грамоте, а не пришибайте его вашим четвертым измерением. Потому что я твердо уверен, что, пока вы не просветите народа, все ваши кассационные решения, румбы, нотариусы и сервитуты будут для него мертвыми словами четвертого измерения!..

Жмакин вдруг резко остановился и повернулся к студенту.

— Николай Николаевич! Да прошу же я вас наконец! — воскликнул он плачущим, бабьим голосом. — Так вы много разговариваете, что терпение мое лоп-

нуло. Не могу я больше, не желаю!.. Кажется, интеллигентный человек, а не понимаете такой простой вещи. Ну, говорили бы дома или с товарищем своим. А какой же я вам товарищ, спрашивается? Вы сами по себе, я сам по себе, и... и не желаю я этих разговоров. Имею полное право...

Николай Николаевич боком, поверх стекол пенсне, поглядел на Жмакина. У землемера было необыкновенное лицо: спереди узкое, длинное и острое до карикатурности, но широкое и плоское, если глядеть на него сбоку, — лицо без фаса, а с одним только профилем и с унылым висячим носом. И в мягком, отчетливом сумраке позднего вечера студент увидел на этом лице такое скучное, тяжелое и сердитое отвращение к жизни, что у него сердце заныло мучительной жалостью. Сразу с какой-то проникновенною, больною ясностью он вдруг понял и почувствовал в самом себе всю ту мелочность, ограниченность и бесцельное недоброжелательство, которые наполняли скудную и одинокую душу этого неудачника.

— Да вы не сердитесь, Егор Иваныч, — сказал он примирительно и смущенно. — Я не хотел вас обидеть. Какой вы раздражительный!

— Раздражительный, раздражительный, — с бестолковою злостью подхватил Жмакин. — Вполне станешь раздражительным. Не люблю я этих разговоров... вот что... Да и вообще, какая я вам компания? Вы человек образованный, аристократ, а я что? Серое существо — и ничего больше.

Студент разочарованно замолчал. Ему всегда становилось грустно, когда он в жизни натыкался на грубость и несправедливость. Он отстал от землемера и молча шел за ним, глядя ему в спину. И даже эта согнутая, узкая, жесткая спина, казалось, без слов, но с мрачною выразительностью говорила о нелепо и жалко проволочившейся жизни, о нескончаемом ряде пошлых обид судьбы, об упрямом и озлобленном самолюбии...

В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, различал вокруг неясные, призрачные силуэты деревьев. Был

тихий, дремотный час между вечером и ночью. Ни звука, ни шороха не раздавалось в лесу, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяный травяной запах, плывший с далеких полей.

Дорога шла вниз. На повороте в лицо студента вдруг пахнуло, точно из глубокого погреба, сырым холодком.

— Осторожнее, здесь болото, — отрывисто и не оборачиваясь сказал Жмакин.

Николай Николаевич только теперь заметил, что ноги его ступали неслышно и мягко, как по ковру. Вправо и влево от тропинки шел невысокий, путаный кустарник, и вокруг него, цепляясь за ветки, колеблясь и вытягиваясь, бродили разорванные неясно-белые клочья тумана. Странный звук неожиданно пронесся по лесу. Он был протяжен, низок и гармонично-печален и, казалось, выходил из-под земли. Студент сразу остановился и затрясся на месте от испуга.

— Что это, что? — спросил он дрожащим голосом.

— Выпь, — коротко и угрюмо ответил землемер.— Идемте, идемте. Это плотина.

Теперь ничего нельзя было разобрать. И справа и слева туман стоял сплошными белыми мягкими пеленами. Студент у себя на лице чувствовал его влажное и липкое прикосновение. Впереди равномерно колыхалось темное расплывающееся пятно: это была спина шедшего впереди землемера. Дороги не было видно, но по сторонам от нее чувствовалось болото. Из него подымался тяжелый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Почва плотины пружинилась и дрожала под ногами, и при каждом шаге где-то сбоку и внизу раздавалось жирное хлюпанье просачивающейся тины.

Землемер вдруг остановился. Сердюков с размаху уткнулся лицом ему в спину.

— Тише. Эк вас несет! — сердито огрызнулся Жмакин. — Подождите, я покричу лесника. Еще ухнешь, пожалуй, в эту чертову трясину.

Он приложил ладони трубой ко рту и закричал протяжно:

— Степ-а-ан!

Уходя в мягкую бездну тумана, голос его звучал

слабо и бесцветно, точно он отсырел в мокрых болотных испарениях.

— А, черт его знает, куда тут идти! — злобно проворчал, стиснув зубы, землемер. — Впору хоть на четвереньках ползти. Степ-а-ан! — крикнул он еще раз раздраженным и плачущим голосом.

— Степан! — поддержал отрывистым и глухим басом студент.

Они долго кричали, по очереди, кричали до тех пор, пока в страшном отдалении от них туман не засветился в одном месте большим, желтым, бесформенным сиянием. Но это светящееся мутное пятно, казалось, не приближалось к ним, а медленно раскачивалось влево и вправо.

— Степан, ты, что ли? — крикнул в эту сторону землемер.

— Гоп-гоп! — отозвался из бесконечной дали задушенный голос. — Никак Егор Иваныч?

Мутное пятно в одно мгновение приблизилось, разрослось, весь туман вокруг сразу засиял золотым дымным светом, чья-то огромная тень заметалась в освещенном пространстве, и из темноты вдруг вынырнул маленький человек с жестяным фонарем в руках.

— Так и есть, он самый, — сказал лесник, подымая фонарь на высоту лица. — А это кто с вами? Никак сердюковский барчук? Здравия желаем, Миколай Миколаич. Должно, ночевать будете? Милости просим. А я-то думаю себе: кто такой кричит? Ружье захватил на всякий случай.

В желтом свете фонаря лицо Степана резко и выпукло выделялось из мрака. Все оно сплошь заросло русыми, курчавыми, мягкими волосами бороды, усов и бровей. Из этого леса выглядывали только маленькие голубые глаза, вокруг которых лучами расходились тонкие морщинки, придававшие им всегдашнее выражение ласковой, усталой и в то же время детской улыбки.

— Так пойдемте, — сказал Степан и, повернувшись, вдруг исчез, как будто растаял в тумане. Большое желтое пятно его фонаря закачалось низко над землей, освещая кусочек узкой тропинки.

— Ну, что, Степан, все еще трясет тебя? — спросил Жмакин, идя вслед за лесником.

— Все трясет, батюшка Егор Иваныч, — ответил издалека голос невидимого Степана. — Днем еще крепимся понемногу, а как вечер, так и пошло трясти. Да ведь, Егор Иваныч, ничего не поделаешь... Привыкли мы к этому.

— А Марье не лучше?

— Где уж там лучше. И жена и ребятишки все извелись, просто беда. Грудной еще ничего покуда, да к ним, конечно, не пристанет... А мальчонку, вашего крестника, на прошлой неделе свезли в Никольское. Это уж мы третьего по счету схоронили... Позвольте-ка, Егор Иваныч, я вам посвечу. Поосторожнее тут.

Сторожка лесника, как успел заметить Николай Николаевич, была поставлена на сваях, так что между ее полом и землею оставалось свободное пространство, аршина в два высотою. Раскосая, крутая лестница вела на крыльцо. Степан светил, подняв фонарь над головой, и, проходя мимо него, студент заметил, что лесник весь дрожит мелкой, ознобной дрожью, ежась в своем сером форменном кафтане и пряча голову в плечи.

Из отворенной двери пахнуло теплым, прелым воздухом мужичьего жилья вместе с кислым запахом дубленых полушубков и печеного хлеба. Землемер первый шагнул через порог, низко согнувшись под притолкой.

— Здравствуй, хозяюшка! — сказал он приветливо и развязно.

Высокая, худая женщина, стоявшая у открытого устья печи, слегка повернулась в сторону Жмакина, сурово и безмолвно поклонилась, не глядя на него, и опять закопошилась у шестка. Изба у Степана была большая, но закопченная, пустая и холодная и потому производила впечатление заброшенного, нежилого места. Вдоль двух темных бревенчатых стен, сходясь к переднему углу, шли узкие и высокие дубовые скамейки, неудобные ни для леханья, ни для сиденья. Передний угол был занят множеством совершенно черных образов, а вправо и влево висели, приклеенные к стенам хлебным мякишем, известные лубочные картины: страшный суд со множеством зеленых чертей и

белых ангелов с овечьими лицами, притча о богатом и Лазаре, ступени человеческой жизни, русский хоровод. Весь противоположный угол, тот, что был сейчас же влево от входа, занимала большая печь, разъехавшаяся на треть избы. С нее глядели, свесившись вниз, две детские головки, с такими белыми, выгоревшими на солнце волосами, какие бывают только у деревенских ребятишек. Наконец у задней стены стояла широкая, двухспальная кровать с красным ситцевым пологом. На ней, далеко не доставая ногами до пола, сидела девочка лет десяти. Она качала скрипучую детскую люльку и с испугом в огромных светлых глазах глядела на вошедших.

В углу, перед образом, стоял пустой стол, и над ним на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас же ему стало так скучно и тяжело, как будто бы он уже пробыл здесь много-много часов в томительном и вынужденном бездействии. От лампы шел керосиновый чад, и запах его вызвал в уме Сердюкова какое-то далекое, смутное, как сон, воспоминание. Где и когда это было? Он сидел один в пустой, сводчатой, гулкой комнате, похожей на коридор; пахло едким чадом керосиновой лампы; за стеной с усыпляющим звоном, капля по капле падала вода на чугунную плиту, а в душе Сердюкова была такая длительная, серая, терпеливая скука.

— Поставь нам самоварчик, Степан, и взбодри яишенку, — приказал Жмакин.

— Сейчас, батюшка Егор Иваныч, сейчас, — засуетился Степан. — Марья, — неуверенно обратился он к жене, — как бы ты там постаралась самовар? Господа будут чай пить.

— Да уж ладно. Не толкись, толкач, — с неудовольствием отозвалась Марья.

Она вышла в сени. Землемер покрестился на образа и сел за стол. Степан поместился поодаль от господ, на самом краю скамейки, там, где стояли ведра с водой.

— А я думаю себе, кто такой кричит? — начал добродушно Степан. — Уж не лесничий ли наш? Да нет,

думаю, куда ему ночью, — он ночью и дороги сюда не найдет. Чудной он у нас барин. Непременно чтобы ему лесники ружьем на-караул делали, по-солдатски. Первое для него удовольствие. Выйдешь с ружьем и, конечно, рапортуешь: «Ваше-скородие, во вверенном мне обходе чернятинской лесной дачи все обстоит благополучно...» Ну, а, впрочем, барин ничего, справедливый. А что касаемо, что девок он портит, ну это, конечно, не наше дело...

Он замолчал. Слышно было, как рядом, в сенях, Марья со звоном накладывала угли в самовар, как на печке громко дышали дети. Люлька продолжала скрипеть монотонно и жалобно. Сердюков вгляделся внимательнее в лицо девочки, сидевшей на кровати, и оно поразило его своею болезненною красотой и необычайным, непередаваемым выражением. Черты этого лица, несмотря на некоторую одутловатость щек, были так нежны и тонки, что казались нарисованными без теней и без красок на прозрачном фарфоре, и тем ярче выступали среди них неестественно большие, светлые, прекрасные глаза, которые глядели с задумчивым и наивным удивлением, как глаза у святых девственниц на картинах прерафаэлитов.

— Как тебя зовут, красавица? — спросил ласково студент.

Большеглазая девочка закрыла лицо руками и быстро спряталась за полог.

— Боится. Ну чего ты, глупая? — сказал Степан, точно извиняясь за дочь. Он неловко и добродушно улыбнулся, отчего все его лицо ушло в бороду и стало похоже на свернувшегося клубком ежа. — Варей ее звать. Да ты не бойся, дурочка, барин добрый, — успокаивал он девочку.

— И она тоже больна? — спросил Николай Николаевич.

— Что-с? — переспросил Степан. Густая щетина на его лице разошлась, и опять из нее выглянули добрые усталые глаза. — Больная, вы спрашиваете? Все мы тут больные. И жена, и эта вот, и те, что на печке. Все. Во вторник третье дитя хоронили. Конечно, местность у нас сырая, это главное. Трясемся вот, и шабаш!..

— Лечились бы, — сказал, покачав головой, студент. — Зайди как-нибудь ко мне в Сердюковку, я хины дам.

— Спасибо, Миколай Миколаевич, дай вам бог здоровья. Пробовали мы лечиться, да что-то ничего не выходит, — безнадежно развел руками Степан. — Трое вот, конечно, умерли у меня... Главная сила, мокреть здесь, болото, ну и дух от него тяжелый, ржавый.

— Отчего же вы не переведетесь куда-нибудь в другое место?

— Чего-с? Да, в другое место, вы сказываете? — опять переспросил Степан. Казалось, он не сразу понимал то, что ему говорят, и с видимым усилием, точно стряхивая с себя дремоту, направлял на слова Сердюкова свое внимание. — Оно бы, барин, чего лучше перевестись. Да ведь все равно кому-нибудь и здесь жить надо. Дача, конечно, аграматная, и без лесника никак невозможно. Не мы — так другие. До меня в этой самой сторожке жил лесник Галактион, трезвый был такой человек, самостоятельный... Ну, конечно, похоронил сначала двоих ребяток, потом жену, а потом и сам помер. Я так полагаю, Миколай Миколаич, что это все равно, где жить. Уж батюшка, царь небесный, он лучше знает, кому где надлежит жить и что делать.

Марья вошла с самоваром, отворив и затворив за собою дверь локтем.

— Уселся, трутень безмедовый! — накинулась она на Степана. — Подай хоть чашки-то!..

Она с такою силой поставила на стол самовар, точно хотела бросить его. Лицо у нее было не по летам старое, изможденное, землистого цвета; на щеках сквозь кору мелких, частых морщин горел нездоровый кирпичный румянец, а глаза неестественно сильно блестели. С таким же сердитым видом она швырнула на стол чашки, блюдечки и каравай хлеба.

Сердюков отказался от чая. Он сидел расстроенный, недоумевающий, удрученный всем, что он видел и слышал сегодня. Мелочное, бессильно-язвительное недоброжелательство землемера, тихая покорность Степана перед таинственной и жестокой судьбой, молчаливое раздражение его жены, вид детей, медленно, один за

другим, умирающих от болотной лихорадки, — все это сливалось в одно гнетущее впечатление, похожее на болезненную, колючую, виноватую жалость, которую мы чувствуем, глядя пристально в глаза умной больной собаки или в печальные глаза идиота, которая овладевает нами, когда мы слышим или читаем про добрых, ограниченных и обманутых людей. И здесь, казалось Сердюкову, в этой бедной, узкой и скучной жизни, был чей-то злой и несправедливый обман.

Землемер молча пил чашку за чашкой и жадно ел хлеб, откусывая прямо от ломтя большими полукруглыми кусками. Во время еды связки сухожилий ходили у него под скулами, точно пучки струн, обтянутых тонкою кожей, а глаза глядели равнодушно и тускло, как глаза жующего животного. Из всей семьи только один Степан согласился, после долгих уговоров, выпить чашку чаю. Он пил ее долго и шумно, дуя на блюдечко, вздыхая и с треском грызя сахар. Окончив чай, он перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся у него в руках крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в засиженную мухами жестяную коробочку.

Вяло и тоскливо тянулось время, и Сердюков думал о том, как много еще будет впереди скучных и длинных вечеров в этой душной избе, затерявшейся одиноким островком в море сырого, ядовитого тумана. Потухавший самовар вдруг запел тонким воющим голосом, в котором слышалось привычное безысходное отчаяние. Люлька не скрипела больше, но в углу за печкой однообразно, через правильные промежутки, кричал, навевая дремоту, сверчок. Девочка, сидевшая на кровати, уронила руки между колен и задумчиво, как очарованная, глядела на огонь лампы. Ее громадные, с неземным выражением глаза еще больше расширились, а голова склонилась набок с бессознательной и покорной грацией. О чем думала она, что чувствовала, глядя так пристально на огонь? Временами ее худенькие ручки тянулись в долгой, ленивой истоме, и тогда в ее глазах мелькала на мгновение странная, едва уловимая улыбка, в которой было что-то лукавое, нежное и ожидающее: точно она знала, тайком от остальных людей, о

чем-то сладком, болезненно-блаженном, что ожидало ее в тишине и в темноте ночи. И в голову студента пришла странная, тревожная, почти суеверная мысль о таинственной власти болезни над этой семьей. Глядя в необыкновенные глаза девочки, он думал о том, что, может быть, для нее не существует обыкновенной, будничной жизни. Медленно и равнодушно проходит для нее длинный день, с его однообразными заботами, с его беспокойным шумом и суетой, с его назойливым светом. Но наступает вечер, и вот, вперив глаза в огонь, девочка томится нетерпеливым ожиданием ночи. А ночью дух неизлечимой болезни, измозживший слабое детское тело, овладевает ее маленьким мозгом и окутывает его дикими, мучительно-блаженными грезами...

Где-то давным-давно Сердюков видел сепию известного художника. Картина эта так и называлась «Малярия». На краю болота, около воды, в которой распустились белые кувшинки, лежит девочка, широко разметав во сне руки. А из болота вместе с туманом, теряясь в нем легкими складками одежды, подымается тонкий, неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется к ребенку. Сердюков вспомнил вдруг эту забытую картину и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодною щеткой прополз у него по спине от затылка до поясницы.

— Ну-с, в Америке такой обычай: посидят, посидят, да и спать,— сказал землемер, вставая со стула. — Стели-ка нам, Марья.

Все поднялись с своих мест. Девочка заложила за голову сцепленные пальцы рук и сильно потянулась всем телом. Она зажмурила глаза, но губы ее улыбались радостно и мечтательно. Зевая и потягиваясь, Марья принесла две больших охапки сена. С лица ее сошло сердитое выражение, блестящие глаза смотрели мягче, и в них было то же странное выражение нетерпеливого и томного ожидания.

Покуда она сдвигала лавки и стелила на них сено, Николай Николаевич вышел на крыльцо. Ни впереди, ни по сторонам ничего не было видно, кроме плотного, серого, влажного тумана, и высокое крыльцо, казалось,

плавало в нем, как лодка в море. И когда он вернулся обратно в избу, то его лицо, волосы и одежда были холодны и мокры, точно они насквозь пропитались едким болотным туманом.

Студент и землемер легли на лавки, головами под образа и ногами врозь. Степан устроился на полу, около печки. Он потушил лампу, и долго было слышно, как он шептал молитвы и, кряхтя, укладывался. Потом откуда-то прошмыгнула на кровать Марья, бесшумно ступая босыми ногами. В избе было тихо. Только сверчок однообразно, через каждые пять секунд, издавал свое монотонное, усыпляющее цырканье, да муха билась об оконное стекло и настойчиво жужжала, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу.

Несмотря на усталость, Сердюков не мог заснуть. Он лежал на спине с открытыми глазами и прислушивался к осторожным ночным звукам, которые в темноте, во время бессонницы, приобретают такую странную отчетливость. Землемер заснул почти мгновенно. Он дышал открытым ртом, и казалось, что при каждом вздохе у него в горле лопалась тоненькая перепонка, сквозь которую быстро и сразу прорывался задержанный воздух. Девочка, лежавшая на кровати рядом с матерью, вдруг проговорила торопливо и неясно длинную фразу... Двое детей на печке дышали часто и усиленно, точно стараясь сдунуть со своих губ палящий лихорадочный зной... Степан тихо, протяжно стонал при каждом вздохе.

— М-а-а-мка, пи-и-ить! — капризно и сонно запросил детский голос.

Марья послушно вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами к ведру. Студент слышал, как заплескалась вода в железном ковше и как ребенок долго и жадно пил большими, громкими глотками, останавливаясь, чтобы перевести дух. И опять все стихло. Размеренно лопалась в груди землемера тонкая перепонка, жалобно билась о стекло муха, и часто, часто, как маленькие паровозики, дышали детские грудки. Старшая девочка вдруг проснулась и села на кровати. Она долго силилась что-то выговорить, но не могла и только сту-

чала зубами в страшном ознобе. «Хо-о-ло-дно!» — расслышал, наконец, Сердюков прерывистые, заикающиеся звуки. Марья со вздохами и нежным шепотом укутала девочку тулупом, но студент долго еще слышал в темноте сухое и частое щелканье ее зубов.

Сердюков напрасно употреблял все знакомые ему средства, чтобы уснуть. Считал он до ста и далее, повторял знакомые стихи и jus'ы[1] из пандектов, старался представить себе блестящую точку и волнующуюся поверхность моря. Но испытанные средства не помогали. Кругом часто и жарко дышали больные груди, и в душной темноте чудилось таинственное присутствие кровожадного и незримого духа, который, как проклятие, поселился в избе лесника.

Около кровати заплакал ребенок. Мать спросонья толкнула люльку и, сама борясь с дремотой, запела под жалобный скрип веревок старинную колыбельную песню:

Аа-аа-аа-а!
И все лю-ю-ди-и спят,
И все зве-е-ри-и спят...

Лениво и зловеще раздавалась в тишине, переходя из полутона в полутон, эта печальная, усыпляющая песня, и чем-то древним, чудовищно далеким веяло от ее наивной, грубой мелодии. Казалось, что именно так, хотя и без слов, должны были петь загадочные и жалкие полулюди на заре человеческой жизни, глубоко за пределами истории. Вымирающие, подавленные ужасами ночи и своею беспомощностью, сидели они голые в прибрежных пещерах, у первобытного огня, глядели на таинственное пламя и, обхватив руками острые колени, качались взад и вперед под звуки унылого, бесконечно долгого, воющего мотива.

Кто-то постучал снаружи в окно, над самой головой студента, который вздрогнул от неожиданности. Степан поднялся с полу. Он долго стоял на одном месте, чмокал губами и, точно жалея расстаться с дремотою, лениво чесал грудь и голову. Потом, сразу очнув-

---

[1] Здесь: законы *(лат.)*.

шись, он подошел к окну, прильнул к нему лицом и крикнул в темноту:

— Кто там?

— Гу-у-у, — глухо, через стекло, загудел чей-то голос.

— В Кислинской? — спросил вдруг Степан невидимого человека. — Ага, слышу. Поезжай с богом, я сейчас.

— Что? Что такое, Степан? — тревожно спросил студент.

Степан шарил наугад рукой в печке, ища спичек.

— Эх... идтить надо-ть, — сказал он с сожалением. — Ну, да ничего не поделаешь... Пожар, видишь, перекинулся к нам в Кислинскую дачу, так вот лесничий велел всех лесников согнать... Сейчас объездчик приезжал верхом.

Вздыхая, кряхтя и позевывая, Степан зажег лампу и оделся. Когда он вышел в сени, Марья быстро и легко скользнула с кровати и пошла затворить за ним двери. Из сеней вдруг ворвался в нагретую комнату вместе с холодом, точно чье-то ядовитое дыхание, гнилой, приторный запах тумана.

— Взял бы фонарь-то с собою, — сказала за дверями Марья.

— Чего там! С фонарем еще хуже дорогу потеряешь, — ответил глухо, точно из-под полу, спокойный голос Степана.

Опершись подбородком о подоконник, Сердюков прижался лицом к стеклу. На дворе было темно от ночи и серо от тумана. Из отверстий, которые оставались между рамой и плохо пригнанными стеклами, дул острыми, тонкими струйками холодный воздух. Под окном послышались тяжелые торопливые шаги Степана, но его самого не было видно, — туман и ночь поглотили его. Без рассуждений, без жалоб, разбитый лихорадкой, он встал среди ночи и пошел в эту сырую тьму, в это ужасное, таинственное безмолвие. Здесь было что-то совершенно непонятное для студента. Он вспомнил сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-белые завесы тумана по сторонам плотины, мягкое колебание почвы под ногами, низкий протяжный крик выпи, —

и ему стало нестерпимо, по-детски жутко. Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном, густом, местами бездонном болоте? Какие уродливые гады извивались и ползали в нем между мокрым камышом и корявыми кустами вербы? А Степан шел теперь через это болото совсем один, тихо повинуясь судьбе, без страха в сердце, но дрожа от холода, от сырости и от пожиравшей его лихорадки, от той самой лихорадки, которая унесла в могилу трех его детей и, наверное, унесет остальных. И этот простосердечный человек, с его наёженной бородой и кроткими, усталыми глазами, был теперь непостижим, почти жуток для Сердюкова.

На студента нашло тяжелое, чуткое забытье. Он видел бледные, неясные образы лиц и предметов и в то же время сознавал, что спит, и говорил себе: «Ведь это сон, это мне только кажется...» В смутных и печальных грезах мешались все те же самые впечатления, которые он переживал днем: съемка в пахучем сосновом лесу, под солнечным припеком, узкая лесная тропинка, туман по бокам плотины, изба Степана и он сам с его женой и детьми. Снилось также Сердюкову, что он горячо, до боли в сердце, спорит с землемером. «К чему эта жизнь? — говорит он со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и в смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный вампир? Какой ответ, какое оправдание может дать судьба в их страданиях?» Но землемер досадливо морщился и отворачивал лицо. Ему давно надоели философские разговоры. А Степан стоял тут же и улыбался ласково и снисходительно. Он тихо покачивал головой, как будто жалея этого нервного и доброго юношу, который не понимает, что человеческая жизнь скучна, бедна и противна и что не все ли равно, где умереть — на войне или в путешествии, дома или в гнилой болотной трясине?

И когда Сердюков очнулся, то ему показалось, что он не спал, а только думал упорно и беспорядочно об этих вещах. На дворе уже начиналось утро. В тумане по-прежнему нельзя было ничего разобрать, но он был

уже белого, молочного цвета и медленно колебался, как тяжелая, готовая подняться занавесь.

Сердюкову вдруг жадно, до страдания, захотелось увидеть солнце и вздохнуть ясным, чистым воздухом летнего утра. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. Влажная волна густого едкого тумана, хлынув ему в рот, заставила его раскашляться. Низко нагибаясь, чтобы различить дорогу, Сердюков перебежал плотину и быстрыми шагами пошел вверх. Туман садился ему на лицо, смачивал усы и ресницы, чувствовался на губах, но с каждым шагом дышать становилось легче и легче. Точно карабкаясь из глубокой и сырой пропасти, взбежал, наконец, Сердюков на высокий песчаный бугор и задохнулся от прилива невыразимой радости. Туман лежал белой колыхающейся, бесконечною гладью у его ног, но над ним сияло голубое небо, шептались душистые зеленые ветви, а золотые лучи солнца звенели ликующим торжеством победы.

ТРУС

I

Шабаш только что окончился, но в винном погребе Айзика Рубинштейна было уже так тесно, что запоздалые посетители не находили, где присесть, и пили, стоя около чужих столиков. Сквозь туман испарений, выдыхаемых толпою, сквозь синие слоистые облака табачного дыма огни висячих ламп казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменных ноздреватых сводах погреба блестела каплями сырость. Двое прислужников, в черных передниках и кожаных нарукавниках, едва успевали разносить по столам мутное бессарабское вино, которое сам Рубинштейн, стоя за прилавком, цедил из двух больших бочек в графины. Это вино приятно было пить, особенно после острого козьего сыра, подававшегося к каждому графину, но, выпитое в большом количестве, оно кидалось в голову, делало человека крикливым и вспыльчивым и толкало к ссорам. Посетители говорили между собою, что Айзик настаивает это вино на табаке пополам с беленою, но все-таки продолжали ходить в его погреб, который был биржей и клубом для еврейского населения маленького пограничного городишки.

Жаргонный говор, то стремительный и раскатистый в середине фраз, то завывающий на окончаниях, несся отовсюду, сопровождаемый яркой мимикой и оживлен-

ными, преувеличенными жестами. Со стороны можно было подумать, что в погребе разгорелась общая ссора и что все посетители говорят одновременно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. Но этот гвалт был в заведении Айзика самым обычным явлением.

Кто-то застучал ладонью по столу, как это часто делают в синагоге, чтобы прекратить шум.

— Ша! — выкрикнул резко и требовательно чей-то голос.

И десятки рук также застучали по столам, и со всех сторон нетерпеливые голоса подхватили это восклицание:

— Ша!..

На середину погреба вышло двое бродячих актеров. Один из них был небрежно и грубо загримирован стариком: куски ваты, приклеенные под носом, изображали усы, такие же белые комки спускались от щек и подбородка длинными закрученными висюльками. И все-таки, несмотря на свое убожество, этот наивный грим придавал голове актера странное и трогательное сходство с лицами ветхозаветных пророков. Длинный лапсердак старика, умышленно разорванный и заплатанный во многих местах, был в талии обмотан красным кушаком. Другой актер, рослый мужчина с короткой бородой и равнодушно-наглыми, влажными, большими глазами, был без грима и держался несколько позади старика.

— Ша!.. Тихо!.. — крикнул из-за прилавка Айзик Рубинштейн и звонко шлепнул ладонью по бочке.

Шум сразу упал, перейдя в густое, протяжное гуденье.

— Это Цирельман!.. Старый Герш Цирельман, — передавали от стола к столу. — Цирельман будет давать представление.

Черные курчавые головы, в картузах и ушастых меховых шапках, повернулись назад, туловища жадно вытянулись, черные пламенные глаза с напряженным ожиданием впились в актеров.

Цирельман поднял кверху руки, отчего рукава лапсердака сползли вниз и обнажили худые, костлявые, красные кисти, закинул назад голову и возвел глаза к

закопченному потолку. Из груди его вылетел сиплый, но высокий и дрожащий звук, который долго и жалобно вибрировал под низкими сводами, и когда он, постепенно слабея, замер, то слышно было, как в погребе быстро затихали, подобно убегающей волне, последние разговоры. И тотчас же в сыром, тяжелом воздухе наступила чуткая тишина.

Старик медленно и громко вздохнул, уронил голову набок и беспомощно, с усталым видом бросил руки вдоль тела. Постояв так несколько секунд и точно собравшись с силами, он горестно замотал головой и запел тихим, стонущим речитативом, с долгими паузами, во время которых было слышно, как шипел керосин в лампах:

— Благословен бог наш, бог сильный, приведший меня к порогу этого дома... О, как труден был мой путь! Какие знойные дни, какие страшные ночи!.. Острые камни ранили мои ноги, колючие шипы рвали мои одежды... Но вот, наконец, эта мирная кровля, под которой живет мой сын, мой возлюбленный, прекрасный первенец Абрам. Его сердце нежнее, чем цветок яблони... Он омоет горящие ноги старого отца, он оденет его в лучшие одежды... Вот я стучу в твои двери, сын мой. Слышит ли твоя душа, кто стоит у порога? Спеши же, отвори скорее, любимейший из моих сынов!

Стоявший сзади чернобородый мужчина засунул руки в карманы панталон и, безучастно закрывши глаза, пропел заученные слова:

— Кто там стучит у ворот? Ночь холодна, я лежу в постели и не выйду наружу.

— О сын мой, разве твоя душа не дрожит и не рвется мне навстречу? Это я — тот, кто дал тебе жизнь и свет. Это я, твой несчастный, больной, старый отец. Отвори же, отвори скорее: на улицах голодные псы воют на луну, а мои слабые ноги подкашиваются от усталости...

Он замолчал, тихо и скорбно покачивая головой. После первых же фраз слушатели привыкли к глухому и сиплому тембру его голоса и теперь глядели на Цирельмана не отрываясь, захваченные словами старой национальной мелодрамы. Убогая обстановка не

мешала этим страстным подвижным натурам, жадным до всяких театральных зрелищ, видеть в своем пылком восточном воображении: и пустынную улицу, озаренную луной, и белый домик с каменной оградой, и резкие, черные тени деревьев на земле и на стенах.

Сын, наконец, узнал отца и отворил двери своего жилища. Ветхозаветный пророк весь дрожал от волнения, и вместе с ним тряслись и прыгали белые, закрученные космы его бороды.

— О мое сокровище!.. Тот час, когда я впервые увидел тебя слабым и беспомощным на руках твоей матери, не был для меня так сладок, как этот, когда я снова прижимаю твою прекрасную голову к своей груди, — говорил Цирельман нараспев, рыдающим голосом.

Но чернобородый мужчина оставался непоколебим. Он не вынимал рук из карманов и, пропев без всякого выражения свою реплику, отворачивался в сторону, сплевывал и со скучающим видом обводил зрителей наглыми, воловьими глазами. Впрочем, и по пьесе, представлявшей собою нечто вроде еврейского «Короля Лира», следовало, что сын вовсе уже не так был рад свиданию с отцом. Дом его переполнен уважаемыми, богатыми гостями, сон которых нельзя тревожить ради пришельца. Кроме того, Абрам недавно женился на красивой, знатной, изнеженной женщине: ее, наверно, стеснит неожиданное посещение оборванного, больного старика. Пусть отец уходит назад, в свой родной город. Там его знают, там его должна поддержать община.

Между отцом и сыном происходит драматическое объяснение. Сын — человек нового поколения, он беззаботно относится к строгой вере предков, не исполняет священных обрядов старины, в его черствой, коммерческой душе нет уже места для нежных и благодарных сыновних чувств. Он с утра и до вечера трудится, промышляя кусок хлеба для себя и для семьи, и не может делиться с лишним человеком. Нет! Пускай отец возвращается назад, в свой родной город: здесь для него не найдется угла!..

Обо всем этом второй актер сообщал с полным равнодушием, медленно покачивая туловище налево и направо. Но Цирельман уже не нуждался в его поддержке. С каждой фразой его голос крепнул, и в нем все сильнее, как рокот металлических струн, трепетала древняя, многовековая библейская скорбь, которая, точно плач по утерянном Иерусалиме, рыдает с такой неутолимой и горестной силой во всех еврейских молитвах и песнях.

— О, горе, горе мне! — стонал Цирельман, и его протянутые вперед руки тряслись и длинная белая борода вздрагивала. — Плюнь в мои седые волосы, брось грязью в мое старое лицо!.. Зачем я родил тебя!.. Кто на свете испытал горе, равное моему?..

Глаза его широко раскрылись и выкатились наружу из орбит, а белки их налились кровью и слезами, побледневшие губы искривились, голос то опускался до хриплого, трагического шепота, то переходил в срывающиеся вопли, похожие и на завыванье и на кашель. Конечно, эта декламация была преувеличена и, пожалуй, даже нелепа, но зрители были так увлечены и очарованы драматической сценой, что незаметно для самих себя повторяли все исступленные движения Цирельмана. Они сжимали кулаки, когда актер бил себя в грудь, и нервно потряхивали головами, когда он в отчаянии размахивал своей ватной бородой. Их одинаково волновали: и страстная игра Цирельмана, и трогательность старого, давно знакомого сюжета, и отголоски священного плача, звучавшего в речитативах.

Старик понял наконец, что, найдя сына, он в то же время потерял его.

— Я уйду навсегда из твоего дома! — выкрикивал Цирельман, задыхаясь, и его тонкие, длинные пальцы судорожно рвали ворот лапсердака. — Я уйду и не призову на твою голову отцовского проклятия, которому внимает сам Иегова; но знай, что со мною уходит твое счастье и твой спокойный сон. Прощай, Абрам, но запомни навсегда мои последние слова: в тот день, когда твой сын прогонит тебя от порога, ты вспомнишь о своем отце и заплачешь о нем...

Цирельман давно уже кончил, но зрители все так же молча, неподвижно и напряженно, затаив дыхание и полуоткрыв рты, глядели на него. И так велико было очарование этих бедных, простых и горячих сердец, что они с трудом опомнились только тогда, когда Цирельман, спокойно и заботливо сняв усы и бороду, спрятал их в карман и медленно стал стаскивать с плеч заплатанный лапсердак. Говор, смех, восклицания и стук сразу хлынули со всех сторон и наполнили погреб. В эту минуту каждый зритель позабыл о том, что Герш Цирельман — пустой, ни к чему не способный человек, представитель презираемой профессии, старый пьяница, которого из-за его порока не держали ни в одной труппе. В черных глазах, устремленных на него отовсюду, блестел искренний, еще не успевший простыть, признательный восторг.

Без костюма и грима Цирельман оказался невысоким, коренастым человеком, с бритым, старым и желтым, точно изжеванным актерским лицом и курчавыми волосами, на которых седина лежала сверху, как будто они были припудрены. Глаза под взъерошенными, неровными бровями были почти без ресниц и носили суровый, беспокойный и печальный оттенок, присущий взгляду привычных пьяниц.

Айзик Рубинштейн, хозяин погреба, толстый, веселый и чувствительный плут, был растроган больше других. Со смеющимися, но еще мокрыми от слез глазами, он похлопал Цирельмана по плечу и сказал:

— Очень хорошо, прекрасно исполнено! Вы, Герш, имеете получить с меня двадцать грошей за представление. Но я знаю, что вам будет приятнее иметь полкварты белого вина, которое вы всегда требуете. Считайте его за мною!

С тарелкой в руках Цирельман обошел все столики, и каждый зритель бросал ему копейку или две, добровольно оплачивая только что пережитые сильные ощущения. Те, у кого не было мелочи, клали дешевые папиросы. Даже известный своей скупостью Меер Ковалев, богатый шмуклер [1], положил на тарелку пятачок.

---

[1] Шнуровой мастер. *(Прим. автора.)*

— Видите, Герш, я ложу вам десять грошей, — сказал он торжественно, — и беру сдачи... одна... три... четыре... Смотрите, я беру назад восемь грошей... А одну копейку вы можете оставить себе. Вы отличный актер, Цирельман!

Все дружелюбно улыбались Гершу, обнимали его за спину и трепали по плечам; многие звали его присесть к своим столикам. Глаза Герша были еще красны, а на висках и на конце носа стояли мелкие и круглые, как бисер, капли пота; но нахмуренное лицо его хранило отчужденное и высокомерное выражение, свойственное настоящему художнику, только что пережившему сладкую и тяжелую минуту вдохновения.

II

Отсчитав своему помощнику (который в обыкновенное время состоял подмастерьем резника) четвертую часть сбора, Цирельман сел в углу, около входа, за освободившийся столик и спросил вина. Первый стакан он выпил с зажмуренными глазами, не отнимая рта, и такими жадными, большими глотками, что у него даже сделалось больно внутри горла. Потом он налил второй стакан, но отставил его от себя и, сгорбившись на стуле и положив ногу на ногу, закурил папиросу.

Цирельман ждал. Вытирая вспотевшее лицо красным дырявым платком, он часто оглядывался на дверь, которая то и дело хлопала на блоке и дребезжала своими стеклами, впуская вместе с новыми гостями стремительные клубы белого морозного пара. Простосердечные зрители, только что наивно волновавшиеся вместе с Цирельманом, теперь совсем забыли о нем, и он сидел раскисший, усталый, охваченный знакомой ему тоскливой и рассеянной пустотой, которая в былые дни наполняла его душу, когда он оставался один после спектаклей. Он глядел мутными, неподвижными глазами на блестящий край стакана, между тем как углы его набрякших век опустились, а от концов больших изогнутых губ легли вниз две брезгливые складки.

Шум в погребе рос. Уже не было слышно отдельных голосов, а, казалось, гудело все: и стены, и столы, и люди, и синий от табачного дыма воздух. Этот однообразно-пестрый гул, то падавший, то опять плавно подымавшийся, был похож на движение больших, качающихся волн. Иногда же неясные и разбросанные звуки вдруг стекались вместе, в одну согласную музыкальную реку, и размеренно плыли под потолком, как внезапный отрывок неведомой и сложной мелодии. И сухое щелканье костяшек домино сопровождало их, точно треск кастаньет.

Вдруг Цирельман оживился и нервно задвигался на стуле. В подвал спускался, бережно и грузно ставя на ступеньки толстые кривые ноги, местный балагула[1] — Мойше Файбиш. Небольшого роста, но широкий, тяжеловесный и могучий, он был похож на старый дубовый пень и весь казался налитым густой апоплексической кровью: лицо у него было страшного, сизого цвета, белки маленьких глаз — кровавые, а на лбу, на висках и особенно на конце мясистого носа раздувшиеся вены вились синими упругими змейками. Короткая, жесткая, спутанная борода начиналась у него из-под самых глаз, а на концах, вокруг всего лица, была такая седая и пышная, как будто Файбиш только что опустил ее в мыльную пену.

Файбиш издали увидел Цирельмана и сделал ему бровями быстрый предостерегающий знак. Балагула боком, с неловкой и смешной осторожностью очень сильного человека, пробирался между столиками, задевая за стулья, улыбаясь и тыкая небрежно налево и направо для пожатия свою руку. Файбиш пользовался в местечке, несмотря на свой не особенно высокий балагульный промысел, значительным и довольно веским почетом. Он был известен — хотя этого и не говорили открыто — за смелого, предприимчивого контрабандиста. Передавали шепотом, что много лет тому назад, спасаясь от преследования конных пограничных страж-

---

[1] Балагула — экипаж для дальних переездов. Балагулой также называют и хозяина такого экипажа или ямщика. (*Прим. автора.*)

ников, он застрелил солдата, и хотя потом судился по подозрению в убийстве, но был отпущен на свободу за неимением настоящих улик. Кроме того, Файбиш был знаменит — и даже далеко за пределами уезда — своей необычайной физической силой, принимавшей в пылких умах местной молодежи преувеличенные библейские размеры. Провозгласители тостов на свадьбах неизменно сравнивали его с сокрушителем зданий — Самсоном.

— Добрый вечер, Герш! — сказал Файбиш, подойдя к столику Цирельмана и протягивая актеру маленькую, негнущуюся, холодную и мозолистую руку.

— Добрый вечер, — ответил Цирельман. Он почтительно привскакнул на стуле и даже шаркнул под столом ногами. — Садитесь, будьте любезны, — я спрошу еще вина. Как шабашевали? Этот графинчик не в счет; его мне зафундовал Рубинштейн за представление; но я велю принести другой, — хорошо?

— Очень вам благодарен. Так вы давали представление?

— Ну, а почему же нет, господин Файбиш?

— Жаль, жаль, что я не поспел. И что же, порядочно собрали?

— Псс!.. паскудство... Но все-таки дали немного торговать... тридцать четыре копейки... За ваше здоровье, господин Файбиш!..

— За ваше!..

Файбиш выпил стакан вина, но тотчас же закашлялся, потому что давно уже страдал одышкой. Во время кашля вся кровь, переполнявшая его массивное тело, кинулась ему в голову; лицо его еще больше посинело, шея распухла, а жилы на лбу и на носу вздулись, как у удавленника. Откашлявшись, он долго, с хрипением и со свистом в горле, отдувался, потом обсосал намокшие в вине усы, вытер их ребром ладони в одну и в другую сторону и, наконец, отрывисто спросил:

— Ну, что же? Не раздумали?

Цирельман вдруг со страшной ясностью почувствовал, что наступил момент, когда он вот-вот должен перешагнуть за какую-то невидимую нить, после которой

начнется совсем иная, темная и жуткая жизнь. Он побледнел, наклонился близко к Файбишу и беззвучно зашевелил похолодевшими губами.

— Что за черт! Ничего не слышу. Говорите же громче! — захрипел Файбиш и нетерпеливо ударил кулаком по столу.

— Я ничего... я, как вы, господин Файбиш.. Что же... Я от своих слов не откажусь...

Говоря эти растерянные слова, Цирельман поглядел на маленькую волосатую руку, которая лежала ладонью вниз на столе, и неожиданно для себя со страхом подумал, что этой самой рукой Файбиш убил пограничного солдата. И, с чувством раздражающей, обморочной слабости в груди и в животе, он залепетал едва слышно:

— Я... я... я не боюсь... Вы меня еще не знаете, господин Файбиш!

— Положим, это вы врете, что не боитесь, — презрительно усмехнулся в свою опененную бороду Файбиш. — Все вы — трусы и сволочь. Вот двадцать лет тому назад, а может быть, и больше, — тогда я был еще молодым и сильным человеком, — тогда был у меня товарищ, Иосель Бакаляр... — Файбиш вздохнул и налил себе вина. — Это был человек! О! мы с ним много сделали хороших гешефтов... Но бросим это! Да. Так, если вы согласны, приготовляйтесь! Сегодня ночью...

— Сегодня ночью... — повторил за ним однозвучно и бессмысленно Цирельман.

— Ну да, сегодня. Я заеду за вами. Но если вам страшно, скажите сейчас! Потом будет поздно. Понимаете?

— Я не боюсь, Файбиш, я не боюсь! — повторил умоляющим шепотом Цирельман, крепко прижимая руки к груди.

Он уже перешагнул загадочную грань и теперь вступал — одинокий, беспомощный и слабый — в таинственный мир, полный ночных ужасов, крови и опасностей. И в этом чудовищном мире была только одна власть — власть сидевшего с ним рядом странного, непонятного, ничего не боящегося человека.

Невольно он оглянулся вокруг себя. На них обоих были со всех сторон устремлены живые черные глаза, горевшие напряженным любопытством. Но, встречаясь с испуганным, помертвевшим взглядом Цирельмана, любопытные глаза бегло отворачивались и опускались, отчасти от страха перед Файбишем, отчасти из деловой скромности. Это ободрило Цирельмана, и он выпрямил свою согнутую спину. Все эти изворотливые, проницательные люди, без сомнения, знали, о чем он разговаривал, нагнувшись голова к голове, с Файбишем. И мысль, что на него, всегда несколько презираемого, наконец-то глядят с любопытством, ожиданием и боязливым почтением, что ужасная слава Файбиша окутывает и его, Цирельмана, необычайным, героическим светом, — эта мысль приятно и льстиво ударила ему в голову и изгнала оттуда последние колебания трусости. И он в первый раз взглянул прямо и твердо в маленькие, кровавые глаза балагулы, наблюдавшис за ним с острой насмешкой из-под косматых черных бровей.

— Я не лягу спать, Файбиш, — сказал он решительно. — Постучите мне только в окно, и я сейчас же выйду.

И когда Цирельман поднялся, чтобы уйти, и почувствовал на своей спине десяток жадных, удивленных взглядов, то он вспомнил старое актерское время и прошел вдоль погреба театральной походкой, с выпяченной грудью и гордо закинутой назад головой, большими шагами, совершенно так, как уходил, бывало, со сцены в ролях иноземных герцогов и предводителей разбойничьих шаек.

III

Цирельман и его жена Этля — старая не по летам женщина, изможденная горем и голодной, бродячей жизнью, — были бездетны. Они жили на краю местечка, снимая угол у вдовы сапожника, которая в свою очередь нанимала за два рубля целую комнату, переделанную из яичного склада. В огромной и пустой, как

сарай, комнате, вымазанной голубой известкой, стояли прямо на земляном полу не отгороженные никакими занавесками две кровати: у одной стены помещалась вдова с четырехлетней девочкой, а у другой — Цирельман с женой.

Вдова давно уже спала. Слышно было, как она ровно, громко и свободно дышала открытым ртом. Было темно; только кривые подоконники слабо серебрились от лучей молодого месяца. Цирельман лежал под старым, замасленным пуховым бебехом, рядом со своей женой, и пугливо прислушивался к ночному безмолвию. Этля спала или притворялась спящей; она лежала, повернувшись к мужу спиной, беззвучно и неподвижно, как мертвая.

В сонной тишине, которую равномерное дыхание вдовы делало еще глубже и однообразнее, все ночные звуки приобретали странную, тревожную отчетливость. Потрескивал рассыхающийся комод; возились мыши рядом, в деревянном чуланчике; что-то шуршало в углах по стенам, и все эти стуки и шорохи будили чутко дремлющую тишину и горячими, пугливыми толчками отзывались в сердце у Герша.

Время тянулось скучно, напряженно и томительно-долго. Цирельман не спал, но на него находили какие-то темные полосы, в которые он утрачивал понятие о времени. Он даже не мог уловить, когда начался момент такого оцепенения; но, внезапно очнувшись, находил себя бодрствующим и недоумевал, что с ним случилось, — спал ли он только что, или думал о чем-то, неожиданно ускользнувшем из головы, и сколько времени прошло в этом удивительном состоянии: секунда, пять минут или полчаса?

Зато временами его слух и зрение приобретали необычайную, болезненную остроту. Тогда ему чудилось, что он слышит за окном крадущиеся шаги. Он приподымался на локтях и, чувствуя в груди холод испуга, глядел в окно, и сердце его наполняло всю комнату оглушительными ударами. И он ясно видел, как снаружи, с улицы, большое темное лицо настойчиво заглядывало в комнату, и проходило много мучительных

минут, пока он не убеждался, что его обманывают возбужденные нервы.

«Но ведь *это* кончится. *Это* должно же когда-нибудь кончиться, — лихорадочно думал Цирельман. — Придет Файбиш, и окончится это жуткое ожидание... А потом окончится и вся эта ночь, таящая в себе так много неизвестного и ужасного, и я скажу самому себе: «Это было вчера». Неужели я скажу когда-нибудь: *это было вчера?* Надо быть спокойнее. Ведь что бы там ни было, но все на свете проходит, и когда-нибудь я скажу самому себе: «Это было месяц, это было год тому назад...» И страха больше не будет, и все опять станет таким простым, легким, обыкновенным».

И вдруг, в один из моментов необъяснимой потери сознания, в окно на самом деле постучали. Стук был осторожен и тих, потому что его производили мякотью пальца о стекло; но он отозвался громом во всех углах, разорвал сонную тишину, и от него сразу посветлело в комнате. Сердце Цирельмана перестало биться, и все тело его похолодело, стало мягким и бессильным. «Это неправда, это мне только кажется», — пробовал он себя успокоить. Но стук опять повторился, такой же тихий и настойчивый; и сердце затрепыхалось так беспорядочно, с такой болью и силой, что казалось, от его ударов готова была лопнуть грудь.

Цирельман сел на кровати и тут только заметил, что его жена тоже сидит и смотрит в окно. Она была без парика, который носят все правоверные замужние еврейки, — коротковолосая и растрепанная, с голыми руками и шеей, и лицо ее в темноте показалось Гершу чужим, незнакомым и поразительно белым. И он слышал, как рядом с ним зубы у его жены колотились друг о друга мелкой и частой дробью.

— Стучат! — шепнула Этля. — Одевайся, Гершко, это Файбиш.

Стук повторился в третий раз, и весь дом точно содрогнулся от него. Но Цирельман сидел на кровати, чувствуя, как у него мерзнут и двигаются на голове волосы, и, раздавленный страхом, не мог пошевельнуться.

— Что ты себе думаешь, Цирельман? — с испугом и с гневом зашептала Этля, наклоняясь вплотную к мужу и щекоча его ухо горячим дыханием. — Ты безумный или что? Если ты трусишь, то и не нужно было браться. Файбиш найдет другого, а тебе он этого никогда не простит.

Цирельмана в эту минуту нестерпимого страха совсем не удивило, что жене известно то, о чем он условливался с глазу на глаз с Файбишем; но слова Этли подтолкнули его. В одних чулках он подошел к окну и прильнул лицом к стеклу, обгородившись ладонями от мутного света, который шел от снега. С другой стороны окна на него близко и пристально глядело темное, широкое, бородатое лицо Файбиша, с приставленными к вискам так же, как и у Цирельмана, ладонями. Герш торопливо закивал головой и, хотя его нельзя было расслышать через двойные рамы, залепетал с заискивающей боязливостью:

— Я сейчас, сейчас, господин Файбиш!.. Я сейчас...

Он суетливо, ощупью стал одеваться. Но ноги его не попадали в сапоги, руки не могли сразу найти пуговиц и петель, и все это было мучительно похоже на бред, в котором совершенно забылось имя Файбиша, а было что-то грозное, неумолимое, не знающее ни страха, ни жалости, что стояло вот тут, рядом, и гнало вперед, и пугало, и сковывало движения.

Он хотел зажечь лампу, но Этля услышала тарахтенье спичек и впотьмах вырвала у него из рук коробку.

— Ша, дурной! — закричала Этля. — Или ты хочешь, чтобы весь базар узнал, что у нас делается?..

Когда Цирельман вышел, наконец, на крыльцо, он не узнал ни своего дома, ни безлюдной, пустынной улицы. Бледный молодой месяц стоял над местечком, освещая занесенные снегом крыши и белые, казавшиеся нежно-синими стены. Его тихие лучи мертвым, дробящимся блеском отражались в черных стеклах окон, точно в открытых, но слепых глазах. Где-то на краю местечка монотонно и гулко скрипел снег под ногами ночного прохожего. Все стало иным, новым, все точно притаилось и выжидательно подглядывало за дрожа-

щим от холода и от страха человеком. И опять Цирельман почувствовал себя вырванным из границ обычной, прочной и спокойной жизни и обреченным на неведомое, полное ужаса существование.

— Что так долго? — спросил сурово Файбиш. — Ну, не торчи же на лестнице, как осел! Садись вот тут, на рогожи! Да смотри: под тобой веревки, не запутайся!

У калитки стояли легкие сани, узкие и высокие спереди, но широкие и низкие к заднему концу. Запряженные в них две лошади порывисто мотали головами, косились назад и озабоченно двигали острыми ушами: должно быть, и они чувствовали необычайное настроение этой ночи. Файбиш сел впереди, боком, свесив наружу ноги; а Цирельман поместился сзади в неудобной позе, держась широко расставленными руками за поручни.

«Все пройдет, все окончится», — думал актер; но эта мысль скользила где-то поверху, не проникала глубоко в сознание и не успокаивала.

— Ну, час добрый! — сказал сердито Файбиш, разбирая вожжи.

Полозья пронзительно и жалобно заплакали под санями, и лошади тронулись так осторожно, медленно и беззвучно, как будто бы они боязливо и внимательно прислушивались к каждому своему шагу.

IV

Навстречу саням потянулись белые домики местечка, соломенные крыши и низкие плетни, из-за которых свешивались на улицу белые, облепленные снегом деревья. В тонком свете месяца, в отзывчивой морозной тишине, в безмолвии спящих домов была все та же новая для Цирельмана, грозная, стерегущая жизнь.

Скоро окончились последние лачуги местечка, и Файбиш пустил озябших лошадей рысью. Мелькнула в стороне стройная церковь с зеленой, тускло блестевшей крышей, показалась вдали низкая кирпичная ограда католического кладбища, пробежали мимо жердяные изгороди выгона. Сани выехали на широкую почто-

вую дорогу, на которой старые следы от полозьев блестели далеко впереди лошадей, точно металлические полосы.

Файбиш поправился на своем сиденье, подбил под себя полы войлочного балахона и повернулся к Цирельману. На лице балагулы, в пространстве между лисьей шапкой и заиндевевшей бородой, только и виднелись два маленьких глаза, и в каждом из них острой, блестящей точкой светилось отражение месяца.

— Вижу я, Цирельман, что с вас плохой помощник, — заговорил Файбиш по-русски. — Эх, был у меня товарищ Иосель Бакаляр!.. Впрочем, что толковать! Слушайте же: когда мы переедем через Збруч и остановимся, вы будете ждать около лошадей. А потом я вернусь, и вы поможете мне увязать товар в рогожи.

— Так. Я понимаю, господин Файбиш. Так, так, — кивал головой Цирельман.

— Смотрите хорошо за лошадьми! Лошади молодые и пугливые, особенно правая. Не выпускайте из рук вожжей! Если будет гармидер (шум), держите крепче!.. Стрелять умеете?..

Цирельман глядел на две яркие, колючие точки в глазах Файбиша и не мог от них оторваться, точно из них исходила какая-то сковывающая власть. Он слышал слова балагулы и держал их в памяти, но не понимал их смысла.

— Я спрашиваю вас, умеете ли вы стрелять из револьвера? Верно, нет?

Цирельман хотел ответить утвердительно. Ему приходилось стрелять раньше на сцене, убивая себя и других актеров холостыми зарядами. Но тотчас же ему вспомнились слухи о том, как Файбиш убил солдата, и в нем шевельнулся ужас вместе со свойственным всему еврейскому народу наследственным отвращением к крови.

— Нет, господин Файбиш, я не могу стрелять. Я неумею и... и боюсь, — ответил он робко.

Файбиш укоризненно покачал головой.

— Це-це-це! — с упреком и с сожалением зачмокал он языком. — Какой вы! Ну, да все равно... Когда мы поедем назад, следите, чтобы веревки не развяза-

лись. Если все кончится хорошо, имеете получить с меня пятнадцать кербеле.

— Вы обещали, кажется, двадцать пять... — попробовал несмело возразить Цирельман.

— Эге, двадцать пять! А десять не хотите? Спрашивается, какая мне с вас помощь? Но, ша!.. молчите только! Потом мы будем видеть.

Узкая дорога свернула с почтового шляха налево. Навстречу саням ровной, высокой стеной спокойно приближался помещичий лес, черный снизу, а сверху обремененный снежными шапками. В узком и мрачном коридоре, между двумя рядами толстых сосновых стволов, было темней, тише и теплее. Бледное сияние месяца тонкими, неправильными узорами прорезывалось сквозь густые тени деревьев и местами слабо и нежно серебрило чешую коры. Иногда через дорогу протягивалась, точно огромная рука с растопыренными белыми пальцами, отягченная снегом ветка. Она задевала лошадей по головам и, сделав широкий, упругий размах, осыпала обоих седоков мягким, холодным пухом. По обеим сторонам дорожки, справа и слева, в нескольких шагах от саней, деревья смыкались в черную, непроницаемую массу, в которую страшно было смотреть.

Цирельман лег на спину. Вверху, между зубчатыми ветками, извивался прихотливым путем просвет далекого темно-синего неба с большими дрожащими звездами. Вершины сосен тихо и разнообразно шатались, как будто деревья покачивали головами с различным выражением: одни задумчиво и неодобрительно, другие с угрозой, третьи медленно и важно кланялись. Порою Цирельман закрывал глаза, и тогда ему через несколько минут начинало мерещиться, что сани замедляют ход, потом только вздрагивают на одном месте, и затем он начинал двигаться назад, в противоположную сторону. И хотя Цирельману был с детства знаком этот физический обман, но ему приятно было мечтать, что по какому-то волшебству он и в самом деле едет назад, к местечку, и что неожиданно окончится и эта жуткая поездка и эта бесконечная, тревожная ночь.

Файбиш придержал лошадей, осмотрелся кругом, привстал на санях и вдруг круто, без дороги свернул направо. Лошади увязли по брюхо в снегу, мотая головами и фыркая, и Цирельман услышал теплый, едкий запах конского пота. Старый актер совсем не мог теперь представить себе места, по которому ехал. Он чувствовал себя бессильным и покорным, во власти сидевшего впереди, знакомого и в то же время чужого, непонятного, страшного человека.

Лес окончился. Впереди ровным белым скатом спускался вниз пологий берег реки, которая широко и пустынно простиралась вплоть до противоположного, австрийского берега. На той стороне еле заметно чернели разбросанные здания, и в двух-трех местах красными точками светился огонь. Луны не было видно, — ее закрывал лес, бросавший через всю реку сплошную, глубокую тень. Далеко влево, вся в свету, виднелась плотина, отделенная от снега резкой, тонкой чертой тени. Она тянулась через всю реку, соединяя два государства, и Цирельман знал, что по ней всегда, днем и ночью, ходят солдаты — австрийский и наш.

Лошади глубоко провалились в снег, но быстро и испуганно выкарабкались из него, усиленно мотая головами и храпя. Тотчас же копыта их застучали тверже. По легкому ходу полозьев Цирельман догадался, что сани въехали на лед. Он не сводил глаз со светлой, черневшей своим откосом на снегу плотины и все крепче впивался пальцами в поручни. Файбиш стоял в санях и тоже глядел на плотину. Его короткие руки дрожали от усилия, с которым он сдерживал рвавшихся вперед лошадей.

— А-а-а-а! — пронесся вдруг над рекой высокий, точно стонущий человеческий крик.

В нем одновременно слышался и испуг одинокого, затерявшегося среди ночи человека и угроза. Файбиш, весь перегнувшись назад, натянул вожжи. Лошади заскользили и заскребли по льду задними ногами и стали.

— А-а-а! — повторился стонущий крик.

Цирельман увидел, как в одном месте над плотиной голубоватый воздух разорвался в узкую огненную трещину. Что-то страшное, никогда им не слыханное, жа-

лобно пропело у него над головой, и сейчас же вслед за этим глухой грохот выстрела тяжело прокатился по реке.

Файбиш яростно, с необыкновенной силой заскрежетал зубами.

— Всё к черту! — захрипел он сквозь стиснутые челюсти.

И вдруг, подняв кверху кулак, балагула выкрикнул во всю мочь легких бешеное, циничное, бессмысленное ругательство

. .

От сильного и неожиданного толчка Цирельман упал на спину и опять увидел над собой темное, спокойное небо с дрожащими звездами. Лошади летели нестройным галопом, высоко подбрасывая задами; а Файбиш стоял в санях и, наклонившись вперед, без остановки, со всего размаха стегал кнутом. Цирельман обезумел от ужаса. Он вскочил на колени, судорожно оплел руками ноги Файбиша и вдруг, сам не узнавая своего голоса, закричал пронзительно и отчаянно:

— Ой, не бейте меня! Ой, ратуйте! — кричал он, захлебываясь и давясь от плача. — Ой, ой, ой, господин Файбиш! Милый, дорогой, драгоценный Файбиш! Ой, убивают, ратуйте! Файбиш, вы сильный, как бог, вы храбрый, как лев! Ой, ой, спасите меня!

— Пусти меня, черт!.. Оставь! — хрипел Файбиш.

Его сильная, жесткая рука комкала губы и нос Цирельмана; но актер мочил слюнями и кусал его пальцы и, вырывая из них на мгновение рот, кричал все громче и безумнее и крепче прижимался лицом к шершавому балахону и к сапогам Файбиша. А лошади все неслись, заложив назад уши, и торчавший из-под снега прошлогодний камыш хлестал по бокам саней.

— Молчи, собака!.. Убью! — рычал, задыхаясь от борьбы, Файбиш.

Ему удалось свободной рукой вытащить из кармана балахона револьвер. Он взвел курок и ткнул дулом в лоб Цирельмана.

— Слушай, подлец... я выстрелю! — гневно пригрозил балагула. — Замолчи, или я выстрелю, черт бы тебя побрал!

Но актер не переставал кричать и цепляться за ноги Файбиша. Ужас, овладевший им, совершенно помрачил его рассудок и сковал память. Он не помнил, как Файбиш колотил его стволом револьвера по голове, не слыхал его угроз и очнулся только тогда, когда, после жестокого удара ногой в спину, он покатился боком по льду, сметая своим телом снег.

Он сел и тотчас же замолчал. Возле него возвышалась густая стена камыша; сухие высокие стебли, волнуясь и шелестя, то наклонялись все разом к нему с участливым любопытством, то отшатывались в испуге назад. Сидя на льду и упираясь в него ладонями, Цирельман оглянулся вокруг себя. Дикого, звериного ужаса уже не было в его душе, — его увозил с собою Файбиш, лошади которого глухо и вразброд стучали вдали копытами, — но было удивление, грусть и чувство беспомощного одиночества.

Цирельман упал как раз у берега, вдоль которого шла широкая, избитая подковами дорога. Река делала в этом месте излучину, а стена леса заворачивала назад. За пологим, ровным берегом видно было отсюда огромное белое поле; в конце его, на самом горизонте, тянулась темная полоса дальнего леса. Луна, готовая уже закатиться, стояла над этой низкой, неровной чертой, бледная, точно утомленная, и было что-то невыразимо-печальное и безнадежное в этом пустом, белом поле, в дальнем лесе и в золотистом сумраке, окружавшем усталую луну. И скорбь и сознание своего одиночества все сильнее наполняли душу Цирельмана. Он не сводил глаз с узкого, нежного серпа, прижимал руки к груди и шептал давно забытые слова великой молитвы:

— Шма, Исроэль, Адонаи элегейну, Адонаи хот! Слушай, Израиль, бог наш, бог сильный!

Что-то теплое капнуло ему на руку. Он поднял ее к глазам и увидел черное пятно. Только теперь он услышал боль в переносице, в темени и в подбородке и вспомнил, как его бил по голове револьвером Файбиш. Он взял в руку горсть снега, потер им лицо, и снег стал темным. И долго сидел таким образом Цирельман, унимая кровь. Глаза его, полные слез, были устремлены на луну, готовую сесть, а в груди разливалась

большая скорбь. Почему-то вспомнилась ему вся его бестолковая жизнь, скитанье из города в город, пьянство, кривлянье в погребах и трактирах, и эта жизнь представилась ему такой же темной и долгой, как и вся сегодняшняя страшная ночь...

Вдруг его ухо уловило далекие, дробные и частые звуки копыт; несколько лошадей тяжело скакали по прибрежной дороге. Машинально, почти не сознавая, что он делает, Цирельман на животе прополз в камыши и растянулся ничком, уйдя лицом в холодный мягкий снег. И тотчас же над самой его головой пронесся, сотрясая лед и бряцая оружием, отряд верховых солдат. Они говорили между собою все разом, резкими, отрывистыми, сердитыми голосами; но слов их Герш не разобрал. Он лежал лицом в снегу и, чувствуя его талый запах, шептал про себя молитву.

Солдаты быстро промчались. Когда топот их лошадей, постепенно теряясь вдали, стал еле слышным, Цирельман поднялся на колени. Но то, что он увидел, заставило его оцепенеть от ужаса. Прямо на него скакал одиночный всадник, вероятно, отставший от товарищей. Его огромная худая лошадь неслась тяжелым галопом, вытянув вперед длинную шею с острой мордой и прижатыми назад ушами. Она так близко пролетела возле Цирельмана, что тот ясно увидал ее раздувшиеся ноздри и большие глаза, блестевшие диким испугом, и ветер от ее быстрого бега пахнул актеру в лицо. Солдат сидел, нагнувшись вперед, почти лежа на шее лошади. Его сабля равномерно, с металлическим дребезжанием, билась о седло. Но он не заметил еврея, стоявшего на коленях среди густого камыша, и промчался мимо, крича что-то вслед своим товарищам...

Только часа через три, иззябший и обессиленный, добрался Цирельман до местечка. Ночь была теперь так темна, что даже белых стен домов нельзя было различить в ее мраке. Цирельман уже повернул в свою улицу, как сзади него заскрипели полозья. Одним прыжком очутился актер в глубокой, занесенной снегом канаве и прижался к плетню.

Это возвращался избегнувший погони Файбиш. Лошади его были покрыты пеной и дышали часто и прерывисто. Острые глаза старого контрабандиста различили съежившуюся в темноте фигуру. Он придержал лошадей и окликнул вполголоса:

— Эй! Кто здесь прячется у забора? Это ты, Цирельман?

Герш затаил дыхание и еще плотнее прижался к изгороди.

— О, свинья! Трус! Предатель! — злобно зашипел Файбиш. — На же, на!.. Получи!..

Кнут резко свистнул в воздухе. Файбиш бил широко и размашисто, тем движением, каким он обыкновенно стегал собак. Но Герш быстро повернулся к балагуле задом, сгорбился, спрятал шею в плечи, и жестокие удары пришлись ему по спине и по рукавам.

— Будь ты проклят, трус, гадина! — бросил ему напоследок Файбиш, трогая лошадей. — Если бы не осечка, ты бы теперь валялся на реке, как дохлая собака!..

Через четверть часа Цирельман уже лежал под теплым бебехом рядом с Этлей, которая спала или притворялась спящей. Но холод долго не выходил из его назябшегося за много часов тела, а ноги были ледяными и точно деревянными. Когда же тепло окончательно проникло в его грудь и живот и он вспомнил сегодняшнюю дорогу, и острый блеск в глазах Файбиша, и выстрел с плотины, и печальную луну над лесом, и солдата, мчавшегося, точно библейское видение, на огромной лошади с вытянутой шеей, — то ему показалось невероятным, что это именно он, а не кто-то другой, посторонний ему, испытал все ужасы этой ночи. Вспомнилось ему также, как он убеждал самого себя, что должна когда-нибудь окончиться и эта ночь и эта поездка... и, с удовольствием ощущая живую теплоту, шедшую от тела Этли, он сжался в комочек и засмеялся под бебехом тихим, радостным смехом.

КОНОКРАДЫ

I

Вечером, в середине июля, на берегу полесской речонки Зульни лежали в густом лозняке два человека: нищий из села Казимирки Онисим Козел и его внук Василь, мальчишка лет тринадцати. Старик дремал, прикрыв лицо от мух рваной бараньей шапкой, а Василь, подперев подбородок ладонями и сощурив глаза, рассеянно смотрел на реку, на теплое, безоблачное небо, на дальний сосновый лес, резко черневший среди пожара зари.

Тихая река, неподвижная, как болото, вся была скрыта под сплошной твердой зеленью кувшинок, которые томно выставляли наружу свои прелестные, белые, непорочные венчики. Лишь на той стороне, у берега, оставалась чистая, гладкая, не застланная листьями полоса воды, и в ней мальчик видел отраженные с необыкновенной отчетливостью: и прибрежную осоку, и черный зубчатый лес, и горевшее за ним зарево. А на этом берегу, у самой реки, в равном расстоянии друг от друга стояли древние, дуплистые ветлы. Короткие прямые ветки топорщились у них кверху, и сами они — низкие, корявые, толстые — походили на приземистых старцев, воздевших к небу тощие руки.

Тонким, печальным свистом перекликались кулички. Изредка в воде тяжело бултыхалась крупная рыба.

Мошкара дрожала над водой прозрачным, тонким столбом.

Козел вдруг приподнял голову с земли и уставился на Василя оторопелым, бессмысленным взглядом.

— Ты что сказал? — спросил он невнятно; хриплым голосом.

Мальчик ничего не ответил. Он даже не обернулся на старика, а только медленно, с упрямым, скучающим выражением опустил и поднял свои длинные ресницы.

— Скоро придут, — продолжал старик, точно разговаривая сам с собой. — Треба пока что покурить.

Он вяло перевалился на бок и сел на корточки, по-турецки. На обеих руках у него были отрублены все пальцы, за исключением большого на левой руке, но этим единственным пальцем он ловко и быстро набил трубку, придерживая ее культяпкой правой руки о колено, достал из шапки спички и закурил. Сладковатый, похожий сначала запахом на резеду, дымок махорки поплыл синими струйками в воздухе.

— Что же, ты сам видел Бузыгу? — как будто нехотя спросил Василь, не отводя глаз от заречной дали.

Козел вынул трубку изо рта и, нагнувшись на сторону, звучно сплюнул.

— А как же? Известно, сам... Ух, отчаянный человяга. Совсем как я в старые годы. Гуляет по целому селу, пья-а-ный-распьяный... как ночь!.. Жидков-музыкантов нанял, те попереди его зажаривают, а он себе никаких. В правой руке платок, сапоги в новых калошах, на жилетке серебряная чепка. Пришел до Грипы Ковалевой: «Гей, курва, горилки!» В стакан бросил серебряного рубля, горилку выпил, а деньги музыкантам кинул. Хлопцы за ним так чередой и ходят, так и ходят... Косятся, как те собаки на волка, но а ни-ни! Ничего не могут, только зубами на него клямкают.

— О! — воскликнул с восторженным недоверием мальчик.

— Обыкновенно... А ему что? О-го-го!.. Ему плевать на них. Я твоих коней не крал? — значит, и ты до меня не цепляйся. От если бы я твои кони украл да ты бы словил меня, — ну, тогда твой верх: имеешь полное право бить. А то — не-ет, шалишь... Это не проходит.

Мальчик молча глядел на реку. На ней уже начали покрикивать, сперва изредка, точно лениво, звонкие лягушечьи голоса. Вечерний туман дымился в камыше и легким, как кисея, паром вился над водой. Небо потемнело и позеленело, и на нем яснее выступил незаметный до сих пор полукруг молодого месяца.

— Козел, а правду говорят, что у Бузыги ребра двойные? — спросил задумчиво Василь. — Что будто его никогда убить нельзя? Правда тому?

— Истинная правда. Как же иначе? У него все ребра срослись, до самого пупа. Такого, как Бузыга, хоть чем хочешь бей, а уж печенок ты ему, брат, не-ет... не отобьешь. Потому что у него печенки к ребрам приросли. А у человека печенки — это первая штука. Если у человека отбиты печени, то тому человеку больше не жить. Заслабнет, начнет харкать кровью: ни есть, ни пить не может, а там и дуба даст...

Мальчик пощупал свою грудь, тонкие бока, впалый живот и протяжно вздохнул.

— А то еще вот, говорят, что двойная спина бывает... как у лошадей, — сказал он печально. — Правда это, Козел?

— Это тоже правда. Бывает.

— А у Бузыги?

— Что у Бузыги?

— У него тоже двойная спина?

— Ну, уж этого я не знаю. Не могу сказать.

— Я думаю, у него тоже двойная...

— Все может быть, — покачал головой старик. — Все может быть... Главное, Бузыга — он хитрый на голову. О-го-го! Это такой человек! В Шепелевке он раз попался... Хотя, скажем, и не попался, а выдал его один хлопец. Из-за бабы у них зашлось. Накрыли его с конями в поле... Было это вечером. Ну, обыкновенно, привезли в хату, зажгли огня и стали бить. Всю ночь били насмерть, чем попало. Мужики, если бьют, так уж у них, известно, такой закон, чтобы каждый бил. Детей, баб приводят, чтобы били. Чтобы, значит, потом всей громаде за раз отвечать. Вот, бьют они его, бьют, — устанут, давай горилку возле него пить, отдышатся трошки — опять бьют. А Митро Гундосый видит, что

Бузыга уж ледве дыхает, и говорит: «Почекайте, хлопцы, как бы злодий у нас не кончился. Заждите, я ему воды дам». Но Бузыга — он хитрый — он знает, что если человеку после такого боя дать воды напиться, то тут ему и смерть. Справился он как-то и просит: «Православные хрестьяне, господа громада, как бы вы мне поднесли одну пляшечку горилки, а там хоть снова бейте. Чую я, что конец мой подходит, и мне хочется перед смертью в опушный раз попробовать вина». Те засмеялись, дали ему склянку. Потом уже больше не мучили — все равно, видят, человек и сам помирает, — а отвезли его в Басов Кут и бросили, как то стерво. Думали, там и кончится. Однако ничего: не поддался Левонтий, выдыхал... Через два месяца у Митро Гундосого пара коней сгинула. Добрые были кони...

— О! Это Бузыга? — радостно вскрикнул мальчик.

— Кто бы ни был, не наше дело, — значительно и злобно возразил Козел. — Приходил после того Гундосый до Бузыги, в ногах у него валялся, ноги ему целовал. «Возьми гроши, только укажи, где кони. Ты знаешь!» А тот ему отвечает: «Ты бы, Митро, воды пошел напился». Вот он какой Бузыга!..

Старый нищий замолчал и стал с ожесточением насасывать трубку. Она сочно хрипела, но не давала уже больше дыму. Козел вздохнул, выколотил трубку о свою босую подошву и спрятал ее за пазуху.

Лягушки заливались теперь со всех сторон. Казалось, что весь воздух дрожал от их страстных, звенящих криков, которым вторили глухие, более редкие, протяжные стоны больших жаб. Небо из зеленого сделалось темно-синим, и луна сияла на нем, как кривое лезвие серебряной алебарды. Заря погасла. Только у того берега, в чистой речной заводи, рдели длинные кровавые полосы.

— Козел, я, когда вырасту, тоже буду коней красть! — произнес вдруг тихим, горячим шепотом мальчик. — Не хочу милостыню собирать. Я буду как Бузыга.

— Тсс... постой... — встрепенулся старик. Он поднял кверху свой страшный палец и, наклонив голову набок, внимательно прислушался. — Идут!

Василь быстро вскочил на ноги. В густой заросли ивняка чуть слышно шлепала вода под чьими-то шагами. Мужские голоса говорили глухо и монотонно.

— Гукни, Василь, — приказал старик. — Только нé швидко.

— Гоп-гоп! — крикнул мальчик сдавленным от волнения голосом.

— Гоп! — коротко отозвался издали сдержанный, спокойный бас.

II

Кудрявые верхушки лозняка закачались, раздвигаемые осторожной рукой. Из кустов на притоптанное, сухое местечко, где дожидались нищий и мальчик, бесшумно вынырнул, согнувшись вдвое, коротконогий, бородатый, неуклюжий с виду мужичонка в рваной коричневой свитке. Прямые, жесткие волосы падали у него из-под капелюха на брови, почти закрывая черные косые глаза, глядевшие мрачно и недоверчиво исподлобья. Голову он держал наклоненной вниз и немного набок, по-медвежьи, и когда ему приходилось посмотреть в сторону, то он не повертывал туда шею, а медленно и неловко поворачивался всем телом, как это делают люди кривошеи или больные горлом. Это был Аким Шпак, известный пристанодержатель и укрыватель краденого. Он же указывал верные места для дела и «подводил» конокрадам лошадей.

Шпак пристально, с враждебным видом оглядел старика и мальчика и, затоптавшись на месте, повернул назад свое несуразное тело с неподвижной шеей.

— Бузыга, сюда! — сказал он сипло.

— Здесь! — весело, по-солдатски ответил низкий, самоуверенный голос. — Бывайте здоровенькие, панове злóдии.

На прогалину вышел рослый рыжий человек в городском платье и высоких щегольских сапогах. Он протянул было руку Козлу, но, заметив свою ошибку, тотчас же спохватился.

— А, черт... Я забыл, что тебе нечем здоровкаться, — сказал он небрежно. — Ну, здравствуй так.

А это тот самый хлопец, про которого говорили? — показал он на Василя.

— Тот, тот, — поспешно закивал головой старый нищий. — О, это такой проворный хлопец... все равно как пуля. Что ж, седай, Левонтий?

— Сяду — гостем буду; угощу горилкой — хозяином буду, — равнодушно пошутил Бузыга, опускаясь на землю. — Аким, достань там, что есть.

Аким вынул из холщовой торбы полштоф водки, несколько каленых темных яиц, половину большого хлеба и положил все это на траву, подле Бузыги. Козел жадно следил за каждым движением и своим единственным пальцем нервно теребил седой подстриженный ус.

— А я уж думал, что не придешь ты, — сказал старый нищий, обратив лицо к Бузыге, но не отрывая глаз от рук Акима. — Видел я тебя днем в Березной... пьяней вина... Ну, думаю, не придет вечером Бузыга. Куда ему... Х-ха! А по тебе и не видно.

— Меня горилка не берет, — вяло уронил Бузыга. — Прикидывался я. Да и спал до вечера.

— У Грипы спал?

— А тебе что? Ну, у Грипы.

— Нет, я так, ничего... Любят тебя бабы.

— А черт их дери. Пускай любят, — равнодушно пожал плечами Бузыга. — Или тебе завидно?

— Где уж мне! Я забыл, как и думают про это... Небось не пускала она тебя?

— Еще бы! Меня не пустишь!.. — Бузыга прищурился и самоуверенно мотнул подбородком вверх. — Пей лучше горилку, старый. Ты, я вижу, все около чего-то крутишься. Спросил бы прямо.

— Чего мне спрашивать? Мне нечего спрашивать. Я просто так... Пью до вас, пане Бузыга. Бывайте здоровенькие, пошли вам бог успеха во всех делах ваших. — Старик ухватил своим пальцем, как подвижным крючком, горлышко бутылки и дрожащей рукой поднес его ко рту. Долго цедил он по каплям сквозь зубы водку, потом передал бутылку Бузыге, утерся рукавом и спросил с деланной развязностью:

— Пытала она тебя, куда собрался?

— Кто?

— Да Грипа же.

Бузыга внимательно и серьезно поглядел старику в лоб.

— Спрашивала. Ну? — протяжно произнес он, сдвигая брови.

— Да я же... Да, господи... я просто так себе... Я же знаю, что ты все равно не скажешь...

— Вы бы заткнулись лучше, дядько Козел, — веско посоветовал, глядя куда-то вбок, молчаливый Аким.

— Ой, хитришь ты, старая собака, — сказал Бузыга, и в его сильном голосе дрогнули, нежданно прорвавшись, какие-то звериные звуки. — Смотри, брат, — тебе Бузыгу не учить. Когда Бузыга сказал, что он в Крешеве, то, значит, его будут шукать в Филипповичах, а Бузыга тем часом в Степани на ярмарке коней продает. Тебе Шпак правду говорит: лучше молчи.

Во все время, пока Бузыга говорил, Василь не сводил с него пристального и тревожного взгляда. В наружности конокрада не было ничего необыкновенного. Его большое, изрытое оспой лицо, с крутыми рыжими солдатскими усами, было неподвижно и казалось скучающим. Маленькие голубые глаза, окруженные белыми ресницами, смотрели сонно, и только в самую последнюю минуту в них зажглось странное — острое и жестокое — выражение. Движения у него были медленные, ленивые и как будто рассчитанные на то, чтобы тратить на них наименьшие усилия, но его могучая, круглая шея, выступавшая из косого ворота рубашки, длинные руки с огромными рыжеволосыми кистями, наконец широкая, свободно согнувшаяся спина — говорили о телесной силе необычайных размеров.

Под влиянием упорного взгляда мальчика Бузыга невольно повернул к нему голову. Глаза его сразу погасли, и лицо сделалось равнодушным.

— Ты что на меня задивился, хлопчик? — спросил он спокойно. — Как тебя зовут?

— Василь, — ответил мальчик и тотчас же откашлялся: таким слабым и свистящим показался ему собственный голос.

Козел угодливо хихикнул.

— Хе-хе-е! Ты его, Бузыга, спроси, что он будет делать, когда подрастет? Перед тобой мы с ним балакали. Не хочу, говорит, Христа ради просить, как ты. А я, говорит, буду, как Бузыга... Я уж с него смеялся, аж боки рвал! — соврал для чего-то Козел.

Мальчик быстро повернулся к деду. Его большие серые глаза потемнели, расширились и загорелись гневом.

— Ладно. Молчи уж, — сказал он грубо, срывающимся детским басом.

— Ах ты подсвинок! — воскликнул с удивлением и с неожиданной лаской в голосе Бузыга. — А ну-ка, ходи ко мне. Горилку пьешь?

Он поставил Василя между своими коленами и большими, сильными руками плотно обнял его тонкое тело.

— Пью!— храбро ответил мальчик.

— Эге, с тебя добрый воряга будет. Ну-ка, тяпни.

— Как бы не завредило? — с лицемерной заботливостью заметил Козел, жадно глядя на бутылку.

— Молчи, старый лис. Останется и тебе, — успокоил его Бузыга.

Василь сделал большой глоток и закашлялся. Что-то отвратительное на вкус, горячее, как огонь, обожгло ему горло и захватило дыхание. Несколько минут он, как рыба, вытащенная из воды, ловил открытым ртом воздух и страшно хрипел. Из глаз у него покатились слезы.

— От так. Теперь садись, казак, промеж казаками, — сказал Бузыга и легонько оттолкнул от себя Василя. И, точно сразу забыв о мальчике, он равнодушно заговорил с Козлом.

— Давно я собираюсь тебя спросить, где ты свои пальцы загубил? — медленно ронял Бузыга низкие, ленивые звуки.

— Случай был такой, — с притворной неохотой ответил нищий. — Вышла гистория из-за коней.

— Слыхал, что из-за коней... Ну?

— Ну, вот... Да тут нема ничего интересного, — мямлил Козел, протягивая слова. Ему чрезвычайно хотелось подробно и долго поговорить об этом страшном

случае, разрезавшем пополам всю его жизнь, и он нарочно настраивал внимание слушателей. — Тридцать лет назад это было. Может быть, теперь нема и на свете того человека, который мне это сделал. Был он немец. Колонист...

Василь лежал на спине. Всему его телу становилось тепло и как-то необыкновенно, до смешного, легко, а перед глазами зароилось бесчисленное множество крошечных светлых точечек. Около него что-то говорили, двигались чьи-то руки и головы, над ним тихо колебались низкие черные ветви каких-то кустов и простиралось темное небо, но он видел и слышал все это, не понимая, как будто не он, а кто-то чужой ему лежал здесь, на траве, в густом лозняке. Потом он вдруг с удивительной ясностью услышал голос старого нищего, и сознание вернулось к нему с новой обостренной силой и с неожиданным глубоким вниманием к окружающему. И рассказ, который он слышал от Козла по крайней мере раз тридцать, снова наполнил его душу любопытством, волнением и ужасом.

III

— ...Гляжу, у корчмы привязана до столба пара коней, — рассказывал Козел певучим, жалобным голосом. — Сразу я по хургону признал, что кони немецкие: колонисты завсегда в таких хургонах ездиют. Ну ж, и кони были! Сердце у меня в грудях заходило... О-го-го! Я толк понимаю в конях. Стоят оба два, как те лялечки, ножки в землю вросли, ушки маленькие, торчком, глазом косят на меня, как зверюки... И не то чтобы очень из себя видные, нет — не панские кони, но уж мне-то от разу видно, что они за два. Такие кони тебе пробегут хоть сто верст — и ничего им не станет. Вытри им только морду сеном, дай воды по корцу и езжай опять дальше. Ну, что там толковать! Я скажу одно: вот нехай сейчас придет ко мне господь бог, альбо сам святый Юрко, и нехай он скажет мне: «Слухай, Онисиме, на тебе назад твои пальцы, но чтобы ты больше никогда не смел коней красть»... Так что ты

думаешь, Бузыга? Ведь я бы тех коней опять увел. Накажи меня бог, увел бы...

— Что же дальше?— перебил его Бузыга.

— Сейчас будет дальше. Аким, сверни-ка мне покурить. Да... Ходил я, ходил округ того хургона, мабуть целую половину часа ходил. Главное, я тебе скажу — что? Главное, что человек никогда своего времени не знает. Коли бы я их сразу отвязал да поехал — все бы у меня сошлось ладно. Дорога все время лесом, ночь темная, грязюка, ветер... чего бы лучше. А я заробел. Толкусь возле коней, как дурень, а сам все думаю: «Эх, упустил я свой час! Выйдет немец из корчмы, и всему конец». Потом снова похожу, похожу и снова думаю: «Эх, и опять потерял я время задаром! — теперь уж и совсем нельзя». И все чего-то я робею, и сам не знаю с чего...

— Надо сразу, — решительно молвил Бузыга.

— Ах, Левонтий, Левонтий, отчего тебя тогда со мной не было?! — со страстной укоризной воскликнул Козел. — Ну, да что там!.. Тебя еще и на свете тогда не было... Да. Так я, значит, и ходил округ тех лошадей и того хургона и все боялся. Может быть, оттого это так вышло, что был я тогда трезвый и голодный... разве я знаю? Сначала все марудился без толку, а потом — точно меня по потылице ударили сзади — кинулся я до коней, распутал вожжи, стал колокольцы подвязывать... Только вдруг — хлоп! — выходит из корчмы той самый немец, в шапке, с кнутом. Увидел меня и кричит с лестницы: «Эй ты, сукин кот, что ты там около коней околачиваешься? Украсть хочешь?» Я ему отвечаю: «Зачем же мне твою худобу красть? Своей у меня, что ли, нет? Ты меня поблагодари, говорю, что я твоих коней до столба привязал, а то утекли бы». — «Ладно, говорит, знаем мы, как вы привязываете. Пошел вон, свинья!» Ну, я, конечно, отошел в сторону, спрятался по-за корчму и стою. Зло меня взяло, аж трясусь весь. «Нет, думаю, этого я тебе так не оставлю».

— Понятно. Разве же можно простить? — уверенно подтвердил Бузыга. — Я бы хоть через год, а увел у него коней.

— Нет, Бузыга, не увел бы! — с глубоким убеждением возразил Козел. — У этого немца и ты бы не увел. Ты постой, не сердись... Ты послушай, что дальше было. Сховался я за корчмой и смотрю. Вот немец покрутился возле хургона и кричит: «Лейба, неси сюда овес!» Лейба, корчмарь, вынес ему четверть и спрашивает: «А отчего бы вам у меня в корчме не заночевать? Коней бы покормили». А тот говорит: «Нет, спасибо вам, мне нема часу, дуже далеко ехать. А коней, говорит, я в лесу покормлю, у Волчьего Разлога. До свиданья вам». — «До свиданья». Сел колонист в хургон и поехал. Я за ним. До Мысловой он шибко гнал рысью, но я дорогу знал добре, пустился тропкой через казенный лес напрямки. Вышел на шлях, сел в канаву, гляжу — едет немец шагом. Дал я ему проехать вперед — пошел за ним следом. Он коней в бег пустит — и я бегу, он шагом — и я шагом. О-го-го! Двадцать пять лет тогда мне было. Был я хлопец крепкий, не хуже тебя, Бузыга. Что ты думаешь: тридцать верстов я за ним отодрал — до самого Волчьего Разлога. По правде сказать, не надеялся я, что он станет на ночь в лесу, как говорил. Думал: нарочно это он мне баки забивает, чтобы сбить меня. Но гляжу — нет, — и всамделе свертает со шляха в лес, на поляну. Разнуздал коней, всё как следует быть, оглобли у хургона кверху поднял. А я пролез на животе, как та гадюка, лег за кустом и все вижу. Потому что ночью, если с горы смотреть, то ничего не увидишь, а в гору все видно...

— Знаем, — нетерпеливо сказал Бузыга. — Ну?..

— Потом, гляжу, он надел коням на ноги путы. Путы железные, я уж издали слышу, как ляскают. «Эге-ге, думаю, значит, ты тут и вправду заночуешь». Лежу... А холодно! А ветер!.. Зубы у меня так и стукотят. Но ничего, скрепился я, жду. Вижу, полез немец в хургон, поворошился там трошки и затих. Много времени прошло, может час, а может два, разве я знаю? Стал я понемногу подниматься. Думаю: спит немец или только так, дурака валяет? Взял грудку земли, бросил вперед. Немец — а ни мур-мур. А у меня на него злоба так и кипит. Вспомню, как он меня обругал —

аж зубами заскриплю. Поднялся я, сел на корячки, гляжу, а оба кони прямо на меня шкандыбают, один попереди, другой сзаду. Остановятся, пощиплют траву, скубнут с куста сухой листик, и снова — трюх-трюх — и всё на меня. А меня, я тебе скажу, Бузыга, никакой конь ночью не испугается. Потому что есть такое слово...

— Знаю. Враки! — сердито возразил конокрад. — Говори дальше.

— Ну, все равно, как хочешь... Подошли ко мне кони так близко, что до морды только руку протянуть. Я им сейчас: шш... о-о! милый!.. Огладил одного конька — ничего... дается... Стал я ему железку распиливать. Напилок всегда при мне был. Пилю, пилю, а сам все поглядываю: что немец? Решил я тогда второго коня не брать: дуже тяжко пилить приходилось, железки были новые, толстые, да и думаю: все равно — он меня на одном коне не догонит. Перепилил я один прут до середины. Стал пробовать, могу ли разломать. Напружился я, стараюсь со всех сил... вдруг кто-то меня сзади торк в плечо. Обернулся я, а около меня немец. Как он ко мне подобрался? — черт его ведает. Стоит и зубы оскалил, точно смеется. «А ну-ка, говорит, пойдем со мной. Я тебя научу, как коней воруют». У меня от страха ноги отнялись и язык в роте как присох. А он взял меня под мышку, поднял с земли.

— А ты что же? — со злобой крикнул Бузыга.

Старик скорбно развел своими изуродованными руками.

— Не знаю, — сказал он тихо. — Вот пускай меня бог покарает, — до сего часу не знаю, что он со мной сделал. Маленький был такой немчик, ледащий, всего мне по плечо, а взял меня, как дитину малую, и ведет. И я, брат, иду. Чую, что не только утечь от него — куда там утечь! — поворохнуться не могу. Зажал он меня, как коваль в тиски, и тащит. Почем я знаю, может это совсем и не человек был?

Дошли мы до хургона. Одной рукой он меня держит, а сам нагнулся над хургоном и что-то лапает. Думаю я: «Что он будет делать?» А он поискал и гово-

рит: «Нет, должно быть, не здесь». Опять за руку повел меня вокруг хургона. Зашел с другой стороны, полапал-полапал и вытаскивает топор. «Вот он, говорит. Нашел. Ну, теперь, говорит, ложи руку на драбину». Тихо так говорит, без гнева. Понял я тогда, что он хочет мне руку рубить. Затрясся я весь, заплакал... А он мне говорит: «Не плачь, это недолго»...

Стою я, как тот бык под обухом, сказать ничего не могу, а только дрожу. Взял он мою руку, положил на полудрабок — хрясь! «Не воруй, говорит, коней, коли не умеешь». Три пальца сразу отсек. Один отскочил, в лицо мне ударился. А он опять — хрясь! хрясь! — и сам все приговаривает: «Не воруй, коли не умеешь, не воруй чужих коней»... Потом велит он мне дать другую руку. Я его, как малое дитя, слухаюсь, ложу и левую руку. И снова он мне говорит: «Не воруй коней», и хррясь топором!.. Отсек он мне все пальцы, оставил только один, вот этот, — Козел протянул вперед свою изуродованную руку с торчащим вверх большим пальцем. — Посмотрел на него, посмотрел и говорит: «Ну, говорит, все равно ты этим пальцем лошадей красть не будешь, разве что другому вору поможешь. Дарю его тебе, чтобы ты им пил, ел, трубку закуривал и чтобы обо мне завсегда помнил».

Кровь так и хлестала из меня... жжжи!.. в девять ручьев бегла. Не выдержал я. Стало мне так тошно, так скверно... А он взял меня, как котенка, за ворот, сгреб и понес. Стояла тут большая калюжа. Ночь была холодная — страсть! Аж воду сверху затянуло льдом. Притащил меня немец к той калюже, разбил сапогом лед и велит мне сунуть руки в воду. Послушался его — сразу мне стало легче. А он мне говорит: «Так и сиди, говорит, до утра. Вынешь руки — тебе же хуже будет». С этими словами отошел от меня, словил коней, запряг и уехал. Тогда я себе думаю: «Дойду до фершала...» Вынул руки — да как закричу на весь лес! Больно в пальцах, будто их огнем пекут, а руки так и сводит в суставах. Я опять их в воду — ничего, отпускает, полегче стало... Так я — правду немец сказал — и просидел до утра. Выну руки — ну, просто гвалт, вытерпеть невозможно, опущу в воду — прохо-

дит боль. К утру я совсем закоченел, а вода стала в калюжке красная, как кровь. Ехал мимо посессор из Нагорной, так он забрал меня в шарабан и привез в больницу. Перевязали меня там, вылечили, подкормили, а через месяц и на волю пустили. И на кой черт! — воскликнул он со страстной горечью. — В сто раз лучше было бы для меня там и околеть в Волчьем Разлоге!..

Он замолчал и весь согнулся, низко опустив голову. Несколько минут конокрады сидели, не говоря ни слова, не двигаясь. Вдруг Бузыга содрогнулся всем телом, точно просыпаясь от каких-то страшных грез, и шумно вздохнул.

— Что же ты сделал потом с этим немцем? — спросил он сдержанным, но вздрагивающим от злобы голосом.

— А что бы я мог сделать с ним? — печально спросил в свою очередь Козел. — Что бы ты на моем месте сделал?

— Я бы!.. Я бы!.. У-у-у!.. — зарычал Бузыга, яростно царапая пальцами землю. Он задыхался от гнева, и глаза его светились в темноте, как у дикого зверя. — Я бы его сонного зарезал... Я бы ему зубами глотку перервал!.. Я бы...

— Ты-ы бы! — с горькой усмешкой перебил его Козел. — А как бы ты его нашел? Кто он? Где он живет? Как его звать? Может, это и не человек совсем был...

— Брехня! — медленно произнес молчавший до сих пор Аким Шпак. — На свете нема никого — ни бога, ни черта...

— Все одно! — воскликнул Бузыга, стукнув кулаком о землю. — Все одно: я бы тогда стал без разбору всех колонистов подпаливать. Скот бы ихний портил, детей бы ихних калечил... И до самой смерти бы так!..

Козел тихо засмеялся и еще ниже опустил голову.

— Эх, бра-ат, — протянул он с ядовитой укоризной. — Хорошо подпаливать с десятью пальцами... А когда у тебя всего один остался, — старик опять ткнул вперед свои ужасные обрубки, — тогда тебе и дорога одна — на церковную паперть, со слепцами и калеками...

И он вдруг запел старческим, дребезжащим голосом мрачные слова древней нищенской песни:

Ой, лыхо мини, лыхо уб-о-о-гому...
Сотворите милостыню, Христа ра-а-а-ди...
Благодетели вы на-а-ши...
Ой, сидим мы, безногие, безру-у-у-кие,
Калики злосчастные край доро-о-ози-и...

Он мучительным криком, фальшиво оборвал песню, уткнул голову между поднятыми вверх коленями и глухо зарыдал.

Никто не произнес больше ни слова. На реке, в траве и в кустах, точно силясь перегнать и заглушить друг друга, неумолчно кричали лягушки. Полукруглый месяц стоял среди неба — ясный, одинокий и печальный. Старые ветлы, зловеще темневшие на ночном небе, с молчаливой скорбью подымали вверх свои узловатые, иссохшие руки...

IV

Тяжелые, частые шаги послышались в лозняке, с той стороны, откуда недавно пришли Бузыга с Акимом. Кто-то торопливо бежал через чащу, шлепая без разбора по воде и ломая на своем пути сухие ветки. Конокрады насторожились. Аким Шпак стал на колени. Бузыга оперся руками о землю, готовый каждую секунду вскочить и броситься вперед.

— Кто это? — шепотом спросил Василь.

Никто ему не ответил. Грузные шаги раздавались все ближе. Среди всплесков воды и треска ветвей уже слышалось чье-то сильное, хриплое и свистящее дыхание. Бузыга быстро сунул руку за голенище, и перед глазами Василя блеснула сталь ножа.

Шум шагов внезапно прекратился. Наступил момент удивительной, глубокой тишины. Даже всполошенные лягушки перестали кричать. Что-то огромное, тяжеловесное затопталось в кустах, свирепо фыркнуло и засопело.

— Эге, да это кабан, — сказал Бузыга, и все вздрогнули от его громкого голоса. — До воды пришел.

— И то правда, — согласился Шпак, спокойно валясь на землю.

Кабан еще раз негодующе фыркнул и кинулся назад. Долго было слышно, как хрустел он кустами в своем могучем беге. Потом все стихло. Лягушки, точно раздраженные минутной помехой, закричали с удвоенной силой.

— Когда пойдешь, Бузыга? — спросил старик.

Бузыга поднял голову и внимательно посмотрел на небо.

— Рано еще, — сказал он, зевая. — Пойду перед утром.. К заре мужики спят, как куры...

Сон понемногу охватывал Василя. Земля заколыхалась под ним вверх и вниз и медленно поплыла куда-то в сторону. На мгновение мальчик увидел, с трудом открывая глаза, темные фигуры трех людей, безмолвно сидевших друг возле друга, но он уже не знал, кто они и зачем они сидят так близко около него. Из кустов, где теснились, гневно сопя и фыркая, дикие кабаны, вдруг вышел сын церковного старосты — Зинька, засмеялся и сказал: «Василько, вот лошади, поедем». И они сели вдвоем на маленькие санки и понеслись с приятной быстротой в темноте, по узкой, белой беззвучной дорожке, между высокими соснами. Сзади бежал дедушка, он махал своими обрубленными руками и не мог их догнать, и это было необыкновенно смешно и радостно. В гривы и в хвосты лошадей были вплетены бубенчики, и на ветках темных сосен висели бубенчики — со всех сторон доносился их однообразный, торопливый и веселый звон... Потом Василь с размаху быстро въехал в какую-то темную, мягкую стену — и все исчезло...

Он проснулся от холодной сырости, которая забралась ему под одежду и трясла его тело. Стало темнее, и поднялся ветер. Все странно изменилось за это время. По небу быстро и низко мчались большие, пухлые, черные тучи, с растрепанными и расщипанными белыми краями. Верхушки лозняка, спутанные ветром, суетливо гнулись и вздрагивали, а старые ветлы, вздевшие кверху тощие руки, тревожно наклонялись в разные стороны, точно они старались и не могли передать друг другу какую-то страшную весть.

Конокрады неподвижно лежали, головами внутрь, слабо и плоско чернея своими телами в темноте. У кого-то из них рдела во рту трубка. Она то погасала, то опять вспыхивала на секунду, и красный свет, вперемежку с длинными косыми тенями, бегал по бронзовым лицам. От холода и прерванного сна мальчиком овладела усталость и длительная равнодушная скука. Он без интереса вслушивался в тихий разговор конокрадов и с тупой обидой чувствовал, что им нет до него никакого дела, как не было до него дела этим огромным, быстро несущимся молчаливым тучам и этим встревоженным ветлам. И то, к чему он готовился в эту ночь и что прежде наполняло его душу волнением и гордостью, показалось ему вдруг ненужной, мелкой и скучной выдумкой.

— Ты все свое. Истинный ты Козел! — с досадой говорил Бузыга. — Куда мне твой соловый жеребенок к черту? Его же в каждом селе знают, как облупленного. В позапрошлом году угнал я верхового коня у бухгалтера с сахарного завода. Весь гнедой, сукин сын, без отметины, а левая передняя нога, шут ее дери, белая. Я с ним туда, я с ним сюда — все с меня смеются, как с дурня. «Мы, говорят, с глузду еще не съехали. Такого коня и в Ровном не продашь, он по всей губернии известен». Ты не знаешь, Козел, за что я его продал? За кувшин кислого молока. Что свистишь? Верно тебе говорю. Волька Фишкин купил. Увидел шибенник, что я от жары язык высунул, и зовет меня: «Слухайте, Бузыга, а ну, зайдите трошки до меня, кислого молока выпить». Зашел я, а он мне потом говорит: «Послушайте, Бузыга, мне с вами всегда приятно иметь дело, но этого коня у вас купит только дурень. Все равно вы его вечером бросите куда попало. Лучше бы вы его отдали мне, а я его отведу назад, на завод. Может быть, заработаю сколько-нибудь грошей на чай?» Я ему и отдал лошадь, а он ее потом в Подольской губернии, на Ярмолинецкой ярмарке, продал за сто тридцать карбованцев. Так вот что значит, Козел, таких коней уводить.

— Н-на... это так, — в раздумье протянул старик и почавкал беззубым ртом. — А вот тоже хороши караковые коньки у Викентия Сироты... И подвести легко...

— У Викентия... да, оно, конечно... — нерешительно согласился Бузыга. — Викентий, это верно... Только, знаешь, Козел, жалко мне Викентия обижать. Небогатый он мужик и всегда такой ласковый... Сколько раз, бывало, голова трещит, как котел, — скажешь ему: «Опохмели, Викентий», — сейчас постарается. Нет, жаль мне Викентия...

— Ерунда! Никого не жаль, — злобно сказал Аким Шпак.

— Нет, Викентия ты оставь, — твердо приказал Бузыга. — Говори других.

— Кто же еще? Микола Грач разве?

— Микола Грач, это — другой табак. Только хитрый, дьявол. Ну, да все одно — Грача будем помнить на всякий случай.

— Можно еще Андрееву кобылу подвести, белую. Ничего кобылка...

— К черту белую! — сердито воскликнул Бузыга. — И стара, и волосы везде налезут. Первая примета... Помнишь, как Жгун с белой лошадью вляпался?.. Тсс... Помолчи-ка, Козел, — махнул он рукой на старика. — Что это с нашим хлопчиком?

Василь корчился на земле, изо всех сил стараясь съежиться таким образом, чтобы в него как можно меньше проникала холодная болотная сырость. Зубы его громко стучали друг о друга.

— Что, хлопец, проняло тебя? — услышал он вдруг над своей головой густой голос, звучавший с непривычной мягкостью.

Мальчик открыл глаза и увидел склонившееся над ним большое лицо Бузыги.

— Постой-ка, я тебя укрою, — говорил конокрад, снимая с себя пиджак. — Что же ты раньше-то не сказал, дурной, что тебе холодно? Повернись трошки... Вот так...

Бузыга заботливо подтыкал полы пиджака под бока мальчику, а сам сел подле него и положил ему на плечо свою широкую, тяжелую руку. Чувство невыразимого удовольствия и благодарности задрожало у Василя в груди, волной подкатилось к горлу и защипало глаза. Пиджак был большой и очень толстый, еще теп-

лый от тела Бузыги и пахнувший запахом здорового пота и махорки. Мальчик быстро стал согреваться под ним. Съежившись в комочек и плотно зажмурив глаза, он ощупью отыскал большую, приятно тяжелую руку Бузыги и ласково прикоснулся к ней кончиками пальцев. И уже опять в его затуманившемся сознании побежала через темный лес белая длинная дорога.

Он заснул так крепко, что ему показалось, будто он только на миг закрыл глаза и тотчас же открыл их. Но когда открыл их, то повсюду уже был разлит тонкий неверный полусвет, в котором кусты и деревья выделялись серыми, холодными пятнами. Ветер усилился. По-прежнему нагибались верхушки лозняка и раскачивались старые ветлы, но в этом уже не было ничего тревожного и страшного. Над рекой поднялся туман. Разорванными косыми клочьями, наклоненными в одну и ту же сторону, он быстро несся по воде, дыша сыростью.

Бузыга с посиневшим от холода, но веселым лицом легонько толкал Василя в плечо и говорил нараспев, подражая колокольному звону:

По-оп Ма-а-ртын,
Спи-ишь ли-и ты?
Звонят в колокольню...

— Вставай, хлопчик, — сказал он, встретив улыбающийся взгляд Василя. — Время идти.

Козел глухо кашлял старческим, утренним, затяжным кашлем, закрывая рот рукавом и так давясь горлом, как будто его рвало. Лицо у него было серо-зеленое, точно у трупа. Он долго и беспомощно махал своими культяпками по направлению Василя, но кашель мешал ему заговорить. Наконец, справившись и тяжело переводя дух, он сказал:

— Так ты, Василь, проводишь Бузыгу через Маринкино болото до Переброда...

— Знаю я, — нетерпеливо прервал его мальчик.

— А ты, щенок, помолчи! — сердито крикнул старик и опять надолго закашлялся. — Смотри, чтобы вам в казенном лесу в окно не провалиться. Там трясина...

— Да знаю же я... Говорил ты...

— Дай досказать... Помни, мимо млина не идите, лучше по-под горой пройти — на млине работники рано встают. Возле панских прясел человек будет держать четырех лошадей. Так двух Бузыга возьмет в повод, а на одну ты садись и езжай за ним до Крешева. Ты слушай, что тебе Бузыга будет говорить. Ничего не бойся. Пойдешь назад, — если тебя спросят, куда ходил? — говори: ходили с дедом в казенный лес лыки драть... Ты только не бойся, Василь...

— Ну тебя к черту! Ничего я не боюсь, — небрежно огрызнулся Василь, отворачиваясь от старика. — Бузыга, пойдем, что ли...

— Ах ты капшук. Какой сердитый! — радостно засмеялся Бузыга. — Так его, так, старого пса... Ну, айда. Иди вперед.

Аким Шпак вдруг засопел и затоптался на одном месте. Его хмурое лицо было измято бессонной ночью и казалось еще больше свороченным набок: белки черных глаз были желтые, с кровавыми жилками и точно налитые какой-то грязной слизью.

— Деньги пополам, Бузыга, — сказал он мрачно. — Мы тебя не обижаем. Половина тебе, а половина нам троим: мне, Козлу и Кубику...Так чтобы без обмана. Мы все равно потом узнаем...

— Ладно! — крикнул беспечно Бузыга. — Прощайте!

— С богом! — сказал Козел.

Аким Шпак неуклюже, всем туловищем повернулся к старику, поглядел на него с ненавистью и крепко сплюнул.

— Тьфу, нищ-щий! — прошипел он сквозь стиснутые зубы.

V

Онисим Козел жил со своим внуком на краю села, около моста, в покосившейся набок и глубоко вросшей в землю хатенке, у которой давным-давно развалилась труба, белая наружная обмазка отпала извилистыми кусками, оголив внутренний слой желтой глины, а стекла, кое-где замененные толстыми тряпками, стали от времени зелено-матовыми и отливали радуж-

ными цветами. Кроме их двоих, здесь жила еще Прохоровна — глухая, столетняя, выжившая из ума одинокая старуха. Все трое пользовались жильем бесплатно, из милости односельчан, тем более что в эту же вымороченную хату, по распоряжению начальства, свозили со всей волости, для вскрытия, удавленников, утопленников, скоропостижно умерших и убитых в драке крестьян. Тот самый стол, на котором обыкновенно обедали трое отщепенцев деревенской жизни, служил в этих случаях для помещения трупов.

Василь вернулся домой усталый и встревоженный (Козел пришел раньше и уже лежал на печке, прикрывшись с головой рваным зимним кожухом). Мальчику удалось благополучно проводить Бузыгу до Переброда. С мельницы их, кажется, не заметили, хотя там уже копошились люди и стояли телеги. Они нашли в указанном месте, у панских прясел, четырех привязанных лошадей, но Кубика при них не было. Это обстоятельство так сильно обеспокоило Бузыгу, что он взял с собой только двух коней, какие были получше, остальных же бросил привязанными, а мальчику велел немедля бежать домой, и бежать не по дороге, а напрямик через Маринкино болото и через казенный лес.

— Испугался Бузыга? — торопливо спросил Козел.

— Испугался — нет, — ответил Василь, тяжело переводя дыхание. — А рассердился крепко. Кубика грозился зарезать... И на меня рассердился... Я ему говорю: «Все равно, Бузыга, я не боюсь, возьмем всех коней и поедем»... Как он закричит и на меня! Я думал, прибьет... Побежал я от него...

— А мне? Мне он ничего не велел сказать?

— Велел. Скажи, говорит, старику, чтобы весь день сидел дома и никуда чтобы не рипался. А если будут тебя спрашивать про Бузыгу и про коней, то чтобы ты отвечал, что ничего не знаешь и ничего не слыхал...

— Господи, царица небесная, что же это такое... — плаксиво и беспомощно воскликнул Козел.

Василь жадно, большими глотками, пил из деревянного ковша воду.

— Должно быть, за Бузыгой погнались, — сказал он, отрывая на минуту от ковша вспотевшее лицо. — Я, когда болотом бежал, слышал: много народу по шляху поскакало. Верхом и на телегах...

Старик растерянно моргал своими красными, точно вывороченными, слезящимися веками. Лицо у него от страха перекосилось, и один угол рта задергался.

— Ложись, Василь, ложись скорей на лавку! — лепетал он срывающимся голосом. — Ложись скорей. Ой, горе наше, господи, господи!.. Чьих лошадей он увел? Ты не видал? Ох, да ложись же ты!..

— Одну я не знаю, а другая наша, Кузьмы Сотника чалая кобылка...

— Кузьмы? О господи!.. Что же теперь будет? Как ведь просил я Бузыгу: не трогай из нашего села коней — на тебе! — вздыхал Козел, возясь у себя на печке. — Василь, ты помни, если будут спрашивать, куда ходили, — говори — в казенный лес за лыками. А лыки, скажи, лесник отнял. Слышишь?

— Ну тебя, слышу! — сурово отозвался мальчик.

— Святители и чудотворцы наши, угодники божии! — продолжал причитать Козел. — Не может же это быть, чтобы Кубик донес: не такой он хлопец. А все Бузыга — чугунная голова!.. На кой ему черт было двух коней угонять? Ты говоришь, много народу скакало? Господи, господи!.. И всегда он так: своей головы ему не жаль, так и на чужую наплевать. Ведь сам видит, подлец, что дело дрянь, ну, и утекал бы скорей, — нет, ему надо гусара доказать, перед мальчишкой ему стыдно... Господи, господи!.. Василь, ты спишь?

Мальчик сердито промолчал. Старик долго еще копошился на печке, кряхтя и охая и разговаривая сам с собой быстрым, испуганным шепотом. Он хотел уверить себя, что никакой опасности нет, что отсутствие Кубика объяснится со временем какой-нибудь пустой случайностью, что верховые по дороге просто померещились мальчику от страха, и хотя ему удавалось на короткие минуты обмануть свой ум, но в глубине души он ясно и безошибочно видел, как на него надвигалась грозная, неотвратимая смерть. Порою он

прерывал свой бессмысленный шепот и напряженно прислушивался. Каждый шорох, каждый отдаленный стук или голос заставляли его вздрагивать и замирать. Один раз, когда под самым окном оглушительно заорал и захлопал крыльями чей-то соседский петух, — старый нищий почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от головы к затрепетавшему сердцу, и мгновенно ослабевшее тело покрылось горячей, колючей испариной.

Так прошло около часа. Из-за желтых полей, по ту сторону моста, поднялось солнце. В темную закопченную хату, пропитанную запахом овчины и вчерашних щей, хлынули через два окна два воздушные столба веселого золотого света, в которых радостно заплясали бесчисленные пылинки. Козел вдруг быстро сбросил с себя кожух и сел на печке. Его старческие бесцветные глаза широко раскрылись с выражением безумного ужаса. Посиневшие губы криво шевелились, не произнося ни звука.

— Ид...дут! — наконец проговорил он, заикаясь и тряся головой. — В-васи-иль, идут... Смерть наша... Василь...

Мальчик уже давно слышал неясный, глухой и низкий гул, который, как раскачавшиеся волны, то подымался, то падал, становясь с каждой минутой все страшнее и понятнее. Но казалось, какая-то отдаленная твердая преграда еще сдерживала его. И вот эта невидимая стена внезапно раздвинулась, и долго сдерживаемые звуки хлынули из-за нее с ужасающей силой.

— К нам повернули. Убьют нас, Василь! — дико вскрикнул Козел.

Теперь стало слышно, как по улице бежала, тяжело громыхая подкованными сапогами и яростно рыча, огромная толпа, обезумевшая и ослепшая от жестокого, не знающего пределов, беспощадного мужицкого гнева.

— Тащи их сюда! Ломай двери! — заревел под окном чей-то голос, в котором не было ничего человеческого.

Незапертая дверь, сорванная с клямки, распахнулась, оглушительно хлопнув о стену, и в яркий про-

свет, образованный ею, ворвалась черная кричащая толпа. С исковерканными злобою лицами, давя и толкая друг друга и сами не замечая этого, в хату стремительно ввергались, теснимые сзади, десятки потерявших рассудок людей. Растрепанные, волосатые, озверелые лица нагромоздились снаружи по окнам, загородив собою золотые пыльные столбы света и затемнив комнату.

Василь сидел не шевелясь, плотно прижавшись спиной к стене, бледный и дрожащий, но не испуганный. Он видел, как сначала слетел с печки дедушкин кожух и как потом свалился оттуда, беспомощно мелькнув над головами толпы, и сам Козел. Старый нищий что-то кричал, широко разевая беззубый рот, с бесстыдными гримасами ужаса и подобострастия, отвратительными на его старом, изъеденном морщинами лице, потрясал своими поднятыми кверху обрубками, показывал ими на образ, торопливо крестился и с размаху бил себя ими в грудь. А на него лезли со всех сторон налившиеся кровью, остеклевшие от гнева глаза, искривленные бешеным криком губы, его сжимали жаркие, потные тела, под натиском которых старик вертелся, как щепка, попавшая в водоворот.

— Бей его, бей, злодия!.. Что? Врешь, сукин сын! Цыпенюк, дай ему раза!.. На улицу его, хлопцы, волоките на улицу! Ты у нас давно, как чирей, сидишь. В землю живого закопаем... Бей! — вырывались из общего рева отдельные восклицания.

— Господа громада!.. Ей-богу!.. Вот как перед богом! — выкрикивал визгливо Козел. — Нехай меня бог убьет на этом месте, нехай меня болячка задавит!.. Чтоб мне, как той собаке, подохнуть без святого причастия!..

Вдруг, покрывая сразу эту бурю проклятий, божбы и ругани, раздался громадный голос Кузьмы Сотника, который, возвышаясь по плечи над толпою, кричал, побагровев от напряжения:

— Стой, братцы!.. Надо это дело обследовать. Тащите его до Бузыги!

— Тащи!.. У-у-у!.. Бери!.. Всем им конец сделаем!..

С той же стихийной стремительностью, с какой эта толпа вторгалась в хату, она кинулась на улицу. Кто-то схватил Василя сзади и швырнул его в кучу барахтающихся тел, и, стиснутый со всех сторон, оглушенный, измятый в дверях кулаками и локтями, он был выброшен общим потоком наружу.

Необычное, странное зрелище представляло село в это прелестное летнее утро. Несмотря на будний, рабочий день, оно все кипело народом. Уже запряженные в телеги и в сохи, но впопыхах брошенные людьми лошади стояли почти у каждых ворот. Ребятишки и бабы бежали, не оглядываясь, и всё в одном направлении — к церкви. Собаки заливались лаем, куры с тревожным кудахтаньем, бестолково махая крыльями, разлетались в разные стороны из-под ног. Толпа быстро увеличилась новыми людьми и раздалась во всю ширину улицы. Сбившись в густую массу, задыхаясь в давке, разгорячаясь от прикосновения друг к другу, люди бежали с хриплыми криками, с пеной у рта, точно стая бешеных животных.

На лужайке, перед винной лавкой, сплошным черным кругом теснился народ. Обе толпы слились, перепутались и сжали друг друга. Какая-то чудовищная упругая сила выбросила вперед Козла и Василя.

В середине, на узком, свободном пространстве, инстинктивно огороженном толпой, лежал на сырой и темной от крови траве Бузыга. Все лицо его представляло собою большой кусок окровавленного, разодранного в клочья мяса. Один глаз был вырван и висел на чем-то, похожем на красную, мокрую тряпку. Другой глаз был закрыт. Вместо носа по щекам разляпалась большая, мягкая кровяная лепешка. Усы были залиты кровью. Но самое ужасное, невыразимо ужасное, было в том, что этот обезображенный человек лежал на земле и молчал в то время, когда вокруг него клокотал и ревел опьяненный злобой народ.

Кузьма Сотник схватил Козла за ворот свитки и с такой силой пригнул его вниз, что старик упал на колени.

— Гей! Тихо! — крикнул Кузьма, обернувшись назад. — Молчите.

Он был сегодня вождем и возбудителем страстей. Его послушались. Рев толпы понемногу стих, точно убегая от передних к задним.

— Бузыга! — раздельно и внятно крикнул среди наступившей тишины Кузьма, низко наклоняясь над конокрадом. — Слышишь, больше тебя бить не станем. Отвечай по совести: был с тобой Козел или нет?

Бузыга молчал, не открывая своего единственного глаза. Его грудь подымалась так часто и так высоко, что казалось невероятным, что человек может так дышать, и при каждом вздохе в горле у него что-то свистело и всхлипывало, точно там с трудом просачивалась сквозь узкую трубку какая-то жидкость.

— Ты не прикидывайся, сволочь! — грозно возвысил голос Кузьма, и, высоко занесши ногу и крякнув от натуги, он со страшной силой ударил своим подкованным сапогом Бузыгу в низ груди, в то место, где начинают расходиться ребра.

— У-ух! — тяжело и жадно вздохнула разом вся толпа.

Бузыга застонал и медленно поднял веко.

Первое, что он увидел, было лицо Василя. Бузыга долго, пристально и равнодушно глядел на мальчика, и вдруг Василю показалось, что запекшийся рот конокрада чуть-чуть тронулся страдальческой и ласковой улыбкой, и это было так неестественно, так жалко и так страшно, что Василь невольно вскрикнул, всплеснул руками и закрыл лицо.

— Говори же, сатана! — крикнул в ухо Бузыге Сотник. — Слухай: если скажешь, кто тебе подмогал, сейчас отпустим. А то убьем, как собаку. Господа громада, скажите ему: правду я говорю чи нет?..

— Правду... Говори, Бузыга, ничего тебе больше не будет, — глухой волной перекатилось в толпе.

Бузыга тем же долгим, странным взглядом поглядел на Василя и, с усилием раздвинув свои разбитые губы, произнес еле слышно:

— Никто... не был... один...

Он закрыл глаз, и опять его грудь заходила высоко и часто.

— Бей его! — пронзительно вырвался из задних рядов чей-то дрожащий, нервный, полудетский голос. Толпа шатнулась, глухо заворчала и плотнее надвинулась на узкое пространство, где лежал конокрад.

Козел, не вставая с колен, подполз к Кузьме и обхватил его ноги.

— Миленькие!.. благодетели! — лепетал он бессмысленно и слезливо. — Ножки, ножки ваши целую... Видит бог, дома был... ходил лыки драть... видит бог!.. Матерь божия!.. Голубеночки ж вы мои... миленькие!.. Стопочки ваши целую!.. Калека я...

И он на самом деле, ползая на коленях и не выпуская из рук сапог Кузьмы, так исступленно целовал их, как будто в этом одном заключалось его спасение. Кузьма медленно оглянулся назад на толпу.

— Черт с ним! — вяло произнес какой-то древний старик, стоявший впереди.

— Черт с ним! — подхватило несколько голосов. — Може, и не он. Это крешевские, ихний и конь был!.. Чего там?.. Отпустить Козла... Это крешевские... допросить старосту...

Козел продолжал ползать на коленях от одного мужика к другому. От ужаса близкой и жестокой смерти он уже перешел к блаженной радости, но нарочно из угодливости притворялся непонимающим. Слезы бежали по его безобразно кривившемуся лицу. Он хватал, не разбирая, чьи-то жесткие мозолистые руки, чьи-то вонючие сапоги и взасос, жадно целовал их. Василь стоял, бледный и неподвижный, с горящими глазами. Он не отрывался от страшного лица Бузыги, ища и боясь его взгляда.

— Уходи! — сурово сказал Кузьма Сотник и толкнул старика ногой в спину. — Уходи и ты, Василько!.. Бузыга! — крикнул он тотчас же, повернувшись к умиравшему конокраду. — Слышь! Я тебя в последний раз спрашиваю: кто с тобой был?

Толпа опять надвинулась ближе. Та же самая сила, которая только что выбросила Козла и мальчика вперед, теперь несла их назад, и встречные люди.

нетерпеливо давали им дорогу, так как они мешали их напряженному вниманию. Сквозь мягкую и плотную преграду человеческих тел Василь слышал глухой, точно задавленный бас Кузьмы, продолжавшего допрашивать Бузыгу. Вдруг прежний тонкий истеричный голос крикнул над самой головой мальчика:

— Бей Бузыгу!..

Все, что стояли сзади, тяжело навалились, тесня передних, и горячо задышали. Козел с Василем очутились на свободе.

— Господи, царица наша небесная! — радостно бормотал старик, одним обрубком вытирая слезы, а другим торопливо крестясь. — Василь, родненький ты мой! Господи!.. Выскочили мы с тобой... Василь!.. Господи... выскочили! Что же ты стоишь? Бежим до хаты!..

— Иди, я не пойду, — мрачно сказал Василь.

Он, казалось, был не в силах отвести свои горящие глаза от черной, неподвижной, страшно молчаливой толпы. Его побелевшие губы шептали, дрожа и дергаясь, какие-то непонятные слова.

— Василько, ходим же! — умолял Козел, хватая внука за руку.

В это время черная масса дрогнула и закачалась, точно лес под внезапно налетевшим ветром. Глухой и короткий стон ярости прокатился над ней. В один миг она тесно сжалась и тотчас же опять раздалась, разорвавшись клочьями, и опять сжалась. И, оглушая друг друга неистовыми криками, люди сплелись в безобразной свалке.

— Василь, миленький, ради бога! — бормотал заплетающимся языком старик. — Пойдем... убьют ведь нас!..

Ему удалось с трудом оттащить мальчика от лужайки. Но на углу Василь, пораженный внезапно наступившей тишиной, вырвался от деда и оглянулся назад.

Толпа не бурлила больше. Она стояла неподвижным, черным кольцом и уже начинала таять: отдельные фигуры — понурые, с робкими движениями, точно

прячась и стыдясь, медленно расползались в разные стороны.

— Господи, помяни раба твоего, грешного Левонтия, и учини его в раи, — привычной нищенской скороговоркой зашептал Козел. — Убили Бузыгу, — сказал он с притворной печалью.

Он знал, что народный гнев уже достаточно насытился кровью и что смерть прошла мимо его головы, и не умел скрыть своей глубокой животной радости. Он заливался старческим, бесшумным длинным смехом и плакал; болтал лихорадочно, без остановки и без смысла, и делал сам себе лукавые, странные гримасы. Василь с ненавистью поглядывал на него искоса и брезгливо хмурился.

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ

I

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плелся старший член труппы — дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Китай» — обе бывшие в моде лет тридцать — сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шар-

манке две предательские трубы. У одной — дискантовой — пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу открывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

— Что поделаешь?.. Древний орган... простудный... Заиграешь — дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» — вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орган к мастеру — и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник...» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст и еще покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал, наконец, видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

— Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...

Столько же, сколько шарманку, может быть даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за

это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою и мелкими житейскими интересами.

II

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях — повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

— Ты что, Сережа? —спросил шарманщик.

— Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпения! Искупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

— На что бы лучше! — вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. — Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

— Врал, может быть? — с сомнением заметил Сергей.

— Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, иску-

паться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

— Что, брат песик? Тепло? — спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

— Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица твоего, — продолжал наставительно Лодыжкин. — Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки... Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться... А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце — первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду — на клумбах, на изгородях, на стенах дач — яркие, великолепные душистые розы, — все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

— Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-ко-сь, в фонтане-то — золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! — кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. — Дедушка, а персики! Вона сколько! На одном дереве!

— Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! — подталкивал его шутливо старик. — Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, — есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь глядемши... Скажем, примерно — пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

— Ей-богу? — радостно удивился Сергей.

— Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал небось в лавочке?

— Ну?

— Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, всё в халатах и с кинжалами... Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

— Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, — уверенно сказал Сергей.

— Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазицы белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

— Страшные, поди... эфиопы-то эти?

— Как тебе сказать? С непривычки оно точно... опасаешься немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее... Много там, братец мой, всякой всячины. Придем — сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку

приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

— Две да пять, итого семь копеек... Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, — вот он и полтинник набежал, значит все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради... Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно... ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хошь три копейки... Я ведь не обижаюсь, я ничего... зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дальше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

— Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

— Н-да-а... Ловко! — произнес он, внезапно остановившись. — Могу сказать... А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли.. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня... Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

— Подожди-ка малость, Сергей, — окликнул он мальчика. — Никак там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, — и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

— «Дача Дружба», посторонним вход строго воспрещается», — прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

— Дружба?.. — переспросил неграмотный дедушка. — Во-во! Это самое настоящее слово — дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

III

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две жен-

щины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте, и наконец толстый лысый господин в чесунчовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

— Батюшка, барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с — встаньте... Будьте столь добренькие — выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один сироп-с. Извольте подняться...

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро, подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

— Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь

живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..

— Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, — загудел толстый господин в очках.

— Ай-яй-яй-я-а-а-а! — вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

— Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? — спросил он шепотом. — Никак драть его будут?

— Ну вот, драть... Такой сам всякого посекет. Просто — блажной мальчишка. Больной, должно быть.

— Шамашедчий? — догадался Сергей.

— А я почем знаю. Тише!..

— Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. — надрывался все громче и громче мальчик.

— Начинай, Сергей. Я знаю! — распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

— Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! — воскликнула плачевно дама в голубом капоте. — Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

— Эт-то что за безобразие! — захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-

сердитым шепотом. — Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

— Господин хороший, дозвольте вам объяснить...— начал было деликатно дедушка.

— Никаких! Марш! — закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

— Собирайся, Сергей, — сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. — Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

— Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Д-а-й! Позвать! Мне!

— Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их! — застонала нервная дама. — Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

— Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! — закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

— Пст!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. — кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. — Старичок почтенный, — схватил он, наконец, за рукав дедушку, — заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

— Н-ну, дела! — вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник

поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами — веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара — во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» — с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

— Служить, Арто! Так, так, так... — проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. — Перевернись. Так. Перевернись... Еще, еще... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой. Ну! Арто! — грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» — брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» — слышалось в этом недовольном лае.

— Вот это — другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, — продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. — Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль... Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

— Что? Не говорил я тебе? — задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. — Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

— Хочу-у-а-а! — закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. — Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у...

— Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! — опять засуетились люди на балконе.

— Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! — выходил из себя мальчик.

— Но, ангел мой, не расстраивай себя! — залепетала над ним дама в голубом капоте. — Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

— Вообще говоря, я не советовал бы, — развел тот руками, — но если надежная дезинфекция, например борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о... вообще...

— Соба-а-аку!

— Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

— Не хочу погладить, не хочу! — ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. — Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

— Послушайте, старик, подойдите сюда, — силилась перекричать его барыня. — Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе... еще, вам говорят!.. Вот так... Ах, не огорчайся же, Трилли,

мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же, наконец, ребенка... Доктор, прошу вас... Сколько же ты хочешь старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

— Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние — благо... Чай, сами старичка не обидите...

— Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша,* а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

— А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, — взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

— То есть... простите, ваше сиятельство, — замялся Лодыжкин. — Я — человек старый, глупый... Сразу-то мне не понять... к тому же и глуховат малость... то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?..

— Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? — вскипела дама. — Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

— Собаку! Соба-аку! — залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

— Собаками, барыня, не торгую-с, — сказал он холодно и с достоинством. — А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих, — он показал большим пальцем через плечо на Сергея, — нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

— Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, — настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. — Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста?

Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

— Собирайся, Сергей, — угрюмо проворчал Лодыжкин. — Исту-ка-н... Арто, иди сюда!..

— Э-э, постой-ка, любезный, — начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. — Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу... Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

— Покорнейше вас благодарю, барин, а только... — Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. — Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливо оставаться... Сергей, иди вперед!

— А паспорт у тебя есть? — вдруг грозно взревел доктор. — Я вас знаю, канальи!

— Дворник! Семен! Гоните их! — закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

— Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодари еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

— Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? — поддразнил его лукаво Сергей.

— Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, — покачал головой старый шарманщик. — Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописа-ал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денек сегодня задался. Удивительно!

— На что лучше! — продолжал ехидничать Сергей. — Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

— А ты помалкивай, огарок, — добродушно огрызнулся старик. — Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина — этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбачьих лодок.

— Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, — сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. — Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренёк, — думал Лодыжкин, — даром что костлявый — вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».

— Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

— А я ее за хвост! — крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги — поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

— Дедушка Лодыжкин, гляди! — крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

— Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? — волновался пудель. — Есть земля — и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

— Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! — позвал старик.

— Сейчас, дедушка Лодыжкин, — отозвался мальчик. — Смотри, как я пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он, наконец, подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

— Постой-ка, Сережа, никак это к нам? — сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

— Что ему надо? — спросил с недоумением дедушка.

IV

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

— О-го-го!.. Подождите трошки!..

— А чтоб тебя намочило да не высушило, — сердито проворчал Лодыжкин. — Это он опять насчет Артошки.

— Давай, дедушка, накладем ему! — храбро предложил Сергей.

— А ну тебя, отвяжись... И что это за люди, прости господи!..

— Вы вот что... — начал запыхавшийся дворник еще издали. — Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку...» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

— Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! — рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. — И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста... я тебя прошу... уйди ты от нас, Христа ради... и того... и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

— Да пойми же ты, дурак человек...

— От дурака и слышу, — спокойно отрезал дедушка.

— Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой...Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

— Бреши дальше... Я потом сразу тебе отвечу.

— А тут, брат ты мой, сразу — цифра! — горячился дворник. — Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды... Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.

— Кончил? — коротко спросил Лодыжкин.

— Да тут долго и кончать нечего. Давай пса — и по рукам.

— Та-ак-с, — насмешливо протянул дедушка. — Продать, значит, собачку?

— Обыкновенно — продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай — и все тут. Это еще без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую — на тебе поню. Хочу лодку — на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу...

— А луну?

— То есть в каких это смыслах?

— Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

— Ну вот... тоже скажешь — луну! — сконфузился дворник. — Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак,

гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

— Я тебе одно скажу, парень, — начал он не без торжественности. — Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй... сам лучше скушай... этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... То за сколько бы ты его примерно продал?

— Приравнял тоже!..

— Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, — возвысил голос дедушка. — Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

— Дурак ты старый, — не вытерпел, наконец, дворник.

— Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, — выругался Лодыжкин. — Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовию вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

— Значит, та-ак!.. — многозначительно протянул дворник.

— С тем и возьмите! — задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

V

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку

от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

— Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, — сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. — Ну-ка, Сережа, господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет — ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

— Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают, — шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. — Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

— Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? — спросил дедушка. — Дай-ка я в последний

раз водицы попью. Ух, хорошо! — крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. — Если бы я был царем, все бы эту воду пил... с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

— Перво дело — куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные... В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе — там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... все электричество горит... Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше... почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна — нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим — Антонио или, например, тоже хорошо — Энрико или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

— Арто... куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

— Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

— Ты что, Сергей, вопишь? — недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

— Собаку мы проспали, вот что! — раздраженным голосом грубо ответил мальчик. — Пропала собачка.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

— Арто-о-о!

— Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, — сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

— Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем — ни одной фигуры, ни одной тени.

— Арто! Ар-то-шень-ка! — жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

— Да-а, вот оно какое дело-то! — произнес старик упавшим голосом. — Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

— Ну, что там еще? — грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. — Вчерашний день нашел?

— Сережа... что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? — еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

— Свел ведь, подлец, собаку! — испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. — Никто, как

он — дело ясное... Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.

— Дело ясное, — мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

— Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? — спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

— Что делать, что делать! — сердито передразнил его Сергей. — Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!..

— Пойдем, — уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. — Ну что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:

— Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет — к мировому, вот и весь сказ.

— К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому... — с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. — К мировому... да... Только вот что, Сереженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

— Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? — нетерпеливо перебил мальчик.

— А ты, Сережа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. — Дедушка таинственно понизил голос. — Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она какая история. А у меня, — дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, — у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

— Как чужой?

— То-то вот — чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения... Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу

точно заяц — всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

— Ах, дедушка, дедушка!— глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. — Собаку мне уж больно жалко... Собака-то уж хороша очень...

— Сереженька, родной мой! — протянул к нему старик дрожащие руки.— Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве бы я поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию — первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» — «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин — один бог его ведает. Почем я знаю, может воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Сережа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара, морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.

— Пойдем, дедушка,— сказал он повелительно и ласково в то же время. — К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

— Милый ты мой, родной, — приговаривал, трясясь всем телом, старик. — Собачка-то уж очень затейная... Артошенька-то наш... Другой такой не будет у нас...

— Ладно, ладно... Вставай, — распоряжался Сергей. — Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все

роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но, пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

— Гос-спо-да! — шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

— Будет тебе, пойдем, — сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

— Сереженька, может убежит от них еще Артошка-то? — вдруг опять всхлипнул дедушка. — А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

VI

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки — каменотесы, землекопы — турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много

шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

— Ты куда носью ходись, мальцук? — сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

— Пропусти. Надо! — сурово, деловым тоном ответил Сергей. — Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю,

сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри — такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, — лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки, — и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

— А все-таки я полезу! Все равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составляющие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом

он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе, подымется крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» — догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением малень-

кого, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.

— Только не в доме... в доме ее не может быть! — прошептал, как сквозь сон, мальчик. — В доме она выть станет, надоест...

Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» — с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» — печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четыреугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.

— Арто! Артошка! — позвал Сергей дрожащим шепотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться.

— Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. — вторил ей плачущим голосом мальчик.

— Цыц, окаянная! — раздался снизу зверский, басовый крик. — У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

— Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! — закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.

— Кто здесь бродит? Застрелю! — загрохотал, точно гром, его голос по саду. — Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он споты-

кался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны — высокой стеной, с другой — тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятною радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела — собаки и мальчика — быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду, или просто не наде-

ялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, — оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они, наконец, отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа.

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:

— И сто ти се сляесься, мальцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

МИРНОЕ ЖИТИЕ

Сдвинув на нос старинные большие очки в серебряной оправе, наклонив набок голову, оттопырив бритые губы и многозначительно двигая вверх и вниз космами, сердитыми старческими бровями, Иван Вианорыч Наседкин писал письмо попечителю учебного округа. Почерк у него был круглый, без нажимов, красивый и равнодушный, — такой, каким пишут военные писаря. Буквы сцеплялись одна с другой в слова, точно правильные звенья цепочек разной длины.

«Как человек, некогда близко стоявший к великому, ответственному перед Престолом и Отечеством делу воспитания и образования русского юношества и беспорочно прослуживший на сем, можно смело выразиться, священном поприще 35 лет, я, хотя и не открываю своего настоящего имени, подписываясь лишь скромным названием «Здравомыслящий», но считаю нравственным своим долгом довести до сведения Вашего Превосходительства об одном из смотрителей многочисленных учебных заведений, вверенных Вашему мудрому и глубокоопытному попечению. Я говорю о штатном смотрителе Вырвинского четырехклассного городского училища, коллежском асессоре Опимахове, причем почтительнейше осмеливаюсь задать себе вопрос: совместимым ли с высоким призванием педагога и с доверием, оказываемым ему начальством и обществом, является поведение лица, проживающего бесстыдно, в явной для всего города и противной существующим законам любовной связи с особой жен-

ского пола, числящейся, по виду на жительство, девицей, которая к тому же в городе никому не известна, не посещает храмов божиих и, точно глумясь над христианскими чувствами публики, ходит по улице с папиросами и с короткими, как бы у дьякона, волосами? Во-вторых:...»

Поставив аккуратное двоеточие, Иван Вианорыч бережно положил перо на край хрустальной чернильницы и откинулся на спинку стула. Глаза его, ласково глядя поверх очков, переходили от окон с тюлевыми занавесками к угловому образу, мирно освещенному розовой лампадкой, оттуда на старенькую, купленную по случаю, но прочную мебель зеленого репса, потом на блестящий восковым глянцем пол и на мохнатый, сшитый из пестрых кусочков ковер, работы самого Ивана Вианорыча. Сколько уж раз случалось с Наседкиным, что внезапно, среди делового разговора, или очнувшись от задумчивости, или оторвавшись от письма, он испытывал тихую обновленную радость. Как будто бы он на некоторое время совсем забыл, а тут вдруг взял да и вспомнил — про свою честную, всеми уважаемую, светлую, опрятную старость, про собственный домик с флигелем для жильцов, сколоченный тридцатью пятью годами свирепой экономии, про выслуженную полную пенсию, про кругленькие пять тысяч, отданные в верные руки, под вторую закладную, и про другие пять тысяч, лежащие пока что в банке, — наконец про все те удобства и баловства, которые он мог бы себе позволить, но никогда не позволит из благоразумия. И теперь, вновь найдя в себе эти счастливые мысли, старик мечтательно и добродушно улыбался бритым, морщинистым, начинавшим западать ртом.

В кабинетике пахло геранями, мятным курением и чуть-чуть нафталином. На правом окне висела клетка с канарейкой. Когда Иван Вианорыч устремил на нее затуманенный, видящий и невидящий взгляд, птичка суетливо запрыгала по жердочкам, стуча лапками. Наседкин нежно и протяжно свистнул. Канарейка завертела хорошенькой хохлатой головкой, наклоняя ее вниз и набок, и пискнула вопросительно:

— Пи-и?

— Ах, ты... пискунья! — сказал лукаво Иван Вианорыч и, вздохнув, опять взялся за перо.

«Во-вторых, — писал он, тихонько шепча слова, — тот же Опимахов позволяет себе пренебрегать положениями некоторых циркуляров Министерства Народного Просвещения и иными правительственными указаниями, побуждая и сам первый подавая пример подведомственным ему молодым учителям, якобы к расширению программы (sic!), а на самом деле — к возбуждению в доверчивых умах юношей превратных и гибельных идей, клонящихся к разрушению добрых нравов, к возбуждению политических страстей, к низвержению авторитета власти и в сущности к самому гнилому и пошлому социализму. Так, вышеназванный коллежский асессор Мирон Степанович Опимахов находит нужным читать ученикам *лекции* (это слово Наседкин дважды густо подчеркнул, язвительно скривив рот набок) о происхождении человека от микроскопического моллюска, а учитель географии Сидорчук, неизвестно для чего, сообщает им свои извращенные личным невежеством познания о статистике и политической экономии. После этого не удивительно, что просвещаемые подобными *отличными* педагогами ученики четырехклассного городского Вырвинского училища *отличаются* буйным нравом и развращенными действиями. Так, напр., на днях у о. Михаила Трабукина, протоиерея местного собора, всеми чтимого пастыря, человека более чем святой жизни, были камнями выбиты 2 стекла в оранжерее. При встрече со старшими, почтенными в городе лицами, даже имевшими высокую честь принадлежать 35 лет к учебному ведомству, не снимают головных уборов, а, наоборот, глядя в глаза, нагло смеются, и многое, очень многое другое, что готов подробно описать Вашему Превосходительству (NB: равно как и о нравах, процветающих и в других учебных заведениях), если последует милостивый ответ на сие письмо в местное почтовое отделение, до востребования, предъявителю кред. бил. 3-х-рублевого достоинства за № 070911.

Имею честь быть Вашего Превосходительства всепокорнейшим слугою.

Здравомыслящий».

Наседкин поставил последнюю точку и сказал вслух:

— Так-то-с, господин Опимахов!

Он встал, хотел было долго и сладко потянуться уставшим телом, но вспомнил, что в пост грех это делать, и сдержался. Быстро потерев рукой об руку, точно при умыванье, он опять присел к столу и развернул ветхую записную книжку с побуревшими от частого употребления нижними концами страниц. Вслед за записями крахмального белья, адресами и днями именин, за графами прихода и расхода шли заметки для памяти, написанные бегло, с сокращениями в словах, но все тем же прекрасным писарским почерком.

«Кузяев намекал, что у городского казначея растрата. Проверить и сообщ. в казенную пал. NB. Говорят, Куз. корреспондирует в какую-то газету!! Узнать».

«Священник с Б. Мельники, Златодеев (о. Никодим), на святки упился. Танцевал и потерял крест. Довести до свед. Его Преосв.» *«Исполнено. Вызван для объясн. 21 февр.»*.

«Не забыть о Серг. Платоныче. С нянькой».

«Учитель Опимахов. Сожительство. Лекции и пр. Сидорчук. Непочтение. Попеч. уч. округа».

Дойдя до этой заметки, Иван Вианорыч обмакнул перо и приписал сбоку: «Сообщено».

В эту книжку были занесены все скандалы, все любовные интрижки, все сплетни и слухи маленького, сонного, мещанского городишки; здесь кратко упоминалось о господах и о прислуге, о чиновниках, купцах, офицерах и священниках, о преступлениях по службе, о том, кто за кем ухаживает (с приблизительным указанием часов свиданий), о неосторожных словах, сказанных в клубе, о пьянстве, карточной игре, наконец даже о стоимости юбок у тех дам, мужья или любовники которых жили выше средств.

Иван Вианорыч быстро пробегал глазами эти заметки, схватывая их знакомое содержание по одному

слову, иногда по какому-нибудь таинственному крючку, поставленному сбоку.

— До всех доберемся, до всех, мои миленькие, — кривя губы, шептал он вслух, по старческой привычке. — Семинарист Элладов... Вы, пожалуй, подождите, господин либеральный семинарист. Драка у Харченко, Штурмер передернул. Ну, это еще рано. Но вы не беспокойтесь, придет и ваша очередь. Для всех придет правосудие, для все-ех!.. Вы думаете как: нашкодил и в кусты? Не-ет, драгоценные, есть над вашими безобразиями зоркие глаза, они, брат, все видят... Землемерша... Ага! Это самое. Пожалуйте-ка на свет божий, прекрасная, но легкомысленная землемерша.

Наверху страницы стояли две строчки:

«Землемерша (Зоя Никит.) и шт.-кап. Беренгович. Землемер — тюфяк. Лучше сообщить капитанше».

Иван Вианорыч придвинулся поближе к столу, поправил очки, торопливо запахнул свой ватный халатик с желтыми разводами в виде вопросительных знаков и принялся за новое письмо. Он писал прямо начисто, почти не обдумывая фраз. От долгой практики у него выработался особый стиль анонимных писем, или, вернее, несколько разных стилей, так как обращение к начальствующим лицам требовало одних оборотов речи, к обманутым мужьям — других, на купцов действовал слог высокий и витиеватый, а духовным особам были необходимы цитаты из творений отцов церкви.

«Милостивая Государыня,

Мадам Беренгович!

Не имея отличного удовольствия знать Вас близко, боюсь, что сочтете мое письмо к Вам за невежество. Но долг порядочности и человеколюбия повелевает мне скорее нарушить правила приличия, нежели молчать о том, что стало уже давно смехотворной сказкой города, но о чем Вы, как и всякая обманутая жертва, узнаете — увы! — последняя. Да, несчастная! Муж твой, недостойный своего высокого звания защитника Отечества, обманывает тебя самым наглым и бессердечным образом с той, которую ты отогрела на своей

груди, подобно крестьянину в известной басне великого Крылова!!!

Советую Вам узнать стороной, когда именно соберется в уезд некий хорошо знакомый Вам землемер, и в тот же вечер, так часов около 9-ти, нанесите прелестной Зое визит, чем, конечно, доставите ей весьма приятный сюрприз, который будет тем приятнее, чем он будет неожиданнее. Ручаюсь — ничто не помешает вам: супруга Вашего, господина Штабс-Капитана, в этот вечер *наверно* не будет дома (его отзовут в полк по делам службы или, скажем, к больному товарищу). А для того чтобы еще больше обрадовать обольстительнейшую Зою, рекомендую Вам пройти не через парадный ход, а через кухню, и как можно быстрее. Если Вы встретите на кухне горничную, — помните, что ее зовут Аришей и что рубль вообще производит магическое действие».

Низкий, одинокий удар колокола тяжелой волной задрожал в воздухе, густо и широко влившись в комнату. Иван Вианорыч привстал, перекрестился, сурово прикрыв на секунду глаза, но тотчас же сел и продолжал писать, несколько торопливее, чем раньше:

«К самому г. землемеру я бы Вам посоветовал лучше не обращаться. Кажется, этому индивидую решительно безразлично, что его супруга, подобно древней Мессалине, прославилась не только на весь уезд, но и на всю губернию своим поведением. Вас же я знаю за даму с твердыми и честными правилами, которые во всяком случае не дозволят Вам хладнокровно переносить свой позор. Простите, что по некоторым причинам не открываю своего имени, а остаюсь глубоко сострадающий вашему горю —

Доброжелатель».

В полуоткрытую дверь просунулся сначала голый костлявый локоть, а потом и голова старой кухарки.

— Барин, к ефимонам звонют...

— Слышу, Фекла, не глухой, — отозвался Наседкин, поспешно заклеивая конверт. — Дай мне старый сюртук и приготовь шубу.

— Шубу скунсовую?

— Нет, ту, другую, с капюшоном.

Прежде чем выйти из дому, Наседкин, по обыкновению, помолился на свой образ.

— Боже, милостив буди мне грешному! — шептал он, умильно покачивая склоненной набок головой и крепко надавливая пальцами на лоб, на живот и плечи. И в то же время мысленно, по давней привычке делать все не торопясь и сознательно, он напоминал самому себе:

— Письма лежат в шубе, в боковом кармане. Не забыть про почтовый ящик.

Над городом плыл грустный, тягучий великопостный звон. Банн... банн... — печально и важно, густым голосом, с большими промежутками, выпевал огромный соборный колокол, и после каждого удара долго разливались и таяли в воздухе упругие трепещущие волны. Ему отзывались другие колокольни: сипло, точно простуженный архиерейский бас, вякал надтреснутый колокол у Никиты Мученика; глухим, коротким, беззвучным рыданием отвечали с Николы на Выселках, а в женском монастыре за речкой знаменитый «серебряный» колокол стонал и плакался высокой, чистой, певучей нотой.

Был конец зимы. Санный путь испортился. Широкая улица, вся исполосованная мокрыми темными колеями, из белой стала грязно-желтой. В глубоких ухабах, пробитых ломовыми, стояла вода, а в палисадничке, перед домом Наседкина, высокий сугроб снега осел, обрыхлел, сделался ноздреватым и покрылся сверху серым налетом. Заборы размякли от сырости.

В городском саду, на деревьях, — там, где среди голых верхушек торчали пустые гнезда, без умолку кричали и гомозились галки. Они отлетали и тотчас же возвращались, качались на тонких ветках, неуклюже взмахивая крыльями, или черными тяжелыми комками падали сверху вниз. И все это — и птичья суета, и рыхлый снег, и печальный, задумчивый перезвон колоколов, и запах оттаивающей земли — все говорило о близости весны, все было полно грустного и сладостного, необъяснимого весеннего очарования.

Иван Вианорыч степенно двигался по деревянному тротуару, часто и внушительно постукивая большими кожаными калошами. На Дворянской его обогнал десяток гимназистов разного возраста. Они шли парами, громко смеясь и сталкивая друг друга с помоста в снег. Сзади шагал долговязый молодой учитель в синих очках, с козлиной черной бородкой; в зубах у него была папироса. Проходя мимо Наседкина, учитель поглядел ему прямо в лицо тем открытым, дружеским взглядом, которым так славно смотрят весной очень молодые люди.

«И это называется идти в храм, да еще в такие дни! — с горечью и укоризной подумал Иван Вианорыч. — И это учитель, педагог! Развращенный вид, папироса во рту! Кажется, его фамилия Добросердов?.. Нечего сказать, хорош... Буду иметь его в виду, на всякий случай».

По широким ступеням соборной лестницы тихо подымались темные фигуры мужчин и женщин. Не было обычной около церквей суматохи и нетерпеливого раздражения. Люди шли робко, точно утомленные, придавленные своими грехами, уступая друг другу дорогу, сторонясь и выжидая очереди.

Собор внутри был полон таинственной, тяжелой тьмы, благодаря которой стрельчатые узкие окна казались синими, а купол уходил бесконечно в вышину. Пять-шесть свечей горело перед иконами алтаря, не освещая черных старинных ликов и лишь чуть поблескивая на ризах и на острых концах золотых сияний. Пахло ладаном, свечной гарью и еще той особенной холодной, подвальной сыростью древнего храма, которая всегда напоминает о смерти.

Народу было много, но тесноты не чувствовалось. Говорили шепотом и точно с боязнью, кашляли осторожно, и каждый звук гулко и широко отдавался под огромными каменными сводами. На левом клиросе молодой лабазник Бардыгин читал часы громким и таким ненатуральным, задавленным голосом, как будто в горле у него застряла корка черного хлеба. Щеголяя мастерством быстрого чтения, он выкрикивал одним духом столько текста, сколько мог, причем сливал все

слова, целые предложения, даже новые строчки в одно длинное, в сотню слогов, непонятное слово. Изредка он останавливался на секунду, чтобы набрать в грудь воздуха, и тогда начальное слово следующей фразы он произносил с большой растяжкой, театрально удваивая согласные звуки, и лишь после этого, точно приобретя необходимый ему размах, с разбегу сыпал частой дробью непонятных звуков. «Ак-кискимен, обитаяй в тайных...», «Ик-кам-мень его прибежище заяцам тра-та-та-та...» — вырывалось отдельными восклицаниями.

Иван Вианорыч подошел к свечному прилавку. Церковный староста — благообразный тучный старик, весь точно серебряный от чисто вымытых, картинно расчесанных седин — звякал среди напряженной тишины медяками, укладывая их в стопочки.

— Михал Михалычу! — сказал Наседкин, протягивая через прилавок руку.

— А! Иван Вианорыч! — сдержанным ласковым баском ответил староста. — Все ли в добром здоровьичке? А мне, того, как его... надо с вами поговорить о чем-то, — прибавил он, понижая голос и заслоняясь ладонью от свечи, чтобы лучше разглядеть из темноты лицо Наседкина. — Ты, отец, подожди меня малость после ефимонов... Ладно?

— Отчего ж... Я подожду.

Степенно шаркая калошами по плитяному полу, Иван Вианорыч пробрался на свое обычное место, за правым клиросом, у образа Всех святителей, которое он, по праву давности и почета, занимал уже девятый год. Там стоял, сложив руки на животе и тяжело вздыхая, рослый бородатый мужик в белом дубленом тулупе, пахнувшем бараном и терпкой кислятиной. Со строгим видом, пожевав губами, Иван Вианорыч брезгливо тронул его за рукав.

— Ты что же это, любезный, распространился? Видишь — чужое место, а лезешь! — сказал он сурово.

Мужик низко поклонился и с покорной суетливостью затоптался в сторону.

— Прости, батюшка, прости Христа ради.

— Бог простит, — сухо ответил старик.

На клиросе задвигался желтый огонек свечки, от него робко вспыхнул другой, третий. Теплые огненные язычки, постепенно рождаясь в темноте, перешли снизу вверх, и невидимая до сих пор певческая капелла ясно и весело озарилась светом среди скорбной темноты, наполнявшей церковь. Лица дискантов, освещаемые снизу, с блестящими точками в глазах, с мягкими контурами щек и подбородков, стали похожи на личики тех мурильевских херувимов, которые поют у ног мадонны, держа развернутые ноты. У стоявших сзади мужчин из-за темных усов бело и молодо сверкали зубы. Басы мощно откашливались, рыча в глубине хора, как огромные, добродушные звери.

Пронесся тонкий, жужжащий звук камертона. Регент, любимец и баловень купечества, лысый, маленький и толстый мужчина, в длинном сюртуке, более широкий к заду, чем в плечах, тонким голосом, бережно, точно сообщая хору какую-то нежную тайну, задал тон. Толпа зашевелилась, протяжно вздохнула и стихла.

— Помощник и покровитель бысть мне во спасение! — с чувством прошептал Наседкин, опережая певчих, хорошо знакомые ему слова ирмоса.

Стройные, печальные звуки полились с клироса, но прежде, чем преодолеть огромную пустоту купола, оттолкнулись от каменных стен, и в первые мгновения казалось, будто во всех уголках темного храма запело, вступая один за другим, несколько хоров.

Из алтаря вышел, щуря на народ голубые близорукие глаза, второй соборный священник о. Евгений — маленький, чистенький старичок, похожий лицом на Николая-угодника, как его пишут на образах. Он был в одной траурной епитрахили поверх черной рясы, и эта простота церковной одежды, и слабая, утомленная походка священника, и его прищуренные глаза — трогательно шли к покаянному настроению толпы и к тишине и к темноте собора.

Певчие замолчали, и вслед за ними замолкли один за другим невидимые хоры в углах и в куполе. Тихим, слегка вздрагивающим, умоляющим голосом, так странно не похожим своей естественностью на обычные

церковные возгласы, священник проговорил первые слова великого канона:

— Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое положу начало, Христе, нынешнему рыданию?..

— Помилуй мя, боже, помилуй мя! — скорбно заплакал хор.

«Нынешнему рыданию! — повторил мысленно Иван Вианорыч, почувствовав в затылке у себя холодную волну. — Какие слова!..»

Воображение вдруг нарисовало ему древнего, согбенного годами, благодушного схимника. Вот он пришел в свою убогую келью, поздним вечером, после утомительной службы, едва держась на больных ногах, принеся в складках своей одежды, украшенной знаками смерти, запах ладана и воска. Молчание, полумрак... слабо дрожит огонек свечи перед темными образами... на полу, вместо ложа, раскрытый гроб... Со стоном боли становится отшельник на израненные, натруженные колени. Впереди целая ночь молитвы, страстных вздохов, горьких и сладостных рыданий, сотрясающих хилое тело. И, уже предчувствуя близость блаженных слез, старец перебирает в уме всю свою невинную, омытую ежедневным плачем жизнь и ждет вдохновения молитвы. «Откуда начну плакати!»...

«Нет! Уйду в монастырь, на покой! — вдруг решил растроганный Иван Вианорыч. — Дом, проценты... Зачем все это?»

— Осквернив плоти моей ризу и окалях еже по образу, спасе, и по подобию! — читал священник.

«Уйду. Вот возьму и уйду. Там тишина, благолепие, смирение, а здесь... о господи!.. Ненавидят друг друга, клевещут, интригуют... Ну, положим, я свою каплю добра несу на пользу общую: кого надо остерегу, предупрежду, открою глаза, наставлю на путь. Да ведь и о себе надо подумать когда-нибудь, смерть-то — она не ждет, и о своей душе надо порадеть, вот что!»

Около Наседкина зашелестело шелком женское платье. Высокая дама в простом черном костюме прошла вперед, к самому клиросу, и стала в глубокой

нише, слившись с ее темнотой. Но на мгновение Иван Вианорыч успел разглядеть прекрасное белое лицо и большие печальные глаза под тонкими бровями.

Всему городу, — а Ивану Вианорычу больше других, — была известна трагическая история этой женщины. Ее выдали из бедной купеческой семьи замуж за местного миллионера-лесопромышленника Щербачева, вдовца, человека старше ее лет на сорок, про которого говорили, что он побоями вогнал в гроб двух своих первых жен. Несмотря на то, что Щербачеву подходило уже под шестьдесят, он был необычайно крепок здоровьем и так силен физически, что во время своих обычных безобразных запоев разбивал кулаком мраморные столики в ресторанах и один выворачивал уличные фонари. Однажды, собравшись в дальний уезд по делам, он нежданно вернулся с дороги домой и застал жену в своей спальне с красавцем приказчиком. Говорили, что он был заранее предупрежден анонимным письмом. Приказчика он не тронул, велел ему только ползти на четвереньках через все комнаты до выходной двери. Но над женой он вдоволь натешил свою звериную, хамскую душу. Свалив ее с ног кулаками, он до устали бил ее огромными коваными сапожищами, потом созвал всю мужскую прислугу, приказал раздеть жену догола и сам, поочередно с кучером, стегал кнутом ее прекрасное тело, обратив его под конец в сплошной кусок кровавого мяса.

С тех пор прошло два года. Сильная натура молодой женщины каким-то чудом выдержала это истязание, но душа сломилась и стала рабской. Жена Щербачева отказалась от людей, никуда не ездила и никого у себя не принимала. Лишь изредка появлялась она в церкви, вызывая шепот мещанского любопытства между городскими сплетниками. Рассказывали, что Щербачев, после той ужасной ночи, не сказал более с женой ни одного слова, а если уезжал куда-нибудь, то запирал ее на ключ и приказывал ложиться на ночь у ее дверей дворникам.

«Бог-то все заранее расчислил! — набожно и злорадно думал Наседкин, косясь на стенную нишу, в которой едва темнела высокая женская фигура. —

Кабы не нашлись вовремя добрые люди, ты бы и теперь, вместо молитвы и воздыхания сердечного, хвосты бы с кем-нибудь трепала. А так-то оно лучше, по-хорошему, по-христиански... О господи, прости мои согрешения... Ничего, помолись, матушка. Молитва-то — она сердце умягчает и от зла отгоняет...»

— Слезы блудницы, щедре, и аз предлагаю: очисти мя, спасе, благоутробием твоим! — кротким, старчески-простым голосом выговаривал маленький священник.

— Помилуй мя, боже! — глубоким стоном сокрушения ответил ему хор.

Плечи Щербачевой вдруг затряслись. Закрыв лицо ладонями, она быстро опустилась на колени, точно упала.

«И я тоже, и я, господи! Слезы блудницы предлагаю!» — со смиренным самоунижением подумал Иван Вианорыч. Но смирение его было легкое, приятное. Глубоко в душе он знал про самого себя, что жизнь его чиста и дела беспорочны, что он честно прослужил тридцать пять лет своему отечеству, что он строго блюдет посты и обличает беззаконие. Не осмеливаясь выпускать этих самолюбивых мыслей на поверхность сознания, притворяясь перед самим собой, что их вовсе нет в его сердце, он все-таки с гордостью верил, что ему уготовано в будущей жизни теплое, радостное место, вроде того, которое ему общий почет и собственные заслуги отвели в церкви, под образом Всех святителей.

Слезы стояли у него в груди, щипали глаза, но не шли. Тогда, пристально смотря на огонь свечки, он стал напрягать горло, как при зевоте, и часто дышать, и наконец они потекли сами — обильные, благодатные, освежающие слезы...

Служение кончилось. Народ медленно, в молчании расходился. Отец Евгений вышел из алтаря, с трудом передвигая ревматическими ногами, и, узнав Наседкина, ласково кивнул ему головой. Прошла робко, неуверенной походкой, странно не идущей к ее роскошной фигуре, купчиха Щербачева... Иван Вианорыч вышел последним, вместе с церковным старостой.

— Чудесно читает ефимоны отец Евгений, — ска-

зал, спускаясь по ступенькам, староста. — До того вразумительно. Так всю тебе душу и пробирает.

— Отлично читает, — согласился Наседкин. — Про какое дело-то вы хотели, Михал Михалыч?

— Дело такое, отец: что, есть у вас сейчас, того, как его... свободные дéньги?

— Ну?

— А ты не запряг, так и не погоняй. Спрашиваю, есть деньги?

— Много ли?

— Пустое... Тысячи три, а то лучше четыре.

— Ну, скажем, есть,— недоверчиво произнес Иван Вианорыч. — Ты про дело-то говори: кому надо?

— Чудак человек. Не веришь ты мне, что ли? Того, как его... уж, если я говорю, стало быть, дело верное. Я бы тебя не стал и звать, кабы располагал сейчас наличными. Апрянина надоть выручить, ему платежи подходят, а по векселям задержка.

— Так, — задумчиво произнес Наседкин. — Из скольких процентов?

Михаил Михайлович фыркнул носом и, слегка навалившись на спутника, проказливо толкнул его локтем в бок.

— Ах ты... мастер Иоган Кнастер! Сказал тебе, будь без сомнения, и шабаш. За полгода двести на тыщу хватит с тебя? Ну и... того, как его... нечего разговаривать. Прощай, что ли. Мне направо. Зайди завтра утречком, обговорим.

— Ладно, приду, — вздохнул Иван Вианорыч. — Прощайте, Михал Михалыч.

— Наилучшего, Иван Вианорыч.

Они разошлись. Наседкин шел по деревянным мосткам, постукивая кожаными калошами, и все время вздыхал, с наружным сокрушением и внутренним довольством. От его шубы еще пахло мирным запахом церкви, спина приятно, расслабленно ныла после долгого стояния, и в душе у него была такая же тихая, сладкая истома.

Маленький захолустный городишко уже спал. Не было прохожих на улице. Где-то недалеко за забором лаяла лениво, от нечего делать, собака. Сгущались

прозрачные, зеленые апрельские сумерки; небо на западе было нежно-зеленое, и в голых ветках деревьев уже чувствовался могучий темно-зеленый весенний тон.

Вдали показался дом Наседкина. Лампа внутри не была зажжена, но тюлевые занавеси на окнах чуть-чуть розовели от сияния лампадки.

«Слезы блудницы и аз предлагаю!» — с умилением вспомнил Иван Вианорыч.

— Ворона! — перебил он вдруг себя. — Пропустил почтовый ящик.

Он вернулся назад, чтобы опустить письма. Услышав, как они стукнулись о железное дно ящика, он еще плотнее запахнул теплую шубу и пошел дальше. И для того чтобы опять вернуться к прежним отрадным мыслям о доме, о процентах, о сладости молитв, о людских грехах и о своей чистоте, он еще раз с чувством прошептал, растроганно покачивая головой:

— Слезы блудницы и аз предлагаю...

КОРЬ

I

Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями; горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тела, а, наоборот, еще больше истомляли и раздражали его.

— Вылезайте, коллега, — сказал доктор, поливая пригоршнями свой толстый белый живот. — Так мы до обморока закупаемся.

От купальни нужно было подыматься вверх, на гору, по узкой тропинке, которая была зигзагами проложена в сыпучем черном шифере, поросшем корявым дубнячком и бледно-зелеными кочнями морской капусты. Воскресенский взбирался легко, шагая редко и широко своими длинными мускулистыми ногами. Но тучный доктор, покрывший голову, вместо шляпы, мокрым полотенцем, изнемогал от зноя и одышки. Наконец он совсем остановился, держась за сердце, тяжело дыша и мотая головой.

— Фу! Не могу больше... Хоть снова полезай в воду... Постоим минутку...

Они остановились на плоском закруглении между двумя коленами дорожки и оба повернулись лицом к

морю. Взбудораженное ветром, местами освещенное солнцем, местами затененное облаками, — оно все пестрело разноцветными заплатами. У берега широко белела пена, тая на песке кисейным кружевом, дальше шла грязная лента светло-шоколадного цвета, еще дальше — жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборожденная гребнями волн, и наконец — могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то густо-фиолетовыми, то нежно-малахитовыми, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом. И вся эта живая мозаика казалась опоясанной у горизонта черной, спокойной, неподвижной лентой безбрежной дали.

— А все-таки здорово как! — сказал доктор. — Красота ведь, а?

Он протянул вперед короткую руку с толстенькими, как у младенца, пальцами и широко, по-театральному, черкнул ею по морю.

— Да... ничего, — равнодушно ответил Воскресенский и зевнул полупритворно. — Только надоедает скоро. Декорация.

— Та-ак! Мы их ели. Это, знаете, анекдот есть такой, — пояснил Ильяшенко. — Пришел солдат с войны к себе в деревню, ну и, понятно, врет, как слон. Публика, конечно, обалдемши от удивления. «Были мы, говóрит, на Балканах, в самые, значит, облака забрались, в самую середку». — «Ах, батюшки, да неужто ж в облака?» А солдат этак с равнодушием: «А что нам облака? Мы их ели. Все одно как стюдень».

У доктора Ильяшенки была страсть рассказывать анекдоты, особенно из простонародного и еврейского быта. В глубине души он думал, что только по капризному расположению судьбы из него не вышло актера. Дома он изводил жену и дочь Островским, а в гостях у пациентов любил декламировать никитинского «Ямщика», причем неизменно для этого вставал, переворачивал перед собою стул и опирался на его спинку вывороченными врозь руками. Читал же он самым неестественным, нутряным голосом, точно чревовеща-

тель, полагая, что именно так и должен говорить русский мужик.

Рассказав анекдот о солдате, он тотчас же, первый, радостно захохотал свободным грудным смехом. Воскресенский принужденно улыбнулся.

— Видите ли, доктор... юг, — начал он вяло, точно затрудняясь в словах, — не люблю юга. Здесь все как-то масляно, как-то... не знаю... чрезмерно. Ну, вот, цветет магнолия... позвольте, да разве это — растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской, а сверху навели лак. Природа! Солнце встало из-за моря — и жара, а вечером бултых за горы — и сразу ночь. Нет птиц. Нет наших северных зорь с запахом молодой травки, нет поэзии сумерек, с жуками, с соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа...

— В ва-ашем до-оме, — сиплым тенорком запел доктор. — Известно, — вы кацап.

— А эти лунные ночи, черт бы их драл! — продолжал Воскресенский, оживляясь от давнишних мыслей, которые он до сих пор думал в одиночку. — Одно мученье. Море лоснится, камни лоснятся, деревья лоснятся. Олеография! Цикады дурацкие орут, от луны никуда не спрячешься. Противно, беспокойно как-то, точно тебя щекочут в носу соломинкой.

— Варвар! Зато, когда у вас в Москве двадцать пять градусов мороза и даже городовые трещат от холода, — у нас цветут розы и можно купаться.

— И южного народа не люблю, — упрямо продолжал студент, следивший за своими мыслями. — Скверный народишко — ленивый, сладострастный, узколобый, хитрый, грязный. Жрут всякую гадость. И поэзия у них какая-то масляная и приторная... Вообще — не люблю!

Доктор остановился, развел руками и сделал круглые, изумленные глаза.

— Тю-тю-тю-у! — засвистал он протяжно. — И ты, Брутус? Узнаю дух нашего почтенного патрона в ваших словах. Русская песня, русская рубаха, а? Русский

бог и русская подоплёка? Жидишки, полячишки и прочие жалкие народишки? А?

— Будет вам, Иван Николаевич. Оставьте, — резко сказал Воскресенский. Лицо у него вдруг побледнело и некрасиво сморщилось. — Тут смеяться не над чем; вы знаете хорошо мои взгляды. Если я до сих пор не сбежал от этого попугая, от этого горохового шута, то только потому, что есть надо, а это все скорее прискорбно, чем смешно. Довольно и того, что за двадцать пять рублей в месяц я ежедневно отказываю себе в удовольствии высказать то, что меня давит... душит за горло... что оподляет мои мысли!..

— Пре-елесть, ну зачем так сильно!

— У! Я бы ему сказал много разных слов! — воскликнул злобно студент, потрясая перед лицом крепким, побелевшим от судорожного напряжения кулаком. — Я бы... О, какой это шарлатан!.. Ну, да ладно... Не на век связаны.

Глаза доктора вдруг сузились и увлажнились. Он взял Воскресенского под руку и, баловливо прижимаясь головой к его плечу, зашептал:

— Слушайте, радость, зачем так кирпичиться? Ну что толку, если вы Завалишина изругаете? Вы его, он вас — и выйдет шкандал в благородном доме, и больше ничего. А вы лучше соедините сладость мести с приятностью любви. Вы бы Анну Георгиевну... А? Или уже?

Студент промолчал и делал усилия высвободить свою руку из рук доктора, но тот еще крепче притиснул ее к себе и продолжал шептать, играя смеющимися глазами:

— Чудак-человек, вы вкусу не понимаете. Женщине тридцать пять лет, самый расцвет, огонь... телеса какие! Да будет вам жасминничать — она на вас, как кот на сало, смотрит. Чего там стесняться в родном отечестве? Запомните афоризм: женщина с опытом подобна вишне, надклеванной воробьем, — она всегда слаще... Эх, где мои двадцать лет? — заговорил он по-театральному, высоким блеющим горловым голосом. — Где моя юность! Где моя пышная шевелюра, мои тридцать два зуба во рту, мой...

Воскресенскому удалось наконец вырваться от повисшего на нем доктора, но сделал он это так грубо, что обоим стало неловко.

— Простите, Иван Николаич, а я... не могу таких мерзостей слушать... Это не стыдливость, не целомудрие, а... просто грязно, и... вообще... не люблю, я этого... не могу...

Доктор насмешливо растопырил руки и хлопнул себя по ляжкам.

— Очарование мое, значит, вы не понимаете шуток? Я сам вполне уважаю чужие убеждения и, уверяю вас, радуюсь, когда вижу, что среди нынешней молодежи многие смотрят чисто и честно на эти вещи, но почему же нельзя пошутить? Сейчас же фрр... и хвост веером. К чему?

— Извините, — глухо сказал студент.

— Ах, родной мой, я же ведь это не к тому. Но только все вы теперь какие-то дерганные стали. Вот и вы: здоровенный мужчинище, грудастый, плечистый, а нервы, как у институтки. Кстати, знаете что, — прибавил доктор деловым тоном, — вы бы, сладость моя, пореже купались. Особенно в такую жару. А то, знаете, можно с непривычки перекупаться до серьезной болезни. У меня один пациент нервную экзему схватил от того, что злоупотреблял морем.

Они шли теперь по последнему, почти ровному излому тропинки. Справа от них обрывалась круто вниз гора и бесконечно далеко уходило кипящее море, а слева лепились по скату густые кусты шиповника, осыпанного розовыми, нежными цветами, и торчали из красно-желтой земли, точно спины лежащих животных, большие, серые, замшелые камни. Студент смущенно и сердито глядел себе под ноги.

«Нехорошо это вышло, — думал он, морщась. — Нелепо как-то. В сущности доктор славный, добрый человек, всегда внимательный, уступчивый, ровный. Правда, он держит себя немножко паяцем и болтлив, ничего не читает, сквернословит, опустился благодаря легкой курортной практике... Но все-таки он хороший, и я поступил с ним резко и невежливо».

А Ильяшенко в это время беспечно сбивал тросточкой тонкие белые цветочки павилики, крепко пахнувшие горьким миндалем, и напевал вполголоса:

В вашем до-оме узнал я впервы-ые...
Сладость чистай и нежн-ай любви.

II

Они вышли на шоссе. Над белой каменной оградой, похожей своей массивностью на крепостную стену, возвышалась дача, затейливо и крикливо выстроенная в виде стилизованного русского терема, с коньками и драконами на крыше, со ставнями, пестро разрисованными цветами и травами, с резными наличниками, с витыми колонками, в форме бутылок, на балконах. Тяжелое и несуразное впечатление производила эта вычурная, пряничная постройка на фоне сияющего крымского неба и воздушных, серо-голубых гор, среди темных, задумчивых, изящных кипарисов и могучих платанов, обвитых сверху донизу плющом, вблизи от прекрасного, радостного моря. Но ее владелец, Павел Аркадьевич Завалишин, бывший корнет армейской кавалерии, затем комиссионер по продаже домов, позднее — нотариус в крупном портовом городе на юге, а ныне известный нефтяник, пароходовладелец и председатель биржевого комитета, — не чувствовал этого противоречия. «Я — русский, и потому имею право презирать все эти ренессансы, рококо и готики! — кричал он иногда, стуча себя в грудь. — Нам заграница не указ. Будет-с: довольно накланялись. У нас свое, могучее, самобытное творчество, и мне, как русско́му дворянину, начихать на иностранщину!»

На огромном нижнем балконе уже был накрыт стол. Дожидались Завалишина, который только что приехал из города и переодевался у себя в комнате. Анна Георгиевна лежала на кресле-качалке, томная, изнемогающая от жары, в легком халате из молдаванского полотна, шитого золотом, с широкими, разрезными до подмышек рукавами. Она была еще очень красива тяжелой, самоуверенной, пышной красотой —

красотой полной, хорошо сохранившейся брюнетки южного типа.

— Здравствуйте, доктор, — сказала она низким голосом, чуть-чуть картавя. — Отчего вы вчера не догадались приехать? У меня была такая мигрень!

Не подымаясь с кресла, она лениво протянула Ивану Николаевичу руку, причем свисший вниз рукав открыл круглое, полное плечо с белой оспинкой, и голубые жилки на внутреннем сгибе локтя, и темную хорошенькую родинку немного повыше. Анна Георгиевна (она требовала почему-то, чтобы ее называли не Анной, а Ниной) знала цену своим рукам и любила их показывать.

Ильяшенко приник к протянутой руке так почтительно, что ее пришлось у него выдернуть насильно.

— Вот видите, какой у нас доктор галантный, — сказала Анна Георгиевна, переводя на Воскресенского смеющиеся, ласковые глаза. — А вы никогда у дам рук не целуете. Медведь! Подите сюда, я перевяжу вам галстук. Вы бог знает как одеваетесь!

Студент неуклюже подошел и нагнулся над ней, ощущая, сквозь сильный аромат духов, запах ее волос. Ловкие, нежные пальцы забегали по его шее.

Воскресенский был целомудренный молодой человек, в прямом, здоровом смысле этого слова. Конечно, еще с первых классов гимназии он понаслышке знал все, что касается самых интимных отношений между женщиной и мужчиной, но его просто никогда не тянуло делать то, что делали и чем хвастливо гордились его товарищи. В нем сказывалась спокойная и здоровая кровь устойчивой старинной поповской семьи. Но и лицемерного, ханжеского негодования против «бесстыдников» у него не было. Он равнодушно слушал то, что говорилось по этому поводу, и не возмущался, если при нем рассказывали те известные анекдотцы, без которых в русском интеллигентном обществе не обходится ни один разговор.

Он хорошо понимал, что значило постоянное заигрывание с ним Анны Георгиевны. Здороваясь и прощаясь, она подолгу задерживала его руку в своей мягкой, изнеженной и в то же время крепкой руке. Она

любила, под видом шутки, ерошить ему волосы, иногда покровительственно звала его уменьшительным именем, говорила при нем рискованные, двусмысленные вещи. Если им обоим случалось нагнуться над альбомом или опереться рядом на перила балкона, следя за пароходом в море, она всегда жалась к нему своей большой грудью и горячо дышала ему в шею, причем завитки ее жестких курчавых волос щекотали ему щеку.

И она возбуждала в Воскресенском странное, смешанное чувство — боязливости, стыда, страстного желания и отвращения. Когда он думал о ней, она представлялась ему такой же чрезмерной, ненатуральной, как и южная природа. Ее глаза казались ему чересчур выразительными и влажными, волосы чересчур черными; губы были неправдоподобно ярки. Ленивая, глупая, беспринципная и сладострастная южанка чувствовалась в каждом ее движении, в каждой улыбке. Если она подходила к студенту слишком близко, то он сквозь одежду, на расстоянии, ощущал теплоту, исходящую от ее большого, полного, начинающего жиреть тела.

Двое подлетков-гимназистов, с которыми занимался Воскресенский, и три девочки, поменьше, сидели за столом, болтая ногами. Воскресенский, стоявший согнувшись, поглядел на них искоса, и ему вдруг стало совестно за себя и за них, и в особенности за голые, теплые руки их матери, которые двигались так близко перед его губами. Он неожиданно выпрямился, с покрасневшим лицом.

— Позвольте-с, я сам, — сказал он хрипло.

На балконе показался Завалишин в фантастическом русском костюме: в чесучовой поддевке поверх шелковой голубой косоворотки и в высоких лакированных сапогах. Этот костюм, который он всегда носил дома, делал его похожим на одного из провинциальных садовых антрепренеров, охотно щеголяющих перед купечеством широкой натурой и одеждой в русском стиле. Сходство дополняла толстая золотая цепь через весь живот, бряцавшая десятками брелоков-жетонов.

Завалишин вошел быстрыми, тяжелыми шагами, высоко неся голову и картинно расправляя обеими

руками на две стороны свою пушистую, слегка седеющую бороду. Дети при его появлении вскочили с мест. Анна Георгиевна медленно встала с качалки.

— Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Цицерон, — сказал Завалишин, небрежно протягивая руку студенту и доктору. — Кажется, я заставил себя ждать? Боря, молитву.

Боря с испуганным видом залепетал:

— Оч-чи всех на тя, господи, уповают...

— Прошу, — сказал Завалишин, коротким жестом показывая на стол. — Доктор, водки?

Закуска была накрыта сбоку на отдельном маленьком столике. Доктор подошел к ней шутовским шагом, немного согнувшись, приседая, подшаркивая каблуками и потирая руки.

— Одному фрукту однажды предложили водки, — начал он, по обыкновению, паясничать. — А он ответил: «Нет, благодарю вас; во-первых, я не пью, во-вторых, теперь еще слишком рано, а в-третьих, я уже выпил».

— Издание двадцатое, — заметил Завалишин. — Возьмите икры.

Он придвинул к доктору деревянный лакированный ушат, в котором во льду стояла серебряная бадья с икрой.

— Удивляюсь, как вы можете в такую жару пить водку, — сказала, морщась, Анна Георгиевна.

Завалишин поглядел на нее с серьезным видом, держа у рта серебряную чеканную чарочку.

— Русскому человеку от водки нет вреда, — ответил он внушительно.

А доктор, только что выпивший, громко крякнул и прибавил дьяконским басом:

— Во благовремении... Что же, Павел Аркадьевич? Отец Мелетий велит по третьей?

За столом прислуживал человек во фраке. Прежде он носил что-то вроде ямщичьей безрукавки, но Анна Георгиевна в один прекрасный день нашла, что господам и слугам неприлично рядиться почти в одинаковые костюмы, и настояла на европейской одежде для лакея. Но зато вся столовая мебель и утварь отличались тем бесшабашным, ёрническим стилем, который назы-

вается русским декадансом. Вместо стола стоял длинный, закрытый со всех сторон ларь; сидя за ним, нельзя было просунуть ног вперед, — приходилось все время держать их скорченными, причем колени больно стукались об углы и выступы резного орнамента, а к тарелке нужно было далеко тянуться руками. Тяжелые, низкие стулья, с высокими спинками и растопыренными ручками, походили на театральные деревянные троны — жесткие и неудобные. Жбаны для кваса, кувшины для воды и сулеи для вина имели такие чудовищные размеры и такие нелепые формы, что наливать из них приходилось стоя. И все это было вырезано, выжжено и разрисовано разноцветными павлинами, рыбами, цветами и неизбежными петухами.

— Нигде так не едят, как в России, — сочным голосом говорил Завалишин, заправляя белыми, волосатыми руками угол салфетки за воротник. — Да, господин студент, я знаю, что вам это неприятно, но — увы! — это так-с. Во-первых, рыба. Где в мире вы отыщете другую астраханскую икру? А камские стерляди, осетрина, двинская семга, белозерский снеток? Найдите, будьте любезны, где-нибудь во Франции ладожского сига или гатчинскую форель. Ну-ка, попробуйте найдите; я вас об этом усердно прошу. Теперь возьмите дичь. Все, что вам угодно, и все в несметном количестве: рябчики, тетерки, утки, бекасы, фазаны на Кавказе, вальдшнепы. Потом дальше: черкасское мясо, ростовские поросята, нежинские огурцы, московский молочный теленок! Да, словом, всё, всё... Сергей, дай мне еще ботвиньи.

Павел Аркадьевич ел много, жадно и некрасиво. «А ведь он порядочно наголодался в молодости», — подумал студент, наблюдая его украдкой. Случалось иногда, что среди фразы Завалишин клал в рот слишком большой кусок, и тогда некоторое время тянулась мучительная пауза, в продолжение которой он, торопливо и неряшливо прожевывая, глядел на собеседника выпученными глазами, мычал, двигал бровями и нетерпеливо качал головой и даже туловищем. В эти минуты Воскресенский опускал глаза на тарелку, чтобы не выдать своей брезгливости.

— Доктор, а вина? — с небрежной любезностью предлагал Завалишин. — Рекомендую вам вот это беленькое. Это Орианда девяносто третьего года. Ваш стакан, Демосфен.

— Я не пью, Павел Аркадьевич. Простите.

— Эт-то уд-дивительно! Юноша, который не пьет и не курит. Скверный признак, молодой человек! — вдруг строго возвысил голос Завалишин. — Скверный признак! Кто не пьет и не курит, тот мне всегда внушает подозрение. Это — или скряга, или игрок, или развратник. Пардон, к вам сие не касательно, господин Эмпедокл. Доктор, а еще? Это — Орианда; право же, недурное винишко. Спрашивается, зачем я должен выписывать от колбасников разные там мозельвейны и другую кислятину, если у нас, в нашей матушке России, выделывают такие чудные вина. А? Как вы думаете, профессор? — вызывающе обратился он к студенту.

Воскресенский принужденно и вежливо улыбнулся.

— У всякого свой вкус...

— Де густибус?.. знаю-с. Тоже учились когда-то... Чему-нибудь и как-нибудь, по словам великого Достоевского. Вино, конечно, пустяки, киндершпиль [1], но важен принцип. Принцип важен, да! — закричал неожиданно Завалишин. — Если я истинно русский, то и все вокруг меня должно быть русское. А на немцев и французов я плевать хочу. И на жидов. Что, не правду я говорю, доктор?

— Да... собственно говоря — принцип... это, конечно... да, — неопределенно пробасил Ильяшенко и развел руками.

— Горжусь тем, что я русский! — с жаром воскликнул Завалишин. — О, я отлично вижу, что господину студенту мои убеждения кажутся смешными и, так сказать, дикими, но уж что поделаешь! Извините-с. Возьмите таким, каков есть-с. Я, господа, свои мысли и мнения высказываю прямо, потому что я человек прямой, настоящий русопет, и привык рубить сплеча. Да, я смело говорю всем в глаза: довольно нам стоять

---

[1] Детская игра (от нем. Kinderspiel).

на задних лапах перед Европой. Пусть не мы ее, а она нас боится. Пусть почувствуют, что великому, славному, здоровому русскому народу, а не им, тараканьим мощам, принадлежит решающее властное слово! Слава богу! — Завалишин вдруг размашисто перекрестился на потолок и всхлипнул. — Слава богу, что теперь все больше и больше находится таких людей, которые начинают понимать, что кургузый немецкий пиджак уже трещит на русских могучих плечах; которые не стыдятся своего языка, своей веры и своей родины; которые доверчиво протягивают руки мудрому правительству и говорят: «Веди нас!..»

— Поль, ты волнуешься, — лениво заметила Анна Георгиевна.

— Я ничего не волнуюсь, — сердито огрызнулся Завалишин. — Я высказываю только то, что должен думать и чувствовать каждый честный русский подданный. Может быть, кто-нибудь со мной не согласен? Что ж, пускай мне возразит. Я готов с удовольствием выслушать противное мнение. Вот, например, господину Воздвиженскому кажется смешным...

Студент не поднял опущенных глаз, но побледнел, и ноздри у него вздрогнули и расширились.

— Моя фамилия — Воскресенский, — сказал он тихо.

— Виноват, я именно так и хотел сказать: Вознесенский. Виноват. Так вот, я вас и прошу: чем строить разные кривые улыбки, вы лучше разбейте меня в моих пунктах, докажите мне, что я заблуждаюсь, что я не прав. Я говорю только одно: мы плюем сами себе в кашу. Мы продаем нашу святую, великую, обожаемую родину всякой иностранной шушере. Кто орудует с нашей нефтью? Жиды, армяшки, американцы. У кого в руках уголь? руда? пароходы? электричество? У жидов, у бельгийцев, у немцев. Кому принадлежат сахарные заводы? Жидам, немцам и полякам. И, главное, везде жид, жид, жид!.. Кто у нас доктор? Шмуль. Кто аптекарь? банкир? адвокат? Шмуль. Ах, да черт бы вас побрал! Вся русская литература танцует маюфес и не вылезает из миквы. Что ты делаешь на меня

страшные глаза, Анечка? Ты не знаешь, что такое миква? Я тебе потом объясню. Да. Недаром кто-то сострил, что каждый жид — прирожденный русский литератор. Ах, помилуйте, евреи! израэлиты! сионисты! угнетенная невинность! священное племя! Я говорю одно, — Завалишин свирепо и звонко ударил вытянутым пальцем о ребро стола, — я говорю только одно: у нас, куда не обернешься, сейчас на тебя так мордой и прет какая-нибудь благородная оскорбленная нация. «Свободу! язык! народные права!» А мы-то перед ними расстилаемся. «О, бедная, культурная Финляндия! О, несчастная, порабощенная Польша! Ах, великий, истерзанный еврейский народ!.. Бейте нас, голубчики, презирайте нас, топчите нас ногами, садитесь к нам на спины, поезжайте». Н-но нет! — грозно закричал Завалишин, внезапно багровея и выкатывая глаза. — Нет! — повторил он, ударив себя изо всей силы кулаком в грудь. — Этому безобразию подходит конец. Русский народ еще покамест только чешется спросонья, но завтра, господи благослови, завтра он проснется. И тогда он стряхнет с себя блудливых радикальствующих ин-тел-ли-гентов, как собака блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и полячишек, что из них только сок брызнет во все стороны. А Европе он просто-напросто скажет: тубо, старая....!

— Браво, браво, браво! — голосом, точно из граммофона, подхватил доктор.

Гимназисты, сначала испуганные криком, громко захохотали при последнем слове, а Анна Георгиевна сказала, делая страдальческое лицо:

— Поль, зачем ты так при детях!

Завалишин одним духом проглотил стакан вина и торопливо налил второй.

— Пардон. Сорвалось. Но я говорю только одно: я сейчас высказал все свои убеждения. По крайней мере — честно и откровенно. Пусть теперь они, то есть, я хочу сказать, господин студент, пусть они опровергнут меня, разубедят. Я слушаю. Это все-таки будет честнее, чем отделываться разными кривыми улыбочками.

Воскресенский медленно пожал плечами.

— Я не улыбаюсь вовсе.

— Ага! Не даете себе труда возражать? Конечно! Это сам-мое лучшее. Стоите выше всяких споров и доказательств?

— Нет... совсем не выше... А просто нам с вами невозможно столковаться. Зачем же понапрасну сердиться и портить кровь?

— Та-ак. Пон-ним-маю! Не удостоиваете, значит? — Завалишин пьянел и говорил преувеличенно громко. — А жаль, очень жаль, милый вьюноша. Лестно было бы усладиться млеком вашей мудрости.

В эту секунду Воскресенский впервые поднял глаза на Завалишина и вдруг почувствовал прилив острой ненависти к его круглым, светлым, выпученным глазам, к его мясистому, красному и точно рваному у ноздрей носу, к покатому назад, белому, лысому лбу и фатоватой бороде. И неожиданно для самого себя он заговорил слабым, точно чужим голосом:

— Вам непременно хочется вызвать меня на спор? Но, уверяю вас, это бесполезно. Все, что вы изволили сейчас с таким жаром высказывать, я слышал и читал сотни раз. Вражда ко всему европейскому, свирепое презрение к инородцам, восторг перед мощью русского кулака и так далее и так далее... Все это говорится, пишется и проповедуется на каждом шагу. Но при чем здесь народ, Павел Аркадьевич, этого я не понимаю. Не могу понять. Народ — то есть не ваш лакей и не ваш дворник, и не мастеровой, а тот народ, что составляет всю Россию, — темный мужик, троглодит, пещерный человек! Зачем вы его-то пристегнули к вашим национальным мечтам? Он безмолвствует, ибо благоденствует, и вы его лучше не трогайте, оставьте в покое. Не нам с вами разгадать его молчание...

— Позвольте-с, я не хуже вас знаю народ...

— Нет, уж теперь вы позвольте мне, — дерзко перебил его студент. — Вы давеча изволили упрекнуть меня в том, что я будто бы смеюсь над вашими разглагольствованиями... Так я вам скажу уж теперь, что смешного в них мало, так же как и страшного.

Ваш идеальный всероссийский кулак, жмущий сок из народишек, никому не опасен, а просто-напросто омерзителен, как и всякий символ насилия. Вы — не болезнь, не язва, вы — просто неизбежная, надоедливая сыпь, вроде кори. Но ваша игра в широкую русскую натуру, все эти ваши птицы-сирины, ваша поддевка, ваши патриотические слезы — да, это действительно смешно.

— Так. Пре-красно. Продолжайте, молодой человек, в том же духе, — произнес Завалишин, язвительно кривя губы.— Чудесные полемические приемы, доктор, не правда ли?

Воскресенский и сам чувствовал в душе, что он говорит неясно, грубо и сбивчиво. Но он уже не мог остановиться. В голове у него было странное ощущение пустоты и холода, но зато ноги и руки стали тяжелыми и вялыми, а сердце упало куда-то глубоко вниз и там трепетало и рвалось от частых ударов.

— Э, что там приемы. К черту! — крикнул студент, и у него этот крик вырвался неожиданно таким полным и сильным звуком, что он вдруг почувствовал в себе злобную и веселую радость. — Я слишком много намолчался за эти два месяца, чтобы еще разбираться в приемах. Да! И стыдно, и жалко, и смешно глядеть, Павел Аркадьевич, на вашу игру. Знаете, летом в увеселительных садах выходят иногда дуэтисты-лапотники. Знаете:

Раз Ванюша, крадучись,
Дуню увидал
И, схвативши ее ручку,
Нежно целовал.

Что-то мучительно-фальшивое, наглое, позорное! Так и у вас. «Русские щи, русская каша — мать наша». А вы видели эти щи когда-нибудь? Пробовали? Сегодня с таком, а завтра с нетом? Вы ели ихний хлеб? Вы видали ихних ребят с распученными животами и с ногами колесом? А у вас повар шестьдесят рублей в месяц получает, и лакей во фраке, и паровая стерлядка. Так и во всем вы. Русское терпение! Русская железная стойкость! Да ведь какими ужасами рабства, каким кровавым путем куплено это терпение!

Смешно даже! Русское несокрушимое здоровье — ах, раззудись плечо! — русская богатырская сила! — у этого-то изможденного работой и голодом, опившегося, надорванного человека?.. И в довершение всего этого неистовый вопль: долой сюртуки и фраки! Вернемся к доброй, славной, просторной и живописной русской одежде! И вот вы, на смех своей прислуге, наряжаетесь, точно на святки, в поддевку, по семи рублей за аршин, на муаровой подкладке. Эх, весь ваш национализм на муаровой подкладке. Господи, а когда вы заведете речь о русской песне — вот чепуха какая! Тут у вас и море слышится, и степь видится, и лес шумит, и какая-то беспредельная удаль... И все ведь это неправда: ничего вы здесь не слышите и не чувствуете, кроме болезненного стона или пьяной икотки. И никакой широкой степи вы не видите, потому что ее и нет вовсе, а есть только потное, искаженное мукой лицо, вздувшиеся жилы, кровавые глаза, раскрытый, окровавленный рот...

— Вам, духовенству, виднее с колокольни, — презрительно фыркнул Завалишин, но студент только отмахнулся рукой и продолжал:

— Ну-с, а теперь, изволите ли видеть, вошло в моду русское зодчество! Резные петухи, какие-то деревянные поставцы, ковши, ендовы, подсолнечники, кресла и скамьи, на которых невозможно сидеть, какие-то дурацкие колпаки... Господи, да неужели же вы не чувствуете, как все это еще больше подчеркивает страшную скудость народной жизни, узость и бедность фантазии? Серое, сумеречное творчество, папуасская архитектура... Игра, именно игра. Игра гнусная, если все это делается нарочно, чтобы водить дураков и ротозеев за нос, и жалкая, если это только модное баловство. Какой-то нелепый маскарад! Все равно, если бы доктора, приставленные к больнице, вдруг надели бы больничные халаты и стали бы в них откалывать канкан. Вот он что такое, ваш русский стиль на муаровой подкладке!..

Что-то перехватило горло Воскресенскому, и он замолчал. Только теперь, спохватившись, он сообразил, что во время своей бессвязной речи он, неза-

метно для самого себя, встал во весь рост и колотил кулаками по столу.

— Может быть, вы еще что-нибудь прибавите, молодой человек? — с усиленной вежливостью, преувеличенно мягко спросил весь побледневший Завалишин. Губы у него кривились и дергались, а концы пышной бороды тряслись.

— Все, — глухо ответил студент. — Больше ничего...

— Тогда позвольте уж и мне последнее слово. — Завалишин встал и швырнул салфетку на стул. — Убеждения — убеждениями, и твердость в них вещь почтенная, а за своих детей я все-таки отвечаю перед церковью и отечеством. Да. И я обязан ограждать их от вредных, развращающих влияний. А поэтому,— вы уж извините, — но одному из нас — или мне, или вам — придется отстраниться от их воспитания...

Воскресенский молча кивнул головой. Павел Аркадьевич резко повернулся и большими шагами пошел от стола. Но в дверях он остановился. Его еще душила злоба. Он чувствовал, что студент взял над ним нравственный верх в этом бестолковом споре и взял не убедительностью мыслей, не доводами, а молодой, несдержанной и хотя сумбурной, но все-таки красивой страстностью. И ему хотелось, прежде чем уйти отсюда, нанести студенту последнее оскорбление, потяжелее, похлеще...

— Мой человек принесет вам наверх деньги, которые вам следует, — сказал он в нос, отрывисто и надменно. — А также, по условию, деньги на дорогу.

И вышел, так сильно хлопнув дверью, что хрустальная посуда на столе задребезжала и запела тонкими голосами.

На балконе все продолжительно и неловко замолчали. Воскресенский дрожащими холодными пальцами катал хлебный шарик, низко наклонив лицо над столом. Ему казалось, что все, даже шестилетняя Вавочка, смотрят на него с любопытством и брезгливой жалостью. «Пойти и дать ему пощечину? — бессвязно мелькало у него в голове. — Вызвать на дуэль? Ах, как все это вышло скверно, как пошло! Вернуть ему назад деньги? Швырнуть в лицо? Фу, какая гадость!»

— Милый Сашенька, не придавайте такого значения, — ласкающим голосом, точно с маленьким, заговорила Анна Георгиевна. — Голубчик, не стоит. Через час он сам сознается, что был неправ, и извинится. Уж если говорить правду, то ведь и вы ему порядочно наговорили.

Он не ответил. Больше всего на свете он хотел бы сейчас же встать, уйти куда-нибудь подальше, спрятаться в какой-нибудь темный, прохладный угол, но сложная, мучительная нерешительность приковывала его к месту. Доктор заговорил о чем-то слишком громко, неестественно-развязным тоном. «Это он оттого так, что ему за меня стыдно», — подумал Воскресенский и стал прислушиваться, почти не понимая слов.

— Один мой знакомый, который хорошо знает арабский язык, так он сравнивал арабские поговорки с русскими. И получились прелюбопытные параллели. Например, арабы говорят: «Честь — это алмаз, который делает нищего равным султану». А по-русски выходит: «Что за честь, коли нечего есть». То же насчет гостеприимства. Арабская пословица говорит...

Воскресенский вдруг встал; не глядя ни на кого, с потупленными глазами неуклюже обошел стол и торопливо сбежал с балкона в цветник, где сладко и маслено пахло розами. За своей спиной он слышал тревожный голос Анны Георгиевны:

— Сашенька, Александр Петрович, куда же вы! Сейчас подадут фрукты!..

III

Придя наверх, Воскресенский переоделся, вытащил из-под кровати свой старый, порыжелый, весь обклеенный багажными ярлыками чемодан и стал укладываться. С ожесточением швырял он в чемодан книги и лекции, с излишней энергией втискивал скомканное кое-как белье, яростно затягивал узлы веревок и ремни. И по мере того как расходовалась его физическая сила, взбудораженная недавним неудовлетворенным гневом, — он сам понемногу отходил и успокаивался.

Покончив с чемоданом, он выпрямился и оглянулся кругом. Внезапно ему стало жаль своей комнаты, точно в ней оставалась часть его существа. По утрам, когда он просыпался, ему не надо было даже приподымать голову от подушки, чтобы увидеть прямо перед собою темную, синюю полосу моря, подымавшуюся до половины окон, а на окнах в это время тихо колебались, парусясь от ветра, легкие, розоватые, прозрачные занавески, и вся комната бывала по утрам так полна светом и так в ней крепко и бодро пахло морским воздухом, что в первые дни, просыпаясь, студент нередко начинал смеяться от бессознательного, расцветавшего в нем восторга.

Воскресенский вышел на балкон. Далеко впереди выдавался в море узкий длинный мысок, кончавшийся правильным закруглением, которое здесь называли батареей. Из-за батареи, круто огибая ее, выплывал маленький паровой катер, и отчетливо доносилось его торопливое фырканье, похожее на дыхание запыхавшейся собаки. Под полотняным тентом можно было разглядеть темные человеческие фигуры. Катер покачивало, но он бодро подымался на одну волну и, с замедлением перевалившись через нее, смело зарывался носом в следующую, между тем как разрезанная им вода взмывала к самым бортам. А еще дальше, как будто посередине между берегом и горизонтом, плавно, без малейшего звука и сотрясения, двигалась черная, могучая громадина большого парохода с наклоненными назад трубами. И тотчас же, сквозь легкое облачко набежавшей грусти, Воскресенский почувствовал то сладкое и дерзкое замирание сердца, которое он всегда испытывал при мыслях о дальних поездках, о новых впечатлениях, о новых людях — о всей безбрежной широте лежащей перед ним молодой, неисчерпанной жизни.

«Завтра и я буду толкаться по пароходу вместе с другими, буду знакомиться, смотреть на берега, на море, — подумал он. — Хорошо!»

— Сашенька, где вы здесь? Подите ко мне,— услышал он голос Анны Георгиевны.

Он быстро вернулся в комнату, застегивая на ходу ворот красной рубахи и поправляя волосы. Какой-то мимолетный испуг, какое-то темное, раздражающее предчувствие на мгновение шевельнулось в его душе.

— Устала! — говорила Анна Георгиевна, слегка задыхаясь. — Как у вас хорошо. Прохладно.

Она села на подоконник. На фоне ослепительного, бело-голубого неба сверху и густой синевы моря снизу — ее высокая, немного полная фигура, в белом капоте, обрисовалась с тонкой, изящной и мягкой отчетливостью, а жесткие, рыжеватые против солнца завитки волос зажглись вокруг ее головы густым золотым сиянием.

— Ну, что, сердитый воробей, — спросила Анна Георгиевна с нежной фамильярностью, — еще не простыли?

— Простыл. Сейчас вот еду, — угрюмо ответил студент.

— Саша!..

Она произнесла его имя тихо и таким странным, протяжным, волнующим звуком, какого Воскресенский не слыхал никогда в жизни. Он вздрогнул и пристально поглядел на нее. Но она сидела спиной к яркому свету, и выражения ее лица нельзя было рассмотреть. Однако студенту показалось, что ее глаза блестят не по-обыкновенному.

— Саша, родной мой, вы не уедете! — вдруг заговорила она, спеша и задыхаясь. — Нет, нет, милый, вы не уедете. Слышите? Подите сюда. Да сюда же, ко мне... ко мне, вам говорят!.. Ох, какой бестолковый... Слышите, не смейте ехать. Я не хочу. Дорогой мой, вы останетесь...

Она схватила его руки, крепко сжала их и, не выпуская из своих, положила к себе на колени, так что он на секунду ощутил под легкой шершавой тканью капота ее твердое и точно скользкое тело.

— Останетесь? Да? — спросила она быстрым шепотом, близко заглядывая ему в лицо.

Он поднял глаза и встретился с ее затуманенным, неподвижным, жадным взглядом. Горячая радость

хлынула у него из сердца, разлилась по груди, ударила в голову и забилась в висках. Смущение и неловкость исчезли. Наоборот, было жуткое, томительное наслаждение — глядеть так долго, так бесстыдно и так близко, не отрываясь и не произнося ни слова, в эти прекрасные, еще сияющие слезами, обессмысленные страстью глаза. Потом он полусознательно почувствовал, что она смотрит ниже его глаз, и он сам перевел глаза на ее крупные, яркие раскрытые губы, за которыми сверкала влажная белизна зубов. Ему вдруг показалось, что воздух в комнате стал знойным; во рту у него сразу пересохло, и стало трудно дышать.

— Останетесь? Да? Правда?

Он обнял ее и тотчас же почувствовал ее большое, роскошное тело легким, живым, послушным каждому движению, каждому намеку его рук. Какой-то жаркий, сухой вихрь вдруг налетел и скомкал его волю, рассудок, все его гордые и целомудренные мысли, все, что в нем было человеческого и чистого. Почему-то вдруг, обрывком, вспомнилось ему купанье перед обедом и эти теплые, качающиеся, ненасытные волны.

— Милый, правда? Правда? — повторяла без конца женщина.

Он грубо, по-зверски, схватил ее на руки и поднял. Точно в бреду он слышал, как она с испугом прошептала:

— Дверь... ради бога... дверь!

Он машинально оглянулся назад, увидел раскрытую настежь дверь и темноту коридора за нею, но не понял ни смысла этих слов, ни значения этой двери, и тотчас же забыл о них. Полузакрытые черные глаза вдруг очутились так близко около его лица, что очертания их стали неясными, расплывчатыми, и сами они сделались огромными, неподвижными, страшно блестящими и совсем незнакомыми. Горячие, качающиеся волны хлынули на него, разом затопили его сознание и загорелись перед ним странными вертящимися кругами...

Потом он очнулся и услышал с удивлением ее точно о чем-то умоляющий голос:

— Я обожаю тебя... Мой сильный, молодой, красивый...

Она сидела рядом с ним на его постели и с покорным, заискивающим видом жалась головой к его плечу, стараясь поймать его взгляд. А он глядел в сторону, хмурился и трясущейся рукой нервно теребил бахрому своего пледа, висевшего на спинке кровати. Непобедимое отвращение росло в нем с каждой секундой к этой женщине, только что отдавшейся ему. Он и сам понимал, как эгоистично было это чувство, но не мог его пересилить даже из благодарности, даже из сострадательной вежливости. Ему было физически гадко ее близкое присутствие, ее прикосновение, шум ее частого прерывистого дыхания, и хотя он во всем происшедшем винил одного себя, но слепая, неразумная ненависть и презрение к ней наполняли его душу.

«О, какой я подлец! Какой подлец!» — думал он и боялся в то же время, что она прочитает его мысли и чувства у него на лице.

— Милый мой, обожаемый, — растроганно говорила Анна Георгиевна. — Зачем ты отвернулся? Ты сердишься? Тебе неприятно? О мой дорогой, неужели ты не замечал, что я тебя люблю? С самого начала, с самого первого дня... Ах, впрочем, нет! Когда ты к нам пришел в Москве, ты мне не понравился. Я думала: «У, какой злюка». Но зато потом!.. Милый, посмотри же на меня...

Студент пересилил себя и как-то сбоку, неуклюже, исподлобья взглянул на нее. И у него даже захватило горло: до того противным показалось ему ее раскрасневшееся лицо со следами пудры у ноздрей и на подбородке, мелкие морщинки около глаз и на верхней губе, которых он раньше не замечал, и в особенности ее молящий, тревожный, полный виноватой преданности, какой-то собачий взгляд. Содрогаясь спиной от гадливости, он отвернулся.

«Но почему же я-то ей не противен? — подумал он с отчаянием. — Почему? Ах, я подлец, подлец!..»

— Анна Георгиевна... Нина,— сказал он, заикаясь, фальшивым, деревянным, как ему самому показалось, голосом. — Вы меня простите... Вы меня извините, я взволнован и не знаю, что говорю... Поймите меня и не сердитесь... Мне нужно побыть одному... У меня голова кружится.

Он сделал невольное движение, как бы отстраняясь от нее, и она поняла это. Ее руки, обвивавшие его шею, бессильно упали вдоль колен, и голова опустилась вниз. Так она посидела еще минуту и затем встала, молча, с покорным видом.

Она понимала лучше, чем студент, то, что с ним теперь происходило. Она знала, что у мужчин первые шаги в чувственной любви сопряжены с такими же ужасными, болезненными ощущениями, как и первые затяжки опиумом для начинающих, как первая папироса, как первое опьянение вином. И она знала также, что до нее он не сближался ни с одной женщиной, что она была для него *первой,* знала это по его прежним словам, чувствовала это по его дикой и суровой застенчивости, по его неловкости и грубости в обращении с ней.

Ей хотелось утешить, успокоить его, объяснить ему в нежных материнских выражениях причины его страданий, так как она видела, что он страдает. Но она — всегда такая смелая, самоуверенная — не находила слов; она смущалась и робела, точно девушка, чувствуя себя виноватой и за его падение, и за его молчаливую тревогу, и за свои тридцать пять лет, и за то, что она не умеет, не находит, чем помочь ему.

— Саша, это пройдет, — сказала она чуть слышно. — Это пройдет, успокойтесь, верьте мне. Только не уезжайте... слышите? Вы ведь скажете мне, если захотите уехать?

— Да... хорошо... да... да... — повторял он нетерпеливо и все оглядывался назад, на дверь.

Она вздохнула и тихо вышла из комнаты, беззвучно притворив за собою дверь. А Воскресенский обеими руками вцепился себе в волосы и со стоном повалился лицом в подушку.

IV

На другой день Воскресенский ехал в Одессу на большом пассажирском пароходе «Ксения». Он позорно и малодушно сбежал от Завалишиных, не вытерпев жестокого раскаяния, не находя в себе решительности встретиться лицом к лицу с Анной Георгиевной. Пролежав до сумерек в постели, он, как только стало темно, собрал свои вещи и потихоньку, крадучись, точно вор, задним крыльцом вышел в виноградник, а оттуда спрыгнул на шоссе. И во все время, пока он добрался до почтовой станции, пока ехал в дилижансе, битком набитом молчаливыми турками и татарами, пока устраивался в ялтинской гостинице на ночь, его не оставлял колючий стыд и беспощадное омерзение к себе самому, к Анне Георгиевне, ко всему, что вчера произошло, и к собственному мальчишескому побегу. «Вышло так, как будто бы после ссоры, из мести, я взял и украл что-то у Завалишиных и убежал от них», — думал он, злобно стискивая зубы.

День был жаркий, безветренный. Море лежало спокойное, ласковое, нежно-изумрудное около берегов, светло-синее посредине и лишь кое-где едва тронутое ленивыми фиолетовыми морщинками. Внизу под пароходом оно было ярко-зелено, прозрачно и легко, как воздух, и бездонно. Рядом с пароходом бежала стая дельфинов. Сверху было отлично видно, как они в глубине могучими, извилистыми движениями своих тел рассекали жидкую воду и вдруг с разбегу, один за другим, выскакивали на поверхность, описав быстрый темный полукруг.

Берег медленно уходил назад. Постепенно показывались и скрывались густые, взбирающиеся на холмы парки, дворцы, виноградники, тесные татарские деревни, белые стены дач, утонувших в волнистой зелени, а сзади голубые горы, испещренные черными пятнами лесов, и над ними тонкие, воздушные очертания их вершин.

Пассажиры толпились на правом борту, у перил, лицом к берегу. Называли вслух места и фамилии

владельцев. На середине палубы, около люка, двое музыкантов — скрипка и арфа — играли вальс, и избитый, пошлый мотив звучал необыкновенно красиво и бодро в морском воздухе.

Воскресенский нетерпеливо искал глазами знакомую дачу в виде русского терема. И когда она показалась наконец из-за густой чащи княжеского парка и стала вся видна над своей огромной, белой крепостной стеной, он часто задышал и крепко прижал руку к холодевшему сердцу.

Ему показалось, что он различает на нижней террасе белое пятно, и ему хотелось думать, что там сидит теперь эта странная женщина, ставшая вдруг для него такой таинственной, непонятной и привлекательной, и что она смотрит на пароход такими же, как и он, печальными, полными слез глазами. Он представил себе самого себя, стоящего там, на балконе, рядом с ней, но не теперешнего себя, а вчерашнего, неделю назад, — прежнего себя, какого уже больше никогда не будет. И ему стало жалко, — нестерпимо, до боли жалко той полосы жизни, которая ушла от него навсегда и никогда не вернется, никогда не повторится... С необычайной яркостью, в радужном тумане слез, застилавших глаза, встало перед ним лицо Анны Георгиевны, но не торжествующее, не самоуверенное, как всегда, а кроткое, с умоляющим выражением, виноватое, и сама она представилась ему почему-то маленькой, обиженной, слабой и как-то болезненно близкой ему, точно приросшей навеки к его сердцу.

И к этим тонким, грустным, сострадательным ощущениям примешивалось чуть слышно, как аромат тонкого вина, воспоминание о теплых обнаженных руках, и о голосе, дрожавшем от чувственной страсти, и о прекрасных глазах, глядевших вниз на его губы...

Прячась за деревьями и дачами и опять показываясь на минутку, русский терем уходил все дальше и дальше назад и вдруг исчез из виду. Воскресенский, прижавшись щекой к чугунному столбику перил, еще долго глядел в ту сторону, где он скрылся. «Все сие прошло, как тень и как молва быстротечная», — вспо-

мнился ему вдруг горький стих Соломона, и он заплакал. Но слезы его были благодатные, а печаль — молодая, светлая и легкая.

Внизу, в салоне, зазвонили к завтраку. Болтливый, шумный студент, с которым Воскресенский познакомился еще на пристани, подошел к нему сзади, хлопнул его по спине и закричал радостно:

— А я вас, коллега, ищу, ищу... Вы ведь с продовольствием? Айда водку пить...

ЖИДОВКА

— Проехали, прос-е-хали! — жалобно зазвенел детский голосок. — Направо! — крикнул сзади сердитый бас. — Направо, право, прраво! — подхватили впереди весело и торопливо. Кто-то заскрежетал зубами, кто-то пронзительно свистнул... Стая собак залилась тонким, злобным и радостным лаем. — О-о-о! Ха-ха-ха! — засмеялась и застонала толпа.

Сани подбросило и стукнуло на ухабе. Кашинцев открыл глаза.

— Что? — спросил он с испугом.

Но дорога была по-прежнему пустынна и безмолвна. Морозная ночь молчала над бесконечными, мертвыми, белыми полями. Полный месяц стоял на середине неба, и четкая синяя тень, скользившая сбоку саней, ломаясь на взрытых сугробах, была коротка и уродлива. Упругий, сухой снег скрипел и визжал под полозьями, как резиновый.

«Ах, ведь это снег скрипит», — подумал Кашинцев. — Как странно! — произнес он вслух.

Услыхав голос, ямщик обернулся назад. Его темное лицо, с белыми от холода усами и бородой, было похоже на большую, грубую, звериную маску, облепленную ватой.

— Что? Еще две версты осталось. Немного, — сказал ямщик.

«Это — снег, — думал Кашинцев, опять поддаваясь дремоте. — Это только снег. Как странно...»

«Странно, странно! — вдруг суетливо и отчетливо залепетал колокольчик на конце дышла. — Стран-но, стран-но, стран-но...»

— Ай-ай-ай! Посмотрите же! — крикнула впереди саней женщина.

Толпа, которая тесно шла ей навстречу, вдруг заговорила разом, заплакала и запела. Опять, злобно волнуясь, залаяли собаки.

Где-то далеко загудел паровоз... И тотчас же, сквозь дремоту, Кашинцеву с необыкновенной ясностью вспомнился вокзальный буфет с его жалкой, запыленной роскошью: гроздья электрических лампочек под грязным потолком и на запачканных стенах, огромные окна, искусственные пальмы на столах, жесткие стоячие салфетки, мельхиоровые вазы, букеты из сухих трав, пирамиды бутылок, рюмки розового и зеленого стекла...

Это было вчера вечером. Товарищи-врачи провожали Кашинцева, только что получившего новое назначение — младшим врачом в отдаленный пехотный полк. Их было пять человек. Сдвинув вокруг углового «докторского» столика тяжелые вокзальные стулья, они пили пиво и разговаривали с натянутой сердечностью и напускным оживлением, точно разыгрывали на спектакле сцену проводов. Красивый и самоуверенный Рюль, преувеличенно блестя глазами, кокетничая и оглядываясь по сторонам, чтобы его слышали и чужие, говорил фамильярным, фатовским тоном:

— Так-то, старик. Вся наша жизнь, от рождения и до самой смерти, заключается только в том, что мы встречаем и провожаем друг друга. Можешь записать это себе на память в книжку: «Вечерние афоризмы и максимы доктора фон Рюля».

Едва он кончил говорить, у выходных дверей показался толстый швейцар, с лицом сердитого бульдога, затряс звонком и закричал нараспев, обрываясь и давясь:

— Пе-ервый звонок! Ки-ев, Жмеринка, Одесс! По-о-езд стои-ит на втор-ом путе!..

И теперь, сидя глубоко и неудобно в дергающихся санях, Кашинцев засмеялся от удовольствия, — так

необыкновенно ярко и красочно вышло это воспоминание. Но тотчас же к нему вернулось утомительное, нудное впечатление бесконечности этой однообразной дороги. С того времени, когда утром, выйдя из маленькой железнодорожной станции, он сел в почтовые сани, прошло всего шесть-семь часов, но Кашинцеву постоянно представлялось, что он едет таким образом уже целые недели и месяцы, что он сам успел измениться, сделаться старше, скучнее и равнодушнее ко всему со вчерашнего вечера. Где-то на пути ему встретился нищий, пьяный и оборванный, с провалившимся носом и с оголенным на морозе плечом; где-то артачилась и не хотела входить в запряжку длинная худая лошадь с задранной кверху шеей и с шоколадной, густой, как бархат, шерстью; кто-то, казалось, давным-давно сказал ему добродушно: «Дорога, пане, сегодня добрая, не оглянетесь, как докатите», — а сам Кашинцев в эту минуту засмотрелся на снежную равнину, которая была совсем алая от вечерней зари. Но все это смешалось, отошло в какую-то мутную, неправдоподобную даль, и нельзя было вспомнить, где, когда, в какой последовательности это происходило. По временам легкий сон смыкал глаза Кашинцеву, и тогда его отуманенному сознанию слышались странные визги, скрежет, собачий лай, человеческие крики, хохот и бормотание; но он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле; и по-прежнему расстилались налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

— Вас куда везти, пане, прямо на почту или в заезд? — спросил ямщик.

Кашинцев поднял голову. Теперь он ехал по длинной, прямой улице какого-то села. Накатанная дорога блестела впереди в лучах месяца, как полированная синяя сталь. По обеим ее сторонам едва выглядывали из глубоких сугробов темные, жалкие домики, придавленные сверху тяжелыми снежными шапками. Село

точно вымерло: не лаяли собаки, огонь не светился в окнах, не попадались навстречу люди. Было что-то жуткое и печальное в этом безмолвии человеческих жилищ, которые, затерявшись в глубоких снегах, боязливо жались друг к другу.

— Куда это — в заезд? — спросил Кашинцев.

— А пан не знает? В заезд к Мойше Хацкелю... Там завсегда паны стоят. Например, самовар, яишница, чего закусить... Заночевать тоже можно. Пять номерей...

— Ну, хорошо, поедем в заезд, — согласился Кашинцев.

Только теперь, при мысли о еде и теплом помещении, Кашинцев почувствовал, как сильно он озяб и проголодался. А низенькие, слепые, зарывшиеся в снег домики все шли навстречу и уходили назад, и, казалось, им не будет конца.

— Когда же мы приедем? — нетерпеливо спросил Кашинцев.

— А скоро. Село великое, на версту с половиной... Вье, малы́! — сипло и свирепо крикнул ямщик на лошадей и, привстав, завертел над головой кнутом и задергал вожжи.

Вдали показалась красная светлая точка и стала расти, то прячась за темные невидимые преграды, то выныривая на мгновение из мрака. Наконец лошади, точно игрушки, у которых кончился завод, сами остановились у ворот заезжего дома и тотчас же расслабленно опустили головы к земле. Сводчатый полукруглый въезд тянулся черным огромным, зияющим коридором через весь дом, но дальше, во дворе, ярко освещенном луной, виднелись повозки с поднятыми вверх оглоблями, солома на снегу и очертания лошадиных фигур под плоскими навесами. Слева от ворот два окна, сплошь занесенные снегом, сияли теплым, невидимым, внутренним огнем.

Кто-то отворил дверь, пронзительно завизжавшую на блоке, и Кашинцев вошел в комнату. Белые облака морозного воздуха, которые, казалось, только этого и ждали, ворвались следом за ним, бешено крутясь. Сначала Кашинцев ничего не мог рассмотреть: стекла

его очков сразу запотели от тепла, и он видел перед собою только два сияющих, мутно-радужных круга.

Ямщик, вошедший сзади, крикнул:

— Слухай, Мовша, до тебя пан приехал... Где ты тут?

Откуда-то поспешно выскочил низенький, коренастый светлобородый еврей в высоком картузе и в вязаной жилетке табачного цвета. Он что-то дожевывал на ходу и суетливо вытирал рот рукой.

— Добрый вечер, пане, добрый вечер, — сказал он дружелюбно и тотчас же с участливым видом закачал головой и зачмокал губами. — Тце, тце, тце... Ой, как пан смерз, не дай бог! Позвольте, позвольте мне вашу шубу, я ее повешу на гвоздь. Пан прикажет самовар? Может, что-нибудь покушать? Ой, ой, как пан смерз!

— Благодарю вас. Пожалуйста, — проговорил Кашинцев.

От холода у него так съежились губы, что он с трудом ими ворочал; подбородок сделался неподвижным и точно чужим, а собственные ноги казались ему такими мягкими, слабыми и нечувствительными, как будто они были из ваты.

Когда его очки отошли в тепле, он оглянулся кругом. Большая комната, с кривыми окнами и земляным полом, была вся вымазана светло-голубой известкой, которая в иных местах отвалилась большими кусками, обнаружив переплет из деревянной драни. Вдоль стен тянулись узкие скамейки и стояли раскосые столы, мокрыми и жирными от времени досками. Под самым потолком горела лампа-молния. Задняя, меньшая часть комнаты была отгорожена пестрой ситцевой занавеской, из-за которой шел запах грязных постелей, детских пеленок и какой-то острой еды. Перед занавеской помещалась деревянная стойка.

За одним из столов, напротив Кашинцева, сидел, положив лохматую голову на расставленные локти, мужик в коричневой свитке и в бараньей шапке. Он был пьян тяжелым, бессильным опьянением, мотался головой по столу, икал и все время бурлил что-то

невнятное хриплым, надсаженным, клокочущим от слюней голосом.

— Что вы мне дадите поесть? — спросил Кашинцев. — Я очень проголодался.

Хацкель поднял кверху плечи, расставил врозь руки, прищурил левый глаз и несколько секунд оставался в таком положении.

— Чего я дам пану поесть? — переспросил он с лукаво-проницательным видом. — А что пан хочет? Можно достать все. Можно поставить самовар, можно заварить яйца, можно достать молока... Ну, вы сами понимаете, пане, что можно достать в такой паршивой деревне! Можно сварить куру, но только это будет очень долго времени.

— Давайте яйца, давайте молока. Еще что?

— Что еще-е? — как будто удивился Хацкель.— Я мог бы предложить пану фаршированную еврейскую рыбу. Но, может быть, пан не любит еврейской кухни? Знаете, обыкновенная еврейская рыба, фиш, которую моя жинка готовит на шабес.

— Давайте и фиш. И, пожалуйста, рюмку водки.

Еврей закрыл оба глаза, затряс головой и зачмокал с сокрушением.

— Водки нема, — сказал он шепотом. — Вы же знаете, как нынче строго. А пан далеко едет?

— В Гусятин.

— Пан, извините, служит по полиции?

— Нет, я доктор. Военный врач.

— Ах, пан — доктор! Это очень приятно. Поверьте моей совести, я очень жалею, что не могу вам достать водки. Впрочем... Этля! — крикнул Хацкель, отходя от стола. — Этля!

Он скрылся за занавеску и заговорил по-еврейски быстро, точно сердясь. И потом он несколько раз то появлялся в общей комнате, то опять исчезал и, видимо, очень суетился. В это время мужик, лежавший за столом, вдруг поднял кверху голову с раскрытым мокрым ртом и остекленевшими глазами и запел хриплым голосом, причем у него в горле что-то щелкало и хлюпало:

Ой, чи не мо-ожно б бу-у-уло...

Хацкель поспешно подбежал к нему и затряс его за плечо.

— Трохим... Слушайте, Трохиме... Я ж вас так просил, щоб вы не разорялись! Вон пан обижается... Ну, выпили вы, и хорошо, и дай вам бог счастия, и идите себе до дому, Трохим!

— Жиды! — заревел вдруг мужик страшным голосом и изо всей силы треснул кулаком по столу. — Жиды, матери вашей черт! Уб-бью!..

Он грузно упал головой на стол и забормотал.

Хацкель с побледневшим лицом отскочил от стола. Его губы кривились презрительной и в то же время смущенной и бессильной улыбкой.

— Вот видите, пан доктор, какой мой кусок хлеба! — сказал он с горечью, обращаясь к Кашинцеву. — Ну, скажите мне, что я могу с этим человеком сделать? Что я могу? Этля! — крикнул он в сторону занавески. — Когда же ты, наконец, подашь пану щупака?

Он опять нырнул в отгороженную часть комнаты, но тотчас же вернулся с блюдом, на котором лежала рыба, нарезанная тонкими ломтями и облитая темным соусом. Он также принес с собою большой белый хлеб с твердой плетеной коркой, испещренной черными зернышками какой-то ароматной приправы.

— Пане, — сказал Хацкель таинственно. — Там у жены отыскалось немного водки. Попробуйте, это хорошая фруктовая водка. Мы ее пьем на нашу пасху, и она так и называется пейсачная. Вот.

Он извлек из-за жилета крошечный узкогорлый графинчик и рюмку и поставил их перед Кашинцевым. Водка была желтоватого цвета, слегка пахла коньяком, но, когда доктор проглотил рюмку, ему показалось, что весь его рот и гортань наполнились каким-то жгучим и душистым газом. Тотчас же он почувствовал в животе холод, а потом мягкую теплоту и страшный аппетит. Рыба оказалась чрезвычайно вкусной и такой пряной, что от нее щипало язык. «Как ее готовят?» — мелькнула было у Кашинцева опасливая мысль, но он тут же засмеялся, вспомнив один из знакомых ему вечерних афоризмов доктора фон Рюля:

«Никогда не надо думать о том, что ешь и кого любишь».

А Хацкель стоял поодаль, заложив руки за спину. Точно угадывая, о чем думал Кашинцев, он говорил с угодливым и ласковым видом:

— Может, пану кажется, что это приготовлено как-нибудь грязно? Псс... никогда в жизни! Наши еврейские женщины все делают по святым книгам, а там уж все сказано: и как чистить, и как резать, и когда мыть руки. А если не так — это у нас считается грех. Пусть пан кушает себе на здоровье... Этля, принеси еще рыбы!

Из-за занавески вышла женщина и стала сзади прилавка, кутаясь с головой в большой серый платок. Когда Кашинцев повернулся к ней лицом, ему показалось, что какая-то невидимая сила внезапно толкнула его в грудь и чья-то холодная рука сжала его затрепыхавшееся сердце. Он никогда не только не видал такой сияющей, гордой, совершенной красоты, но даже не смел и думать, что она может существовать на свете. Прежде, когда ему случалось видеть прекрасные женские головки на картинах знаменитых художников, он про себя, внутренно, был уверен, что таких правильных, безукоризненных лиц не бывает в натуре, что они — вымысел творческой фантазии. И тем удивительнее, тем неправдоподобнее было для него это ослепительно-прекрасное лицо, которое он теперь видел в грязном заезжем доме, пропахшем запахом нечистого жилья, в этой ободранной, пустой и холодной комнате, за прилавком, рядом с пьяным, храпящим и икающим во сне мужиком.

— Кто это? — шепотом спросил Кашинцев. — Вот эта... — он хотел по привычке сказать — жидовка, но запнулся, — эта женщина?

— Кто? Это? — небрежно спросил Хацкель, кивнув головой назад. — Это, пане, моя жинка.

— Как она красива!

Хацкель коротко засмеялся и с презрением пожал плечами.

— Пан с меня смеется? — спросил он укоризненно. — Что такое она? Обыкновенная, бедная ев-

рейка, и больше ничего. Разве пан не видал в больших городах настоящих красивых женщин? Этля!— обернулся он к жене и проговорил что-то скороговоркой по-еврейски, от чего она вдруг засмеялась, блеснув множеством белых ровных зубов, и повела так высоко одним плечом, точно хотела потереть об него щеку.

— А пан холостой чи женатый? — спросил Хацкель с вкрадчивой осторожностью.

— Нет, я холостой. А что?

— Нет, я только так себе... Значит, пан холостой. А почему же пан, такой солидный и образованный человек, не захотел жениться?

— Ну, это длинная история... По многим причинам. Да, я думаю, еще и теперь не поздно. Не так уж я стар. А?

Хацкель вдруг придвинулся вплотную к доктору, оглянулся с боязливым видом по сторонам и сказал, выразительно понизив голос:

— А может, вы, пане, заночуете у нас в заезде? Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, у меня всегда останавливаются самые хорошие паны: пан Варпаховский из Монастырища, пан посессор Луцкий, бывают из господ офицерей...

— Нет, мне надо торопиться. Некогда.

Но Хацкель с лукавым, проницательным и заманивающим видом, прищуривая то один, то другой глаз, продолжал настаивать:

— Лучше ж, ей-богу, заночуйте, пане. Куда пан поедет по такой холодюке? Дай мне бог не видать завтрашнего дня, если я говорю неправду!.. Послушайте только, что я вам скажу, пане доктор... Тут есть одна бывшая гувернантка...

Одна быстрая сумасшедшая мысль блеснула у Кашинцева. Он украдкою, воровато взглянул на Этлю, которая равнодушно, как будто не понимая, о чем идет разговор между ее мужем и гостем, глядела издали в запорошенное белое окно, но ему в ту же минуту стало стыдно.

— Оставьте меня в покое, уйдите! — резко приказал он Хацкелю.

Кашинцев, не столько по словам, сколько по выражению лица Хацкеля, понимал, о чем он говорит, но не мог рассердиться, как, вероятно, счел бы долгом рассердиться при других обстоятельствах. Теплота комнаты, после долгой холодной дороги, разморила и разнежила его тело. От выпитой водки голова тихо и сладко кружилась, кожа на лице приятно горела. Хотелось сидеть не шевелясь, испытывая томное чувство сытости, теплоты и легкого опьянения, не думая о том, что через несколько минут надо опять садиться в сани и ехать бесконечной, скучной, морозной дорогой.

И в этом странном, легком и блаженном состоянии ему доставляло невыразимое удовольствие время от времени, как будто нечаянно, точно обманывая самого себя, останавливаться на прекрасном лице еврейки и думать о ней, но не мыслями, а словами, как будто разговаривая с каким-то невидимым собеседником.

«Можно ли описать кому-нибудь это лицо? — говорил про себя Кашинцев. — Можно ли передать обыкновенным, бедным, повседневным языком эти изумительные черты, эти нежные и яркие краски? Вот она теперь повернулась почти прямо ко мне лицом. Как чиста, как изумительно изящна эта линия, что идет от виска к уху и опускается вниз, к подбородку, определяя щеку. Лоб низкий, заросший сбоку тонкими, пушистыми волосами, — как это прелестно, и женственно, и колоритно! Глаза огромные, черные, до того огромные и черные, что кажутся подрисованными, и в них, около зрачков, сияют живые, прозрачные золотые точечки, точно светлые блики в желтом топазе. Глаза окружены темной, чуть-чуть влажной тенью, и как неуловимо переходит этот темный тон, придающий взгляду такое ленивое и страстное выражение, в смуглый, крепкий румянец щек. Губы полные, красные, и хотя в настоящую минуту сомкнуты, но кажутся раскрытыми, отдающимися, а на верхней губе, несколько затененной, хорошенькая черная родинка около угла рта. Какой прямой, благородный нос и какие тонкие, гордые ноздри! О, милая, прекрасная!» — повторял про себя с умилением Кашин-

цев, и ему хотелось заплакать от восторга и нежности, которые овладели им и стесняли ему грудь и щекотали глаза.

Сверх яркого и смуглого румянца щек видны были коричневые полосы засохшей грязи, но Кашинцеву казалось, что никакая небрежность не может исказить этой торжествующей, цветущей красоты. Он также заметил, когда она выходила из-за прилавка, что нижний край ее розовой ситцевой короткой юбки был тяжел и мокр от грязи и шлепался при каждом шаге и что на ногах у нее были огромные истасканные башмаки с торчащими ушками; он заметил, что иногда, разговаривая с мужем, она быстро дергала себя за кончик носа двумя пальцами, делая при этом шмыгающий звук, и потом так же быстро проводила под носом ребром указательного пальца. Но все-таки ничто вульгарное, ничто смешное и жалкое не могло повредить ее красоте!

«В чем счастье? — спросил самого себя Кашинцев и тотчас же ответил: — Единственное счастье — обладать такой женщиной, знать, что эта божественная красота — твоя. Гм... пошлое, армейское слово — обладать, но что в сравнении с этим все остальное в жизни: служебная карьера, честолюбие, философия, известность, твердость убеждений, общественные вопросы?.. Вот пройдет год, два или три, и, может быть, я женюсь. Жена моя будет из благородной фамилии, тощая белобрысая девица, с жидкими завитушками на лбу, образованная и истеричная, с узким тазом и с холодным синим телом в пупырышках, как у ощипанной курицы, она будет играть на рояле, толковать о вопросах и страдать женскими болезнями, и мы оба, как самец и самка, будем чувствовать друг к другу равнодушие, если не отвращение. А почем знать, не заключается ли вся цель, весь смысл, вся радость моей жизни в том, чтобы всеми правдами и неправдами завладеть вот такой женщиной, как эта, украсть, отнять, соблазнить, — не все ли равно? Пусть она будет грязна, невежественна, неразвита, жадна, — о, боже мой! — какие это мелочи в сравнении с ее чудесной красотой!»

Хацкель опять подошел, остановился около Кашинцева, засунув руки в карманы панталон, и вздохнул.

— А вы не читали, пане, что пишут в газетах? — спросил он с вежливой осторожностью. — Что слышно нового за войну?

— Да все по-прежнему. Мы отступаем, нас бьют... Впрочем, я сегодня газет не читал, — ответил Кашинцев.

— Пан не читал! Как жаль! Мы, знаете, пане, живем здесь в степи и ничего не слышим, что делается на свете. Вот тоже писали за сионистов. Пан читал, что в Париже собирался конгресс?

— Как же. Конечно.

Кашинцев внимательнее поглядел на него. В нем, под внешней расторопной пронырливостью, чувствовалось что-то заморенное, хилое, говорящее о бедности, приниженности и плохом питании. Самое жалкое впечатление производила его длинная шея, выходившая из гарусного шарфа, — худая, грязно-желтая; на ней, точно толстые струны, выступали вперед, по бокам глотки, две длинные, напряженные жилы с провалом посредине.

— Чем вы здесь вообще занимаетесь? — спросил Кашинцев, охваченный каким-то виноватым сожалением.

— Ну-ну! — Хацкель пожал плечами с безнадежным и презрительным видом. — Ну, чем может заниматься бедный еврей в черте оседлости? Крутимся как-нибудь. Покупаем и продаем, когда бывает базар. Отбиваем друг у друга последний кусочек хлеба. Эх! Что много говорить! Разве же кому интересно знать, как мы здесь страдаем?..

Он устало махнул рукой и ушел за занавеску, а Кашинцев опять вернулся к прерванным мыслям. Эти мысли были похожи на те подвижные разноцветные полуслова, полуобразы, которые приходят к человеку утром, на границе между сном и пробуждением, и которые, пока не проснешься окончательно, кажутся такими тонкими, послушно-легкими и в то же время полными такой глубокой важности.

Никогда еще Кашинцев не испытывал такого удовольствия мечтать, как теперь, когда, разнеженный теплом и сытостью, он сидел, опираясь спиной о стену и вытянув вперед ноги. Большое значение имела в этом удовольствии какая-то неопределенная точка на рисунке пестрой занавески. Нужно было непременно отыскать ее глазами, остановиться на ней, и тогда мысли начинали сами собою течь ровно, свободно и ярко, не задерживаясь в голове, не оставляя следа и принося с собою какую-то тихую, щекочущую радость. И тогда все исчезало в голубоватом, колеблющемся тумане: и оббитые стены заезжей комнаты, и покосившиеся столы, и грязный прилавок. Оставалось только одно прекрасное лицо, которое Кашинцев видел и которое чувствовал, несмотря на то, что глядел не на него, а на ту же неопределенную, неизвестную ему самому точку.

«Удивительный, непостижимый еврейский народ! — думал Кашинцев. — Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг, сохранил свою мистическую азбуку, от самого начертания которой веет тысячелетней древностью! Что он перенес в дни своей юности? С кем торговал и заключал союзы, с кем воевал? Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалекитян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Его история вся проникнута трагическим ужасом и вся залита собственной кровью: столетние пленения, насилие, ненависть, рабство,

пытки, костры из человеческого мяса, изгнание, бесправие... Как мог он оставаться в живых? Или в самом деле у судьбы народов есть свои, непонятные нам, таинственные цели?.. Почем знать: может быть, какой-нибудь высшей силе было угодно, чтобы евреи, потеряв свою родину, играли роль вечной закваски в огромном мировом брожении?

Вот стоит эта женщина, на лице которой отражается божественная красота, внушающая священный восторг. Сколько тысячелетий ее народ должен был ни с кем не смешиваться, чтобы сохранить эти изумительные библейские черты. С тем же гладким платком на голове, с теми же глубокими глазами и скорбной складкой около губ рисуют матерь Иисуса Христа. Той же самой безукоризненной чистой прелестью сияли и мрачная Юдифь, и кроткая Руфь, и нежная Лия, и прекрасная Рахиль, и Агарь, и Сарра. Глядя на нее, веришь, чувствуешь и точно видишь, как этот народ идет в своей умопомрачительной генеалогии к Моисею, подымается к Аврааму и выше, еще выше — прямо до великого, грозного, мстительного библейского бога!

С кем я спорил недавно? — вдруг вспомнилось Кашинцеву. — Спорил об евреях. Кажется, с полковником генерального штаба в вагоне? Или, впрочем, нет: это было с городским врачом из Степани. Он говорил: евреи одряхлели, евреи потеряли национальность и родину, еврейский народ должен выродиться, так как в него не проникает ни одна капля свежей крови. Ему остается одно из двух: или слиться с другими народами, рассосаться в них, или погибнуть... Да, тогда я не находил возражений, но теперь я подвел бы его к этой женщине за прилавком и сказал бы: вот он, поглядите, вот залог бессмертия еврейского народа! Пусть Хацкель хил, жалок и болезнен, пусть вечная борьба с жизнью положила на его лицо жестокие следы плутовства, робости и недоверия: ведь он тысячи лет «крутился как-нибудь», задыхался в разных гетто. Но еврейская женщина стережет дух и тип расы, бережно несет сквозь ручьи крови, под гнетом насилия, священный огонь народного гения и

никогда не даст потушить его. Вот я гляжу на нее и чувствую, как за ней раскрывается черная бездна веков. Здесь чудо, здесь какая-то божественная тайна. О, что же я, вчерашний дикарь, а сегодняшний интеллигент, — что я значу в ее глазах, что я значу в сравнении с этой живой загадкой, может быть, самой необъяснимой и самой великой в истории человечества?»

Кашинцев вдруг очнулся. В заезде поднялась суета. Хацкель метался от окна к окну и, прикладывая ладони к вискам, старался что-то разглядеть в ночной темноте. Этля с отвращением и досадой дергала за ворот пьяного мужика, который то подымал, то опускал красное, бессмысленное, опухшее от сна лицо с набрякшими под глазами гулями, и дико хрипел.

— Трохиме, слухайте — ну! Трохи-им! Я ж вас прошу, встаньте! — нетерпеливо говорила еврейка, коверкая малорусский язык.

— Ша! Пристав! — закричал вдруг испуганным шепотом Хацкель. Он скоро-скоро зачмокал губами, с отчаянием затряс головой и, стремительно бросившись к двери, распахнул ее как раз в тот момент, когда в нее входил высокий полицейский чиновник, освобождавший на ходу свою голову из густого бараньего воротника шубы.

— Слушайте ж, Трохим. Вставайте! — воскликнула Этля трагическим шепотом.

Мужик поднял налившееся кровью лицо и, перекосив рот, заорал:

Ой, чи не мо-о-ожно б...

— Эт-то что т-такое! — крикнул пристав, грозно выкатывая глаза. Он с негодованием сбросил баранью шубу на руки подбежавшему Хацкелю и, выпятив грудь колесом, сделал несколько шагов вперед великолепной походкой оперного полководца.

Мужик поднялся, шатаясь и задевая руками, ногами и туловищем за стол. Что-то похожее на сознательный испуг мелькнуло на его сизом, оплывшем лице.

— Вашесоко... пане... пане коханый! — забормотал он, колеблясь беспомощно на месте.

— Вон! — загремел вдруг пристав таким страшным голосом, что нервный Кашинцев вздрогнул и съежился за своим столом. — Сейчас вон!

Мужик качнулся было вперед и расслабленно протянул руки, чтобы поймать и поцеловать начальственную десницу, но Хацкель уже тащил его, схватив сзади за ворот, к дверям.

— Ты!.. — закричал пристав, сердито сверкая глазами на Этлю. — Водкой торгуешь? Беспатентно? Конокрадов принимаешь? См-мот-три! Я т-тебя зак-катаю!

Женщина уродливо подняла кверху плечи, совсем склонила набок голову и с жалостным и покорным выражением закрыла глаза, точно ожидая удара сверху. Кашинцев почувствовал, что цепь его легких, приятных и важных мыслей внезапно разбилась и больше не восстановится, и ему стало неловко, стыдно перед самим собою за эти мысли.

— Нехай меня бог покарает, пане полковник! — клялась со страстной убедительностью Этля. — Дай мне бог ослепнуть и не видеть завтрашнего дня и моих собственных детей! Пан полковник сам знает, ну что я могу сделать, если к нам в заезд зайдет пьяный мужик? Мой муж больной человек, а я слабая, бедная женщина.

— Ну ладно! — сурово остановил ее пристав. — Будет.

В это мгновение он заметил Кашинцева и тотчас же, победоносно и строго закинув вверх голову, напружил грудь и размахнул рукой налево и направо свои прекрасные русые бакенбарды. Но вдруг на лице его показалась улыбка.

— Базиль Базилич! Старый крокодил! Какими попутными ветрами? — воскликнул он театрально радостным тоном. — Черт тебя знает, сколько времени не видались!.. Виноват, — круто остановился пристав у стола.— Я, кажется... обознался.

Он щегольски приложил ладонь к козырьку фуражки. Кашинцев, полупривстав, довольно неуклюже сделал то же самое.

— Простите великодушно... Принял вас за своего коллегу, почайновского пристава, — этакое фатальное совпадение. Еще раз — виноват... Впрочем, знаете, такое сходство формы, что-о... Во всяком случае, позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец — Ирисов, Павел Афиногеныч.

Кашинцев опять встал и назвал себя.

— Если уж все так необычайно вышло, то, позвольте, уж присяду к вам, — сказал Ирисов и опять ловко прикоснулся к козырьку и прищелкнул каблуками. — Очень, очень приятно познакомиться. Эй, Хацкель, принеси из моих саней кожаный ящик, он в ногах, под сиденьем. Извините, вы далеко изволите ехать, доктор?

— В Гусятин. Я только что назначен туда.

— А-а! В пехотный полк? Есть между офицерами претеплые ребята, хотя пьют, как лошади! Городишко па-ршивый, но по нашим местам в некотором роде, так сказать, резиденция. Значит, будем с вами встречаться? Оч-чень рад... А вы только что... ха-ха!.. были свидетелем отеческого внушения, которое я делал.

— Да... отчасти, — сказал, насильно улыбнувшись, Кашинцев.

— Что делать-с... Что делать... Такой уж у меня характер: люблю построжить... Я, знаете, не охотник до всяких кляуз и жалоб и тому подобной дребедени — у меня своя собственная расправа-с.

Пристав был представительный, как говорят провинциальные дамы, красивый, рослый мужчина, с растущими в стороны лихими скобелевскими баками и высоким, белым, безмятежным лбом. Глаза у него были прекрасного голубого цвета, со всегдашним выражением томной и какой-то неприличной, не мужской, капризной усталости; все лицо имело нежный, ровный, фарфорово-розовый оттенок, а малиновые, гибкие губы постоянно кокетливо шевелились и растягивались, точно два подвижных красных червяка. Видно было по всему, что пристав Ирисов — местный красавец, молодчинище и сердцеед, бывший кавалерист, вероятно, игрок и кутила, который в состоянии не спать трое суток подряд и никогда не бывает пьяным. Говорил он быстро и

отчетливо, делая преувеличенно внимательное лицо на слова собеседника, но, очевидно, слушая только самого себя.

— Я им всем отец, но отец строгий, — продолжал пристав, внушительно приподняв кверху указательный палец. — Поставь ящик на стол, Хацкель, вот так. Я строг, это действительно, я себе не позволю на шею сесть, как другие, но зато я знаю наизусть каждого из своих... хе-хе-хе... так сказать, подданных. Видали сейчас мужичонку? Это ореховский крестьянин Трофим, по-уличному Хвост. Вы думаете, я не знаю, что он конокрад? Знаю великолепно! Но до времени я молчу, а в одно прекрасное майское утро — чик!.. и Трофим Хвост изъят из употребления. Вот поглядите вы на этого самого Хацкеля. Не правда ли, пархатый жидишка? А я, поверьте, знаю, чем он, каналья, дышит. Что? Неверно я говорю, Хацкель?

— Ой, боже мой, разве ж пан полковник может говорить неправду! — выкрикнул Хацкель с подобострастной укоризной. — Мы все, сколько нас есть, бедных, несчастных еврейчиков, постоянно молимся богу за пана пристава. Мы так и говорим промеж себя: «Зачем нам родной отец, когда наш добрый, любимый господин пристав нам лучше всякого родного отца?..»

— Видали? — небрежно спросил пристав, указав через плечо большим пальцем на Хацкеля и значительно сощурив глаза. — Глас народа! Но вы не беспокойтесь, я их вот где держу. Что? Правду я сказал?

— Что я буду на это говорить? — Хацкель весь сжался, присел почти на корточки и протянул вперед руки, точно отталкивая от себя какое-то чудовищное, несправедливое обвинение. — Мы еще не успеем что-нибудь подумать, а уж господин пристав наперед все знает!

— Слыхали? — спросил коротко Ирисов. — Прошу, сказал Собакевич, — произнес он, указывая на раскрытый поставец. — Не прикажете ли жареной домашней утки? Шикарная утка!.. А это вот зубровка. Пирожки с рыбой, луком. Здесь ром. Нет, вы не сомневайтесь, настоящий ямайский ром и даже пахнет клопами... А это — вы только, пожалуйста, надо мной не смей-

тесь, — это шоколад. Так сказать, дамское развлечение. Рекомендую вам: в дороге — самое питательное средство. Это уж я узнал, так сказать, из печального опыта, по роду своей неблагодарной службы. Зимою, случается, во время метели в такое место тебя занесет, что торчишь двое суток и корки хлеба ни за какие деньги не допросишься. Но что я болтаю? Пожалуйста...

Кашинцев вежливо отказывался от угощения, но пристав проявил самую энергичную настойчивость. Пришлось выпить рюмку рома, от которого пахло чем угодно, только не ромом. Кашинцеву было грустно, и стеснительно, и тоскливо. Украдкой он взглядывал иногда на Этлю, которая шепотом оживленно разговаривала за прилавком со своим мужем. Фантастическое обаяние точно сошло с нее. Что-то жалкое, приниженное, ужасное своей будничной современностью чувствовалось теперь в ее лице, но оно все-таки было по-прежнему трогательно-прекрасно.

— А... а! Вот вы куда нацелились! — лукаво сказал вдруг пристав, прожевывая курицу и сочно шевеля своими гибкими, влажными губами. — Хорошенькая жидовочка. Что?

— Необыкновенно красива. Прелесть! — невольно вырвалось у Кашинцева.

— Н-д-а... Товар. Н-но!.. — Пристав развел руками, деланно вздохнул и закрыл на секунду глаза. — Но ничего не поделаешь. Пробовали. Нет никакой физической возможности. Нельзя... Хоть видит око... Да вот, позвольте, я его сейчас спрошу. Эй, Хацкель, кимѐр...

— Ради бога... Я вас прошу! — умоляюще протянул к нему руку Кашинцев и встал с лавки. — Я вас убедительно прошу.

— Э, пустяки... Хацкель.

В эту минуту отворилась дверь, и в нее вошел очередной ямщик с кнутом в руке и в шапке, в виде конфедератки, на голове.

— Кому из панов кони до Гусятина? — спросил ямщик.

Но, увидев пристава, он торопливо сдернул шапку и гаркнул по-военному:

— Здравием желаем вашему высокоблагородию!

— Здравствуй, Юрко! — снисходительно ответил Ирисов. — Эх, посидели бы еще немного, — с сожалением сказал он доктору. — В кои-то веки удастся поболтать с интеллигентным человеком!

— Простите, некогда, — говорил Кашинцев, поспешно застегиваясь. — Сами знаете, долг службы. Сколько с меня следует?

Он расплатился и, заранее вздрагивая при мысли о холоде, о ночи, об утомительной дороге, пошел к выходу. По наивной, сохранившейся у него с детства привычке загадывать по мелким приметам, он, берясь за скобку двери, подумал: «Если она поглядит на меня, то исполнится». Что должно было исполниться — он сам не знал, так же как не знал имени той скуки, усталости и чувства неопределенного разочарования, которые теперь его угнетали. Но еврейка не оглянулась. Она стояла, повернувшись к нему своим чудесным нежным профилем, ярко озаренная светом лампы, и что-то делала на прилавке, опустив вниз глаза.

— До свидания, — сказал Кашинцев, отворяя дверь.

Упругие облака пара ворвались с улицы, застлали прекрасное лицо и обдали доктора сухим холодом. У крыльца стояли, уныло понурив головы, почтовые лошади.

Миновали деревню, переехали по льду через речку, и опять потянулась длинная, тоскливая дорога с мертвыми белыми полями направо и налево. Кашинцев задремал. Тотчас же заговорили и запели странные, обманчивые звуки спереди и сзади саней и сбоку их. Залилась визгом и лаем собачья стая, зароптала человеческая толпа, зазвенел серебряный детский смех, залепетали, как безумные, бубенчики, выговаривая отчетливые слова. «Первое дело — строгость, строгость!» — крикнул голос пристава.

Кашинцев ударился локтем о бок саней и очнулся.

По обе стороны дороги бежали ему навстречу высокие темные стволы сосен, протянувших через дорогу, точно белые лапы, отягощенные снегом ветви. Между ними, далеко впереди, мерещились стройные тонкие колонны, каменные ограды и балконы, высокие, белые стены с черными готическими окнами, фантастические

линии какого-то спящего, заколдованного дворца. Но сани заворачивали по изгибу дороги, и призрачный дворец исчезал, обращаясь в темные ряды деревьев и в навесы из оснеженных веток.

«Где я? Куда я еду? — спросил себя Кашинцев с недоумением и испугом. — Что со мной только что было? Такое большое, радостное и важное?»

В его памяти с поразительной ясностью всплыло прелестное женское лицо, нежный очерк щек и подбородка, влажные, спокойно-страстные глаза, прекрасный изгиб цветущих губ... И вдруг вся его собственная жизнь, — и та, что прошла, и та, что еще лежала впереди, — представилась ему такой же печальной и одинокой, как эта ночная дорога, с ее скукой, холодом, пустотой и безлюдьем, с ее раздражающими сонными обманами.

Мимоходом властная красота чуждой незнакомой женщины осветила и согрела ему душу, наполнила ее счастием, чудными мыслями и сладкой тревогой, но уже пробежала, исчезла позади эта полоса жизни, и о ней осталось только одно воспоминание, как о скрывшемся вдали огоньке случайной станции. А впереди не видно другого огня; лошади бегут мерной рысью, и равнодушный ямщик — Время — безучастно дремлет на козлах.

С УЛИЦЫ

I

Да, совершенно верно. Это вы совершенно правильно определили, господин... извините, не имею высокой чести знать ваше имя, отчество... Главная причина, отчего я погиб и теперь так низко пресмыкаюсь, — это слабость моего характера. Так и присяжный поверенный объяснял на суде, когда меня судили. «Перед вами, господа присяжные заседатели, яркий пример физического и нравственного вырождения на почве наследственного алкоголизма, плохого питания, истощения и дурных болезней». Перед этим меня трое профессоров осматривали, и они то же самое сказали в один голос. Я тогда же эти слова занес себе в записную книжку. Потому что, должен признаться: я хоть и потерял облик и подобие интеллигентного человека, но люблю людей с образованием и уважаю науку.

Поглядев на меня, вы ведь, конечно, не скажете, что сей самый, сидящий перед вами субъект тоже в свое время стоял на хорошей дороге и мог сделать себе имя и карьеру. Но это поистине так. Выражусь символически. Тут есть на Пересыпи один трактирчик, под названием «Ягодка», с правом крепких напитков, самый — извините — вертеп. И в этом трактире висят за буфетом две картины, вроде как бы указание или напоминание, если кто еще в трезвом виде. На одной изображен некий оборванный мужчина, скажем, вроде меня; спит

в грязи под забором, и тут же рядом хрюкает свинья. И подписано: «Мог бы быть человек» с восклицательным знаком. А на другой картине написано: «Покупал за наличные, — покупал в кредит», и нарисованы два индивидуума. Один худой, обдерганный, штаны снизу собачки обкусали, схватил себя за голову, и глаза у него наружу вылезли — это который в кредит. А другой сидит к нему задом, этакий, знаете, толстый буржуй с бакенбардами, развалился с сигарой и смеется, а перед ним касса, и вся набита золотыми столбиками. Картины эти — лубочные, дешевка, и я сам по торговой части никогда не занимался, но внимания заслуживают. Потому что это вроде намека на мою собственную жизнь. Х-ха! Буфетчиком там Вукол Наумыч. Жестокий старик. Я ему раз говорю: «Ты бы, Вукол Наумов, заказал бы еще и третью картину нарисовать. Как будто бы этот общипанный схватил этого самого банкира одной рукой за манишку, а другой рукой нырнул в несгораемую кассу. А внизу подпись: «И что из этого вышло». Но, конечно, буфетчик шуток не понимает. Я ему сказал просто для аллегории, а он хотел городового кричать. Что как будто бы я его самого угрожал таким способом. Известно — хам.

Про третью картину, то есть это про мою фантазию, я вам, милостивый мой государь, не напрасно сделал пример. Потому что я сам однажды попробовал такой практикой заняться, и через это вычеркнут из списка жизни. Слава еще богу, что коронный суд, с участием присяжных заседателей, признал меня в состоянии невменяемости и отпустил на свободу. А то пришлось бы мне идти добывать «медь и злато» в местах столь отдаленных.

Если уж к этому подошло, то, позвольте, я лучше все по порядку. Вы меня извините, господин, но по вашей внешности и по разговору я всего скорее заключу, что вы, должно быть, сотрудник. Ну, что ж, может быть, моя автобиография пригодится вам для воскресного фельетона или для популярно-научной статьи. Я с удовольствием. Например, озаглавьте: «К вопросу о том, как некоторые личности бестолково устраивают свою жизнь». Или, еще лучше — просто: «Исповедь преступ-

ного типа». Можно, кстати, вас разорить еще на парочку? Только уж позвольте спросить обыкновенного, за восемь копеек. Оно по крайности без глицерину. Эй, псст! чижик!.. Пару пива. Чего ты смотришь, дурак, как козел на новые ворота? Это барин угощают. Не видишь, кому служишь, болван?

Не доверяет, холуй. Правда, я здесь как-то однажды большой тарарам наделал. Ну, кроме того, и экипировка моя. Знаете, как в «Гранд-Отеле» одна шансонетка поет:

Арри-ги-налиный мой костюм,
Блестящий мо-ой нарряд,
Тара-тара, тири-тири...

Слушаю-с, господин буфетчик. Виноват, сам знаю, в таком месте и вдруг — куплеты. Не буду больше, молчу. Да. Так вот. Вы меня извините, пожалуйста, господин. Если по-настоящему рассуждать, то я с вами и в одной комнате быть недостоин. Кто вы — и кто я! Но вы чувствуете сострадание к человеку, убитому судьбой, и даже не побрезговали посадить с собой рядом. Позвольте, я вам за это ручку поцелую. Ну, ну, ну, не буду... Не сердитесь, извините.

Да. Так вот. Давеча я вам назвался бывшим студентом, но это все неправда. Просто увидел, что вы — человек интеллигентный, и думаю: он всего скорее клюнет на студента. И стрельнул. Но вы обошлись со мной по-благородному, и потому я с вами буду совершенно откровенно... Был я в университете только один раз в жизни, и то на археологическом съезде, когда служил репортером в газете. Был, не утаю, сильно намочившись, и что там такое бормотали, ничего не понял. О каких-то каменных бабах какого-то периода...

Однако, позвольте вам заметить, я все-таки не без образования. Помилуйте, до сих пор помню: Алкивиад был богат и знатен, природа щедро наделила его умственными способностями... и там еще про собаку, как он ей отрубил хвост... исключения на is и все такое прочее...

Отец мой был обойщик и драпировщик, имел собственную мастерскую в Кудрине, в Москве. А мать я плохо помню. Помню только, что была она женщина

толстая и с одним глазом, а другим все как будто подмигивала кому-то. Помню еще, но это уж точно во сне, как ее при мне обнимал наш старший мастер Шикунов и говорил: «Ничего. Андрюшка маленький, он ничего не понимает, вот мы ему копейку дадим»... Пили они, должно быть, шибко, мой папаша с мамашей, — всегда от них вином пахло, — и лупили меня чем попало, как говорится: палкой, скалкой, трепалкой. Воспитанием моим неглижировали [1], и рос я, как сорная трава, на улице и на дворе. Настоящим же моим воспитателем был наш мальчик-подмастерье; его звали Юшка.

Должен я вам сказать, видал я в моей жизни множество самых разных фигур. Достаточно того одного, что сидел в тюрьме. Но вот, ей-богу, такого безобразника и бесстыдника, как он, я ни разу не встречал. Чему он нас, мальчишек, учил, что заставлял нас делать там, за каретным сараем, между дровами, я вам даже не смею сказать — совестно. Ей-богу. А ведь был он сам почти ребенок...

Это еще пустяки, что курили, пили водку, играли в орлянку и в карты — налево, направо — и что я таскал у отца потихоньку деньги. Отец и сам по праздникам, когда у нас бывали гости, забавлялся тем, что накачивал меня допьяна и заставлял плясать... С Юшкой хуже бывало. Одиннадцати лет узнал я женщину; это было опять-таки на задворках, под руководительством того же самого Юшки. Удивительно, право! Этот человек совсем исчез с моего горизонта, и я не знаю, где он: на каторге или его убили где-нибудь, как собаку... Но никто никогда не имел на меня такого адского влияния. Боялся я его до чрезвычайности. Поверите ли: даже теперь иногда вижу его во сне, будто он меня дубасит, и от страха просыпаюсь... За ваше здоровье! А вы сами? Нет? Ну, как изволите. Хорошо! Холодное.

Однако я тем временем подрос. Не знаю уж, какой чудотворец пропихнул меня в гимназию, в приготовительный класс. Думаю, что не обошлось здесь без барашка в бумажке, — сунули, должно быть, кому следует. Вот тут-то и началось хождение моей грешной

---

[1] Пренебрегали (от франц. négliger).

души по мытарствам. В три года я, кажется, во всех учебных заведениях перебывал, в классических и реальных. Где учителю жеваной бумаги в карман насовал, где попался пьяным на улице. В одном месте у товарища украл коллекцию перышек... е цетера е цетера [1], в том же роде.

Приду, бывало, домой — отец сразу по глазам видит. «Вышибли?» Я молчу. «Ах ты с... сын! Вот погоди, отдам я тебя в сапожники, тогда взвоешь. Ступай, принеси веревку».

Наконец больше поступать стало некуда. Осталась всего только одна частная гимназия Хацимовского. Может быть, слышали? Зам-меч-чательнейшее было, доложу вам, учреждение, одним словом — замок чудес и волшебств. Какой-нибудь купеческий оболтус до пятнадцати лет голубей гонял, папу-маму без ошибки написать не может, а, глядишь, от Хацимовского лет через пять вышел с аттестатом зрелости. Это правда: сидели там в последних классах очень зрелые мужики, годов по двадцати пяти, — бородатые, почтенные люди. Про одного такого эфиопа рассказывали, что он в гимназию вместе с сыном ходил. Сын в приготовительный, а он в седьмой. И обоим им дома делали на завтрак бутерброды.

Помещали туда больше купеческих сыновей и дворянчиков — все исключительно тех, которых отовсюду уже вышвырнули. Деньги брали за учение солидные. И было это заведение вроде зверинца: архаровцы, скандалисты, обломы; все как на подбор — самые развращенные мальчишки. На учителях верхом ездили. Ну, уж учителя у нас были. Та-акие гуси!..

У Хацимовского я окончательный лоск получил. Но и оттуда меня в скором времени — фить! За что? Да за разное. Длинная история. Началось это с того, что отобрал у меня надзиратель альбом этаких, знаете, карточек со стихотворными пояснениями моей собственной музы, ну и так далее... Что вспоминать! Пассон [2], как говорят французы.

---

[1] И так далее и так далее (от франц. et caetera).
[2] Переменим тему (от франц. passons).

Пришел я домой. Отец опять было за веревку, но увидел, что я сильнее его стал, и осекся, — стоп! Рассердился очень.

— Одна, — говорит, — тебе дорога осталась, орясина ты непутевая. Ступай в солдаты!

Поступил я вольноопределяющимся. Четыре года подряд держал экзамен в юнкерское училище, никак не мог одолеть бездны премудрости. Наконец надоела, должно быть, моя физиономия экзаменаторам, — пропустили. Да из училища в полк обратно отчисляли три раза за всякие художества. Из училища был выпущен подпрапорщиком, протрубил в этом кислом звании два года и был произведен в офицеры.

II

Ну, о том, что я в офицерских чинах выкомаривал, не буду распространяться. Подробности письмом. Скажу коротко: пил, буянил, писал векселя, танцевал кадриль в публичных домах, бил жидов, сидел на гауптвахте. Но одно скажу: вот вам честное мое благородное слово — в картах всегда бывал корректен. А выкинули меня все-таки из-за карт. Впрочем, настоящая-то причина была, пожалуй, и похуже. Эх, не следовало бы. Ну, да все едино — расскажу.

Была у меня в полку любовница, жена одного офицера. Знаете: глушь, скверный южный городишко, тоска, грязь — только и было у нас у всех развлечения: служба — солдат по мордасам щелкать, да водка, да еще карты, да еще эти самые романы. И так мы усердно романсовали, что все, как есть, приходились родственниками друг другу. И никто в этом не видел ничего особенного. Так все и знали: такой-то живет с такою-то, а ее мужа застали с такой-то, а с ней живет поручик Иванов, а раньше поручик Иванов жил... словом — маседуан.

Звали ее Марьей Николаевной. Была она тоненькая, хрупкая, лицо, как у печального ангела, — худенькое, нежненькое, ротик маленький, розовый, блондинка, глаза большущие, светлые, голубые. Образованная.

Кончила институт с медалью, играла наизусть господина Шопена, хорошей дворянской фамилии была и со средствами. Много у нас вокруг нее народу вертелось, как тетеревей на току, но — никому ничего. А я, знаете, подошел и взял ее наглостью, да еще так нечаянно вышло это, что я и сам не ожидал. Двое детей у нее было, две девочки.

Делал я на пасху визиты. Собственно говоря, визиты — это просто был предлог для сугубого пьянства. Наймешь на целый день фаэтон и жаришь из одного дома в другой. Приедешь куда-нибудь, а там целый стол выпивки и закуски: барашки эти самые из сливочного масла, мазурки, бабы с розанами, ветчина в бумажных завитках, терновки, зубровки, сливовица. Трах, трах, рюмок пять-шесть хлопнул, наврал-наврал и поехал к следующим знакомым. «Ах, что вы, мы ни с кем не целуемся!» — «Нет, па-азвольте-с, какие же вы, барышни, после этого христианки? Не-ет. Даже и в священном писании поется: друг друга обымем, рцем»... и так далее. Программа известная.

Приехал я к Марье Николаевне уже под вечер. Сижу — и ничего не соображаю, что ем, что пью, что болтаю. Муж ее, подполковник, рядом храпит в спальне, тоже с визитов вернулся. Время такое серенькое было, не то день, не то вечер, на дворе дождик, скука, часы стучат, разговор не клеится. Тоска на меня нашла. Стал я Марье Николаевне про свое детство рассказывать, про Юшку, про отца, про веревку, про то, как меня из гимназии гоняли. И заплакал. И ведь как человек бывает подл, послушайте. Сам плачу, сморкаюсь, слезы у меня и из глаз и из носу текут, трясусь весь, рассказываю красивой образованной даме самые грязные ужасы — уж, кажется, всю душу вывернул наизнанку! А ведь нет, — себя-то я все-таки в привлекательном виде выставил: что, мол, никем я не понятая, этакая возвышенная хреновина, вроде, что ли, Евгения Онегина; тяжелое детство, ожесточенная душа, ласки никогда не видел — чего я тут только не намотал. Гляжу, а она тоже плачет. Склонила, знаете, голову набок, руки на коленях сложила, глаза огромные стали, светлые, а слезы по щекам бегут быстро, быстро, быстро. Тут и подхва-

тило меня. Слышу я, что муж рядом храпит, кинулся к ней и точно первый любовник в театре: «О! неужели ты можешь плакать? О ко-ом? Обо мне? О, эти святые слезы! Чем я искуплю их?» И уже мну ее руками. Не сопротивлялась она, ни одного слова не сказала — отдалась мне, как овечка. И лицо у нее все мокрое от слез было.

Узнал я тогда, что это за штука — власть над человеком. Сделалась Марья Николаевна с того вечера моей рабой. В буквальном смысле. Что хотел — то с ней и делал. И она мне потом часто сама говорила: «Да, я знаю, что ты негодяй; ты — грязный человек, ты развратник, ты, кроме того, еще маленький-маленький, подленький человечишка, ты алкоголик, ты изменяешь мне с самыми низкими тварями; ты всякой мало-мальски себя уважающей женщине должен быть омерзителен и физически и нравственно... и все-таки я люблю тебя. Я твоя раба, твоя собственность, твоя вещь. Если ты убьешь кого-нибудь, ограбишь, изнасилуешь ребенка, — от тебя ведь всего можно ожидать, — я все-таки не перестану тебя любить всю мою жизнь. Ты — моя болезнь».

Подобные акафисты она мне нередко читала, а также писала в письмах, и я эти слова запомнил хорошо... И отчего это, скажите мне, — вот вы человек, видимо, образованный и начитанный, — отчего это так часто умные, милые, прекрасные женщины любят различных прохвостов? От противоположности, может быть? Ведь сколько, сколько я таких случаев видел в своей жизни. Вы думаете, она была какая-нибудь особенно страстная, Марья Николаевна? О, ничуть. Уступала всегда только моим настояниям, а то относилась ко мне, как мать. Не так, как моя родная мамашенька, которая меня произвела на свет, а по-настоящему: кротко, терпеливо, нежно, заботливо...

Да. Я говорил сейчас про власть, и, можете себе представить, стала мне Марья Николаевна до того противна, что и сказать нельзя. Измывался я над ней зверским образом: гнал ее от себя, когда приходила; назначал свидания и раз по пяти не являлся; письма ее — милые, ласковые, добрые письма — на диване, на полу

у меня по неделям валялись нераспечатанными. Деньги я тянул у нее постоянно, на кутеж, на игру, а то и на женщин брал. И, знаете, что я вам скажу? Философская мысль. Никакое зло на сем свете не пропадает. Если ты еще мальчишкой у жука крылья оторвал, то и это тебе зачтется и приложится. Господь бог нам всем, у себя наверху, двойную итальянскую бухгалтерию ведет: приход и расход — все у него разнесено по графам. Впрочем, по Дарвину, бога нет. Ну, тогда — судьба, это все равно. И я твердо уверен, что если меня впоследствии, ух, как здорово по затылку стукало, то это за нее, за Марью Николаевну. Оборвал я ей крылышки, погубил ее, затоптал, загрязнил ее душу, и все это делал без пощады, и ее самое ненавидел до дрожи, до бешенства!..

Раз собралась у меня холостая компания. Пили, играли, пели, потом опять пили и опять играли. Я профершпилился дотла. Посылал дважды денщика к Марье Николаевне за подкреплением и опять прогорал. Помню, во второй раз она мне прислала записку: «Дорогой мой, постарайтесь воздержаться от таких поступков, в которых завтра будете сами раскаиваться. И, что бы ни случилось, помните, что у вас есть друг, который все для вас готов сделать». Я это письмо в сенях, когда принимал от денщика деньги, разорвал на мелкие кусочки и швырнул на пол.

Поручик Парфененко забрал все деньги, какие у нас у всех были в сложности, и вдруг заболел животом и убежал домой, потому что не хотел на мелок играть. А мы опять пить. Шли уже вторые сутки, без просыпу. Вот мы разговорились о наших дамах. У той ноги длинные, это хорошо, но зато худые очень: в платье красиво, а разденешь — швах. У этой родинка на пояснице. У другой словечки есть такие особенные, излюбленные, в тайные минуточки-то. Третья вот так-то целуется. Одним словом, всех разобрали до последней жилочки. Что нам стесняться в родном отечестве? Вал-ляй!

Стали про мою спрашивать. А я в пьяном задоре и ляпни: да хотите, только свистну, и она, как собачка, сюда прибежит и все вам сама покажет? Усомнились.

Я сейчас же, моментально, с денщиком записку: «Так и так, дорогая Мари, приходите немедленно, иначе никогда меня больше не увидите. И чтобы вы не думали, что это шутка или праздная угроза, то, как только приедет ваш муж, в тот же день *все* ему открою»... и слово «все» три раза подчеркнул.

Что вы думаете? Прибежала. Бледная, запыхалась, еле на ногах держится. Вошла и стала в дверях, оперлась о косяк, губы синие, как у трупа, зубы стучат. «Здравствуйте, Андрей Михайлович! Шла мимо, вижу свет, думаю, не у вас ли муж? Боялась, как бы вы его в карты не засадили. Вы ведь такой совратитель». Словом, невесть что бормочет, точно в бреду; ведь всему полку известно, что муж ее поехал в округ принимать боевые патроны! Говорит и сама старается улыбаться, а глаза — огромные, синие — глядят на меня с ужасом. Ух, ненависть меня взяла на нее. «Раздевайся», — говорю. Сняла она тальму — руки так и ходят, точно у пьяницы. Поняла ведь она, поняла с первой же секунды, чего я от нее хочу. Сняла тальму. А я кричу: «Дальше раздевайся, снимай лиф, юбку долой!» Она и не моргнула даже, глаз от меня отвести не могла. Взялась за верхнюю пуговицу — расстегнула, стала вторую нащупывать, да сразу-то не найдет, пальцы прыгают. И ни слова, ни звука. Ну, тут товарищи вступились. Были они все пьяные, озверелые, красные, опухшие, но их эта пантомима уязвила. До того уязвила, что, когда она ушла, — мы глядим, — подпоручик Баканов в обмороке лежит. Был он совсем зеленый мальчик, застенчивый, вежливый такой, приличненький, хоть и пил крепко. Обещались они — и ей и мне — все сохранить в тайне, но где же удержаться. Сделалась история известна всему полку, и чаша моих злодеяний, выражаясь высоким штилем, переполнилась. Стали все на меня глядеть этаким басом, вижу — руку избегают подавать, а кто и подает, так глазами шнырит по бокам, точно виноватый. Открыто не решались мне ничего сказать, потому что жалели Марью Николаевну. Как-то *сразу* тогда догадались, что здесь не романец, не пустая связишка от скуки, а что-то нелепое, огромное, больное — какая-то не то психология, не то психиатрия. И мужа

ее жалели. Был он заслуженный шипкинский подполковник и пребывал и, кажется, до сих пор пребывает в сладком неведении.

И все ждали случая.

Как-то играли в собрании в ландскнехт. Игра — официально недозволенная в офицерском клубе, но на это смотрели — вот как! Подошел и я. Везло мне зверски в этот вечер, просто до глупости везло, но сердце у меня было какое-то тревожное, невеселое. И еще вот что странно: встретился я в передней с подпоручиком Бакановым, не поздоровались мы даже с ним, а только так, мельком взглянули друг на друга, но отчего-то сделалось мне вдруг как-то грустно и противно.

Обошел круг раз семь или восемь, наступила опять моя очередь держать банк. Положил я, как теперь помню, направо двойку бубен, налево короля пик и выметываю середину, раз, два, три, пять, девять, вижу — заметалась карта, и про себя твержу: «Заметалась — в пользу банкомета» — известное игрецкое суеверие. Наконец — хлоп! — выбрасываю двойку. Моя! Но — ведь какая судьба! — обмишулился: выпало сразу две карты. И вдруг слышу сзади: «Вы, подпоручик, кроме того, что негодяй, еще и шулер!» Я обернулся, а Баканов как швырнет мне целой колодой в лицо. И кто-то еще рядом по щеке ударил, и еще, и еще, — со всех сторон! Я кричу: «Господа, позвольте же! Что такое? Это недоразумение!» А мне кричат: «Вон из собрания! Выгнать его! Выбросить в окно! Шулер! Завтра же вон из полка!»

Вы понимаете: они не хотели Марью Николаевну скандалить перед всем обществом, и вот и придрались к случаю. Через два дня суд общества офицеров предложил мне подать прошение об увольнении в запас. Так и выкинули из полка, точно шелудивую собачонку... И поделом. Что ж... я справедлив: сам знаю, что заслужил. Ну... да, ничего... пассон! Еще пива? Благодарю, я не откажусь. Ву зет тре земабль [1]. Только мне как-то неловко все одному да одному...

---

[1] Вы очень любезны *(франц.)*.

III

Чем я был потом? Вы спросите лучше, чем я не был. Та-акая пошла со мной кувырколегия! Был я десятником при устройстве канализации, был кочегаром в Азовском пароходстве, чертежником, коммивояжером, учеником у зубного врача, таскал кули на пристани вот в этом самом городе, наборщиком служил в типо-литографии. Между прочим, в то время, когда был наборщиком, женился. По-дурацки это как-то произошло. Да, все равно, через полтора года я ушел и жену бросил с мальчишкой. Занятный был у нас ребятенок — ах, какая прелесть! Да я и вообще-то детей до безумия люблю! — детей и животных. И не было у нас при прощании ничего: ни ссоры, ни драки, ни измены. А просто меня в одно прекрасное майское утро потянуло в бега. Была, кроме того, у меня еще и другая мысль, что без меня еще жена как-нибудь устроится, а со мной все равно ей надо пропадать. И потому, «не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывши пол-лица», сунул я паспорт в боковой карман и фур-фур в другой город.

Был я потом певчим, служил в оперетке в хоре; послужил также и в драматической труппе, амплуа мое было — простак и второй комик с пением. Послушником прожил в монастыре около года. Господи, всего и не упомнишь!

Из монастыря меня ловко турнули — в один момент. Был я приставлен служкой в монастырскую гостиницу. Ничего, весело жилось. Из кружечного сбора причиталось десять целковых в месяц, на всем готовом, да еще кое-какие доходишки были посторонние. Выпивали мы изрядно, и насчет прочего... Вообще — занятно. Лукавый-то, он всегда около святых мест бродит... Искушение! Летом к нам, к престолу, до тысячи баб стекалось, крестьянки больше, мещаночки, купчихи, мелкие помещицы, — всякие: и молодые и старые. Поразительно: нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление... А попросили меня из святого места вот почему:

Висели у нас по стенам в гостинице этакие печатные листы: не молитвы, а так... стихотворное упражнение некоего отца Павсикакия. Озаглавлено было так: «Духовная борьба против невидимого врага». Я и теперь помню кусочками: «Брате, затворяй с молитвою дверь, дабы не ворвался душевредный зверь... Разинет он греха огнепылающую пасть, а ты не медли кресты и поклоны класть... Тщится он ужалить тебя лености хвостом, а ты отгоняй его сокрушеньем и постом... Против его любострастья батарей — траншею воздержанья возводи скорей... Будет он пускать в тебя зависти картечь, но щитом тебе да послужит спасительная речь...» И так далее, с гранатами и с бомбами, с патронами и пулями... А я как-то с одним гостиничным монашком, Прохором, урезал муху да взял карандашом кое-где сверху строк и написал свои собственные рифмочки, вроде тех, извините, которые в известных уединенных местах пишутся на стенках. И совсем забыл об этом обстоятельстве.

А тут вдруг назначили к нам нового преосвященного. Приехал владыка в монастырь, все осмотрел, все благословил, остался очень доволен порядком. Наконец шествует в гостиницу, видный такой пастырь, осанистый, бородатый — не архиерей, а конфета! За ним отец игумен, отец казначей, отец эконом, иеромонахи, вся соборная братия. И мы, гостиничные служки, жмемся вдоль стен и, аки некие безгласные тени, благоговейно трепещем.

Владыка вдруг спрашивает: «А это у вас что такое на стенах?» — «А это, — говорит эконом, — у нас развешано для поучения темного народа... как бы в стихотворной форме». Подошел преосвященный, поглядел с минутку, потом повернулся к братии, весь красный от гнева. «Чей же грязный карандаш написал эти гнусности?» Обвел нас всех очами. Прозорливый был архипастырь: увидел, что на Прохоре лица нет, и тотчас в него перстом. «Ты!» Прохор — бац в ноги! «Прости, преосвященный владыка, был лишь свидетелем сего и по слабости не остановил. Писал послушник Андрей». Тогда владыка ко мне. «Если, говорит, в яблоке завелся червь, то вырезают сердцевину и отметают, дабы не

погиб весь плод. Завтра же убрать этого писателя из монастыря. Пусть упражняет свое скверное воображение в уличных газетках».

И — что вы думаете — истинный провидец оказался владыка! Не прошло и трех месяцев, как по воле судьбы я действительно примазался к одной газетке — сначала корректором, а потом репортером.

Воздух там был легкий и веселый, ни грамоты, ни таланта не требовалось, дела делались больше по кабачкам, по кофейням, народ кругом тебя всё — аховый, тертый. Любо! Но и тут я сорвался. Такая моя участь.

Пропитывались мы все, по малости, разными вспомогательными путями. Например, в загородных садах, в кафешантанах около буфета. Упомянешь в десяти строках, что вот, мол, вчера мы видели вновь ангажированную неутомимым хозяином «Гвадалквивира» мексиканскую этуаль[1] Пузу-Лаперузу, являющуюся несравненной исполнительницей... ну и... кредит. Фельетонисты рекламировали, как будто мимоходом, гастрономические магазины, романисты водили своих героев в известные рестораны и так далее. Кормились мы также вокруг мировых судей. Привлекают булочника за то, что у него мастера спят на кадках, трактирщика тянут за грязь, бакалейщика — за сахарин, но больше всего булочников и кондитеров. А я сижу в камере на видном месте и нет-нет черкну что-нибудь в записную книжку. Ну, кому же лестно попасть в газетную хронику? А глазом-то я все-таки кошу вбок: вижу — мой булочник не уходит, хоть его дело давно и кончилось, и все на меня с беспокойством поглядывает. Выжду я минут с десяток и совершенно неглиже[2], как будто у себя дома, выхожу из камеры. Он за мной. На улице этаким сдобным голоском спрашивает: «А позвольте узнать, вы не репóртер?» Я на него барбосом: «Репортер. А вам что?» — «Да так-с... хе-хе-хе-с!.. Вот и мое тоже сейчас дельце разбиралось, может быть, слышали?» — «Слыхал». — «И записали?» — «Записал-с». — «Эх, дела-то какие! А ведь совершенно понапрасну меня запротоко-

---

[1] Звезду (от франц. étoile).
[2] Небрежно (*искаж. франц.* négligemment).

лили... У нас, видите ли, околоточный... Да, позвольте, что же мы на улице стоим? Не угодно ли вам зайти со мной на минуточку... Здесь рядом есть ресторанчик... я бы вам все по порядку... Знаете, и время теперь такое, что на рюмку позывает. А тут замечательно готовят фляки по-польски. Право, не завернем ли?» Я моментально на себя строгость напускаю. «Да, пож-жалуй, я бы и сам, собственно говоря, не прочь, но только вперед уговор: платить пополам. У нас в редакции насчет разных угощений ни-ни!» Ну, конечно, уходишь из кабачка и сыт, и пьян, и четвертной билет в кармане.

Но, повторяю, сорвался; сорвался потому, что кус не по себе заглотил. Был у нас в газете некий фрукт, вел он городскую хронику и писал воскресный фельетон. Прямо вам скажу — лев был, а не человек! Посудите сами, много ли на думе наколотишь да на двух тысячах строк фельетона? Ну, скажем, двести, триста рублей. А он лихача помесячно держал, обедал в «Бельвю» и у Бьянки, имел содержанку-француженку, одевался — как царь Соломон во всей славе своей. Пил одно шампанское — так прямо к супу ему и подавали флакон. Словом, рвач был.

Вот он однажды в редакции отзывает меня в угол. Таинственно. «Слушайте, говорит, есть дело. Можно обоим заработать тысячу. Хотите?» — «Ну, как не хотеть!» — «Хорошо, так вот вам готовые цифры. Поедете к Дехтяренке. Знаете?» — «Знаю». — «Через две недели он объявит себя несостоятельным, но теперь для него страшно важно, чтобы никто не знал, в каком у него состоянии дело. А мне по некоторым причинам самому неловко. Понимаете?» И дал мне самую подробную инструкцию.

Приехал я к Дехтяренке. «Принимают?» — «Принимают». — «Передайте карточку». А на карточке у меня: сотрудник такой-то газеты, корреспондент такого-то столичного листка, ли-те-ра-тор и сверху еще, на страх врагам, дворянская корона! Выходит. «Имею честь с господином Дехтяренко?» — «Эге ж, я самый, що треба?» — «А вот, видите ли, собираюсь я написать целый ряд популярно-экономических статей по вопросам южной промышленности. Конечно, одно из самых

крупных мест будет отведено вашей фирме, широкий район которой...», словом — воз комплиментов. Он ничего, слушает, молчит, здоровенный этакий хохлище, сивый, усатый, глазки маленькие, жуликоватые. «Все это так, говорит, а только какое же мое тут дело?» — «А вот, говорю, собрал я кое-какие цифровые данные, вот в этой самой книжечке, и приехал для верности, на всякий случай: может быть, вы, достоуважаемый Тарас Кирилыч, что-нибудь до-ба-ви-те?» Засмеялся хохол, взял книжечку, ушел. Через минуту появляется. «Нет, говорит, тут ловко состряпано. Кое-что я, впрочем, до-ба-вил... Но печатать вы все-таки подождите трошки. Может быть, я через неделю вам другие цифры сообщу. До свидания».

Вышел я на подъезд, поглядел, — пять радужных. Мало. Тут, знаете, этот самый монастырский душевредный зверь и выстрелил в меня бомбой жадности. Приехал в редакцию — маг и волшебник меня ждет. «Ну, что?» — «Да ровно ничего, говорю, выслушал меня, посмотрел в книжку и вернул обратно: «Это, говорит, меня не касается». — «Слушайте, крокодил, вы не врете?» — «Ей-богу, как честный человек!..» — «Ага, говорит, когда так... хорошо же. Я ему пропишу ижицу». На другой день закатил статьищу. Да ведь как ловко, шельма, сделал-то, ни фамилии не назвал, ни имени, а каждому младенцу ясно, что Дехтяренко в трубу летит. Ну, тут плохая штука вышла. Дехтяренко, как прочитал номер, взъерепенился и сейчас же к губернатору; губернатор редактора к себе вызвал, и в тот же вечер меня, раба божьего, из редакции — кишь на улицу, к чертовой матери.

IV

Два года после этого я существовал, но чем? — ей-богу, до сих пор не знаю. Не платил за квартиру, — это само собой, — должал по кабачкам, бегал в ломбарды. А главное, жил займами. Знакомых пропасть было в городе, еще по газетному делу. Тут я глубоко постиг изречение: острить и занимать деньги надо внезапно. Встретишься с кем-нибудь на бульваре, поговоришь-

поговоришь, а потом вдруг с этаким небрежным видом: «Ах, кстати, нет ли у вас до завтрашнего дня рубля или двух?» Рубль — такие деньги, что ведь совестно не одолжить. И так, ничего не делая, умудрялся я не только не умереть с голоду, но еще каждый день к вечеру бывал в легком подпитии.

Изредка перепадала кое-какая работишка. Один профессор как-то пожалел меня, поручил мне привести в порядок его библиотеку и составить каталог. Славный был старикан, весь серебряный, красивый такой и доброты неописуемой. Месяцев семь я у него устраивал библиотеку, а как вздумал он однажды ее проверить, — так и ахнул, бедняга. Заплакал даже. «Хоть скажите мне, говорит, ради бога, кому продавали? Я втрое, вчетверо дороже отдам, это ведь все редкости, единственные экземпляры!» Жалко мне его стало ужасно, сам я прослезился, только где же упомнить? Продавал все больше на толкучке из рук в руки. А то на вес.

Женщины меня тоже поддерживали. И вот судьба моя какая проклятая: все мне попадались бабы самые душевные, самые кроткие — даже между кухарками, торговками, номерантками, даже между обыкновенными панельными девицами. Почему уж это так выходило — черт их знает! Я не знаю...

Но все-таки жить приходилось со всячинкой. Узнал я ход в ночлежки. Раз ночевал я во Флоровском монастыре (вообще мне пришлось довольно-таки много потереться около разных богоспасаемых мест). Это хоть и женский монастырь, но есть там спальные учреждения для особ того и другого пола, в отдельности. Дворянское отделение стоит гривенник. Мы эту странноприимицу называли, по имени монастыря, отель Флорида, а иначе — гостиница Флоренция. Пришел я поздно, сильно дрызнувши. Там, знаете, этакая длинная стеклянная галерея, и направо все каморки, на четыре человека каждая. Мне показали свободную койку, я и лег.

Рано утром дворник всех будит, по положению. Я не выспался, голова трещит с похмелья, зол — как сто дьяблов. Смотрю, напротив меня копошится молодой человек, острижен ежиком бородка а-ля Анри

Катр [1], но белье на нем, с позволения сказать, заношено до последнего градуса. Я гляжу с неудовольствием, что будет дальше? Начинает молодой человек чистить сапоги. Чистил-чистил, кряхтел-кряхтел, наконец кончил: в сапоги хоть смотрись; потом принимается так же рачительно чистить пиджачок, жилеточку; потом вдруг вынимает из-под матраца панталоны; оказывается, он на них всю ночь спал. Я спрашиваю: «Это вы что же, юноша, для сохранности? Чтобы не украли?» Он смеется. «Нет, это я для того, чтобы фасон не терялся, лучше будут сидеть». Я говорю: «Не все ли равно, как, в нашем с вами положении, сидят панталоны? Была бы только чистая совесть и рюмка водки». А он смеется и спрашивает: «Что такое совесть? Ее едят?» Понравился он мне, вижу — человек не скучный, предлагаю ему спорхнуть вместе в трактирчик. «Я, говорит, вообще-то приемлю и даже очень, но по утрам боюсь, будет пахнуть, а мне на дело идти». — «Э, пустяки, возьмите чаю, пожуйте, и все пройдет». Стал он колебаться: «Разве что, в самом деле, чаю?» А сам тем временем оделся: манишку бумажную с гвоздя снял, воротничок чистенький, галстук черный с синими звездами, — смотрю, ах ты, черт! — прямо член парижского жокей-клуба из журнала мод, и даже на панталонах спереди складки. Я говорю: «Вот так превращение!» А он только улыбается: «Нам иначе нельзя».

Слово за слово, закатились мы с ним в один кабачок, в другой, в бильярдную... Наконец вижу — иссякли наши фонды окончательно, и расплатиться нам нечем. Тогда он спрашивает, который час. «Четыре? Подождите меня с четверть часа». Шапку с дворянским околышком на голову и в дверь. Повесил я нос на квинту и говорю самому себе: «Ну, старый дружище, теперь центр тяжести перенесен на тебя. Очевидно, дело без участка не обойдется. Ловкий, однако, пассаж устроил юноша». Но тем не менее жду. Спросил газету. Проходит четверть часа, и двадцать минут, и полчаса, и больше... Я уж успел даже все объявления перечитать: сбежал черный пудель, ищут репетитора... Признаюсь,

---

[1] Под Генриха Четвертого *(франц.)*.

упал духом. Лакей ходит мимо меня с самым наглым видом. Подойдет к столу и давай салфеткой у меня под носом скатерть обмахивать и посуду без нужды переставлять. Что делать? Набрал я уж было воздуху, чтобы счет спросить, как вдруг вбегает мой молодой человек. «Что? Заждались небось?» — «Н-да-а, признаться...» — «Ну, это пустяки. Человек, сколько следует?» — «Два двадцать». — «Дай еще бутылку красного вина и получи». Бряк — золотой на стол.

Сдружились мы с ним за этот день, а вечером он мне во всем открылся. «Дело мое, говорит, очень простое, хотя и не такое легкое, как кажется спервоначалу. Я — стреляю». — «То есть как это стреляете? Просите на бедность?» — «Н-нет, не совсем так. Просят на бедность на улице личности небритые, с сизыми носами и в рубище; для таких двугривенный — богатство Шехеразады. А вы сами посудите, кто же мне рискнет предложить двугривенный, если у меня форменная фуражка, чистенький костюмчик и вдобавок хорошая дворянская фамилия? Являюсь я прямо на дом, приказываю о себе доложить, представляюсь, как равный, за ручку. «Прошу извинить меня за беспокойство, временно нахожусь в стесненных обстоятельствах, со дня на день ожидаю получения места...» и прочее и прочее... Как у него хватит духу дать мне меньше рубля? Ни в жизнь не хватит».

Понравилось мне все, что он рассказывал. Попробовал и я на другой день эту тактику. Страшно было сначала, но ничего, понемногу обтерпелся, привык и стал стрелять почем зря. Если бы не заболел, так бы и не отстал от этой жизни. Оно — и унизительно и опасно, но занимательно и всегда деньги в кармане — большие, легкие деньги.

Рассчитываешь всегда на психологию. Являюсь я, например, к инженеру — сейчас бью на техника по строительной части: высокие сапоги, из кармана торчит деревянный складной аршин; с купцом я — бывший приказчик; с покровителем искусства — актер; с издателем — литератор; среди офицеров мне, как бывшему офицеру, устраивают складчину. Энциклопедия!.. Лавируешь и скользишь, как змея, каждую минуту начеку,

весь внимание: не сорваться, не переборщить, не впасть в нищенский тон. Все время смотришь ему в глаза, нет, и не в глаза, а в переносицу — так по крайней мере и сам неловкости не испытываешь, и ему кажется, что это у тебя такой прямой и честный взгляд бедного труженика, преследуемого судьбой. Главное — жди, пока он не сконфузится: за тебя, или за себя ему станет стыдно, или за свой роскошный кабинет. Самого твердого человека можно в конце концов так застыдить, что он глазами забегает и начнет рукой в кармане нащупывать портмоне. Тут сейчас же нажми педаль, тут уж не бойся перестараться. Все равно он тебе в душе не верит и гадок ты ему до последней степени, но уж не дать он не посмеет, не решится. Здесь — психология.

Правда, бывали обратные случаи. Стрелял я однажды у члена какого-то не то Славянского, не то Балканского общества в Одессе. Нет, позвольте, не Славянского общества, а — я потом узнал — он сам какое-то общество затевал. Был он, кажется, чех или хорват, или что-то в этом роде. Общество же его было такое: чтобы собирались в известные дни, по праздникам, дети и взрослые — по преимуществу из простого народа — в большое помещение и, между прочим, чтобы никому запрету не было: и студент, и офицер, и гимназистка может прийти. Нужно также высшее начальство заинтересовать, — хорошо, если губернатор посетит, архиерей, полицеймейстер; словом, идиллия под сенью древес. И чтобы все в этом обществе, под управлением этого самого далмата, пели бы песни — исключительно патриотические и духовно-нравственные. Ох, сильно я подозреваю, что все это духовно-певческое общество было не что иное, как та же стрельба, только в более широком масштабе. По крайней мере известно мне наверное, что писал он постоянно письма разным высокопоставленным особам и все клянчил пособия на поддержку патриотической идеи.

Размахнулся я к нему. Ба-альшой, рослый барин, борода по грудь, лицо этакое открытое, благожелательное, лоб лысый. «Вы — председатель этого прекрасного, симпатичного общества?» — «Как же, я, я, я! Весь

к вашим услугам». И обеими руками жмет мою руку. Начал я ему петь; пел-пел, а он все ласковее становится и головой в такт качает, точно фарфоровый слон. Наконец говорит: «Все это прекрасно; я, конечно, готов, чем могу, но мне, простите, надо быть уверенным, то ли вы именно лицо, каким рекомендуетесь. Позвольте посмотреть ваш паспорт». Кольнуло меня что-то в сердце, но по неопытности и легкомыслию вынимаю из бокового кармана вид, — в стрелковом деле его всегда надо при себе носить, — подаю ему. Он моментально паспорт в стол, дринь! — ящик на ключ и пальцем в электрический звонок. «Даша! Сходите, позовите сейчас же полицию!» Стал я его молить, на колени становился, руки его волосатые целовал — куда тебе! Заговорил я было с ним потверже, а он преспокойно вынул из другого ящика револьвер и положил перед собой. «Попробуйте», — говорит. Энергический мужчина. Пришлось мне тогда отсидеть два месяца за профессиональное прошение милостыни.

Но это был случай единственный. О других подобных я даже и не слыхал никогда. Потому что, — говорю это, как перед богом, положа руку на сердце, — потому что люди, если только их брать не гуртом, а по отдельности, большею частью хорошие, добрые, славные люди, отзывчивые к бедности. Правда, помогают они чаще не тем, кому следует. Ну, что ж поделаешь: наглость всегда правдоподобнее нужды. Чему вы смеетесь? За ваше здоровье!..

Потом, еще чем эта жизнь была приятна, так это свободой. Надоело в одном городе — стрельнул на дорогу, иногда даже билет второго класса выудишь, уложил чемодан, — айда в другой, в третий, в столицу, в уезд, по помещикам, в Крым, на Волгу, на Кавказ. Денег всегда масса, — иногда я по двадцати пяти рублей в день зарабатывал, — пьешь, женщин меняешь, сколько хочешь — раздолье!

Правда, приходилось временами поджимать живот. Бывало, приедешь в город, где все адреса испорчены: или слишком много стрелков съехалось, или некоторые пьяные являлись, или кто-нибудь влопался в полицию и попал в газеты, и — стоп! — не везет совсем. Жмешь-

ся, жмешься, из гостиницы в ночлежку переедешь, одежду лишнюю спустишь, белье... Тогда уж приходилось не брезговать на улице палить. Тут, я вам скажу, выработался шаблон. Надо стрелять быстро, чтобы не надоесть, не задержать, да и фараоновых мышей опасаешься, поэтому и стараешься совместить все сразу: и кротость, и убедительность, и цветы красноречия. Бьешь на актера, например: «Милостивый государь, минуту внимания! Драматический актер — в роли нищего! Контраст поистине ужасный! Злая ирония судьбы! Не одолжите ли несколько сантимов на обед?» Студенту говорю так: «Коллега! Помогите бывшему рабочему, административно лишенному столицы. Три дня во рту маковой росинки не было!» Если идет веселая компания в подпитии, вали на оригинальность: «Господа, вы срываете розы жизни, мне же достаются тернии. Вы сыты, я — голоден. Вы пьете лафит и сотерн, а моя душа жаждет казенной водки. Помогите на сооружение полдиковинки бывшему профессору белой и черной магии, а ныне кавалеру зеленого змия!» Ничего... засмеются и дадут. Часто больше, чем ждешь!

Какие козыри между нами были! Один, например, по фамилии Заблонский: высокого роста, красавец, усы и бороду брил, лицо полное, нос орлиный — ну, точка в точку первый любовник со столичной сцены! Тот тысячи четыре в год наколачивал. И не пил, с женщинами не путался. Была у него слабость — шикарно одеваться. Сюртук всегда самый модный, фрак — на всякий случай, коричневые перчатки, костюмчик цвета этакого электрик, трость с серебряным набалдашником, пальто сезонное балахоном. Гордился: «Я с пятнадцати лет своим родным ни копейки не стою». Удивительно, как он знал географию России! Бывало, назовешь ему для шутки какой-нибудь дрянненький уездный городишко, а он — моментально: «Стоит на реке Вихляди; вальцовая мельница, мукомол — светлая личность; председатель земской управы — такой-то, дает, но скупо; исправник свирепый, предводитель дворянства, когда трезв — гонит, пьяный — даст, сколько просишь». И так все подробности.

Чудной народишка! Были между нами такие, которые сами не стреляли, а только указывали адреса, служили вроде справочных книжек. Тот всегда выходит вместе с тобой на дело; идет по улице и вдруг начинает в нос бормотать, таинственно: «Направо каменный особняк, Шпехт Арнольд Карлович, архитектор; непременно *лично;* будет сначала ругать скверными словами; не смущайся, уговаривай его, как верблюда; пятерка». Или: «Аристархов, Павел Павлович; дома не дает, надо ловить в земельном банке, от трех до пяти; не терпит длинных разговоров», «Гирчич, пароходчик, мимо; избитое место, ни одного пенса», «Маргарита Францевна Паули; прекрасная женщина; к ней надо письменно, отличным почерком и книжным языком; любит хорошую литературу». И так далее. Понятно, такому путеводителю полагается половина или треть, смотря по условию.

Были и такие, которые только писали письма для слабых в грамоте. Тут опять шаблон: «Премного всеми уважаемая, милостивая государыня! Ваше великодушное сердце и сострадательность к ближним, обездоленным судьбой, дают мне смелость» и прочее и прочее. Таких писем с собой носят на всякий случай пять или шесть, без имени, кому попадется. Иные при письме влагают свой паспорт и потом приходят за ним.

Были старички, которые в двух-трех местах получали ежемесячно пенсию и этим жили. Для такого старца главное — благообразная наружность, украшенная сединами. Да у них какие и потребности! Чай, табак, рюмка водки, газета — и больше ничего.

Был еще, помню, некто Богоявленский, из семинаристов; умнейшая, золотая голова, но на вид — чистый сапожник и притом косой. Тот, бывало, сидит целый день у себя в номере, в одном белье, и пьет и пишет письма. А около него всегда несколько человек ютятся для рассылки. Ах, как он писал! Прежде всего почерк — круглый, черный, — писал он тушью, — красоты неописанной и четкий, как самая крупная печать. А потом — слог. Делал он письмами чудеса. Известно, например, что духовную особу нет никакой возможности растрогать — это уж факт! Кремни. Мы их всегда избе-

гали. А он закатит какому-нибудь архипастырю страниц восемь, да с текстами разными, да и тексты-то подбирал не такие, что «рука дающего не оскудеет», или «просите, и дастся вам», а, например, из «Премудростей сына Сирахова», из пророка Варуха, да еще в скобках обозначит: глава такая-то, стих такой-то. Блестящие писал письма и отказа не знал никогда.

Нет, денег никто не копил, все проживалось. Женщины — те иногда откладывали на сберегательные книжки, но и то до первого любовного увлечения. У женщин манера известная — стрелять на швейную машину. Помогают им иногда довольно крупно, но если хорошенькая — редко задаром.

Если хотите, пожалуй, и интересно. Но только сначала, а потом... Уж очень народ они сволочь, эти стрелки, хуже арестантов. У тех по крайней мере есть хоть какое-нибудь товарищество, дерзость, удаль есть. У этих — ничего. За рубль продадут и выдадут друг друга, напакостят, донесут, насплетничают. Завистники, лгуны, трусишки, жадные. Да и вообще я вам скажу: сколько я шатущего народа ни видал, нет хуже, как те, которые из образованных свихнулись: все эти корнеты отставные, пропившиеся студенты или вот еще — актеры. Мразь! До сладенького куска охочи, а работу ненавидят всеми фибрами души. Что ж, я ведь и о себе здесь говорю, я правду говорю. Эх, не то что настоящие бродяжки, по призванию. Тот лежит на солнце кверху пузом, и ничего ему не надо. Лопает воблу, черный хлеб с арбузом. Отлежался — пошел на пристань хребет ломать. Ему что: ничего он не боится, никого не уважает, никому не кланяется. И, надо признаться, глядели они на нас, стрелков по профессии, как на гадов. Да что! Воришки мелкие, марвихеры, и те нас презирали. Тоже ведь и с ними приходилось в ночлежках встречаться.

V

Ну-с, попал я таким стрелковым порядком в Крым. Крым, знаете, да и вообще юг — это настоящее гнездо всех шатунов и аферистов; кто раз побывал там, того

уж непременно опять туда потянет. Тепло, море, горы, красота, деньги кругом шалые. Оттого там всегда так и кишит бездельный народ.

Застрял и я. С одной стороны, с бабой связался, а кроме того, стала у меня идти кровь горлом. Вот я там и пустил корни.

Сначала везло мне, но вдруг оборвалось. Наступила зима, холодно, а я совсем ослаб, ночью потею, днем трясет меня, начну кашлять — чуть с ног не валюсь. Беда! Главное — сезон кончился, золотые овцы уехали в Москву, в Петербург, осталась только одна болящая голь. А местным жителям, аборигенам, так сказать, моя личность до тошноты примелькалась. Встречают сухо: «Позвольте-с, это опять вы? В четвертый раз? Извините, я не Вандербильт, чтобы всех содержать на субсидии. До свидания-с». Или иное что-нибудь в этом духе.

Женщина меня бросила. Красивая она была, бестия, горячая, злая, нетерпеливая, алчная, — одна такая мне за всю жизнь и попалась. Жить любила широко. Полька. Ее звали Зося. Напоследок оскандалила меня на улице, — рассердилась, что я ничего не достал. «Ты! — кричит, — стрелок несчастный, гадина острожная, дохлая падаль!» Ушла и домой не вернулась.

Потерял я голову. Кое-как, по милости одного капитана, перебрался пароходом из Крыма сюда. Здесь пошло еще хуже, просто шабаш! Зима суровая, хожу в летнем пальтишке, сапоги дырявые, от кашля корчусь в три погибели. А ветер с моря зажаривает — ух! — так и шатает во все стороны. Как я жив тогда остался — удивляюсь! И хуже всего — всякую смелость потерял. Прошу — голос срывается, слезы душат. И тут-то я узнал, что на истинную, заправдашную нужду трудно найти сожаление. Настоящее горе всегда почему-то ненатуральным выходит. «Ты пьян, мерзавец, от тебя несет, как из погреба, ступай проспись». А я не то что пил — не ел со вчерашнего дня.

Пошел я к доктору. Нарочно со злобы выбрал самого дорогого. И что вы думаете? — оказался распрекраснейшим человеком. Не говорю уже, что лечил задаром. Надо сказать, что на докторов мы никогда не

жаловались. Если уж очень важный, то, бывало, скажет: «Эх, некогда мне с вами возиться, вот вам карточка, идите к моему ассистенту». Да еще вдогонку крикнет: «Постойте, куда же вы? Вам ведь деньги нужны? Нате и проваливайте поскорее». А этот — просто душа-человек был, хоть и жид. Лечил даром, деньги давал на лекарство, костюмами снабжал, которые, знаете, второго срока. Пальто подарил теплое на шерстяной вате.

Стал я понемногу поправляться. Однажды мой доктор и говорит: «Слушайте, сэр, не все же вам без дела околачиваться; у меня есть для вас в виду место. Хотите поступить конторщиком в «Южную звезду»? — «Помилуйте, с руками, ногами!» — «Ну, так отправляйтесь туда завтра к одиннадцати часам, спросите хозяина и скажите, что от меня пришли. Он уже знает».

Поступил я в гостиницу и немного вздохнул. Обязанность легкая — сиди и пиши отъезжающим счета. Жалованья двадцать пять рублей, стол, чай — хозяйский, номер, правда, под лестницей, как у Хлестакова, но все-таки номер, свое логово. Оглядевшись, я еще несколько на счетах наживал. Делалось это очень просто: жильцу пишешь счет преувеличенный, а в книгу заносишь настоящий — разницу себе. Недоразумения выходили очень редко. Случалось, вломится в контору какой-нибудь ольгопольский помещик в парусиновом балахоне и начинает делать гармидер, а ты ему моментально с любезной улыбкой: «Ах, да неужели? Такому почтенному гостю? О, это мы сейчас же расследуем... Знаете, сто двадцать номеров, суматоха...» Заговоришь его, он и размякнет.

А все-таки положение было довольно утлое. Стал я понемногу оглядываться вокруг себя и вдруг вижу, что лакеи в сто раз лучше моего живут. Худо-худо четыре-пять рублей в день заработают, а то шесть, семь — даже десять, при удаче. И надо отдать справедливость, ко мне они относились довольно-таки санфасонисто [1].

---

[1] Бесцеремонно (от франц. sans façons).

Подумал я, подумал, и вот как-то раз, освободилась одна лакейская вакансия, пошел я к хозяину и попросился. Тот сначала было глазами захлопал. «Помилуйте, вы — бывший офицер, вам ведь «ты» будут говорить; да, знаете, и мне будет неловко с вами обращаться, как с официантом, а делать разницу — вы сами понимаете — неудобно». Но я его успокоил тем, что открыл ему часть моей жизни — не самые, конечно, темные места, но все-таки рассказал кое-какие приключения. Согласился. Умный был мужик.

На первых порах крепко меня лакеи утесняли: все-таки вроде как благородный, был офицером, недавно в конторе барином сидел. Но ненадолго. Во-первых, я и сам с острыми зубами, а во-вторых, есть у меня дорогая способность: во всякую жизнь вживаться. И еще чем я внушил им уважение — это познаниями по судебной части. У лакеев постоянно дела у мировых судей и в съезде. Все больше в области дебоша и неуплаченных счетов.

Трудно также было привыкать к службе. Лакейское дело только с виду кажется таким легким. Прежде всего целый день торчишь на ногах — бывают дни, что и присесть некогда. Старые лакеи меня, впрочем, с самого начала учили, что лучше и совсем не садиться, а то разомлеешь и весь разобьешься. Первое время, когда я приходил домой, так ныла спина и ноги, что хоть кричи.

Потом память нужна особая: на какой стол подаешь, что на кухне заказано, сколько марок за буфет надо отдать, а когда счет потребовали, надо все сразу вспомнить. Перепутаешь — сердятся.

Но и тут я скоро освоился и стал работать не то что не хуже, а даже лучше других. Страшно меня полюбили постоянные гости, особенно те, которые в кабинеты ездили с порядочными дамами. Должно быть, оттого, что был я в жизни все-таки поопытнее прочих. Знаю свое дело: глаз не пялю на даму, без дела в кабинет не лезу, у двери не торчу, держу себя скромно и свободно. Другой и старый официант, зубы проел на лакейском занятии, а не понимает, как в этих случаях надо служить. Ведет себя каким-то заговорщиком, чуть

не подмигивает. Лезет без спросу занавески спускать на окнах. «Мы, мол, понимаем, для чего вы приехали. Понимаем, но молчим». Ну, а я всю эту политику скоро постиг. Любили меня и те компании, в которых широко кутили. Бывало, навезут певичек, шансонеток этих самых. Такие безобразия делают, что другой только плюнул бы, а я ничего — служу, точно вокруг меня не люди, а неодушевленные предметы. И мои гости так обыкновенно и говорили официантам: «Нет, голубчик, на тебе лучше на чай, а ты ступай и позови сюда служить Андрея, мы к нему привыкли».

Когда у нас в гостинице кончались ужины, то у буфета оставался только один дежурный лакей, на случай если из номеров что потребуют. А мы большею частью фраки в узелки и уходили в ресторанчик «Венецию» посидеть час-другой, поиграть в карты и на бильярде.

Как мы там с прислугой обращались, боже мой! Развалимся на стульях, ноги чуть не на стол положим. «Эй, ты, лакуза! шестерка!» Других и названий не было для служащих. «Не видишь, с... сын, кому служишь? Какой ликер принес? В морду вас бить, хамов». Тот, конечно, видит, что над ним кочевряжится свой же брат, холуй несчастный, но, по должности, молчит. И на чай при этом мы давали туго.

Ух, как мы господ промеж себя чехвостили, которые к нам в ресторан ходили. Да ведь и то, правду сказать, господа думают, что мы — вроде манекенов, ничего не видим, не слышим и не понимаем. А от нас ничто не скроется. И кто на чужой счет выпить любит, и кто деньги тайком от товарищей в узелок платка завязывает или потихоньку в башмак опустит, и что один про другого говорят в отсутствии. А уж если дама в кабинет пришла сначала с одним мужчиной, а потом с другим, то, будьте покойны, мы отлично разберем, который муж и который так. И не было у нас для них других слов, как сволочь, шантрапа и прохвост.

Еще у нас был любимый разговор о хозяевах гостиницы: как кто из них пошел в гору. Вот где я узнал настоящие «Тайны мадридского двора»!

Что ни имя — то преступление: грабеж, убийство или еще хуже.

Не угодно ли, вот вам коллекция. Ищенко: отель «Берлин», первоклассная гостиница, в ресторане по вечерам играют румыны, двадцать тысяч чистого дохода. И сейчас же историческая справка: служил швейцаром в публичном доме, через три года открыл темный кабачок, через пять — «Берлин», теперь держит своих рысаков на бегах. Замечательно, что именно в том доме, где он был швейцаром, видели в последний раз помещика Оноприенко, который — может быть, помните? — исчез бесследно. По этому поводу держали Ищенко шесть месяцев в тюрьме, но выпустили по недостатку улик.

Цыпенюк и Лещенецкий. Один держит буфеты на пароходах, другой — гостиницу «Варшава». У обоих собственные дома. Цыпенюк — гласный. У Лещенецкого — содержанка венская этуаль. А раньше оба служили коридорными в «Киеве». При них один купец из Москвы скоропостижно скончался в номере и как будто не по собственному почину. Цыпенюка схватили, — царапины у него оказались на руках и на лбу, — мариновали в остроге полтора года, но ничего не могли с ним поделать: уперся, как бык. Тоже выпустили.

Теперь — Казимир Хржановский. Сад «Тиволи» с кафешантаном. Ездит на автомобиле. Занимался сводничеством; трех своих сестер пустил в оборот, каждую по пятнадцатому году, чем и положил основание дальнейшей карьере. Нагурский был на содержании у шестидесятилетней старухи. Малиевич — меблированный дом на Большой Дворянской, триста номеров — то же самое, только еще хуже, стыдно говорить. И так далее. Словом, все «Уложение о наказаниях» в лицах. Да и вообще должен заметить, что я в эти рассказы о мужичках-простачках, которые приходят в столицу с лаптями за спиной, а умирают в тридцати миллионах, — я в эти рассказы плохо верю. В фундаменте таких внезапных богатств лежит всегда мошенничество, если не кровь.

Вы думаете, мы их осуждали? О, наоборот. Только, бывало, и слышишь: «Эх, молодчинище, как ловко об-

тяпал! Чего зевать? Дай мне в руки такой случай, я бы и сам по голове кокнул!» Разгорались мы все, когда об этих вещах говорили.

VI

Особенно один. Был у нас такой официант, Михайла, хохол... Виноват, господин буфетчик, сейчас кончаем. Пожалуйста, господин, меня он не послушает, а вы попросите у него еще одну бутылочку, последнюю. Скажите, что, мол, единым духом. Сейчас и истории моей конец...

Вот так. Мерси. Чего ты, болван, на часы вылупился? Слышал — хозяин разрешил. То-то!

Ире гезундхейт! [1] Был этот Михайла человек сложения жидковатого, характером — меланхолик, по происхождению — из Мазеп. Обожал до безумия церковные службы; все, бывало, мурлычет: «Изра-илю пешеходящу». Говорить много не любил, но, когда эти разговоры пойдут, его и силой не оттащить. Да как, да что, да куда деньги спрятали — даже надоест иногда. И глаза станут черные такие, масляные. Служил он лакеем в первом этаже.

Почему я так ему понравился, уж не умею сказать. Должно быть, общая у нас судьба была, и потому тянуло нас друг к другу. Стали мы с ним как будто от прочих товарищей уединяться. И все у нас разговор об одном, все об одном. И наконец мы оба в этих разговорах последний стыд потеряли. Некоторым образом вроде как голые ходили друг перед другом. Настоящего слова еще не сказали, но уже чувствовали, что нам даром не разойтись.

А я к тому времени опять прихварывать начал. Перемогался изо всех сил. Случалось — подаю на стол, вдруг как забьет меня кашель. Сначала держусь, а потом, когда не станет возможности, брошу приборы на стол и бегом в коридор. Кашляю, кашляю, даже в глазах потемнеет. Этаких вещей ведь в хороших ресторанах не любят. Ты, скажут, или служи, или ступай

[1] Ваше здоровье (от нем. Ihre gesundheits).

в больницу ложись. Здесь не богадельня. У нас публика чистая.

Так и я чувствовал, что мне вот-вот по шапке дадут. И думал я: опять улица, холод, клопы в ночлежках, конская колбаса, грязь, гадость. Кстати, и моя Зоська ко мне вернулась в эту пору, — пронюхала, гадюка, что из меня опять можно деньги сосать. Есть деньги — она спокойна, ласкова, даже чересчур ласкова, так что невмоготу бывало, а нет — кричит мне при соседях: «Лакей вонючий! хам! шестерка! продажная тварь!» Только у ней тогда и оказывалось слов.

Самое тяжелое это время было в моей жизни, на что уж я, кажется, сквозь всякие горнила прошел. Бывало, в мой выходной день брожу по улицам и мечтаю: вдруг кто-нибудь бумажник потерял, а я найду, а в нем три тысячи... Или вдруг подходит ко мне старенький, добренький миллионер и спрашивает с участием: «Почему у вас такой грустный вид, симпатичный молодой человек? Скажите откровенно, что вас тревожит? Может быть, я смогу помочь вам?»

В это время и приехал к нам в гостиницу этот человек, царствие ему небесное. Что? Странно вам, что я крещусь? Нет, вы не думайте: я к ночи в господа бога очень верую. Днем, правда, впопыхах и в пьянстве, забываю его, моего благодетеля.

Рассказывать ли дальше? Неприятно вам это будет, тяжело... Ну, если так, буду продолжать по порядку.

Был он крупная шишка. Управлял какими-то имениями в Крыму и на Кавказе; на Волге, под его начальством, состояло более двадцати тысяч десятин, кроме того, что-то орудовал с нефтью и с железом. Видел я его каждый день. Утром, бывало, выйдет к завтраку — в час или в два, — просто страшно на него смотреть. Огромный, опухший, лицо земляное, под глазами черные мешки, а глаза оловянные, бессмысленные, чуть не выскакивают наружу. Дышать ему очень трудно было; что-то такое делалось у него с легкими или с сердцем, — кажется, была грудная жаба. Ляжет грудью на стол, локти растопырит и дышит не то что горлом, а спиной, и животом, и головой. Набирает воздуху — го-

лову и грудь подымет кверху, рот раскроет, а как выпустит воздух, так весь и рухнет опять на стол. Так и трепыхается, бедный, с полчаса. Но ничего: ошарашит перед завтраком сколько-нибудь водки, бутылку гретого красного вина, глядишь — и поправился и повеселел.

Крупные он, должно быть, дела делал и все с шуточками, с приговорками, за обедом, за шампанским. Но и в карты сильно играл и развратничал широко. Щедрый был. Много от него нашему брату перепадало.

Остановился он в четвертом номере, у Михайлы, в бельэтаже, и странно, с этих пор у нас с Михайлой нашу дружбу — чик! — точно ножом отрезало. Охладели друг к другу — и шабаш. Только раз, помню: кончил я службу и иду вниз по лестнице, а он меня сверху кличет: «Андрей!» Гляжу, он через перила перевесился и манит меня пальцем. И лицо все у него кривится, как у дьявола: не то смеется, не то нарочно рожи строит. Я поднялся к нему, спрашиваю: «Что?» А он говорит: «Вчера Николай Яковлевич (это так номера четвертого звали), вчера Николай Яковлевич пьяный вернулся и, когда лег, сейчас же захрапел и двери не успел запереть. Я его толкал, толкал: «Не угодно ли, мол, раздеться?» Ку-да! Понял я, поглядел на Михайлу, он на меня. «Так что же?» — шепотом спрашиваю. А он этак, с растяжкой: «Да н-ничего». — «Прощай, говорю, Михайла». А он опять так же лениво: «Прощай, Андрей».

А потом и случилось это самое. Подал я вечером в красный кабинет устрицы, матлот из налима и какое-то белое вино и стою в коридоре около часов. Было четверть первого. Вдруг точно меня кто-то сзади толкнул в спину. Обернулся, гляжу — в конце коридора стоит Михайла. Лицо белое, — такое белое, что от манишки не отличишь. Стоит — и ни звука. И, знаете, — удивительно: сразу я понял, в чем дело. И ни он мне не сказал ничего, ни я ему. Но заметил я, что у него на руках белые перчатки.

Он впереди шел, я сзади. Подошли к номеру четвертому. В коридоре ни души, и уж лампы потушены. Я шепчу ему: «Тише!» А он нарочно со всего размаха

как дернет дверь! И сейчас же меня вперед пропихнул и запер дверь на ключ.

Темно было в номере, — так темно, что я Михайлу сразу же потерял, да и сам не могу понять, куда я попал, где двери, в какую сторону идти? Заблудился. Вдруг слышу — чиркнули спичкой, огонь. Гляжу, Михайла в комнате около зеркала зажигает свечку; думаю: «Что же он, болван, такое делает?» А он со свечкой моментально за перегородку в спальню. Слышу, говорит: «Барин, а барин, Николай Яковлевич, извольте раздеваться, неудобно вам так будет. Позвольте, я вас в кроватку уложу». Помолчал немного и вдруг опять: «Эй, ты, бугай черкасский, вставай! А то как дам каблуком в живот!» И опять тихо, только слыхать, дышит барин тяжело так, с натугой. Вдруг Михайла зовет меня: «Андрей, поди сюда».

Вошел я за перегородку. Лежит Николай Яковлевич на спине, живот огромный, как гора, рот раскрыт, и по бороде слюни потекли, одна нога на кровати, другая вниз свесилась. Ох, как же он дышал! Видали рыбу, когда ее на берег вытащат? Точь-в-точь. Видно, попадала ему в легкие всего одна чайная ложечка воздуху, так он ее ртом, и носом, и горлом... Стонет, кряхтит, нудится, и лицо все искривилось, а проснуться не может...

А Михайла опять: «Просыпайся, что ли, нечистая душа! Вот мы вдвоем пришли тебя раздевать!» Да с этими словами моментально хвать у него одну подушку из-под головы. Тот ничего, только головой, как теленок, мотнул, всхлипнул и опять давай воздух ловить. Обернулся ко мне Михайла, страшный такой, точно зверь. «Садись, говорит, на ноги и держи». А сам подушку ему на лицо и — навалился.

Что Михайла делал, я не видал, не знаю: спиной он ко мне был. Помню, дрыгнул барин ногами раз, два, три, но совсем слабо, потом как будто икнул один раз — и все. Должно быть, и сам не заметил, как умирал. Был я точно в отупении. Чувствую, тянет меня Михайла с кровати: «Слезай!» Встал я, ничего не понимаю! Вижу, Михайла шарит по комодам, по столам, в одежде; вижу, Николай Яковлевич лежит уж на двух

подушках и ноги вместе, точно спит, а я, как идиот, ничего не понимаю. Помню только, что в другой комнате все какой-то стакан дребезжал: должно быть, ехала по улице телега.

Потом стало опять темно... Михайла мне шепчет: «Пойдем... кончено...» У меня ни страха, ни жалости — одеревенел весь. Подошли к двери, послушали — тихо, вышли в коридор — никого! Поглядел на меня Михайла и говорит: «Эх, дурень, на что ты похож! Иди ко мне в буфетную, выпей водки». Я ушел, а он еще остался в коридоре.

Знаете, сколько времени это все заняло? Восемь минут! Меня даже ни в одном кабинете не успели хватиться. Я нарочно в оба забежал и спросил: «Не вы изволили звонить?» — «Нет, говорят, мы не звонили». И ведь сложилось же так: ни один официант не заметил, что я уходил. И весь этот вечер я служил точно заводной автомат, даже не сбился ни разу, даже не кашлял.

Не сердитесь, господин хозяин. Сейчас уходим. Вы себе гасите лампы, мы сейчас.

Все равно мне осталось два слова. Пришел я домой. Зоська, по обыкновению, на меня наскочила было с руганью, но мне — можете себе представить — все равно, точно машине! И она вдруг притихла. Разделась молча и легла около меня и ко мне прижалась. И долгое время я чувствовал, как ее ресницы мне лицо щекотали.

Спал я в эту ночь чудесно. Даже ни разу не проснулся. Это уж потом, в тюрьме, мне все мерещилось, как его ноги у меня под руками дрыгали и как рядом стакан дребезжал... Зато как утром проснулся, так и ошалел от ужаса. «Господи, думаю, да неужели же *это* было не во сне? Ведь человека, *человека* мы убили с Михайлой!» Оделся я.

Уходим, уходим, не раздражайтесь. До свидания, хозяин. Спасибо вам...

Эка, какой ветрило! Брр!.. Что, не надоел я вам своими приключениями? Ну, я сейчас кончу.

Оделся я, вышел на улицу. Было утро раннее, часов шесть-семь. На улицах никого не было. Толкнулся я к Михайле — говорят, дома не ночевал, должно быть,

в гостинице остался. В ресторан мне идти рано, да и не могу туда идти — противно. Ходил я, ходил по городу. Отворили турецкие кофейни, там посидел, чашку кофе выпил черного. Гляжу на людей и думаю: «Все, все вы счастливые, у каждого свое дело, у каждого чистые руки... а я!»

Потом пошел на бульвар. Солнце взошло. Сыро на дорожках. Гимназистки идут в гимназию — маленькие болтушки, личики свеженькие, только что вымытые... Сел я на скамейку и задремал. Вдруг вижу, идет городовик и этак сызбоку на меня посматривает, точно ворона на мерзлую кость. А у меня сейчас же мысль: «Подозревает»... Подошел он ко мне. «Сидеть, господин, на бульваре каждому дозволяется, которые проходящие, этого мы не запрещаем, а чтобы спать — нельзя. У нас пальцимейстер. Строго».

И что тут такое со мною случилось, — я до сих пор понять не могу. Встал я со скамейки и говорю ему: «Городовой, веди меня в участок, я этой ночью человека убил».

Не поверил он сначала. «Иди проспись. Вино в тебе вчерашнее бродит!» Подумал я было одну секунду: «Может быть, это сама судьба благоприятствует? Уйти разве?» Но почему-то не смог уйти. Отвел он меня.

Вот и все. Михайла упирался сначала, но под конец не выдержал, сдался. Улик против него никаких не было, кроме меня. Ох, какой же твердый человек он был! Представьте себе, пока я ходил к нему водку пить, что он сделал. Гостиница у нас была хоть первоклассная, но старинной постройки, и на дверях еще оставались внутренние крючки. Так он, прежде чем уйти, поставил крючок стоймя да как дверью-то хлопнул, так крючок и запал сам собой в петлю. Руки у него осматривали — ни одной ссадины: недаром он перчатки тогда надел. Словом, не признайся я, никогда бы на нас и подозрения не пало.

Защитник у меня был знаменитый, из Петербурга. Он так и говорил: «Во всех действиях подсудимого видна бессмысленность, слабоволие и слабоумие. Его одинаково можно вовлечь и в хорошее и в дурное». Здорово он во мне разобрался — до нитки. И про отца

вспомнил, и про Юшку, и про разные мои болезни, и про Зоську. Меня оправдали, а Михайлу, как главного зачинщика, а также за его упорство, закатали на шесть лет. Держали меня потом полгода в сумасшедшем доме, но решили, что я хоть и не того... психически... но безвреден, — и выпустили на волю. Вот и все.

Я знаю, господин, что таких вещей вообще не рассказывают, и теперь поэтому нам с вами дорога: если вам налево, то мне направо, и наоборот. Вы уж не сердитесь, но я еще раз злоупотреблю вашей гуманностью. Знаете: ночлежка, завтра рюмку водки, пожевать что-нибудь... О, куда же мне так много!.. Ну, а впрочем, мерси бьен [1].

Куда я пойду? Да, пока что на улицу. Я — человек с улицы. Не скрою от вас, что, по щедротам вашим, завинчу сегодня в какую-нибудь веселенькую трущобку. Вы говорите — подняться? Э-эх, что там! Мой цикл свершен окончательно, и никуда мне больше нет ходу, кроме улицы.

Знаете ли-с... Позвольте, я вам краткую притчу... Все мы у господа бога нашего квартиранты. Но одни занимают бельэтаж и платят за десять лет вперед, и старший дворник при виде их не знает, как ему лучше кувыркнуться. Другие живут себе под крышей, но честно, аккуратно, и просрочку считают для себя несмываемым позором. Есть и такие, которые самовольно контракт разрывают, — это уж прямо скандалисты... А есть и такие, вот и я в том числе, которые и денег не платят и осточертели всем до черта, а выжить их с квартиры никакими силами нельзя.

Вот так-то-с... Однако что же это я вас на холоде держу? Простите великодушно...

О резервуар [2], мусью, как говорят французы, и глубокое вам мерси.

Чувствую, в темноте чувствую, как вы тревожитесь: «Протянуть ему руку или нет?» Пожалуйста, не беспокойте себя пустяками. Что за предрассудки? Ну-с, желаю вам... У, какой дьявольский ветер!..

---

[1] Очень благодарен (от франц. merci bien).

[2] До свиданья (*искаж. франц.* au revoir).

ЧЕРНЫЙ ТУМАН

Петербургский случай

Помню отлично, как он приехал в первый раз в Петербург с своего ленивого, жаркого, чувственного юга. Так от него и веяло черноземной силой, сухим и знойным запахом ковыля, простой поэзией тихих зорь, гаснущих за деревьями вишневых садиков. Казалось, что конца не будет его неистощимому степному здоровью и его свежей, наивной непосредственности.

Прямо с поезда вторгся он в меблированные комнаты, где я жил. Это было зимою, в семь часов утра, когда на петербургских улицах еще горят фонари, а усталые клячи влекут по домам спящих ночных извозчиков. Он был неумолим. Он не хотел слушать никаких доводов номерной девушки и говорил зычным голосом на весь коридор:

— Что ты мне будешь рассказывать? Хиба ж я его не знаю? Он же мне больше, чем родной брат. Ну, чего там... показывай, где!..

Мы вместе с ним учились в одной южной гимназии, где он, однако, курса не окончил. Я любил его, правда, не больше, чем родного брата, — это он преувеличил впопыхах, — но все-таки любил искренно и тепло. Однако, хотя я и сразу узнал его голос с этими гортанными, мягкими «г», с провинциальной широтой диапазона, — я не могу сказать, чтобы в первый момент я особенно сильно обрадовался. Знаете, если человек

проваландался целую ночь, по случаю первопутка, за городом и лег в постель около четырех часов утра, да еще лег с не совсем свежей головой, и если еще при этом ему предстоит днем серьезная и срочная работа... Словом, я ругался под своим одеялом и твердо решил, если он войдет, притвориться спящим или мертвым, как жук, которого положили на ладонь.

Не тут-то было. Он ураганом ворвался ко мне в номер, облобызал меня со стремительной радостью, поднял на руках с кровати, как ребенка, еще раз облобызал и принялся тормошить. На него невозможно было сердиться. С мороза от него так вкусно пахло яблоками и еще чем-то здоровым, крепким, усы и борода были мокры, лицо горело свежим румянцем, глаза блестели.

— Ну, ну, чего там валяться, вставай! — кричал он возбужденно. — Вставай, а не то я тебе салазки сейчас загну.

— Послушай, ты, жалкий, несчастный провинциал, — пробовал я его усовестить, — у нас в Петербурге никто не встает раньше одиннадцати. Приляг на диван, или спроси чаю, или пошли за газетами и читай, но дай мне подремать хоть с полчаса.

Нет, на него ничто не действовало. Он был так начинен рассказами о прошлом и планами на будущее, так переполнен новыми впечатлениями, что, кажется, готов был лопнуть под их напором, не служи я ему в виде спасительного клапана. Во-первых, поклоны: оказывается, все меня до сих пор помнят, любят и с удовольствием читают мои экономические статьи. Я был польщен и делал вид, что не забыл ни одно из этих диковинных имен, всех этих Гузиков, Палабух, Лядушенко, Чернышей и прочих добрых знакомых. Во-вторых, Петербург совершенно ошеломил его:

— Черт его батька знает, какой городище! Что ты думаешь: у вокзала только одни лихачи стоят. Ни одного ваньки!

— Лихачи? — спросил я с сомнением.

— А ей-богу! Я, не разобравши, сел на одного, гляжу, а он на резинах. Ну, думаю, влетел я. Хотел было уже назад лезть, да стыдно стало, тут городовой

стоит и всех торопит. Хорошо еще, что дешево отделался, всего полтора целковых.

— Гмм... самое большое нужно было платить полтинник, — заметил я.

— Ну, это ты, братец, тоже бре-бре... Чтобы лихачу в такой конец полтинник?.. Ох, и улица же у вас! А народ-то, господи, — точно у нас на пароме. Так и бегут, так и бегут. А на одном мосту, братец, четыре лошади. Ты видел? Здорово! Хорошо, братец, у вас живут!

Он так все время и говорил: у вас и у нас — черточка, общая всем провинциалам. Немало поразили его также и костры, разложенные по случаю сильного холода на перекрестках улиц.

— Это же для чего? — спрашивал он меня с наивным любопытством.

Я ответил совершенно серьезно:

— Это, видишь ли, городская управа отапливает улицы. Для того чтобы в казенных учреждениях выходило меньше дров...

Он сделал круглые глаза и совершенно круглый, глупый рот и от удивления мог произнести только один звук:

— О?!

Но потом опомнился и принялся хохотать — хохотать раскатисто, оглушительно, молодо. Я вынужден был ему напомнить, что все жильцы в номерах еще спят, что перегородки сделаны из папье-маше и что мне не хотелось бы выслушивать от хозяйки замечания.

Пришла Ириша с самоваром. Она искоса посматривала на Бориса с таким же выражением недоверия и тревоги, как глядела бы на лошадь, которую ввели в комнату. Она была истая петербургская горничная, девушка щепетильная и «не без понятиев».

В пять часов мы обедали на Невском в огромном и скверном ресторане. Двухсветная зала, румыны, плюшевая мебель, электричество, зеркала, вид монументального метрдотеля, а в особенности зрелище восьмипудовых, величественно-наглых лакеев во фраках, с крутыми усищами на толстых мордах, — все это со-

вершенно ошеломило моего наивного друга. Во все время обеда он сидел растерянный, неловкий, заплетая ноги за передние ножки стула, и только за кофе сказал со вздохом, медленно качая головой:

— Н-да-а... ресторация... У нас бы не поверили... Прямо капище Ваала и жрецов его. Уж лучше бы ты меня привел куда попроще. А здесь я вижу все одну только аристократию. Наверно, все князья и графы. (Увы, я должен сознаться, что он выговаривал «грахвы», с мягким «г» и с ударением на последнем слоге.)

Но вечером, у меня в номере, он опять оживился. Тут я его спросил в первый раз серьезным и положительным образом, что он, однако, намерен с собою делать дальше. До сих пор мы касались этого вопроса второпях, как-то разбросанно и фантастично.

Он напыжился, точно молодой петушок, и ответил гордо:

— Я приехал завоевывать Петербург!

Такие именно слова часто произносят у французских романистов их молодые герои, только что приехавшие в Париж и глядящие на него с высоты какого-нибудь чердака. Я улыбнулся скептически. Он заметил это и стал с особенной горячностью, комичность которой усиливалась его хохлацким говором, убеждать меня, что в его лице даровитый, широкий провинциальный юг побеждает анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север. Это неизбежный закон борьбы двух характеров, и исход ее всегда легко предугадать. О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург! Юг идет!

Мне хотелось ему верить, или, вернее, не хотелось его разочаровывать. Мы помечтали вместе. Он достал из корзины бутылку славной домашней сливянки, и мы ее дружно распили.

— А шо (он выговаривал вместе «что» — «шо»)? А шо? Делают у вас в Питере такую сливовицу? — спрашивал он презрительно и гордо. — Вот то-то. А ты еще споришь!..

Понемногу он устроился. Я поселил его рядом с собою, в тех же самых меблированных комнатах, пока в кредит, в чаянии трофеев от будущих побед над дряблым севером. Удивительно, он сразу завоевал общую благосклонность, оттеснив на задний план прежнего фаворита — поэта с рыжими, курчавыми волосами, как у картинного дьякона. Хозяйка (всем известно, что такое петербургская хозяйка меблированных комнат: полная сорокапятилетняя дама, с завитушками, вроде штопоров, на лбу, всегда в черном платье и затянутая в корсет) — хозяйка часто приглашала его по утрам к себе пить кофе — высокая честь, о которой многие, даже старинные жильцы никогда не смели мечтать. Он за эту любезность рассказывал ей содержание утренних газет и давал ей дельные советы в бесчисленных сутяжнических делах («ведь всякому лестно обидеть бедную вдову!..»). Черт возьми, он, как истый хохол, был, при всей своей кажущейся простоте, очень ловким и практичным малым, с быстрой сметкой и с добродушным лукавством. Привыкла к нему и Ирина и даже, кажется, поглядывала на него с таким... впрочем, я не хочу сплетничать. Скажу, однако, что он был очень красив в эту пору: высокий, крепкий, с меланхолическими черными глазами и со смеющимся молодым, красным ртом под темными хохлацкими усами.

Он был более прав, чем я, старый петербургский скептик. Ему повезло. Может быть, это происходило оттого, что вообще человек бодрый и самоуверенный в такой же степени умеет подчинить себе судьбу, в какой степени судьба вертит и швыряет в разные стороны людей растерянных и слабых. А может быть, ему просто помогали те своеобразные черты характера, которые он привез с собою из недр провинциального юга: хитрость, наблюдательность, безмятежный и открытый тон речи, природная склонность к юмору, здоровые нервы, не издерганные столичной сутолокой? Может быть, тут было и то и другое, но во всяком случае я должен был признать, что в его лице юг наглядно и успешно завоевывает север.

Мой приятель быстро, в каких-нибудь три-четыре дня, нашел себе занятия в управлении одной из крупнейших железных дорог и уже через месяц обратил на себя внимание начальства. Ему поручили проверить какие-то там графики движений поездов или что-то в этом роде. Все дело можно было легко окончить в неделю или в две, но Борис почему-то особенно упорно и настойчиво им заинтересовался. Он бегал зачем-то в Публичную библиотеку, таскал к себе на дом толстые справочники, сплошь наполненные цифрами, делал по вечерам таинственные математические выкладки. Кончилось все это тем, что он представил своему начальству такую схему движения пассажирских и товарных поездов, которая совмещала в себе и простоту, и наглядность, и многие другие практические удобства. Его похвалили и отметили. Через полгода он уже получал полтораста рублей в месяц и заведовал почти самостоятельной службой.

Но, кроме того, он имел постоянные уроки музыки — он был отличный музыкант, писал для газет статьи, и дельные статьи, по железнодорожным вопросам, пел по субботам и воскресеньям в известном церковном хоре, а также иногда и в оперных и в опереточных хорах. Работать он мог поразительно много, но без натуги, без насилия над собой, а как-то естественно-легко, с развальцем, с шуточкой, с наружной ленивой манерой. И, всегда с лукавой усмешечкой, он все к чему-то присматривался и примеривался, и выходило так, как будто бы он только играл с настоящим, разминал свои непочатые силы, но в то же время зорко и терпеливо поджидал своей линии. Для каких-то тайных, далеких, известных только ему одному целей изучал он по самоучителям Туссена и Лангеншейдта французский, немецкий и английский языки. Я слышал иногда, как он за стенкой повторял с ужасающим прононсом: «Л'абель бурдон, ла муш воль» [1]. Когда я спрашивал, для чего это ему нужно, он отвечал с лукавым простодушием: «А так. Все равно нема никакого дела».

---

[1] «Пчела жужжит, муха летает» *(франц.)*.

Он умел веселиться. Где-то на Васильевском острове он отыскал своих земляков, «полтавских хлопцев», которые ходили в вышитых рубашках с ленточками вместо галстуков и в широчайших шароварах, засунутых в сапоги, курили люльки, причем демонстративно сплевывали на пол, через губу, говорили «эге ж» и «хиба» и презирали кацапов с их городской культурой. Я был раза два на их вечеринках. Там пили «горилку», но не здешнюю, а какую-то особенную, привезенную «видтыля»; ели ломтями розовое свиное мясо; ели толстые, огромные колбасы, которые были так велики, что их надо было укладывать на тарелке спиралью в десять или пятнадцать оборотов. Но также там и пели — пели чудесно, с необыкновенной грустью и стройностью. И, как теперь, помню я Бориса, когда, проведя нервно рукой по своим длинным, красивым, волнистым волосам, он начинал запев старинной казацкой песни:

Ой, у поли жито
Копытами сбито...

Голос был у него теплый, нежный, чуть-чуть вибрирующий, и когда я его слышал, то каждый раз у меня что-то щекотало и вздрагивало в груди и хотелось беспричинно плакать.

А потом опять пили горилку и под конец «вдаряли гопака». Пиджак летел с широких плеч Бориса в угол комнаты, а сам он лихо носился из конца в конец и притопывал «чоботами», и присвистывал, и лукаво поводил черными бровями.

Ой, кто до кого,
А я до Параски,
Бо у меня черт ма штанив,
А в нее запаски...

Он сделался главой этого милого хохлацкого хутора, затерявшегося среди суровых параллельных улиц Петербурга. Было в нем что-то влекущее, чарующее, неотразимое. И все удавалось ему шутя, словно мимоходом. Теперь я уже окончательно верил в его победу над севером, но что-то необъяснимое, что-то тревожное не выходило из моей души, когда я думал о нем.

Началось это весной. Вскоре после пасхи, которая была в том году поздней, мы поехали с ним однажды на острова. Был ясный, задумчивый, ласковый вечер. Тихие воды рек и каналов мирно дремали в своих берегах, отражая розовый и лиловый свет погасавшего неба. Молодая, сероватая зелень прибрежных ив и черных столетних лип так наивно и так радостно смотрелась в воду. Мы долго молчали. Наконец под обаянием этого прелестного вечера я сказал медленно:

— Как хорошо! За один такой вечер можно влюбиться в Петербург.

Он не ответил. Я поглядел на него украдкой, сбоку. Лицо его было пасмурно и точно сердито.

— Тебе не нравится? — спросил я.

Борис слабо, с выражением досады, махнул рукой.

— Э, декорация! — произнес он брезгливо. — Все одно, как в опере. Разве же это природа?..

Черные глаза его вдруг приняли странное, мечтательное выражение, и он заговорил тихим, отрывистым, волнующим голосом:

— Теперь вот в Малороссии так настоящая весна. Цветет черемуха, калина... Лягушки кричат по заводям, поют соловьи... Там ночь, так уж ночь, — черная, жуткая, с тайной страстью... А дни какие теперь там стоят!.. Какое солнце, какое небо! Что ваша Чухония? Слякоть...

Он отвернулся в сторону и замолчал. Но я понял уже инстинктом, что в сердце моего друга совершается что-то неладное, нездоровое.

И вправду, начиная с этого вечера Борис затосковал и точно опустился. Я уже не слышал за стеной его мелодичного мурлыканья; он уже не влетал ко мне бомбой в комнату по утрам; пропала его обычная разговорчивость. И только когда заходила речь о Малороссии, он оживлялся, глаза его делались мечтательными, прекрасными и жалкими и точно глядели вдаль, за многие сотни верст.

— Поеду я на лето туда! — говорил он решительно. — Какого черта! Хоть отдохну немного от проклятого Питера.

Но поехать ему «туда» так и не удалось. Служба задержала его. Среди лета мы простились, — обстоятельства гнали меня за границу. Я оставил его грустным, раздраженным, вконец измученным белыми ночами, которые вызывали в нем бессонницу и тоску, доходившую до отчаяния. Он проводил меня на Варшавский вокзал.

Вернулся я обратно в самый разгар отвратительной, мокрой, туманной петербургской осени. О, как памятны мне эти первые печальные, озлобляющие впечатления. Грязные тротуары, мелкий, неперестающий дождик, серое, какое-то ослизлое небо, и на фоне этой картины грубые дворники со своими метлами, обдерганные, запуганные извозчики, женщины в уродливых барашковых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством. Но еще более поразила и огорчила меня перемена, происшедшая с Борисом.

Когда я вошел к нему, он лежал одетый на неубранной постели, заложив под голову руки, и не поднялся при моем появлении.

— Борис, здравствуй! — сказал я, уже что-то предчувствуя, и встретил холодный, отчужденный взгляд.

Потом он, очевидно, решил, что нужно поздороваться, встал, как будто по обязанности поцеловался со мной и опять лег. Больших усилий стоило мне уговорить его пойти пообедать куда-нибудь в ресторан. Дорогой он молчал, шел сутулый, безучастный, точно его вели по веревочке, и всякий вопрос мне приходилось повторять по два раза.

— Послушай, да что это, наконец, с тобой? Подменили тебя, что ли? — говорил я, трогая его за плечо.

Он досадливо отмахнулся.

— Так... надоело все...

Некоторое время мы шли рядом, не разговаривая. Я вспомнил его неубранную, затхлую комнату, беспорядок, сухие куски хлеба на столе, окурки на блюдечках и сказал решительно и с возбуждением:

— Знаешь что, милый друг, — ты, по-моему, просто-напросто болен... да нет, ты не маши руками, а

слушай, что я тебе скажу. Эти вещи запускать не следует... деньги-то у тебя есть...

У меня быстро созрел план лечения моего захандрившего друга, немного, правда, устаревший, немного пошлый и, если хотите, немного даже гнусный. Просто-напросто я решил свести его в какое-нибудь место злачное, где поют и танцуют, где люди сами не знают, что делают, но уверены, что веселятся, и этой уверенностью заражают других.

Пообедав где-то, к одиннадцати часам отправились мы в «Аквариум», чтобы создать настроение кутежа. Взял я лихача, и помчал он нас мимо брани встречных извозчиков, мимо облитых грязью пешеходов.

Я поддерживал колеблющуюся, исхудавшую спину Бориса; он по-прежнему упорно молчал и только раз недовольно сказал:

— Куда мы так спешим?

Густая толпа, дым, гам оркестра, голые плечи женщин, подкрашенные глаза, белые пятна столов, красные, оскотинившиеся лица мужчин — весь этот шабаш пьяного веселья подействовал на Бориса совсем не так, как я ожидал. По моей просьбе он пил, но не пьянел, и взгляд его становился все тоскливее. Толстая напудренная женщина в страусовом боа на голой жирной шее подсела к нам на минуту, попробовала заговорить с Борисом, потом испуганно посмотрела на него и молча быстро ушла, и в толпе еще раз оглянулась на наш столик. И мне от этого взгляда сделалось жутко, точно я заразился чем-то смертельным, точно возле нас стоял кто-то черный и молчаливый.

— Выпьем, Борис! — крикнул я, пересиливая шум оркестра и звон посуды.

Сморщившись, как от зубной боли, он сказал что-то немым движением губ, и я угадал фразу:

— Уйдем отсюда...

По моему настоянию, из «Аквариума» мы поехали еще в одно место и вышли из него на рассвете в холодные, синие сумерки раннего петербургского утра. Улица, по которой мы шли, была длинная и узкая, как коридор. От сонных каменных пятиэтажных ящиков

веяло холодом ночи. Невыспавшиеся дворники шаркали метлами, передергивали плечами озябшие ночные извозчики и ругались хрипло. Спотыкаясь, навалясь грудью на веревку, срединой улицы везли мальчишки нагруженные платформы. В дверях мясных лавок висели красные, развороченные туши мертвой, отвратительной говядины. Борис шел понуро, потом вдруг схватил меня за руку и крикнул, указывая в конец улицы:

— Вот он... вот...

— Что такое? — спросил я испуганно.

— Видишь... туман.

Пятые этажи тонули во мгле, которая, точно обвисшее брюхо черной змеи, спускалась в коридор улицы и затаилась и замерла, нависнув, как будто приготовилась кого-то схватить...

Борис тряс меня за руку и говорил с глазами, загоревшимися внезапной злобой:

— Понимаешь ты, что это такое? Понимаешь — это город дышит, это не туман, а дыхание этих камней с дырами. Здесь вонючая сырость прачечных, копоть каменного угля, здесь грех людей, их злоба, ненависть, испарения их матрацев, запах пота и гнилых ртов... Будь ты проклят, анафема, зверь, зверь — ненавижу!

Голос Бориса ломался и звенел. Костлявыми кулаками он тряс в воздухе.

— Успокойся, — говорил я, обнимая его за плечи. — Ну, успокойся, — смотри, ты пугаешь людей.

Борис поперхнулся и закашлялся надолго.

— Смотри, — сказал он, корчась от кашля, и показал мне платок, в который плюнул.

И я увидел на белизне платка большое кровавое пятно.

— Это он меня съел... туман...

Молча мы подходили к его квартире.

В апреле, перед пасхой, я зашел как-то к Борису. День был на редкость теплый. Пахло талым снегом, землей, и солнце светило застенчиво и робко, как

улыбается помирившаяся женщина после слез. Он стоял у открытой форточки и нюхал воздух. Когда я вошел, Борис обернулся медленно, и на лице у него было какое-то ровное, умиротворенное, детское выражение.

— Хорошо теперь у нас в Полтавской губернии, — улыбаясь, сказал он вместо приветствия.

И вдруг для меня стало совершенно ясно и понятно, что этот человек умрет скоро, может быть даже в этот же месяц.

— Хорошо! — добавил он раздумчиво и, вдруг оживившись, торопясь, хватая меня за руки, заговорил: — Сашенька, милый мой, отвези меня до дому... отвези, голубчик, ну, что тебе стоит, отвези!

— Да разве я отказываюсь? Конечно, поедем.

И вот перед самой пасхой мы тронулись в путь. Когда мы отъезжали от Петербурга, был сырой, холодный день, и над городом висел густой и черный туман, тот черный туман, который отравил душу и съел тело моего бедного друга.

Но чем больше подвигались мы на юг, тем возбужденнее и радостнее становился мой Борис. Весна как будто шла нам навстречу. И когда мы впервые увидели белые мазаные хатенки Малороссии, она была уже в полном расцвете. Борис не отрывался от окна. На насыпи синели большие, крупные простые цветы, носящие поэтическое название «сна», и Борис с восторгом рассказывал о том, как при помощи этих цветов у них в Малороссии красят пасхальные яйца.

Дома, у себя, под голубым ласковым небом, под пышными, еще не жаркими лучами солнца, Борис стал быстро оживать, точно он отходил душой от какого-то долгого, цепкого, ледяного кошмара.

Но телом он слабел с каждым днем. Черный туман убил в нем что-то главное, дающее жизнь и желание жизни.

Спустя две недели по приезде он уже не вставал с кровати.

Все время он не сомневался в том, что скоро умрет, и умер мужественно и просто.

Я был у него за день до его смерти. Крепко пожимая своей сухой, горячей, исхудавшей рукой мою руку и улыбаясь ласково и грустно, он говорил:

— Помнишь наш разговор о севере и юге, еще тогда давно, помнишь? Не думай, я от своих слов не отпираюсь. Ну, положим, я не выдержал борьбы, я погиб... Но за мной идут другие — сотни, тысячи других. Ты пойми — они должны одержать победу, они не могут не победить. Потому что там черный туман на улицах и в сердцах и в головах у людей, а мы приходим с ликующего юга, с радостными песнями, с милым ярким солнцем в душе. Друг мой, люди не могут жить без солнца!

Я поглядел на него внимательно. Он только что умылся и причесал гладко назад свои волосы, смочив их водой; они были еще влажны, и это придавало его лицу жалкое, и невинное, и праздничное выражение, за которым всего яснее чувствовалась близость смерти. Помню также, что он все время пристально и как будто с удивлением рассматривал свои ногти и ладони, точно они были чужие.

На другой день меня спешно позвали к нему, но я застал уже не моего друга, а только его тело, умиравшее бессознательно, в быстрой агонии.

Еще рано утром он попросил отворить окно, и оно так и оставалось открытым. В комнату из старого сада лезли ветки белой сирени с ее упругими, свежими, благоухающими цветами. Светило солнце. Как сумасшедшие кричали дрозды...

Борис затихал. Но в самую последнюю минуту он вдруг быстро поднялся и сел на кровати; и в его широко раскрывшихся глазах показался безумный ужас. И когда он опять упал на подушки и, глубоко вздохнув, вытянулся всем телом, точно он хотел потянуться перед крепким длинным сном, — это выражение ужаса еще долго не сходило с его лица.

Что он увидел в эту последнюю минуту? Может быть, его душевным глазам представился тот бездонный, вечный, черный туман, который неизбежно и безжалостно поглощает и людей, и зверей, и травы, и звезды, и целые миры?..

Когда его одевали, я не мог видеть его страшных желтых ног и вышел из комнаты. Но когда я вернулся, он уже лежал на столе, и таинственная улыбка смерти тихо лежала вокруг его глаз и губ. Окно все еще было открыто. Я отломил ветку сирени — мокрую, тяжелую от белых гроздьев — и положил ее Борису на грудь.

Светило солнце, такое радостное, и нежное, и равнодушное... В саду кричали дрозды... За рекой, на той стороне, звонили к поздней обедне.

ХОРОШЕЕ ОБЩЕСТВО

I

Собираясь войти в гостиную, Дружинин вытирал платком запотевшие стекла пенсне.

За малиновой бархатной портьерой послышалось твердое, уверенное, хорошо знакомое ему постукивание каблуков. Щеголеватой походкой нестареющего сорокапятилетнего мужчины Башкирцев шел через переднюю с какими-то чертежами и планами.

— А-а! соль земли русской... Ну, как поживает международно-литературная конвенция? — не останавливаясь, с наигранной любезностью приветствовал он гостя и на ходу же добавил, взявшись за хрустальную ручку дубовой двери в кабинет: — Сара Бернар очень обрадуется, у нее там какие-то дела к вам...

На секунду Дружинин увидел чью-то поддевку, рыжую бороду, инженерские петлицы и серую атмосферу комнаты, в которой долго сидели и много курили.

В кабинет прошел лакей с подносом, уставленным стаканами, горкой нарезанного лимона и сушками.

Недолго, пока отворялась дверь, слышался убежденный, звучный голос Башкирцева и видно было, что он уже совершенно забыл, кого видел и с кем говорил минуту назад.

Как всегда от приветствия Башкирцева, Дружинин вместе с беспокойной подавленностью почувствовал себя глупо-молодым, отгороженным чем-то крепким и непроницаемым от этого умного, занятого барина. И он мучительно злился, что по бесхарактерности не может ответить человеку, которого в сущности не уважал, чем-нибудь вроде «неунывающий россиянин».

Много раз Дружинин давал себе слово не ходить в это «сыто-бюрократическое заведение», и за каждый визит свой к Башкирцевым оправдывался перед собственным самолюбием тем, что ему нет дела ни до madame, ни до monsieur Башкирцевых, а ходит он ради Риты. Рита, по его мнению, была сделана «совсем из другого теста, как ее папа и мама». Это милый ребенок, чуткая, талантливая девушка, из которой выйдет далеко не заурядная артистка с удивительно интересными настроениями.

Получая иногда от Риты какую-нибудь оригинальную открытку или журнальную вырезку, где говорилось о нем, Дружинин умиленно улыбался и говорил:

— Милая козочка — не забыла...

Но, кроме Риты, все в доме Башкирцевых неприятно действовало на Дружинина. Раздражал его нелепый крик попугая, развязная балованность до противного вымытых собак, многочисленная, хамски угодливая прислуга, делающая различие между гостями, благотворительность madame. Даже самое покровительство Башкирцевых дружбе их дочери с Дружининым больно уязвляло его самолюбие: «Точно за человека не считают».

Однажды, на именинном обеде, лакей за шампанским подал Дружинину обыкновенного белого вина. Этот случай заставил Дружинина не бывать у Башкирцевых несколько недель. Тогда Рита написала ему:

«Голубчик Павел Дмитриевич, я по вас соскучилась — отчего вы к нам не приходите? Я думала, что вы хоть сегодня придете, — не пришли. Жаль ужасно. Впрочем, если почему-либо не хотите, то конечно, не стесняясь, не приходите до тех пор, пока не захочется. Только, когда придете, не говорите нашим, что я вам

написала, а то мне будет влетанция, так как это не хорошо, не принято. Но вы симпатичны мне кажетесь, голубчик. И мне, в моей обстановке ужасных людей, ужасно радостно вас видеть. Ну, до свидания, очень буду рада, если до скорого.

Р. Б.».

На боках письма было приписано с одного конца: «Сейчас только вспомнила, что вы красный цвет ненавидите. Ну, да письмо переписывать лень». С другого: «Господи, не вы ли это мне прислали что-то? Я получила городскую повестку. Кстати, поздравьте, сегодня я нашла двугривенный. Не правда ли, смешно?»

Сегодня она написала ему на клочке торопливым, взволнованным почерком:

«Голубчик Павл. Дмитр. Непременно, непременно, сейчас же приходите, как получите это. У меня ужасно, ужасно большая неприятность...

Ваша Р.».

Проходя через гостиную, Дружинин с улыбкой под усами вспоминал это письмо и думал: «Ужасно большая неприятность заключается в том, что maman не разрешила играть на клубной сцене».

Риту он застал в полутемной диванной. Она сейчас же схватила его за руку и повлекла в глубь комнаты.

— Вы знаете, что случилось? — начала она трагическим шепотом.

— Нет, не знаю... — улыбаясь, глядя сверху вниз на Риту, ответил Дружинин.

— Да нет, вы не смейте смеяться, — закричала она сквозь слезы.

И, опять понизив голос до шепота, Рита начала говорить размеренно и таинственно, широко и с ужасом округлив глаза, точно старая нянюшка, когда она вечером рассказывает страшную сказку.

— Вы знаете, Верочка Снежко... — говорила она внушительно, с ударениями и дергая на этих ударениях Дружинина за руку, — украла у своей квартирной хозяйки брошь и два браслета... И теперь она в тюрьме... Да. Ее будут судить... Вы понимаете, на нее, маленькую такую, беленькую, наденут арестант-

ский халат, запрут с этими грязными преступниками... Милая моя Снежинка... — Голос Риты от шепота поднялся до истерической высоты и зазвенел: — Снежушка моя, милая Снежинка...

Она заломила руки и замотала головой...

— Что вы говорите? — глухо произнес Дружинин, и в то же мгновение у него мелькнула мысль, что он уже где-то видел подобную сцену с заламыванием рук и припадочным мотанием головы. — Верочка Снежко украла...

Рита опустила руки.

— Ну да... взяла в комоде брошь, два браслета и заложила их.

Дружинин с силой двинул плечами и хрустнул пальцами.

— Что такое... Похоже на кошмар...

— Постойте, — заговорила Рита, сразу успокоившись, — сядемте здесь, я вам все расскажу.

У Риты была манера складывать по-старушечьи руки пальцы в пальцы и сидеть сгорбившись. И теперь она уселась в свою обычную позу и заговорила серьезно, повествовательно, время от времени заглядывая снизу Дружинину в лицо.

— Знаете, она страшно нуждалась... Вы этого не знали, она просила не говорить... Ведь она такая гордая была... Ну, так вот... И за ней ухаживал этот старик, знаете этот противный с толстыми закопченными усами, что жил напротив, я еще смеялась, что Верочка влюблена в него... Но, конечно, она не хотела себе позволить ничего такого гадкого... Потом ей нечем было заплатить на курсах... Вы ведь знаете, у нас на драматических ужасно дорого берут... Я просила папá, и он обещал, а потом вышла ужасно глупая история, конечно она сама виновата... Голубчик, я вам тогда солгала, за что поссорилась с Верочкой, не сердитесь, голубчик, потому что это в сущности и неинтересно... Папá ей что-то сказал, так знаете, вероятно, как он всегда — Сара Бернар, Сара Бернар, а на нее — Снегурочка... но ведь он уже пожилой, не правда ли, ему можно... А она обиделась, обиделась и к нам перестала ходить. Потом мамá на нее была

недовольна... знаете ведь maman страшно ревнива, у нас ведь и все горничные ужасные рожи... Ну, так вот... встретились мы как-то на курсах, я спросила, почему она не приходит, и она мне ужасную дерзость сказала. «Твой, говорит, отец...» Но я даже не могу сказать — меня это ужасно тогда обидело... Ну, это, конечно, забылось, я уже хотела написать ей или самой сходить, как вдруг сегодня утром получается повестка... Меня вызывают к следователю свидетельницей... Поймите, какой ужас... Папа ездил туда, на прежнюю ее квартиру, и все это узнал. Голубчик, Павел Дмитриевич, поймите, какой ужас... Теперь папа говорит, что он возьмет докторское... это... как его, удостоверение что ли, чтобы я не шла в свидетельницы. Но ведь, голубчик, может, ей это очень нужно... а...

— Конечно, вы многое можете показать, смягчающее ее вину... — мрачно и решительно отозвался Дружинин, перекручивая в пальцах и кусая бороду.

— Вот я то же самое говорю, а наши не хотят, у нас сегодня с утра война, то есть больше с maman. Папа, тот ведь знаете какой, — он что-нибудь решит и на других даже внимания не обращает. И в разговор не вмешивается, как будто иначе и быть не может.

В полутьме из дверей, ведущих в комнаты, в которых Дружинин никогда не был, послышался слабый болезненный голос:

— Ри-и-та.

Рита вскочила с дивана.

— Что, мамуся?

— С кем это ты?

— Это Павел Дмитриевич, мамочка.

— Здравствуйте, Павел Дмитриевич, простите, я даже выйти к вам не могу, — умирающим голосом говорила Башкирцева. — Рита, пошли ко мне Машу, а потом приходи с Павлом Дмитриевичем — я, знаете, совсем больна, совсем больна...

За дверями послышался вздох и мягкие, как будто босые, шаги.

— Не говорите только, что я вам писала, — успела озабоченно бросить Дружинину Рита.

II

В будуаре Башкирцевой, глухом от материй, вместе с беспокойным, дразнящим ароматом, который оставался потом на платье, висел в воздухе острый запах туалетного уксуса и какой-то эссенции. Со всей обстановкой комнаты, пестрой и кокоточной, странно не гармонировал киот в углу и в зеленом стаканчике лампада.

— Вы знаете уже, что случилось... Вам говорила Рита,— устало и томно сказала Башкирцева, без пожатия подавая Дружинину мягкую, влажную, как будто бескостную, руку...

Дружинин не целовал у дам рук, и оттого, когда он и Башкирцева здоровались, у них всегда происходила какая-то заминка и Дружинин чувствовал себя неловко.

— Да, мне говорила Маргарита Ильинична,— ответил он, избегая взглядов зеленовато-серых глаз Башкирцевой и не зная, где сесть.

С головой, обвязанной белой косынкой, она сидела на тахте в чем-то мягком и длинном, и обвислые контуры ее располневшего тела беспомощно лежали в ковровых подушках.

— Я не знаю, за что нас так наказывает господь бог... — говорила Башкирцева, взглянув на киот. — Два года назад муж ездил в Лондон, я с Ритой была на курорте, у нас служили муж и жена поляки... Так они, знаете, что изволили сделать? Достали Ильи Андреевича шубу, фрак, еще что-то и преспокойно заложили все это... У них, видите ли, дома там что-то случилось, погорел кто-то, что ли. Я понимаю, может случиться несчастие — ну, так попроси, не так ли? Помню, на меня тогда этот суд так ужасно подействовал. И знаете, они еще были на нас недовольны, что мы оценили вещи выше трехсот рублей: это им для чего-то там, для смягчения наказания нужно было... И теперь эта история с этой девчонкой! Нет, это просто, знаете, сил никаких нет. Идти в суд Рите... Господи помилуй...

Дружинин что-то замычал и нерешительно промолвил:

— Но я не вижу особенных причин так уж волноваться... хотя, впрочем...

— Как не волноваться, Павел Дмитриевич?.. — возбужденно заговорила Башкирцева, задвигавшись на месте. — Ведь вы подумайте, какая это только грязь: ее подруга украла и она свидетельницей, ведь об этом и в газетах станут писать... это страшная грязь!

— Мамуся, тебе опять будет худо... — сказала стоявшая возле нее Рита, делая Дружинину знаки глазами.

— Оставь, пожалуйста, что может быть еще хуже того, что уже есть? Я всегда говорила тебе, что будь ты осторожна в этих знакомствах с людьми с улицы, — ну, вот видишь, на мое и вышло...

Переменив тон, Башкирцева повернула к Дружинину свое странно белое, как бумага, четырехугольное лицо:

— Я не знаю, Павел Дмитриевич, что это делается на свете. Куда мы идем, куда мы идем? Девочка молоденькая, интеллигентная крадет у своей хозяйки вещи... закладывает их...

— Но, говорят, она сильно нуждалась, — нерешительно отозвался Дружинин, как будто сам в чем-то виноватый.

Больной вид Башкирцевой, будуар, все эти дамские вещи, духи связывали и делали его нерешительным.

— Ах, оставьте, пожалуйста, какая это нужда заставит меня украсть. Никогда не поверю, просто безграничная испорченность нашего времени. Ужасная грязь, ужасная грязь...

За дверями послышалась характерная походка и голос Башкирцева.

— Р-разумеется, конечно — он мужик умный, понимает это, поверьте, лучше нас с вами, — говорил он кому-то.

— Мамочка, к тебе можно? — спросил он, заглядывая в дверь. — Я с Петром Петровичем...

И, войдя в комнату, Башкирцев сказал с своей веселой деланной улыбкой, с демонстраторским же-

стом обращаясь к вошедшему за ним господину во фраке:

— Вот рекомендую: совет трех. Причем самый главный мастер заболел от чрезвычайного потрясения нервов...

Адвокат Михно, благодушно улыбаясь хозяйскому остроумию, особенно галантно, вероятно потому, что был во фраке, раскланялся с хозяйкой.

— Я вот позволил себе нарочно вызвать нашего Цицерона, чтобы успокоить тебя, — заявил Башкирцев. — Он говорит то же самое, что и я. Никто не станет ни приезжать на дом, ни оглашать показаний, раз человек болен и не может давать их...

— Да, конечно, конечно, — поддакивал Михно с не сходившей с лица, как казалось ему, светской улыбкой, стоя в позе оперного певца с шапокляком у ляжки.

— Так это можно? вы уверены, Петр Петрович? — сказала Башкирцева, с надеждой возводя на адвоката глаза.

— Да, конечно, конечно... что ж, это дело обыкновенное...

Потом Михно сощурился и мигнул в сторону Риты, стоявшей с сухими воспаленными глазами:

— Что, барышня, струсили?

— Я... нисколько, — обиженно отозвалась Рита.

— Ну, рассказывайте. Публика у нас страх суда боится... А что, она хорошенькая, эта юная преступница?

— Не хотите ли вы уж защищать ее? — с плутовской улыбкой сказала Башкирцева.

— Ну, что вы, что вы! Мало у меня своих дел!.. Вечно Мария Павловна придумает что-нибудь... — слабо защищаясь, говорил Михно со смущенной улыбкой избалованного женщинами светского льва.

— Ну да, рассказывайте!..

Башкирцева погрозила ему пальцем, и теперь, казалось, болезнь ее совершенно прошла.

— Подождите, я вот расскажу все Надежде Васильевне... Знаем мы эти ваши заседания!.. Кстати, как ее здоровье?

— Ну, друзья мои, вы беседуйте, а меня люди ждут, — озабоченно сказал Башкирцев, не любивший, когда говорил не он, а другие.

— Я ведь тоже на минутку, — заторопился Михно.

— Куда вы такой парадный?

— Нужно тут в одно место...

— Ой, смотрите, скажу Надежде Васильевне... — начала опять Башкирцева, подымая палец.

Но Илья Андреевич нашел, что этого жанра уже довольно, и деловито, по-хозяйски сказал, целуя ее в лоб:

— Тебе, мамочка, немного лучше, оденься, выйди, нужно будет легкую закуску соорудить... Пташников здесь... нельзя, он москвич, у них это водится...

Башкирцева, недовольная, что муж ловит ее на выздоровлении и не дает немного поболтать, недружелюбно глянула на него своими серыми, сделавшимися вдруг злыми, глазами...

III

За ужином Дружинин испытывал чувство приживальщика, отказался есть и попросил себе стакан чаю. С особенной неприятной ясностью он не мог отделаться от мысли, что эти вина, серая глянцевитая икра в хрустальной вазочке, маринады, балыки поставлены не для него, а исключительно для тех пришедших из кабинета людей, и, собственно, для одного из них — Пташникова.

В песочном визитном костюме, безусый и розовый Пташников держался застенчиво, и Дружинину странным казалось думать, что этот робкий, европейски-аляповато одетый молодой человек имеет три миллиона. Его свежую молодость усиливали и подчеркивали рыжебородое обветренное лицо Дурдина, уверенное, пожившее Башкирцева и корректно-молодое, спокойное, как таблица умножения, лицо рано полысевшего инженера. Каждое из них носило тот отпечаток, о котором принято говорить «видел виды», и Дружинину становилось необъяснимо жаль Пташникова.

— Я, можно сказать, прошел огни и воды... — размеренно говорил Дурдин, из солидности не сразу выпивая налитую ему рюмку.

— И медные трубы, — добавил Башкирцев, дружелюбно-насмешливо кивнув Дурдину, и помог Пташникову взять с тарелки кусок.

Дурдин не улыбнулся и спокойно-уважительно смотрел на Башкирцева своими круглыми зоркими глазами.

— Нет, Илья Андреевич, в самом деле я много на своем веку всякого народа перевидал, но должен вам заметить... не потому што там в глаза или как, я человек простой и у меня такое заведение — што за столом, то и за столбом... Хотя вы и господин, но должен вам заметить, што в делах я редко видел таких дотошных людей и из нашего брата, чтоб так понимали. Это я не то, што вам в глаза, а и где угодно...

Башкирцев слегка покраснел и, откинувшись на спинку, заговорил, покручивая усы:

— Да, жизнь, батюшка, учит... Раньше, чем нажить первые свои сто тысяч, я свой миллион прожил... и не жалею. Теперь, что у меня есть, все мое, трудом доставшееся. Люди только у нас в России очень уж инертны... вы посмотрите за границей... там мальчишка-разносчик, он с товарищами в компании покупает уж какую-нибудь недорогую акцию. Знает все колебания биржи. А у нас десятки миллионов в сундуках лежат — мозоли натирают, купоны обрезая.

Пташников улыбнулся.

— Покойник папаша, бывало, дня три иногда сидит, а никого не допускал, все сам... — сказал он, и по лицу его видно было, что за этим у него проснулось еще много воспоминаний.

— Хороший, должно быть, был старик? — любезно-механически улыбаясь, сказала madame Башкирцева. — Они ужасно милые, эти старозаветные люди...

— Да как вам сказать, многие считали его сердитым, ну, только это у него так, наружное, а человек он был добрый.

— Скажите, пожалуйста, у вашего батюшки какая

торговля была? — спросил Дружинин и сразу же по беспокойно забегавшим глазам Башкирцева понял, что он задал неуместный почему-то вопрос.

— Что это, как будто немного угаром пахнет? — сказал Башкирцев жене...

Пташников немного сконфузился, но сейчас же с доверчивым и благожелательным видом ответил Дружинину:

— Мы гостиницы держали... Вот, если бывали в Москве, «Эрмитаж», «Калифорния», «Белый лебедь» — это все наше было... и так малых трактиров до двадцати...

— Зачем же вы их продали? ведь говорят, это очень выгодно? — выпалила Рита и посмотрела на всех.

Инженер чуть улыбнулся в углах рта... Пташников больше зарделся.

— Рита... — сказала Башкирцева, делая брезгливые глаза.

Дружинин сам почему-то покраснел, но вступился за Риту:

— Действительно, это дело дает, кажется, хорошие барыши...

На лицо Башкирцева набежала тень.

— Очень было бы печально, — внушительно и грустно заговорил он, барабаня по столу своими белыми крупными пальцами, — если бы молодые люди, полные сил и способностей, сидели в питейных заведениях. Кому же, как не молодым капиталистам, быть культуртрегерами нашей отсталой промышленности. Геннадий Васильевич вступает вот в наше общество химических заводов, и это, поверьте, интереснее, полезнее и почетнее, чем торговать рюмками. Вы вот сами говорите, что газетная работа выгодней чистой беллетристики, но, однако, пишете рассказы.

— Ну, это, мне кажется, одно с другим не сравнимо, — не согласился Дружинин. — Я по крайней мере думаю, что личное моральное значение всякой деятельности определяется ее целью. Цель торговли — нажива, а потому самая желательная торговля та, которая больше дает.

— Как на чей взгляд.

Башкирцев пожал плечами и обратился к Пташникову:

— Вы когда предполагаете возвратиться?..

К десяти часам гости поднялись. Пташников и Дурдин уезжали с одиннадцатичасовым в Москву. Инженер провожал их, Башкирцев извинился усталостью. Дружинин тоже начал прощаться, но Башкирцев удержал его.

— Останьтесь, я хочу попросить вас об одном деле...

Когда гости и хозяева проходили через полутемную диванную, Башкирцев взял за локоть Дурдина и задержал шаги. Оставшийся сзади Дружинин успел услышать начало фразы...

— Ты же смотри...

И Дурдин громко ответил:

— Да что вы, Илья Андреич, рази я сам себе враг...

Это обращение Башкирцева к Дурдину на «ты» в связи с впечатлениями всего вечера вдруг без колебаний и переходов объяснило Дружинину многое, что раньше отпечатывалось в его мозгу туманно и неясно, как предчувствие. Он сразу вспомнил тысячу мелочей, наблюденных в доме Башкирцевых, которые, дополняя одна другую, объяснили ему нечто страшно неприятное, тяжелое и противное. Теперь небольшим фактам Дружинин придавал большое значение.

Перед ужином Башкирцев с гримасой оглядел костюм Риты и сказал:

— Ты бы, знаешь, тово... чужие люди, а у тебя этот артистический беспорядок.

Эта показная бутафорская роскошь и всегда какие-то деловые люди, шушуканье. Впечатление ожидания чего-то, что должно разрешиться и сделать всех счастливыми...

И Рита говорила часто: «Вот устроятся дела папы, мы поедем в Ниццу...»

А что это были за дела — никто точно не понимал, хоть при разговоре о них кивали сочувственно и на лица набегала тень глубокомыслия.

И когда Башкирцев, возвратившись из передней, расстегнул три пуговицы жилета и с облегченным видом актера, сошедшего со сцены, весело и громко по-домашнему сказал, — слушай, мамочка, нельзя ли нам чаю сюда, — Дружинин почувствовал, что он как будто состоит в молчаливом против кого-то заговоре.

— Вот, батюшка, видали синицу? Три миллиона нетронутых денег на текущем счету держит... — сказал Башкирцев, разваливаясь в кресле.

— Ну, что он, как? — с тревожным и униженным лицом нерешительно спросила Башкирцева.

— То есть, что это «как»? — строго сказал Башкирцев и дал этим понять, что вопрос, который затрагивает жена, чисто домашний, неудобный при посторонних.

— Павел Дмитриевич свой человек, — как бы оправдываясь, робко отозвалась жена.

Башкирцев выпустил из надутых щек воздух и расстегнул еще одну пуговицу жилета.

— Устал я сегодня зверски, — сказал он, подавив судорогу зевоты, и, помолчав, обратился к Дружинину с обычной у него уверенностью и определенностью голосовых интонаций: — Хотел я вас, дружище, попросить вот о чем: съездите, пожалуйста, ну, хоть завтра, в дом предварительного заключения и, если вам позволят увидеться с этой девицей, объясните ей, что это очень неделикатно с ее стороны людей, которые относились к ней хорошо, принимали участие, таскать по судам. Должна же она это понимать.

Рита, перебиравшая у рояля ноты, бросила тетради, выпрямилась и, опустив вдоль тела руки, как бы приготовилась к чему-то. Она значительно взглянула на Дружинина, но тот сидел в кресле согнувшись и глядел не то в пол, не то себе в колени.

— Я бы это сделал и сам, но вы видите, у меня минуты свободной нет... — добавил Башкирцев, так как Дружинин молчал.

Последний и на это ничего не ответил, а когда заговорил, то в это же время начал что-то говорить и Башкирцев, они столкнулись первыми слогами и замолчали...

— Виноват, что вы хотели сказать? — извинился Башкирцев.

— Меня немало удивляет, Илья Андреевич, — глухо и медленно начал Дружинин, не подымая головы, — что вы, не зная даже, как я смотрю на этот предмет, предлагаете мне уже ехать куда-то, что-то устраивать по тому плану, который вам нравится.

— То есть это вы о чем же? — наморщившись, спросил Башкирцев, в первый раз повернув лицо в сторону Дружинина.

— Да видите ли, дело в том, — заговорил Дружинин громче и встал с кресла, — что я на всю эту историю несчастия со Снежко смотрю, кажется, совершенно иначе, чем вы.

— Ах, вот как... тогда извините, пожалуйста, как же вы смотрите?

— Я смотрю так, что долг всякого порядочного человека помочь своему гибнущему ближнему... Тем более что и помощь эта в данном случае выражается в немногом: прийти в суд и сказать, что человек беспомощный, не умеющий заработать, страшно нуждался и выбрал из двух падений то, которое ему казалось легче... я так смотрю.

Рита все время стояла, не меняя позы, с немигающими, сделавшимися огромными глазами, и два раза, пока говорил Дружинин, думая, что он кончил уже, сорвавшимся голосом говорила: «Папочка».

— Ну, вы что можете сказать? — обратился к ней Башкирцев, когда Дружинин умолк и остановился у окна спиной к комнате.

— Папочка, ведь она действительно страшно нуждалась, ведь нужно же ей помочь, бедной, ведь иначе ее осудят...

— И помощь эта должна выражаться в том, — заговорил раздельно, сухо и металлически-звонко Башкирцев, — чтобы в публичном заседании столичного суда mademoiselle Башкирцева выступила как близкий друг подсудимой? Ведь другого положения нет.

Рита подняла к подбородку стиснутые руки и зазвеневшим голосом быстро заговорила:

— Папочка, но ведь ее иначе осудить могут, ведь кто там за нее заступится. Если ее осудят, я никогда себе этого не прощу, мне все будет казаться, что в этом я виновата.

— Что ты говоришь, Рита, — болезненно отозвалась Башкирцева, все время боявшаяся вступить в разговор, видя, что он благодаря данному Дружининым тону принимает серьезный, обостренный характер, — что ты говоришь, опомнись! Пусть уж Павел Дмитриевич так говорит, он чужой человек, но как ты нас и себя не жалеешь... ведь это такая грязь, такой ужас!.. ведь об этом станут в газетах писать... Я не говорю, конечно, но это может и на делах наших отразиться.

— Не говори глупостей! — сурово оборвал ее Башкирцев.

Дружинин быстро и резко обернулся от окна.

— И что вы так настойчиво говорите, Мария Павловна, о грязи? Поверьте, в каждом из нас столько грязи, что ее хватит на сто таких несчастных девушек, как Снежко.

Башкирцева вопросительно посмотрела на мужа.

— Я думаю, что тебе самое бы лучшее уйти отсюда, — сказал он дочери.

— Папочка... — вырвалось у Риты, и она, не отымая от подбородка рук, осталась на месте, как будто собираясь броситься перед кем-то на колени.

Все почувствовали, что какая-то струна, соединяющая находящихся в комнате, натянулась до последней возможности и собирается лопнуть.

Башкирцев близко начал рассматривать ногти и заговорил в нос и комкая слова:

— Я уже давно собирался вам сказать, Павел Дмитриевич (Дружинин в эту минуту подумал, что за несколько месяцев Башкирцев его в первый раз назвал по имени и отчеству)... но все как-то откладывал, теперь это, кажется, наиболее удобно...

Башкирцев похлопал пальцами правой руки по щиколоткам сжатой в кулак левой, потом быстро встал и почти весело, глядя прямо в глаза Дружинину, сказал:

— Я нахожу, что ваше общество вредно для моей дочери...

Как ни далек был Дружинин от слияния со всей этой, как он иногда называл, башкировщиной, но в эту минуту он почувствовал, что вся эта хорошо знакомая ему обстановка гостиной, эти люди, которых он видел довольно часто, и даже сама Рита — все вдруг как-то сразу отодвинулось и стало ему совершенно чужим и неприязненным. Сам Башкирцев, уверенный и неприятный, в расстегнутом сверху жилете, напоминал ему почему-то одно ресторанное столкновение, где пожилой господин коммерческо-кабинетного типа говорил с ним изысканно-вежливо, но Дружинин и бывшие с ним и даже лакей каждое мгновение ждали, что сейчас начнется свалка. Как и тогда, Дружинин почувствовал, что ему трудно дышать и легкий приступ какой-то общей нудности, похожей на тошноту. Вместе с тем в голове Дружинина быстро, вместе с приливом крови в виски, созрело решение, что теперь наступил «момент» и он должен сказать все то, что долго копилось в нем против Башкирцева и чего он никогда не собирался говорить ему.

— Вы это находите? — сказал Дружинин чужим голосом и высохшим ртом, и в переводе это значило: я тебя ненавижу̀...

— Да, я это нахожу, — ясно и резко ответил Башкирцев, прямо глядя в глаза Дружинину, и это означало: я тебя тоже.

— Рита, уйди отсюда, — крикнула Башкирцева.

— Папочка, папочка! — восклицала Рита...

Но у двух стоявших друг против друга людей уже началось то «нечто», что не ищет ни логики, ни оснований, не замечает места, времени, разницы возрастов, положений...

— Так я же вам на это скажу, — заговорил Дружинин вдруг окрепшим голосом бешенства, — что самое вредное, самое развращающее, самое грязное общество у вашей дочери это вы сами, ваши темные операции, жулики, с которыми вы водите компанию и устраиваете ваши делишки... бездельная жизнь не по средствам, отсутствие принципов в вас самих, прин-

ципов и человечности, — вот от чего она может развратиться, а не от моего общества...

Все на минуту окаменело... Привлеченный голосом Дружинина, в двери выглянул лакей и сейчас скрылся. Башкирцев, зажав в руке горсть брелоков от часов, очевидно, не знал еще, что он сейчас сделает.

— Или вы сию минуту уйдете, или я выброшу вас, как щенка, — сказал он, не разжимая зубов, и глаза его неестественно округлились, лицо стало похожим на кусок вареного мяса — обнаженное от светскости, приличий и напускного благодушия, оно представлялось только старым, животно необузданным и страшным.

— Поберегите эти угрозы для ваших лакеев, жалкий пройдоха!.. — крикнул Дружинин.

Башкирцев двинулся вперед, но его схватили сзади чьи-то руки. Это вскочила с места Башкирцева.

— Илья, что ты! Рита, уйди отсюда... — говорила она сквозь слезы.

Рита бросилась на средину комнаты.

— Папочка, Павел Дмитриевич, оставьте, голубчики вы мои, — говорила она, ломая руки и как будто опускаясь на колени.

— Павел Дмитриевич, уйдите ради бога! — кричала Дружинину Башкирцева.

— Я завтра же еду к градоначальнику и этого мазурика вышлю в двадцать четыре часа, — хрипел Башкирцев.

Дружинин уже не соображал, что он делает, и с побелевшими губами, с пеной в углах рта наступал на Башкирцева.

— Раньше, чем ты поедешь к градоначальнику, я Пташникову напишу... я выведу тебя на свежую воду с твоими дурдинскими коммерциями... не бывать твоему акционерству, врешь!.. Ты его в зятья метишь — и это я скажу, врешь... я все махинации разоблачу, печатно разоблачу... и к процессу Снежко я тебя притяну... там тоже кое-что есть... врешь.

Послышался чей-то женский визг и одновременно хруп и топот ног, что-то тяжелое потащили по полу. Это Башкирцев с изуродованным лицом бросился к Дружинину, но на нем повисли жена и дочь. И стран-

ным было в это время совершенное отсутствие прислуги, наполнявшей дом...

— Павел Дмитриевич, уходите, голубчик, уходите, — кричала ему Рита... оставила отца и потащила Дружинина к выходу...

Забрав в руки пальто, калоши и шапку, Дружинин вернулся к дверям. Рита не пускала его, но он продвинулся до половины и злорадно крикнул:

— О Пташникове, господин акционер, не забудьте, я вам покажу, кто кого вышлет...

Дома Дружинин, не раздеваясь, сел у стола и тупым, нежалеющим укусом зажал зубами мякоть пальца.

Прошло два дня. Дружинин получил письмо. На желтой дорогой бумаге с трепаными концами Башкирцев писал ему своим крупным министерским почерком:

«Павел Дмитриевич, в том, что произошло между нами, я думаю, не виноваты ни вы, ни я. Хорошие отношения не могут рваться между людьми только потому, что они очень нервны и не умеют сдерживать своих порывов. Приходите, мы будем вам очень рады. Сара Бернар даже заболела, бедняжка».

Дружинин ничего не ответил.

На другой день Башкирцев два раза приезжал к Дружинину, но не заставал его дома.

ПОЕДИНОК

I

Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли вразброс: около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познания своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большею частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность.

— Хлебников! Дьявол косорукой! — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в

голосе его слышалось начальственное страдание. — Я ж тебя учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказанье сполнил? Арестованного? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост?

В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства — и настоящего и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом:

— З-заколу!

— Да постой... да дурак ты... — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. — Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...

— Заколу! — кричал татарин испуганно и злобно и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем ученье.

Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое: поручик Веткин — лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак, говорун, певун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах,— весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.

— Свинство, — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой.— Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!

— А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч, — посоветовал с хитрым лицом Лбов.

— Черта с два. Подите, объясняйте сами. Главное — что? Главное — ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порют. И всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как

два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое — что-то около ста рублей. Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеля: «Ты что же, такой, разэтакий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лупает: «Так что не могу знать, вашескородие, что с ним случилось. Утром делали репетицию — восемь фунтов стрескал в один присест...» Так вот и наши... Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу.

— Вчера... — Лбов вдруг прыснул от смеха. — Вчера, уж во всех ротах кончили занятия, я иду на квартиру, часов уже восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой роте сигналы учат. Хором. «Наве-ди, до гру-ди, по-па-ди!» Я спрашиваю поручика Андрусевича: «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит: «Это мы, вроде собак, на луну воем».

— Все надоело, Кука! — сказал Веткин и зевнул.— Постойте-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек?

— Да. Бек-Агамалов,— решил зоркий Лбов.— Как красиво сидит.

— Очень красиво, — согласился Ромашов. — По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит. О-о-о! Заплясала. Кокетничает Бек.

По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким, по-английски, хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.

— Павел Павлыч, это правда, что он природный черкес? — спросил Ромашов у Веткина.

— Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!

— Подождите, я ему крикну, — сказал Лбов.

Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир:

— Поручик Агамалов! Бек!

Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам.

Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его, с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными, крепкими губами, было мужественно и красиво и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности — одновременно смуглой и матовой.

— Здравствуй, Бек, — сказал Веткин. — Ты перед кем там выфинчивал? Дэвыцы?

Бек-Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные, холеные усы...

— Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что? Я нуль внимания.

— Знаем мы, как вы плохо в шашки играете! — мотнул головой Веткин.

— Послушайте, господа, — заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. — Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они самые отчаянные наездники во всем мире...

— Не ври, фендрик! — сказал Бек-Агамалов.

Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.

— Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шка̀пы — с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание — знай себе жарит, куда попало, во весь карьер. Забор — так забор, овраг — так овраг. Через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту! Лихие ездоки!

— Что слышно нового, Бек? — спросил Веткин.

— Что нового? Ничего нового. Сейчас, вот только что, застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змий, не может

папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шульгович как рявкнет на него: «Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И прислуга здесь же была.

— Крепко завинчено! — сказал Веткин с усмешкой — не то иронической, не то поощрительной. — В четвертой роте он вчера, говорят, кричал: «Что вы мне устав в нос тычете? Я — для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!»

Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.

— А вот еще, господа, был случай с адъютантом в N-ском полку...

— Заткнитесь, Лбов, — серьезно заметил ему Веткин. — Эко вас прорвало сегодня.

— Есть и еще новость, — продолжал Бек-Агамалов. Он снова повернул лошадь передом ко Лбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену. — Есть и еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась не отточена... Чего ты трусишь, фендрик! — крикнул вдруг Бек-Агамалов на подпрапорщика. — Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.

— Ну ты, азиат!.. Убирайся со своим одром дохлым, — отмахивался Лбов от лошадиной морды. — Ты слыхал, Бек, как в N-ском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самим командующим войсками начала испанским шагом парадировать. Знаешь, так: ноги вверх и этак с боку на бок. Врезался, наконец, в головную роту — суматоха, крик, безобразие. А лошадь — никакого внимания, знай себе испанским шагом разделывает. Так Драгомиров сделал рупор — вот так вот — и кричит: «Поручи-ик, тем же аллюром на гауптвахту, на двадцать один день, ма-арш!..»

— Э, пустяки,— сморщился Веткин.— Слушай, Бек, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз препод-

нес. Это значит что же? Совсем свободного времени не останется? Вот и нам вчера эту уроду принесли.

Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из сырой глины чучело, представлявшее некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног.

— Что же вы? Рубили? — спросил с любопытством Бек-Агамалов. — Ромашов, вы не пробовали?

— Нет еще.

— Тоже! Стану я ерундой заниматься, — заворчал Веткин. — Когда это у меня время, чтобы рубить? С девяти утра до шести вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать и водки выпить. Я им, слава богу, не мальчик дался...

— Чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой.

— Зачем это, спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на сто шагов не подпустят. На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье да прикладом — бац-бац по башкам. Это вернее.

— Ну, хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что...

— Так что же? При чем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. Ро-ота, пли! — и дело в шляпе...

Бек-Агамалов сделал недовольное лицо.

— Э, ты все глупишь, Павел Павлыч. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье или в театре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак... возьмем крайность — даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?

Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы.

— Н-ну! Во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых... ну, что же я сделаю? Бацну в него из револьвера.

— А если револьвер дома остался? — спросил Лбов.

— Ну, черт... ну съезжу за ним... Вот глупости. Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафешан-

тане. И он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков. И все!..

Бек-Агамалов с досадой покачал головой.

— Знаю. Слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманным намерением и приговорил его. Что же тут хорошего? Нет, уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил...

Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул.

— Опять! — строго заметил Веткин.

— Господа... пожалуйста... Ха-ха-ха! В М-ском полку был случай. Подпрапорщик Краузе в Благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер — рраз ему в голову! На месте! Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся, он и его бах! Ну, понятно, все разбежались. А тогда Краузе спокойно пошел себе в лагерь, на переднюю линейку, к знамени. Часовой окрикивает: «Кто идет?» — «Подпрапорщик Краузе, умереть под знаменем!» Лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал.

— Молодчина! — сказал Бек-Агамалов.

Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно «разнес пасхальную кучку». В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальной зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе — не то в Москве, не то в Петербурге — офицер застрелил, «как собаку», штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают.

Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки и откашливаясь, вмешался в разговор:

— А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика я, положим, не считаю... да... Но если штат-

ский... как бы это сказать?.. Да... Ну, если он порядочный человек, дворянин и так далее... зачем же я буду на него, безоружного, нападать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать...

— Э, чепуху вы говорите, Ромашов, — перебил его Веткин. — Вы потребуете удовлетворения, а он скажет: «Нет... э-э-э... я, знаете ли, вообще... э-э... не признаю дуэли. Я противник кровопролития... И кроме того, э-э... у нас есть мировой судья...» Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мордой.

Бек-Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой.

— Что? Ага! Соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю: учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде...

— А на людях? — вставил Лбов.

— И на людях, — спокойно ответил Бек-Агамалов. — Да еще как рубят! Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар! А то, что и мараться.

— А ты, Бек, можешь так?

Бек-Агамалов вздохнул с сожалением:

— Нет, не могу... Барашка молодого пополам пересеку... пробовал даже телячью тушу... а человека, пожалуй, нет... не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю, а так, чтобы наискось... нет. Мой отец это делал легко...

— А ну-ка, господа, пойдемте попробуем, — сказал Лбов молящим тоном, с загоревшимися глазами. — Бек, милочка, пожалуйста, пойдем...

Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил Веткин. Придав озверелое выражение своему доброму, простоватому лицу, он изо всей силы, с большим, неловким размахом, ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук — хрясь! — который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывязил его оттуда.

— Плохо! — заметил, покачав головой, Бек-Агамалов. — Вы, Ромашов...

Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно

поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав, и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эспадронах он не умел даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку.

— Руку! — крикнул Бек-Агамалов.

Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка черкнул по глине. Ожидавший бо́льшего сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.

— Эх! Вот видите! — воскликнул сердито Бек-Агамалов, слезая с лошади. — Так и руку недолго отрубить. Разве же можно так обращаться с оружием? Да ничего, пустяки, завяжите платком потуже. Институтка. Подержи коня, фендрик. Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти. — Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. — Теперь глядите: левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергивайте шашку назад... Понимаете? И притом помните твердо: плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара, непременно. От этого угол становится острее. Вот, смотрите.

Бек-Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым, прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная.

— Ах, черт! Вот это удар! — воскликнул восхищенный Лбов. — Бек, голубчик, пожалуйста, еще раз.

— А ну-ка, Бек, еще, — попросил Веткин.

Но Бек-Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и с оскаленными зубами, был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.

— Это что? Это разве рубка? — говорил он с напускным пренебрежением. — Моему отцу, на Кавказе, было шестьдесят лет, а он лошади перерубал шею. Пополам! Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают: поставят ивовый прут в тиски и рубят, или воду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит удар был верный. Ну, Лбов, теперь ты.

К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев.

— Ваше благородие... Командир полка едут!

— Сми-ирррна! — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади.

Офицеры торопливо разошлись по своим взводам.

Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее с одной стороны тяжело вылез, наклонив весь кузов набок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, поручик Федоровский — высокий, щеголеватый офицер.

— Здорово, шестая! — послышался густой, спокойный голос полковника.

Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца:

— Здравия желаем, ваш-о-о-о!

Офицеры приложили руки к козырькам фуражек.

— Прошу продолжать занятия, — сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу.

Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы, предлагал солдатам вопросы из гарнизонной службы и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью,

которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески бледных, выцветших, строгих глаз, и они смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, ко лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом и таким образом имело форму большого, тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса — голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру, — был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе.

— Ты кто такой? — отрывисто спросил полковник, внезапно остановившись перед молодым солдатом Шарафутдиновым, стоявшим у гимнастического забора.

— Рядовой шестой роты Шарафутдинов, ваша высокоблагородия! — старательно, хрипло крикнул татарин.

— Дурак! Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?

Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, молчал и только моргал веками.

— Н-ну? — возвысил голос Шульгович.

— Который лицо часовой... неприкосновенно... — залепетал наобум татарин. — Не могу знать, ваша высокоблагородия, — закончил он вдруг тихо и решительно.

Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим румянцем, а его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил:

— Кто здесь младший офицер?

Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке.

— Я, господин полковник.

— А-а! Подпоручик Ромашов. Хорошо вы, должно быть, занимаетесь с людьми. Колени вместе! — гаркнул вдруг Шульгович, выкатывая глаза. — Как стоите в

присутствии своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерн-офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей... Ты, собачья душа, — повернулся Шульгович к Шарафутдинову, — кто у тебя полковой командир?

— Не могу знать, — ответил с унынием, но поспешно и твердо татарин.

— У!..... Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто — я? Понимаешь, я, я, я, я, я!.. — И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди.

— Не могу знать...

— .. — ... — выругался полковник длинной, в двадцать слов, запутанной и циничной фразой. — Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет, каналья, под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе-с. Вальсы танцуете? Поль де Коков читаете?.. Что же это — солдат, по-вашему? — ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову. — Это — срам, позор, омерзение, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает... У-д-дивляюсь вам, подпоручик!..

Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами... И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо:

— Это — татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, и кроме того...

У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки и глаза сделались совсем пустыми и страшными.

— Что?! — заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. — Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапорщик позволяет себе... Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. А

капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушить своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге.

Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька фуражки.

— Стыдно вам-с, капитан Слива-с, — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. — Один из лучших офицеров в полку, старый служака — и так распускаете молодежь. Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться. Не барышни, не размокнут...

Он круто повернулся и, в сопровождении адъютанта, пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу стояла робкая, недоумелая тишина.

— Эх, ба-тень-ка! — с презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам. — Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не...

Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой, в свою грязную, старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности: строевая красота своей роты и тихое, уединенное ежедневное пьянство по вечерам — «до подушки», как выражались в полку старые запойные бурбоны.

И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице, словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренно:

«Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком грусти...»

II

Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей, — это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят; в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского обеда — скучно!..

«Пойду на вокзал, — сказал сам себе Ромашов. — Все равно».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со странным очарованием, взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, останавливался — «точно великан, ухватившийся с разбега за скалу», — думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных ко-

стюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова; но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество...

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал», — подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по платформе мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посредине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием оста-

новились на стройной, худощавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

— Нет, куда уж на вокзал, — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов. — Похожу немного, а потом домой...

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималось куполом вверх, зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильянты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги.

И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неописуемой радости, не знающие преград в счастии и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой...

Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу, грубые крики полкового командира, чувство пережитой обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство.

И в нем тотчас же, точно в мальчике, — в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого,— закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. «Глупости! Вся жизнь передо мной! — думал Ромашов, и, в увлечении своими мыслями, он зашагал бодрее и задышал глубже. — Вот, назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию. Труд! О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять только себя в руки. Буду зубрить, как бешеный... И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен. И тогда наверно все они скажут: «Что же тут такого удивительного? Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек».

И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым офицером генерального штаба, подающим громадные надежды... Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но — нет — он идет в строй. Надо отбывать срок командования ротой. Непременно, уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда — изящный, снисходительно-небрежный,

корректный и дерзко-вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него: он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы.

Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится, — ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте, — обращается он к Ромашову. — Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились? Уж, пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на седле, отвечает с спокойно-высокомерным видом: «Виноват, господин полковник... Это — ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. Мое дело — принимать приказания и исполнять их...» А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором.

Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры... Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара, огромная воющая толпа, летят камни... Стройный, красивый капитан выходит вперед роты. Это — Ромашов. «Братцы, — обращается он к рабочим, — в третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять!..» Крики, свист, хохот... Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное, открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад, к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе, пальба ротою... Рота-а, пли!..» Сто выстрелов сливаются в один... Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу... Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество.

А там война... Нет, до войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него, он вне законов. Удастся ему достать ценные сведения — у него деньги, чины, положение, известность, нет — его расстреляют без суда, без всяких формальностей, рано утром во рву какого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо: «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью: «Это напрасно, полковник, благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты, — говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, — прошу вас о товарищеской услуге: цельтесь в сердце!» Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. Залп...

Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми, большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съежился и продолжал путь.

Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная, кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы, гранаты, кровь, смерть! Это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят

последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы, они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент! Продержаться бы еще минуту, две — и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении; он храбр — это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет... Вот он уже сделал знак горнисту играть отступление, вот уже солдат приложил рожок к губам, но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба, полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь решается судьба России!..» Шульгович вспыхивает: «Полковник! Здесь я командую, и я отвечаю перед богом и государем! Горнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и родина смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком ринулись солдаты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей, обходной колонны. «Ура, братцы, победа!..»

Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада.

— Какие, однако, глупости лезут в башку! — прошептал он сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые кверху плечи.

III

Придя к себе, Ромашов, как был, в пальто, не сняв даже шашки, лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально глядя в потолок. У него болела голова и ломило спину, а в душе была такая пустота, точно там никогда не рождалось ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств; не ощущалось даже ни раздражения, ни скуки, а просто лежало что-то большое, темное и равнодушное.

За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые апрельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно гремя чем-то металлическим.

«Вот странно, — говорил про себя Ромашов, — где-то я читал, что человек не может ни одной секунды не думать. А я вот лежу и ни о чем не думаю. Так ли это? Нет, я сейчас думал о том, что ничего не думаю, — значит, все-таки какое-то колесо в мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя, стало быть опять-таки думаю...»

И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно: как будто у него под черепом расплылась серая, грязная паутина, от которой никак нельзя было освободиться. Он поднял голову с подушки и крикнул:

— Гайна́н!..

В сенях что-то грохнуло и покатилось — должно быть, самоварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гнались сзади.

— Я, ваше благородие! — крикнул Гайнан испуганным голосом.

— От поручика Николаева никто не был?

— Никак нет, ваше благородие! — крикнул Гайнан.

Между офицером и денщиком давно уже установились простые, доверчивые, даже несколько любовно-фамильярные отношения. Но когда дело доходило до казенных официальных ответов, вроде «точно так», «никак нет», «здравия желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, каким всегда говорят

солдаты с офицерами в строю. Это была бессознательная привычка, которая въелась в него с первых дней его новобранства и, вероятно, засела на всю жизнь.

Гайнан был родом черемис, а по религии — идолопоклонник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ромашову. В полку между молодыми офицерами была распространена довольно наивная, мальчишеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходили в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего денщика-молдаванина: «А что, Бузескул, осталось у нас в погребе еще шампанское?» Бузескул отвечал на это совершенно серьезно: «Никак нет, ваше благородие, вчера изволили выпить последнюю дюжину». Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. «Какого ты мнения, друг мой, — спрашивал он, — о реставрации монархического начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув, отвечал: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо». Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы: «Почему сие важно в-третьих?» — «Сие в-третьих не важно», или: «Какого мнения о сем святая церковь?» — «Святая церковь о сем умалчивает». У него же денщик декламировал с нелепыми трагическими жестами монолог Пимена из «Бориса Годунова». Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски: бонжур, мусьё; бонн нюит, мусьё; вуле ву дю те, мусьё [1], — и все в том же роде, что придумывалось, как оттяжка, от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных.

Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также, в особенности, о том, как он принимал присягу на верность престолу и

---

[1] Здравствуйте, сударь; доброй ночи, сударь; хотите чаю, сударь (*франц.*).

родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время когда формулу присяги читал православным — священник, католикам — ксендз, евреям — раввин, протестантам, за неимением пастора — штабс-капитан Диц, а магометанам — поручик Бек-Агамалов, — с Гайнаном была совсем особая история. Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический смысл этого обряда был, кажется, таков: вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина, — пусть же меня покарает железо, если я буду неверен. Гайнан, по-видимому, несколько гордился этим исключительным обрядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подробности, то в конце концов у него получилась какая-то фантастическая, невероятно нелепая и вправду смешная сказка, весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему подпоручиков.

Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло:

— Ну, хорошо... ступай себе...

— Суртук тебе новый приготовить, ваше благородие? — заботливо спросил Гайнан.

Ромашов молчал и колебался. Ему хотелось сказать — да... потом — нет, потом опять — да. Он глубоко, по-детски, в несколько приемов, вздохнул и ответил уныло:

— Нет уж, Гайнан... зачем уж... бог с ними... Давай, братец, самовар, да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж!

«Сегодня нарочно не пойду, — упрямо, но бессильно подумал он. — Невозможно каждый день надоедать людям, да и... вовсе мне там, кажется, не рады».

В уме это решение казалось твердым, но где-то глубоко и потаенно в душе, почти не проникая в сознание, копошилась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это почти ежедневно в последние три месяца,

все-таки пойдет к Николаевым. Каждый день, уходя от них в двенадцать часов ночи, он, со стыдом и раздражением на собственную бесхарактерность, давал себе честное слово пропустить неделю или две, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел к себе, пока ложился в постель, пока засыпал, он верил тому, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер, и его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом, в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и, главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства.

Ромашов сел на кровати. Становилось темно, но он еще хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть каждый день все те же убогие немногочисленные предметы его «обстановки». Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на крошечном письменном столе, рядом с круглым, торопливо стучащим будильником и чернильницей в виде мопса; на стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тигра и верхового арапа с копьем; жиденькая этажерка с книгами в одном углу, а в другом фантастический силуэт виолончельного футляра; над единственным окном соломенная штора, свернутая в трубку; около двери простыня, закрывающая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же вещи, за исключением, впрочем, виолончели; ее Ромашов взял из полкового оркестра, где она была совсем не нужна, но, не выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее и музыку еще год тому назад.

Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаводился этими пошлыми предметами. Конечно — своя квартира, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу — все это наполняло самолюбивым восторгом душу двадцатилетнего мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю, вместе с товарищами. И как много было надежд и планов в то время, когда покупа-

лись эти жалкие предметы роскоши!.. Какая строгая программа жизни намечалась! В первые два года — основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год — подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены: «Психология» Вундта, «Физиология» Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса...

И вот книги лежат уже девять месяцев на этажерке, и Гайнан забывает сметать с них пыль, газеты с неразорванными бандеролями валяются под письменным столом, журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы, а сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании, имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа, играет в штосс и все чаще и чаще тяготится и службой, и товарищами, и собственной жизнью.

— Виноват, ваше благородие! — крикнул денщик, внезапно с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил совершенно другим, простым и добродушным тоном: — Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Денщик принес, велел тебе ответ писать.

Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий розовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в клюве.

— Зажги лампу, Гайнан, — приказал он денщику.

«Милый, дорогой, усатенький Жоржик, — читал Ромашов хорошо знакомые ему, катящиеся вниз, неряшливые строки. — Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в 7½ часов вечера. *Его* не будет дома, он будет на тактических занятиях, и я тебя крепко, креп-

ко, крепко расцелую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя 1 000 000 000... раз. Вся твоя *Раиса.*

P. S. Помнишь ли, милая, ветки могучие
Ивы над этой рекой,
Ты мне дарила лобзания жгучие,
Их разделял я с тобой.

Р.

P. P. S. Вы непременно, непременно должны быть в собрании на вечере в следующую субботу. Я вас заранее приглашаю на 3-ю кадриль. По значению!!!!!!

R. P.»

И наконец в самом низу четвертой страницы было изображено следующее:

Я здесь поцеловала

От письма пахло знакомыми духами — персидской сиренью; капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные стороны. Этот приторный запах, вместе с пошло-игривым тоном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжеволосым, маленьким, лживым лицом, вдруг поднял в Ромашове нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на четыре части, и еще, и еще, и когда, наконец, рукам стало трудно рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о самом себе картинно в третьем лице:

«И он рассмеялся горьким, презрительным смехом».

Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет к Николаевым. «Но это уж в самый, самый последний раз!» — пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело и спокойно:

— Гайнан, одеваться!

Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил чистый носовой платок цветочным одеколоном. Но когда он, уже совсем одетый, собрался выходить, его неожиданно остановил Гайнан.

— Ваше благородие! — сказал черемис необычным мягким и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте. Он всегда так танцевал, когда сильно волновался или смущался чем-нибудь: выдвигал то одно, то другое колено вперед, поводил плечами, вытягивал и прямил шею и нервно шевелил пальцами опущенных рук.

— Что тебе еще?

— Ваше благородие, хочу тебе, поджаласта, очень попросить. Подари мне белый господин.

— Что такое? Какой белый господин?

— А который велел выбросить. Вот этот, вот...

Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пушкина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разносчика. Этот бюст, кстати изображавший, несмотря на надпись на нем, старого еврейского маклера, а не великого русского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно приказал на днях Гайнану выбросить его на двор.

— Зачем он тебе? — спросил подпоручик смеясь. — Да бери, сделай милость, бери. Я очень рад. Мне не нужно. Только зачем тебе?

Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу.

— Ну, да ладно, бог с тобой, — сказал Ромашов. — Только ты знаешь, кто это?

Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще прежнего.

— Я не знай... — И утер рукавом губы.

— Не знаешь — так знай. Это — Пушкин. Александр Сергеич Пушкин. Понял? Повтори за мной: Александр Сергеич...

— Бесиев, — повторил решительно Гайнан.

— Бесиев? Ну, пусть будет Бесиев, — согласился Ромашов. — Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина!.. Возьми из собрания мой ужин и можешь его съесть.

Он дружелюбно хлопнул по плечу черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.

IV

На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь, так что сначала Ромашову приходилось, точно слепому, ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных калошах уходили глубоко в густую, как рахат-лукум, грязь и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога, и тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге, другой ногой впотьмах наугад отыскивать исчезнувшую калошу.

Местечко точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струился туманными прямыми полосами свет и длинными косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких заборов, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним, крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раздражающим. Даже сильный ветер, стремительно носившийся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно вздрагивая, путаясь и шаля.

Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. Маленькие окна были закрыты плотными коричневыми занавесками, но за ними чувствовался ровный, яркий свет. В одном месте портьера загнулась, образовав длинную, узкую щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь дышать как можно тише, точно его могли услышать в комнате.

Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей глубоко и немного сгорбившись на знакомом диване из зеленого рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове видно было, что она занята рукодельем.

Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула... Губы ее шевелятся... «Что она говорит? — думал Ромашов. — Вот улыбнулась. Как это странно — глядеть сквозь окно на говорящего человека и не слышать его!»

Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны, лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выражением зашевелились губы, и вдруг опять улыбка — шаловливая и насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицательно. «Может быть, это про меня?» — робко подумал Ромашов. Чем-то тихим, чистым, беспечно-спокойным веяло на него от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь, точно нарисованную на какой-то живой, милой, давно знакомой картине. «Шурочка!» — прошептал Ромашов нежно.

Александра Петровна неожиданно подняла лицо от работы и быстро, с тревожным выражением повернула его к окну. Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало совестно. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел себя и через калитку прошел в кухню.

В то время как денщик Николаевых снимал с него грязные калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он протирал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны:

— Степан, это приказ принесли?

«Это она нарочно! — подумал, точно казня себя, подпоручик. — Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу».

— Нет, это я, Александра Петровна! — крикнул он в дверь фальшивым голосом.

— А! Ромочка! Ну, входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел.

Ромашов вошел, смущенно и неловко сгорбившись и без нужды потирая руки.

— Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна.

Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно, но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно неестественно.

— Опять за глупости! — воскликнула Александра Петровна. — Садитесь, будем чай пить.

Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она, по обыкновению, энергично пожала своей маленькой, теплой и мягкой рукой его холодную руку.

Николаев сидел спиной к ним, у стола, заваленного книгами, атласами и чертежами. Он в этом году должен был держать экзамен в академию генерального штаба и весь год упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий экзамен, так как два года подряд он проваливался.

Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним книгу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал спокойным, густым голосом:

— Здравствуйте, Юрий Алексеич. Новостей нет? Шурочка! Дай ему чаю. Уж простите меня, я занят.

«Конечно, я напрасно пришел, — опять с отчаянием подумал Ромашов. — О, я дурак!»

— Нет, какие же новости... Центавр разнес в собрании подполковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ротах требует рубку чучел... Епифана закатал под арест.

— Да? — рассеянно переспросил Николаев. — Скажите пожалуйста.

— Мне тоже влетело — на четверо суток... Одним словом, новости старые.

Ромашову казалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким я, должно быть, кажусь жалким!» — подумал он, но тотчас же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто прибегают застенчивые люди: «Ведь это всегда, когда конфузишься, то думаешь, что все это видят, а на самом деле только тебе это заметно, а другим вовсе нет».

Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и занавески в доме были связаны ее руками.

Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка к ее руке, и спросил:

— Как называется это вязанье?

— Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете.

Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпоручика и так же быстро опустила глаза на вязанье. Но сейчас же опять подняла их и засмеялась.

— Да вы ничего, Юрий Алексеич... вы посидите и оправьтесь немного. «Оправьсь!» — как у вас командуют.

Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Николаева, резко белевшую над воротником серой тужурки.

— Счастливец Владимир Ефимыч, — сказал он. — Вот летом в Петербург поедет... в академию поступит.

— Ну, это еще надо посмотреть! — задорно, по адресу мужа, воскликнула Шурочка. — Два раза с позором возвращались в полк. Теперь уж в последний.

Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе лицо с пушистыми усами покраснело, а большие, темные, воловьи глаза сердито блеснули.

— Не болтай глупостей, Шурочка! Я сказал: выдержу — и выдержу. — Он крепко стукнул ребром ладони по столу. — Ты только сидишь и каркаешь. Я сказал!..

— Я сказал! — передразнила его жена и тоже, как и он, ударила маленькой смуглой ладонью по колену. — А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условиям должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете, — бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову, — я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка, ты, Володя, офицер генерального штаба, — каким условиям?

— Глупости, Шурочка, отстань, — недовольно буркнул Николаев.

Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах показалось растерянное недоумение, почти испуг.

— Постой, девочка, а ведь я и в самом деле не все помню. Боевой порядок? Боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы было удобно командовать... Потом... постой...

— За постой деньги платят, — торжествующе перебила Шурочка.

И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица, опустив веки и покачиваясь:

— Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности; он должен возможно меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок... Все!..

Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся, подвижное лицо к Ромашову, спросила:

— Хорошо?

— Черт, какая память! — завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки.

— Мы ведь всё вместе, — пояснила Шурочка. — Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное, — она ударила по воздуху вязальным крючком, — самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук — вот артиллерия мне, правда, не дается: все какие-то противные формулы, особенно в баллистике, — потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день география с историей.

— А русский? — спросил Ромашов из вежливости.

— Русский? Это — пустое. Правописание по Гроту мы уже одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. «Para pacem, para bellum» [1]. «Характеристика Онегина в связи с его эпохой»...

И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика нитку, как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю главную суть ее теперешней жизни.

— Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка! Поймите меня! Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу

---

[1] «Если хочешь мира, готовься к войне» *(лат.)*.

разных суточных и прогонных... каких-то грошей!.. бррр... устраивать поочередно с приятельницами эти пошлые «балки», играть в винт... Вот, вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради бога, на это мещанское благополучие! Эти филе и гипюрчики — я их сама связала, это платье, которое я сама переделывала, этот омерзительный мохнатенький ковер из кусочков... все это гадость, гадость! Поймите же, милый Ромочка, что мне нужно общество, большое, настоящее общество, свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и — клянусь — я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе, во мне есть — я не знаю, как это выразить, — есть такая гибкость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться... Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна как человек и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте!

И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплакалась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами.

Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огоньком.

— Ничего, Володя, ничего, милый, — отстранила она его рукой.

И, уже со смехом обращаясь к Ромашову и опять отнимая у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым смехом:

— Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет? Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей — верх невежливости!

— Шурочка, ну как тебе не стыдно, — рассудительно произнес с своего места Николаев.

Ромашов страдальчески-застенчиво улыбнулся, но вдруг ответил чуть-чуть задрожавшим голосом, серьезно и печально:

— Очень красивы!..

Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу.

— Ро-омочка, какой вы смешно-ой! — пропела она тоненьким детским голоском.

А подпоручик, покраснев, подумал про себя, по обыкновению: «Его сердце было жестоко разбито...»

Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Владимир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы из самоучителя Туссена и Лангеншейдта, тихонько бормотал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и шипел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихоньку, еле заметно для самого себя, потягивал ее из рук молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке.

В то же время он сбоку, незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя, молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор:

«Как она смело спросила: хороша ли я? О! Ты прекрасна! Милая! Вот я сижу и гляжу на тебя — какое счастье! Слушай же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие губы — как они должны целовать! — и глаза, окруженные желтоватой тенью... Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потро-

гать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная, у тебя грудь, как у девушки, ты вся — порывистая, подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая родинка, точно след от сережки, — это прелестно!..»

— Вы не читали в газетах об офицерском поединке? — спросила вдруг Шурочка.

Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза.

— Нет, не читал. Но слышал. А что?

— Конечно, вы, по обыкновению, ничего не читаете. Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло что-то нелепое. Я понимаю: поединки между офицерами — необходимая и разумная вещь. — Шурочка убедительно прижала вязанье к груди. — Но зачем такая бестактность? Подумайте: один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое, и общество офицеров постановляет поединок. Но дальше идет чепуха и глупость. Условия — прямо вроде смертной казни: пятнадцать шагов дистанции и драться до тяжелой раны... Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возобновляются. Но ведь это — бойня, это... я не знаю что! Но, погодите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-то в кустах помещается фотограф. Ведь это ужас, Ромочка! И несчастный подпоручик, фендрик, как говорит Володя, вроде вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает после третьего выстрела страшную рану в живот и к вечеру умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка мать и сестра, старая барышня, которые с ним жили, вот как у нашего Михина... Да послушайте же: для чего, кому нужно было делать из поединка такую кровавую буффонаду? И это, заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разрешения поединков. И вот поверьте мне, поверьте! — воскликнула Шурочка, сверкая загоревшимися глазами, — сейчас же сентиментальные противники офицерских дуэлей, — о, я знаю этих презренных либеральных трусов! — сейчас же они загалдят: «Ах, варварство! Ах, пережиток диких времен! Ах, братоубийство!»

— Однако вы кровожадны, Александра Петровна! — вставил Ромашов.

— Не кровожадна, — нет! — резко возразила она. — Я жалостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Но, попробуйте понять, Ромашов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость, уменье не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Кажется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы поединки, — потому что понятие о чести, да еще преувеличенное, в крови у каждого француза, — не немецким, — потому что от рождения все немцы порядочны и дисциплинированны, — а нам, нам, нам! Тогда у нас не будет в офицерской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или беспросыпных пьяниц, вроде вашего Назанского; тогда само собой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании, при прислуге, это ваше взаимное сквернословие, пускание в голову друг другу графинов, с целью все-таки не попасть, а промахнуться. Тогда вы не будете за глаза так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно быть взвешено. Офицер — это образец корректности. И потом, что за нежности: боязнь выстрела! Ваша профессия — рисковать жизнью. Ах, да что!

Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в работу. Опять стало тихо.

— Шурочка, как перевести по-немецки — соперник? — спросил Николаев, подымая голову от книги.

— Соперник? — Шурочка задумчиво потрогала крючком пробор своих мягких волос. — А скажи всю фразу.

— Тут сказано... сейчас, сейчас... Наш заграничный соперник...

— Unser ausländischer Nebenbuhler, — быстро, тотчас же перевела Шурочка.

— Унзер, — повторил шепотом Ромашов, мечтательно заглядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь взволнует, — подумал он, — то слова у нее вылетают так стремительно, звонко и отчетливо, точно

сыплется дробь на серебряный поднос». Унзер — какое смешное слово... Унзер, унзер, унзер...

— Что вы шепчете, Ромочка? — вдруг строго спросила Александра Петровна. — Не смейте бредить в моем присутствии.

Он улыбнулся рассеянной улыбкой.

— Я не брежу... Я все повторял про себя: унзер, унзер. Какое смешное слово...

— Что за глупости... Унзер? Отчего смешное?

— Видите ли... — Он затруднялся, как объяснить свою мысль. — Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет таким... как бы вам сказать?..

— Ах, знаю, знаю! — торопливо и радостно перебила его Шурочка. — Но только это теперь не так легко делать, а вот раньше, в детстве, — ах как это было забавно!..

— Да, да, именно в детстве. Да.

— Как же, я отлично помню. Даже помню слово, которое меня особенно поражало: «может быть». Я все качалась с закрытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть...» И вдруг — совсем позабывала, что оно значит, потом старалась — и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это какое-то коричневое, красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь?

Ромашов с нежностью поглядел на нее.

— Как это странно, что у нас одни и те же мысли, — сказал он тихо. — А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое, и очень злое.

— Унзер? — Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов. — Нет, погодите: это что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же — насекомое! Вроде кузнечика, только противнее и злее... Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка.

— А то вот еще бывает, — начал таинственно Ромашов, — и опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше. Растягиваю бесконечно

каждую букву. И вдруг на один момент мне сделается так странно, странно, как будто бы все вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что это я говорю, что я живу, что я думаю.

— О, я тоже это знаю! — весело подхватила Шурочка. — Но только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил, и думаю: вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих пор, и до сих, и до сих... И тогда наступало это странное. Я чувствовала, как мимо меня проходило время. Нет, это не то: может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить.

Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повторял глухим, счастливым, тихим голосом:

— Да, да... этого нельзя объяснить... Это странно... Это необъяснимо...

— Ну, однако, господа психологи, или как вас там, довольно, пора ужинать, — сказал Николаев, вставая со стула.

От долгого сиденья у него затекли ноги и заболела спина. Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх руками и выгнул грудь, и все его большое, мускулистое тело захрустело в суставах от этого мощного движения.

В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был поставлен графинчик с водкой. Собрав свое милое лицо в брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она и часто спрашивала:

— Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись?

Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства поперхнулся водкой и закашлялся.

— Как вам не совестно! — наставительно заметила хозяйка. — Еще и пить не умеете, а тоже... Я понимаю, вашему возлюбленному Назанскому простительно, он отпетый человек, но вам-то зачем? Молодой такой, славный, способный мальчик, а без водки не сядете за стол... Ну зачем? Это все Назанский вас портит.

Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул:

— Ах, кстати: Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю-у! Это значит — запил. Вы, Юрий Алексеич, наверно, его видели? Что он, закурил?

Ромашов смущенно заморгал веками.

— Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет...

— Ваш Назанский — противный! — с озлоблением, сдержанным низким голосом сказала Шурочка. — Если бы от меня зависело, я бы этаких людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка, мерзость!

Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и, наконец, откровенно заметил:

— Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? «Соснуть», как говорилось в старых добрых романах.

— Это совершенно справедливо, Владимир Ефимыч, — подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось, торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вставая из-за стола, он подумал уныло: «Да, со мной здесь не церемонятся. И только зачем я лезу?»

У него было такое впечатление, как будто Николаев с удовольствием выгоняет его из дому. Но тем не менее, прощаясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с наслаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и ласкающее пожатие милой женской руки. Об этом он думал каждый раз уходя. И когда этот момент наступил, то он до такой степени весь ушел душой в это очаровательное пожатие, что не слышал, как Шурочка сказала ему:

— Вы, смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните: мы с вами не церемонимся.

Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, только выйдя на улицу.

— Да, со мной не церемонятся, — прошептал он с той горькой обидчивостью, к которой так болезненно склонны молодые и самолюбивые люди его возраста.

V

Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее. Подпоручик ощупью шел вдоль плетня, держась за него руками, и дожидался, пока его глаза привыкнут к мраку. В это время дверь, ведущая в кухню Николаевых, вдруг открылась, выбросив на мгновение в темноту большую полосу туманного желтого света. Кто-то зашлепал по грязи, и Ромашов услышал сердитый голос денщика Николаевых, Степана:

— Ходить, ходить кажын день. И чего ходить, черт его знает!..

А другой солдатский голос, незнакомый подпоручику, ответил равнодушно, вместе с продолжительным, ленивым зевком:

— Дела, братец ты мой... С жиру это все. Ну, прощевай, что ли, Степан.

— Прощай, Баулин. Заходи когда.

Ромашов прилип к забору. От острого стыда он покраснел, несмотря на темноту; все тело его покрылось сразу испариной, и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах и на спине. «Кончено! Даже денщики смеются», — подумал он с отчаянием. Тотчас же ему припомнился весь сегодняшний вечер, и в разных словах, в тоне фраз, во взглядах, которыми обменивались хозяева, он сразу увидел много не замеченных им раньше мелочей, которые, как ему теперь казалось, свидетельствовали о небрежности и о насмешке, о нетерпеливом раздражении против надоедливого гостя.

— Какой позор, какой позор! — шептал подпоручик, не двигаясь с места. — Дойти до того, что тебя едва терпят, когда ты приходишь... Нет, довольно. Теперь я уж твердо знаю, что довольно!

В гостиной у Николаевых потух огонь. «Вот они уже в спальне», — подумал Ромашов и необыкновенно ясно представил себе, как Николаевы, ложась спать, раздеваются друг при друге с привычным равнодушием и бесстыдством давно женатых людей и говорят о нем. Она в одной юбке причесывает перед зеркалом на ночь волосы. Владимир Ефимович сидит в нижнем

белье на кровати, снимает сапог и, краснея от усилия, говорит сердито и сонно: «Мне, знаешь, Шурочка, твой Ромашов надоел вот до каких пор. Удивляюсь, чего ты с ним так возишься?» А Шурочка, не выпуская изо рта шпилек и не оборачиваясь, отвечает ему в зеркало недовольным тоном: «Вовсе он не мой, а твой!..»

Прошло еще пять минут, пока Ромашов, терзаемый этими мучительными и горькими мыслями, решился двинуться дальше. Мимо всего длинного плетня, ограждавшего дом Николаевых, он прошел крадучись, осторожно вытаскивая ноги из грязи, как будто его могли услышать и поймать на чем-то нехорошем. Домой идти ему не хотелось: даже было жутко и противно вспоминать о своей узкой и длинной, об одном окне, комнате со всеми надоевшими до отвращения предметами. «Вот, *назло ей*, пойду к Назанскому, — решил он внезапно и сразу почувствовал в этом какое-то мстительное удовлетворение. — Она выговаривала мне за дружбу с Назанским, так вот же назло! И пускай!..»

Подняв глаза к небу и крепко прижав руку к груди, он с жаром сказал про себя: «Клянусь, клянусь, что я в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать такого унижения. Клянусь!»

И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно:

«Его выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!»

Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные — желтоватые, с зеленым ободком.

Назанский снимал комнату у своего товарища, поручика Зегржта. Этот Зегржт был, вероятно, самым старым поручиком во всей русской армии, несмотря на безукоризненную службу и на участие в турецкой кампании. Каким-то роковым и необъяснимым образом ему не везло в чинопроизводстве. Он был вдов, с четырьмя маленькими детьми, и все-таки кое-как изворачивался на своем сорокавосьмирублевом жалованье. Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам, держал столовников, разводил кур и индюшек, умел как-то особенно дешево и заблаговременно покупать дрова. Детей своих он сам купал

в корытцах, сам лечил их домашней аптечкой и сам шил им на швейной машине лифчики, панталончики и рубашечки. Еще до женитьбы Зегржт, как и очень многие холостые офицеры, пристрастился к ручным женским работам, теперь же его заставляла заниматься ими крутая нужда. Злые языки говорили про него, что он тайно, под рукой отсылает свои рукоделия куда-то на продажу.

Но все эти мелочные хозяйственные ухищрения плохо помогали Зегржту. Домашняя птица дохла от повальных болезней, комнаты пустовали, нахлебники ругались из-за плохого стола и не платили денег, и периодически, раза четыре в год, можно было видеть, как худой, длинный, бородатый Зегржт с растерянным потным лицом носился по городу в чаянии перехватить где-нибудь денег, причем его блинообразная фуражка сидела козырьком набоку, а древняя николаевская шинель, сшитая еще до войны, трепетала и развевалась у него за плечами наподобие крыльев.

Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к окну, Ромашов увидел самого Зегржта. Он сидел у круглого стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плешивую голову с измызганным, морщинистым и кротким лицом, вышивал красной бумагой какую-то полотняную вставку — должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов побарабанил в стекло. Зегржт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну.

— Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду, — сказал Ромашов.

Зегржт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду.

— Это вы, подпоручик Ромашов? А что?

— Назанский дома?

— Дома, дома. Куда ж ему идти? Ах, господи, — борода Зегржта затряслась в форточке, — морочит мне голову ваш Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все только обещается заплатить. Когда он переезжал, я его убедительно просил, во избежание недоразумений...

— Да, да, да... это... в самом деле... — перебил рассеянно Ромашов. — А, скажите, каков он? Можно его видеть?

— Думаю, можно... Ходит все по комнате. — Згржт на секунду прислушался. — Вот и теперь ходит. Вы понимаете, я ему ясно говорил: во избежание недоразумений условимся, чтобы плата...

— Извините, Адам Иванович, я сейчас, — прервал его Ромашов. — Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спешное дело...

Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника, у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке, расстегнутой у ворота, ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате; его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его.

— Кто это? — спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись наружу через подоконник. — А, это вы, Георгий Алексеич? Подождите: через двери вам будет далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.

Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежало всего одно только розовое пикейное одеяло; у другой стены — простой некрашеный стол и две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота, узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на столе, в комнате не было больше ни одной вещи.

— Здравствуйте, мой дорогой, — сказал Назанский, крепко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами. — Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?

— Да. Мне сейчас об этом говорил Николаев.

Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его страдальчески сморщилось.

— А! Вы были у Николаевых? — вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назанский. — Вы часто бываете у них?

Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно:

— Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел.

Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными, тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.

— Не хотите ли? — предложил Назанский, указывая на поставец. — Закуска небогатая, но, если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого человека.

— Спасибо. Я потом.

Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Сделав два конца, он заговорил, точно продолжая только что прерванную беседу:

— Да. Так вот я все хожу и все думаю. И, знаете, Ромашов, я счастлив. В полку завтра все скажут, что у меня запой. А что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я теперь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновенное время мой ум и моя воля подавлены. Я сливаюсь тогда с голодной, трусливой серединой и бываю пошл, скучен самому себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Да черт его знает почему! Потому что мне с детства твердили и теперь все кругом говорят, что самое главное в жизни — это служить и быть сытым и хорошо одетым. А философия, говорят они, это чепуха, это хорошо тому, кому нечего делать, кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещи, к которым у меня совершенно не лежит душа, исполняю ради животного страха жизни приказания, которые мне кажутся порой жестокими, а

порой бессмысленными. Мое существование однообразно, как забор, и серо, как солдатское сукно. Я не смею задуматься, — не говорю о том, чтобы рассуждать вслух, — о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастии людей, о поэзии, о боге. Они смеются: ха-ха-ха, это все философия!.. Смешно, и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми, следовательно — чепуха, праздная и нелепая болтовня.

— Но это — главное в жизни, — задумчиво произнес Ромашов.

— И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем, — продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил. — Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума! Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Такой полной жизнью! Все, что я видел, о чем читал или слышал, — все оживляется во мне, все приобретает необычайно яркий свет и глубокий, бездонный смысл. Тогда память моя — точно музей редких откровений. Понимаете — я Ротшильд! Беру первое, что мне попадается, и размышляю о нем, долго, проникновенно, с наслаждением. О лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах — ах, особенно о женщинах и о женской любви!.. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях и об их удивительных словах. Я не верю в бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках, подвижниках и страстотерпцах и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, дорогой мой, в бурсе учился, и память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об этом и, случается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь, или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один... и плачу, — страстно, жарко плачу...

Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шевелил внизу, под окном, черные листья каких-то низеньких кустов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно ярких и точно теплых звездах — чувствовалось тайное и страстное брожение, угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев — целого мира.

А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты:

— Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким, воображение — точно поток! Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мною так рельефно и так восхитительно ясно, точно я вижу их в камер-обскуре. Я знаю, я знаю, мой милый, что это обострение чувств, все это духовное озарение — увы! — не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это — само вдохновение. Но нет: в нем нет ничего творческого, нет даже ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да. Но все-таки это безумие сладко мне, и... к черту спасительная бережливость и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до ста десяти лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия... Я счастлив — и все тут!

Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно, встал и сделал то же самое.

— О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилыч? — спросил он, садясь по-прежнему на подоконник.

Но Назанский почти не слыхал его вопроса.

— Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах! — воскликнул он, дойдя до дальнего угла и обращаясь к этому углу с широким, убедительным жестом. — Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыслях, участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых слезах и прелестных улыбках, думаю о молодых, целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем, я не прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я — нет.

Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в лицо, но по мечтательному выражению его глаз и по неопределенной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не казалось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые волосы падали крупными цельными локонами вокруг его высокого, чистого лба, густая, четырехугольной формы, рыжая, небольшая борода лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова, с обнаженной шеей благородного рисунка, была похожа на голову одного из тех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица поражал своим ровным, нежным, розовым тоном, и только очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся свежести, вместе с некоторой опухлостью черт, результат алкогольного воспаления крови.

— Любовь! К женщине! Какая бездна тайны! Какое наслаждение и какое острое, сладкое страдание! — вдруг воскликнул восторженно Назанский.

Он в волнении схватил себя руками за волосы и

опять метнулся в угол, но, дойдя до него, остановился, повернулся лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с тревогой следил за ним.

— Вспомнилась мне одна смешная история, — добродушно и просто заговорил Назанский. — Эх, мысли-то у меня как прыгают!.. Сидел я однажды в Рязани на станции «Ока» и ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около суток, — это было во время весеннего разлива, — и я — вы, конечно, понимаете — свил себе гнездо в буфете. А за буфетом стояла девушка, так лет восемнадцати, — такая, знаете ли, некрасивая, в оспинках, но бойкая такая, черноглазая, с чудесной улыбкой и в конце концов премилая. И было нас только трое на станции: она, я и маленький белобрысый телеграфист. Впрочем, был и ее отец, знаете — такая красная, толстая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса. Но отец был как бы за кулисами. Выйдет на две минуты за прилавок и все зевает, и все чешет под жилетом брюхо, не может никак глаз разлепить. Потом уйдет опять спать. Но телеграфистик приходил постоянно. Помню, облокотился он на стойку локтями и молчит. И она молчит, смотрит в окно, на разлив. А там вдруг юноша запоет говорком:

Лю-юбовь — что такое?
Что тако-ое любовь?
Это чувство неземное,
Что волнует нашу кровь.

И опять замолчит. А через пять минут она замурлычет: «Любовь — что такое? Что такое любовь?..» Знаете, такой пошленький-пошленький мотивчик. Должно быть, оба слышали его где-нибудь в оперетке или с эстрады... небось нарочно в город пешком ходили. Да. Попоют и опять помолчат. А потом она, как будто незаметно, все поглядывая в окошечко, глядь — и забудет руку на стойке, а он возьмет ее в свои руки и перебирает палец за пальцем. И опять: «Лю-юбовь — что такое?..» На дворе — весна, разлив, томность. И так они круглые сутки. Тогда эта «любовь» мне порядком надоела, а теперь, знаете, трогательно вспомнить. Ведь таким манером они, должно быть, любезничали до

меня недели две, а может быть, и после меня с месяц. И я только потом почувствовал, какое это счастие, какой луч света в их бедной, узенькой-узенькой жизни, ограниченной еще больше, чем наша нелепая жизнь — о, куда! — в сто раз больше!.. Впрочем... Постойте-ка, Ромашов. Мысли у меня путаются. К чему это я о телеграфисте?

Назанский опять подошел к поставцу. Но он не пил, а, повернувшись спиной к Ромашову, мучительно тер лоб и крепко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом нервном движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное.

— Вы говорили о женской любви — о бездне, о тайне, о радости, — напомнил Ромашов.

— Да, любовь! — воскликнул Назанский ликующим голосом. Он быстро выпил рюмку, отвернулся с загоревшимися глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом рубашки. — Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы, офицеры, сделали. Вчера у меня был Диц. Он сидел на том же самом месте, где теперь сидите вы. Он играл своим золотым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой, если бы животные, например собаки, обладали даром понимания человеческой речи и если бы одна из них услышала вчера Дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы знаете — Диц хороший человек, да и все хорошие, Ромашов: дурных людей нет. Но он стыдится иначе говорить о женщинах, стыдится из боязни потерять свое реноме циника, развратника и победителя. Тут какой-то общий обман, какое-то напускное мужское молодечество, какое-то хвастливое презрение к женщине. И все это оттого, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании, — таится что-то грубо-животное, что-то эгоистичное, только для себя, что-то сокровенно-низменное, блудливое и постыдное — черт! — я не умею этого выразить. И оттого-то у большинства вслед за обладанием идет холодность, отвращение, вражда.

Оттого-то люди и отвели для любви ночь, так же как для воровства и для убийства... Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и с петлей.

— Это правда, — тихо и печально согласился Ромашов.

— Нет, неправда! — громко крикнул Назанский. — А я вам говорю — неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь — прелесть, очарование, весна! Нет, нет, не думайте: я говорю о любви в самом прямом, телесном смысле. Но она — удел избранников. Вот вам пример: все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески или как у штабс-капитана Васильченки, а один из этого миллиона — Бетховен. Так во всем: в поэзии, в художестве, в мудрости... И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов.

Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены рядом с Ромашовым и, задумчиво глядя в теплый мрак весенней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникновенным голосом:

— О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых прелестей, мы — грубые, ленивые, недальновидные. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастия и очаровательных мучений заключается в неразделенной, безнадежной любви? Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосягаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. Все равно: наняться поденщиком, поступить в лакеи, в кучера — переодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно увидеть ее, поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы — о, какое безумное блаженство! — раз в жизни прикоснуться к ее платью.

— И кончить сумасшествием, — мрачно сказал Ромашов.

— Ах, милый мой, не все ли равно! — возразил с

пылкостью Назанский и опять нервно забегал по комнате. — Может быть, — почем знать? — вы тогда-то и вступите в блаженную сказочную жизнь. Ну, хорошо: вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Диц сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше? Но подумайте только, какое счастье — стоять целую ночь на другой стороне улицы, в тени, и глядеть в окно обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на занавеске движется тень. Не она ли это? Что она делает? Что думает? Погас свет. Спи мирно, моя радость, спи, возлюбленная моя!.. И день уже полон — это победа! Дни, месяцы, годы употреблять все силы изобретательности и настойчивости, и вот — великий, умопомрачительный восторг: у тебя в руках ее платок, бумажка от конфеты, оброненная афиша. Она ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе, глаза ее скользят по тебе, не видя, но ты тут, подле, всегда обожающий, всегда готовый отдать за нее — нет, зачем за нее — за ее каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку — отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать! Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители.

— О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите! — воскликнул взволнованный Ромашов. Он уже давно встал с подоконника и так же, как и Назанский, ходил по узкой, длинной комнате, ежеминутно сталкиваясь с ним и останавливаясь. — Какие мысли приходят вам в голову! Я вам расскажу про себя. Я был влюблен в одну... женщину. Это было не здесь, не здесь... еще в Москве... я был... юнкером. Но она не знала об этом. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, совсем не замечала, а у меня от счастья кружилась голова.

— Да, да, я понимаю, — кивал головой Назанский, весело и ласково улыбаясь. — Я понимаю вас. Это — точно проволока, точно электрический ток? Да? Какое-то тонкое, нежное общение? Ах, милый мой, жизнь так прекрасна!..

Назанский замолчал, растроганный своими мыслями, и его голубые глаза, наполнившись слезами, заблестели. Ромашова также охватила какая-то неопределенная, мягкая жалость и немного истеричное умиление. Эти чувства относились одинаково и к Назанскому и к нему самому.

— Василий Нилыч, я удивляюсь вам, — сказал он, взяв Назанского за обе руки и крепко сжимая их. — Вы — такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот... точно нарочно губите себя. О нет, нет, я не смею читать вам пошлой морали... Я сам... Но что, если бы вы встретили в своей жизни женщину, которая сумела бы вас оценить и была бы вас достойна. Я часто об этом думаю!..

Назанский остановился и долго смотрел в раскрытое окно.

— Женщина... — протянул он задумчиво. — Да! Я вам расскажу! — воскликнул он вдруг решительно. — Я встретился один-единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой... Но знаете, как это у Гейне: «Она была достойна любви, и он любил ее, но он был недостоин любви, и она не любила его». Она разлюбила меня за то, что я пью... впрочем, я не знаю, может быть я и пью оттого, что она меня разлюбила. Она... ее здесь тоже нет... это было давно. Ведь вы знаете, я прослужил сначала три года, потом был четыре года в запасе, а потом три года тому назад опять поступил в полк. Между нами не было романа. Всего десять — пятнадцать встреч, пять-шесть интимных разговоров. Но — думали ли вы когда-нибудь о неотразимой, обаятельной власти прошедшего? Так вот, в этих невинных мелочах — все мое богатство. Я люблю ее до сих пор. Подождите, Ромашов... Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо — первое и последнее, которое она мне написала.

Он сел на корточки перед чемоданом и стал неторопливо переворачивать в нем какие-то бумаги. В то же время он продолжал говорить:

— Пожалуй, она никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она — такая доб-

рая, женственная, бесконечно милая. Точно в ней два человека: один — с сухим, эгоистичным умом, другой — с нежным и страстным сердцем. Вот оно, читайте, Ромашов. Что сверху — это лишнее. — Назанский отогнул несколько строк сверху. — Вот отсюда. Читайте.

Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне — так он был своеобразен, неправилен и изящен. Ромашов, часто получавший от нее записки с приглашениями на обед и на партию винта, мог бы узнать этот почерк из тысячи различных писем.

«...и горько и тяжело произнести его, — читал он из-под руки Назанского. — Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Больше всего в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от слабости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю, и знаю, что мне нескоро и нелегко будет уйти от этого чувства. Но в конце концов я все-таки одержу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила иначе? Во мне, правда, хватило бы сил и самоотверженности быть вожатым, нянькой, сестрой милосердия при безвольном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке, но я ненавижу чувства жалости и постоянного унизительного всепрощения и не хочу, чтобы *вы* их во мне возбуждали. Я не хочу, чтобы *вы* питались милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь не можете? Ах, дорогой Василий Нилыч, если бы вы могли! Если бы! К вам стремится все мое сердце, все мои желания, я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир, а я вас просила так о немногом. Вы не можете?

Прощайте. Мысленно целую вас в лоб... как покойника, потому что вы умерли для меня. Советую это письмо уничтожить. Не потому, чтобы я чего-нибудь боялась, но потому, что со временем оно будет для вас

источником тоски и мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю...»

— Дальше вам не интересно, — сказал Назанский, вынимая из рук Ромашова письмо. — Это было ее единственное письмо ко мне.

— Что же было потом? — с трудом спросил Ромашов.

— Потом? Потом мы не видались больше. Она... она уехала куда-то и, кажется, вышла замуж за... одного инженера. Это второстепенное.

— И вы никогда не бываете у Александры Петровны?

Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.

— Как? И вы — тоже? — тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес, наконец, Назанский.

Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом воскликнул:

— Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал, писано сто лет тому назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется в Закавказье... Итак, на чем же мы остановились?

— Мне пора домой, Василий Нилыч. Поздно, — сказал Ромашов, вставая.

Назанский не стал его удерживать. Простились они не холодно и не сухо, но точно стыдясь друг друга. Ромашов теперь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой. Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог понять, какие чувства оно в нем возбуждало. Тут была и ревнивая зависть к Назанскому — ревность к прошлому, и какое-то торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то же время была и какая-то новая надежда — неопределенная,

туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему давало в руки какую-то таинственную, незримую нить, идущую в будущее.

Ветер утих.

Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее казалась бархатной и теплой. Но тайная творческая жизнь чуялась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых деревьев, в запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему все представлялось, что вот-вот кто-то могучий, властный и ласковый дохнет ему в лицо жарким дыханием. И была у него в душе ревнивая грусть по его прежним, детским, таким ярким и невозвратимым вёснам, была тихая, беззлобная зависть к своему чистому, нежному прошлому...

Придя к себе, он застал вторую записку от Раисы Александровны Петерсон. Она нелепым и выспренним слогом писала о коварном обмане, о том, что она все понимает, и о всех ужасах мести, на которые способно разбитое женское сердце.

«Я знаю, что мне теперь делать! — говорилось в письме. — Если только я не умру на чахотку от вашего подлого поведения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы думаете, что никто не знает, где вы бываете каждый вечер? Слепец! И у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг. Но, все равно, с вашей наружностью и красноречием вы *там* ничего не добьетесь, кроме того, что N вас вышвырнет за дверь, как щенка. А со мною советую вам быть осторожнее. Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды.

Владеть кинжалом я умею,
Я близ Кавказа рождена!!!

Прежде ваша, теперь ничья *Раиса.*

P. S. Непременно будьте в ту субботу в собрании. Нам надо объясниться. Я для вас оставлю 3-ю кадриль, но уж теперь *не по значению.*

Р.П.»

Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бестолкового письма. И сам себе он пока-

зался с ног до головы запачканным тяжелой, несмываемой грязью, которую на него наложила эта связь с нелюбимой женщиной — связь, тянувшаяся почти полгода. Он лег в постель, удрученный, точно раздавленный всем нынешним днем, и, уже засыпая, подумал про себя словами, которые он слышал вечером от Назанского:

«Его мысли были серы, как солдатское сукно».

Он заснул скоро, тяжелым сном. И, как это всегда с ним бывало в последнее время после крупных огорчений, он увидел себя во сне мальчиком. Не было грязи, тоски, однообразия жизни, в теле чувствовалась бодрость, душа была светла и чиста и играла бессознательной радостью. И весь мир был светел и чист, а посреди его — милые, знакомые улицы Москвы блистали тем прекрасным сиянием, какое можно видеть только во сне. Но где-то на краю этого ликующего мира, далеко на горизонте, оставалось темное, зловещее пятно: там притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скучной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством. Вся жизнь звенела и сияла радостью, но темное враждебное пятно тайно, как черный призрак, подстерегало Ромашова и ждало своей очереди. И один маленький Ромашов — чистый, беззаботный, невинный — страстно плакал о своем старшем двойнике, уходящем, точно расплывающемся в этой злобной тьме.

Среди ночи он проснулся и заметил, что его подушка влажна от слез. Он не мог сразу удержать их, и они еще долго сбегали по его щекам теплыми, мокрыми, быстрыми струйками.

VI

За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры, совсем по-школьнически, опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные коман-

диры, большею частью люди многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались — и чаще всего по настоянию своих жен — заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штоссом и ландскнехтом: кое-кто играл нечисто, — об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга, иные же, вроде Сливы, — в одиночку.

Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внутренний механизм роты приводил в движение и регулировал фельдфебель; он же вел всю канцелярскую отчетность и держал ротного командира незаметно, но крепко, в своих жилистых, многоопытных руках. На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерн-офицеры, и «подтягивали фендриков» только для соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого самодурства.

Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания — батальонного и бригадного командиров: начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид» и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж.

Однако перед большими смотрами все, от мала до велика, подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров, младшие офицеры сквернословили неестественно неумело и безобразно, унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры.

Такие дни бывали настоящей страдой, и о воскресном отдыхе с лишними часами сна мечтал, как о райском блаженстве, весь полк, начиная с командира до последнего затрепанного и замурзанного денщика.

Этой весной в полку усиленно готовились к майскому параду. Стало наверно известным, что смотр будет производить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, известный в мировой военной литературе своими записками о войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года, в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более широкою известностью пользовались его приказы, написанные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся подчиненных он разделывал в этих приказах со свойственным ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры боялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому в ротах шла, вот уже две недели, поспешная, лихорадочная работа, и воскресный день с одинаковым нетерпением ожидался как усталыми офицерами, так и задерганными, ошалевшими солдатами.

Но для Ромашова благодаря аресту пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старался, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана, который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок.

В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года — и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству — он остался

наедине сам с собою. Прежде этому мешала служба, дежурства, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди — целый день одиночества, и в голову ему лезли всё такие странные, неудобные и ненужные мысли.

В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные, прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные купообразные вершины старые каштаны; деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаза, желтеть первой, пушистой, радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их.

Из окна направо была видна через ворота часть грязной, черной улицы, с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. «У них целый день еще впереди, — думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами, — оттого они и не торопятся. Целый свободный день!»

И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может

заключаться в простой возможности идти, куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души.

И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день, хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами, он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей, но нитка! — нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания, и, конечно, не добросовестность, и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана.

«И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привязанный за ногу, — думал Ромашов, слоняясь по комнате. — Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться, — а я сижу на нитке. Это *я* сижу. Я. Ведь это — Я! Но ведь это только он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия.

— Я! — Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался. — Я! Я! Я! — вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. — Кто же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу? Это — Я. О, как странно!.. Я-а, — протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук.

Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние пять-шесть лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина, поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению приобретали глубокое философское значение, и тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как *это* было с ним в первый раз. В корпусе, на уроке закона божия, священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым и последних камней уж не мог дотащить; другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с знакомой поговоркой «Семь раз отмерь — один раз отрежь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он понял в ней все: благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих пяти-шести словах. Так и теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданно-яркое сознание своей индивидуальности...

«Я — это внутри, — думал Ромашов, — а все остальное — это постороннее, это — не Я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты — все это не Я. Нет, нет, это не Я. Вот мои руки и ноги, — Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их, — нет, это все — не Я. А вот я ущипну себя за руку... да, вот так... это Я. Я вижу руку, подымаю ее кверху — это Я. То, что я теперь думаю, это тоже Я. И если я захочу пойти, это Я. И вот я остановился — это Я.

О, как это странно, как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это Я? А может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что — если

есть? Вот — стоят передо мной сто солдат, я кричу им: «Глаза напра-во!» — и сто человек, из которых у каждого есть свое Я и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не Я, — они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга, они — масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны также сливаются в одно лицо, и мы ему также чужие, и он не отличает нас друг от друга?»

Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул:

— Ваша благородия. Буфенчик больше не даваит папиросов. Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать.

— Ах, черт! — вырвалось у Ромашова. — Ну, иди, иди себе... Как же я буду без папирос?.. Ну, все равно, можешь идти, Гайнан.

«О чем я сейчас думал? — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и, по непривычке думать последовательно, не мог сразу найти ее. — О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном... Постой: надо вернуться назад... Сижу под арестом... по улице ходят люди... в детстве мама привязывала... *Меня* привязывала... Да, да... У солдата тоже — Я... Полковник Шульгович... Вспомнил... Ну, теперь дальше, дальше...

Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из нее. Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет; говоря с другим, посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это — важно? Неужели это — главное в жизни? Вот пройдет еще двадцать — тридцать лет — одна секунда в том времени, которое было до меня и будет после меня. Одна секунда! Мое Я погаснет, точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгут снова, и снова, и снова, а Меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног... Потому что не будет Меня...

Да, да... это так... Ну, хорошо... подожди... надо постепенно... ну, дальше... Меня не будет. Было темно, кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно навсегда, на веки веков... Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло: «На плечо!», — ругался и злился из-за приклада, «недовернутого на себя», трепетал перед сотнями людей... Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим Я, заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей и за это оскорбляли и унижали *Меня*. Меня!!! Почему же мое Я подчинялось призракам?»

Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него, разбегающиеся мысли:

«Гм... а ты позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов? Алтари?.. А воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?.. Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни родина, и честь, и мундир, и все великие слова, — мое Я останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое Я важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви? Вот я служу... А вдруг мое Я скажет: не хочу! Нет — не мое Я, а больше... весь миллион Я, составляющих армию, нет — еще больше — все Я, населяющие земной шар, вдруг скажут: «Не хочу!» И сейчас же война станет немыслимой, и уж никогда, никогда не будет этих «ряды вздвой!» и «полуоборот направо!» — потому что в них не будет надобности. Да, да, да! Это верно, это верно! — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос. — Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука, — все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать «не хочу!».

Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах «не хочу», а только на том, что эти слова почему-то до сих пор

не произнесены людьми. Мое Я никогда ведь не скажет: «не хочу есть, не хочу дышать, не хочу видеть». Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет — «не хочу». Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление?

Нет, ты постой, подожди... Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это «не хочу» — так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо; ну, разберемся. Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам... И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю, Шульгович мне на это ответит: «Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер». А бунтовщики? Социалисты? Революционеры?.. Да нет же, это неправда. Ведь все, все человечество сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда все помирятся? Уступят друг другу? Поделятся? Простят? Господи, господи, что же будет?»

Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга:

— Что тебе надо, черт!..

Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку.

— Тебе! — сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. — Тебе папиросы. Куры!

Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано: папиросы «Трубач», цена 3 коп. 20 шт.

— Что это такое? Зачем? — спросил он с удивлением. — Откуда ты взял?

— Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга. Куры, пожалюста, куры. Ничего. Дару тебе.

Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и жжеными перьями.

«О, милый! — подумал растроганный Ромашов. — Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папирос за свои жалкие, последние солдатские копейки. «Куры, пожалюста!» За что же это?..»

Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет — ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Солтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Ящишин... Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я к ихнему Я? — Ничего».

Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру:

— Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!..

Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? «Этот вот, наверно, был слесарем, — думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица, — а этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот — грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым, складным говорком — не был ли он раньше в половых?» И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитаниями провожали бабы и дети и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь

пьяный рекрутский угар... Но прошел год, и вот они стоят длинной, мертвой шеренгой — серые, обезличенные, деревянные — *солдаты!* Они не хотели идти. *Их Я не хотело.* Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все это — то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонят петуху голову к столу — он бьется. Но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу, и он уже думает, что его привязали, и сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза, в каком-то сверхъестественном ужасе.

Ромашов дошел до кровати и повалился на нее.

«Что же мне остается делать в таком случае? — сурово, почти злобно спросил он самого себя. — Да, что мне делать? Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь... Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком: «Эйе ла бонте... благородный русский офицер... компрене ву...» [1] Ах, что же мне делать! Что же мне делать!..»

— Арестантик, арестантик! — зазвенел под окном ясный женский голос.

Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся, свежим лицом к стеклу и говорила нараспев:

— Пода-айте бе-едному заключенненькому...

Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул

---

[1] «Будьте так добры... вы понимаете...» *(франц.)*

к себе раму. Она подалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками известки и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и радостным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату.

«Вот так! Вот так надо искать выхода!» — закричал в душе Ромашова смеющийся, ликующий голос.

— Ромочка! Сумасшедший! Что вы делаете?

Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям и только глядела на него со смущенным удивлением и улыбаясь.

— Александра Петровна! Как мне благодарить вас? Милая!

— Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались? — сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова. — У вас глаза блестят. Постойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие... Степан, да несите же корзинку.

Он смотрел на нее сияющими, влюбленными глазами, не выпуская ее руки из своей, — она опять не сопротивлялась этому, — и говорил поспешно:

— Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро... Если бы вы только знали! Но это потом...

— Да, потом... Вот идет мой супруг и повелитель... Пустите руку. Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели.

К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым.

— Иди, Шурочка, иди, — торопил он жену. — Это же бог знает что такое. Вы, право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира — что хорошего! Ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите.

— Заходите, Юрий Алексеевич, — повторила и Шурочка.

Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом:

— Слушайте, Ромочка: нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я, как с другом, — это вы. Слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз. А то и видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.

VII

В половине четвертого к Ромашову заехал полковой адъютант, поручик Федоровский. Это был высокий и, как выражались полковые дамы, представительный молодой человек с холодными глазами и с усами, продолженными до плеч густыми подусниками. Он держал себя преувеличенно-вежливо, но строго-официально с младшими офицерами, ни с кем не дружил и был высокого мнения о своем служебном положении. Ротные командиры в нем заискивали.

Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами всю жалкую обстановку Ромашова. Подпоручик, который в это время лежал на кровати, быстро вскочил и, краснея, стал торопливо застегивать пуговицы тужурки.

— Я к вам по поручению командира полка, — сказал Федоровский сухим тоном, — потрудитесь одеться и ехать со мною.

— Виноват... я сейчас... форма одежды обыкновенная? Простите, я по-домашнему.

— Пожалуйста, не стесняйтесь. Сюртук. Если вы позволите, я бы присел?

— Ах, извините. Прошу вас. Не угодно ли чаю? — заторопился Ромашов.

— Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее.

Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул, и, пока Ромашов одевался, волнуясь, без надобности суетясь и конфузясь за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все время прямо и неподвижно с каменным лицом, держа руки на эфесе шашки.

— Вы не знаете, зачем меня зовут?

Адъютант пожал плечами.

— Странный вопрос. Откуда же я могу знать? Вам это, должно быть, без сомнения, лучше моего известно... Готовы? Советую вам продеть портупею под погон, а не сверху. Вы знаете, как командир полка этого не любит. Вот так... Ну-с, поедемте.

У ворот стояла коляска, запряженная парою рослых, раскормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ромашов из вежливости старался держаться боком, чтобы не теснить адъютанта, а тот как будто вовсе не замечал этого. По дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся Ромашову особый, непередаваемый юмористический жест, который как будто говорил: «Что, брат, поволокли тебя на расправу?» Встречались и еще офицеры. Иные из них внимательно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой глядели на Ромашова, и он невольно ежился под их взглядами.

Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова: у него был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах. Топчась в передней, Ромашов несколько раз взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в светлую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо казалось ему противно-бледным, некрасивым и каким-то неестественным, сюртук — слишком заношенным, а погоны — чересчур помятыми.

Сначала из кабинета доносился только глухой однотонный звук низкого командирского баса. Слов не было слышно, но по сердитым раскатистым интонациям можно было догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять. Потом Шульгович вдруг замолчал; послышался чей-то дрожащий, умоляющий голос, и вдруг, после мгновенной паузы, Ромашов явственно, до последнего оттенка, услышал слова, произнесенные

со страшным выражением высокомерия, негодования и презрения:

— Что вы мне очки втираете? Дети? Жена? Плевать я хочу на ваших детей! Прежде чем наделать детей, вы бы подумали, чем их кормить. Что? Ага, теперь — виноват, господин полковник. Господин полковник в вашем деле ничем не виноват. Вы, капитан, знаете, что если господин полковник теперь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступление по службе. Что-о-о? Извольте ма-алчать! Не ошибка-с, а преступление-с. Вам место не в полку, а вы сами знаете — где. Что?

Опять задребезжал робкий, молящий голос, такой жалкий, что в нем, казалось, не было ничего человеческого. «Господи, что же это? — подумал Ромашов, который точно приклеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее лицо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болезненно затрепыхалось сердце. — Господи, какой ужас!..»

Жалобный голос говорил довольно долго. Когда он кончил, опять раскатился глубокий бас командира, но теперь более спокойный и смягченный, точно Шульгович уже успел вылить свой гнев в крике и удовлетворил свою жажду власти видом чужого унижения.

Он говорил отрывисто:

— Хорошо-с. В последний раз. Но пом-ни-те, это в последний раз. Слышите? Зарубите это на своем красном, пьяном носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянствуете... Что? Ладно, ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне чтоб подготовили к смотру. Не рота, а б.....! Через неделю приеду сам и посмотрю... Ну, а затем вот вам мой совет-с: первым делом очиститесь вы с солдатскими деньгами и с отчетностью. Слышите? Это чтобы завтра же было сделано. Что? А мне что за дело? Хоть родите... Затем, капитан, я вас не держу. Имею честь кланяться.

Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках, скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остановил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, чтобы не быть поддельным:

— Постой-ка, поди сюда, чертова перечница... Небось побежишь к жидишкам? А? Векселя писать? Эх ты, дура, дура, дурья ты голова... Ну, уж нà тебе, дьявол тебе в печень. Одна, две... раз, две, три, четыре... Триста. Больше не могу. Отдашь, когда сможешь. Фу, черт, что за гадость вы делаете, капитан! — заорал полковник, возвышая голос по восходящей гамме. — Не смейте никогда этого делать! Это низость!.. Однако марш, марш, марш! К черту-с, к черту-с. Мое почтение-с!..

В переднюю вышел, весь красный, с каплями пота на носу и на висках и с перевернутым, смущенным лицом, маленький капитан Световидов. Правая рука была у него в кармане и судорожно хрустела новенькими бумажками. Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски-неестественно захихикал и крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо бегали и в то же время точно щупали Ромашова: слыхал он или нет?

— Лют! Аки тигра! — развязно и приниженно зашептал он, кивая по направлению кабинета. — Но ничего! — Световидов быстро и нервно перекрестился два раза. — Ничего. Слава тебе, господи, слава тебе, господи!

— Бон-да-рен-ко! — крикнул из-за стены полковой командир, и звук его огромного голоса сразу наполнил все закоулки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки передней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь на свое необыкновенное горло. — Бондаренко! Кто там есть еще? Проси.

— Аки скимен! — шепнул Световидов с кривой улыбкой. — Прощайте, поручик. Желаю вам легкого пару.

Из дверей выюркнул денщик — типичный командирский денщик, с благообразно-наглым лицом, с масляным пробором сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал почтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику:

— Их высокоблагородие просят ваше благородие.

Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился назад, давая дорогу. Ромашов вошел.

Полковник Шульгович сидел за столом, в левом углу от входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки лежали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика он коротко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе серебряную серьгу в виде полумесяца с крестом и подумал: «А ведь я этой серьги раньше не видал».

— Нехорошо-с, — начал командир рычащим басом, раздававшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную паузу. — Стыдно-с! — продолжал он, повышая голос. — Служите без году неделю, а начинаете хвостом крутить. Имею многие основания быть вами недовольным. Помилуйте, что же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он, несчастный прапорщик, фендрик, позволяет себе возражать какую-то ерундистику. Безобразие! — вдруг закричал полковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул. — Немысленно! Разврат!

Ромашов угрюмо смотрел вбок, и ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести глаза и поглядеть в лицо полковнику. «Где мое Я! — вдруг насмешливо пронеслось у него в голове. — Вот ты должен стоять навытяжку и молчать».

— Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам передавать, но мне известно доподлинно, что вы пьете. Это омерзительно. Мальчишка, желторотый птенец, только что вышедший из школы, и напивается в собрании, как последний сапожный подмастерье. Я, милый мой, все знаю; от меня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже не подозреваете. Что ж, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости — воля ваша. Но говорю вам в последний раз: вникните в мои слова. Так всегда бывает, мой друг: начинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают

жизнь под забором. Внедрите себе это в голову-с. А кроме того, знайте: мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может лопнуть... Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это целая семья. Значит, всегда можно и того... за хвост и из компании вон.

«Я стою, я молчу, — с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе полковника, — а мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать? Посмею ли я?»

Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось, он даже сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему оставался неподвижным.

— Да и вообще ваше поведение... — продолжал жестоким тоном Шульгович. — Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск. Говорили что-то такое о болезни вашей матушки, показывали там письмо какое-то от нее... Что ж, я не смею, понимаете ли — не *смею* не верить своему офицеру. Раз вы говорите — матушка, пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но знаете — все это както одно к одному, и, понимаете...

Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало, сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее, дрожать колено правой ноги. Наконец это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери, кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и — это он сам чувствовал у себя на лице — с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески.

Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины — без мыслей, без воли, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное. Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю», — и Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе, с крестом и полумесяцем.

Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость... Безумная, неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской:

— Фу, черт... какой же вы обидчивый... Да садитесь же, черт вас задери! Ну, да... все вы вот так. Глядите на меня, как на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, без смысла, черт бы его драл. А я, — густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами, — а я, ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей. Что же, вы думаете, не страдаю я за вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну, погорячился я, перехватил через край — разве же можно на старика сердиться? Э-эх, молодежь. Ну, мир — кончено. Руку. И пойдем обедать.

Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку, большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным школьником, каким-то нелюбимым, робким и заброшенным мальчуганом, и этот переход был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полковником, он подумал про себя, по своей привычке, в третьем лице: «Мрачное раздумье бороздило его чело».

Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, полная, крупная, важная и молчаливая дама, без шеи, со многими подбородками. Несмотря на пенсне и на высокомерный взгляд, лицо у нее было простоватое и производило такое впечатление, как будто его наспех, боком, выпекли из теста, воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая ногами, приплелась древняя мамаша полковника, маленькая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушонка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова снизу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула прямо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку, похожую на кусочек мощей. Затем обратилась к полковнику и спросила таким тоном, как будто бы, кроме их двоих, в столовой никого не было:

— Это кто же такой? Не помню что-то.

Шульгович сложил ладони рук в трубу около рта и закричал старушке в самое ухо:

— Подпоручик Ромашов, мамаша. Прекрасный офицер... фронтовик и молодчинище... из кадетского корпуса... Ах, да! — спохватился он вдруг. — Ведь вы, подпоручик, кажется, наш, пензенский?

— Точно так, господин полковник, пензенский.

— Ну да, ну да... Я теперь вспомнил. Ведь мы же земляки с вами. Наровчатского уезда, кажется?

— Точно так. Наровчатского.

— Ну да... Как же это я забыл? Наровчат, одни колышки торчат. А мы — инсарские. Мамаша! — опять затрубил он матери на ухо, — подпоручик Ромашов — наш, пензенский!.. Из Наровчата!.. Земляк!..

— А-а! — старушка многозначительно повела бровями. — Так, так, так... То-то, я думаю... Значит, вы, выходит, сынок Сергея Петровича Шишкина?

— Мамаша! Ошиблись! Подпоручика фамилия — Ромашов, а совсем не Шишкин!..

— Вот, вот, вот... Я и говорю... Сергей-то Петровича я не знала... Понаслышке только. А вот Петра Петровича — того даже очень часто видела. Именья, почитай, рядом были. Очень, оч-чень приятно, молодой человек... Похвально с вашей стороны.

— Ну, пошла теперь скрипеть, старая скворечни-

ца, — сказал полковник вполголоса, с грубым добродушием. — Садитесь, подпоручик... Поручик Федоровский! — крикнул он в дверь. — Кончайте там и идите пить водку!..

В столовую быстро вошел адъютант, который, по заведенному во многих полках обычаю, обедал всегда у командира. Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к отдельному майоликовому столику с закуской, налил себе водки и не торопясь выпил и закусил. Ромашов почувствовал к нему зависть и какое-то смешное, мелкое уважение.

— А вы водки? — спросил Шульгович. — Ведь пьете?

— Нет. Благодарю покорно. Мне что-то не хочется, — ответил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся.

— И-и пре-екрасно. Самое лучшее. Желаю и впредь так же.

Обед был сытный и вкусный. Видно было, что бездетные полковник и полковница прилепились к невинной страстишке — хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых кореньев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откормленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бутылки — с белым и красным вином и с мадерой, — правда, уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробками, но дорогие, хороших иностранных марок. Полковник — точно недавний гнев прекрасно повлиял на его аппетит — ел с особенным вкусом и так красиво, что на него приятно было смотреть. Он все время мило и грубо шутил. Когда подали спаржу, он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепительно белую жесткую салфетку, сказал весело:

— Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу!

Но раньше, за рыбой, он не утерпел и закричал на Ромашова начальническим тоном:

— Подпоручик! Извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с! Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен к высочайшему столу. Помните это.

Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большею частью держа их под столом и заплетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала его одна и та же мысль: «Ведь это же противно, это такая слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого унизительного обеда. Ну вот я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают что хотят. Ведь не съест же он меня? Не отнимет моей души, мыслей, сознания? Уйду ли?» И опять, с робко замирающим сердцем, бледнея от внутреннего волнения, досадуя на самого себя, он чувствовал, что не в состоянии это сделать.

Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные, косые лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа.

— Когда я был еще прапорщиком, — заговорил вдруг Шульгович, — у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов. Помню, он, бывало, подойдет на смотру к барабанщику, — ужасно любил барабан, — подойдет и скажет: «А ну-ка, братец, шыграй мне что-нибудь меланхоличешкое». Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в одиннадцать. Бывало, обратится к гостям и скажет: «Ну, гошпода, ешьте, пейте, вешелитесь, а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше превосходительство?» — «Э, вше равно: иж одной минералогии...» Так я теперь, господа, — Шульгович встал и положил на спинку стула салфетку, — тоже иду в объятия Нептуна. Вы свободны, господа офицеры.

Офицеры встали и вытянулись.

«Ироническая, горькая улыбка показалась на его тонких губах», — подумал Ромашов, но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некрасиво-почтительное.

Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горела на западе в сизых нагроможденных тяжелых тучах красно-янтарная заря, и опять Ромашову чудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью, полной красоты, изящества и счастья.

На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки. Где-то на завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женский смех, звенел непрерывно и возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных вёснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви...

Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глянцевитые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то тягучее и монотонное.

— Гайнан! — окликнул его Ромашов.

Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и замешательство.

— Алла? — спросил Ромашов дружелюбно.

Безусый мальчишеский рот черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы.

— Алла, ваша благородия!

— Ну, ну, ну... Сиди себе, сиди. — Ромашов ласково погладил денщика по плечу. — Все равно, Гайнан, у тебя алла, у меня алла. Один, братец, алла у всех человеков.

«Славный Гайнан, — подумал подпоручик, идя в комнату. — А я вот не смею пожать ему руку. Да, не могу, не смею. О, черт! Надо будет с нынешнего дня

самому одеваться и раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого человека».

В этот вечер он не пошел в собрание, а достал из ящика толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неровным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья, по счету, сочиняемая Ромашовым повесть, под заглавием: «Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился своих литературных занятий и никому в мире ни за что не признался бы в них.

VIII

Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем: в длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальная зала и гостиная, а короткую, простиравшуюся в глубь грязного двора, занимали — столовая, кухня и «номера» для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде запутанного, узкого, коленчатого коридора; каждое колено соединялось с другим дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили — буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель.

Ромашов пришел в собрание в девять часов. Пять-шесть холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале

по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой.

В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек-Агамалов и Олизар, которого все в полку называли графом Олизаром, играли в пять шаров на пиво. Олизар — длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный — молодой старик, с голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек-Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек сорока пяти лет, способный одним своим видом навести тоску; все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии: висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос; свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы; брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение; даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки.

Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами.

— Как здоровье Марьи Викторовны? — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми

и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики.

— Спасибо, голубчик, — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. — Конечно, нервы у нее... Такое время теперь.

— А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?

— Нет. Как же. Будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж, ну и, понимаете, голубчик, говорят мне: «У тебя, говорят, сапожища грязные, ты нам платья испортишь».

— Круазе в середину! Тонкая резь. Вынимай шара из лузы, Бек! — крикнул Олизар.

— Ты сначала делай шара, а потом я выну, — сердито отозвался Бек-Агамалов.

Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их.

— У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеич, — сказал он просительно и запинаясь, — сегодня ведь вы распорядитель танцев?

— Да. Черт бы их побрал. Назначили. Я крутился-крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни. Но разве с ним сговоришь? «Подайте, говорит, свидетельство врача».

— Вот я вас и хочу попросить, голубчик, — продолжал Лещенко умильным тоном. — Бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела. Знаете, прошу вас по-товарищески.

— Марья Викторовна?

— Ну да. Пожалуйста уж.

— Желтый дуплет в угол, — заказал Бек-Агамалов. — Как в аптеке будет.

Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись, точно ижица, две сходящиеся к переносью жилы.

— Жамаис! — уверенно дразнил его Олизар. — Этого даже я не сделаю.

Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.

— Кикс! — радостно закричал Олизар и затанцевал канкан вокруг бильярда. — Когда ты спышь — храпышь, дюша мой?

Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.

— А ты не смей под руку говорить! — крикнул он, сверкая черными глазами. — Я игру брошу.

— Нэ кирпичись, дюша мой, кровь испортышь. Модистку в угол!..

К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам.

— Ваше благородие, вас барыня просят в залу.

Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три — пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой:

— Подпоручик Ромашо-ов, прикажите сыграть что-нибудь для слу-уха. Пожа-алуйста...

— Слушаю-с. — Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну. — Зисcерман, — крикнул он старосте оркестра, — валяй для слуха!

Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей.

Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда, по своим дирижерским обязанностям, он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, — неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они

наскоро поправляли свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!..

Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он знал, как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и наконец скучные, пошлые связи...

Приехал капитан Тальман с женой: оба очень высокие, плотные; она — нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он — со смуглым, разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел:

— А что, подпоручик, в карточной уже винтят?

— Нет еще. Все в столовой.

— Нет еще? Знаешь, Сонечка, я того... пойду в столовую — «Инвалид» пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее... ну, там, какую-нибудь кадриленцию.

Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых — целый выводок хорошеньких, смешливых и кар-

тавых барышень во главе с матерью — маленькой, живой женщиной, которая в сорок лет танцевала без устали и постоянно рожала детей — «между второй и третьей кадрилью», как говорил про нее полковой остряк Арчаковский.

Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова:

— Отчего вы к нам не пьиходили?

— Звой, звой, звой!

— Нехолосый, нехолосый, нехолосый!

— Звой, звой!

— Пьиглашаю вас на пейвую кадъиль.

— Mesdames!.. Mesdames! — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.

В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидал за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, — все-таки он чувствовал тревогу; в выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза.

Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа; почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе. Пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из сеней.

Ромашов отыскал поручика Бобетинского и подошел к нему. Бобетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.

— Что? — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом

покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх. — А-а! Это вы? Эчень приэтно...

Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои двадцать четыре года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые, небрежные жесты.

— Петр Фаддеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня, — попросил Ромашов.

— Ме, мон ами! — Бобетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза. — Но... мой дрюг, — перевел он по-русски. — С какой стати? Пуркуа? [1] Право, вы меня... как это говорится?.. Вы меня эдивляете!..

— Дорогой мой, пожалуйста...

— Постойте... Во-первых, без фэ-миль-ярностей. Чтэ это тэкое — дорогой, тэкой-сякой е цетера? [2]

— Ну, умоляю вас, Петр Фаддеич... Голова болит... и горло... положительно не могу.

Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть.

Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фаддеевич. И кроме того, об этом также просила одна дама...

— Дама?.. — Бобетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо. — Дама? Дрюг мой, в мои годы... — Он рассмеялся с деланной горечью и разочарованием. — Что такое женщина? Ха-ха-ха... Юн енигм! [3] Ну, хорошо, я, так и быть, согласен... Я согласен.

И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил:

— Мон шер ами, а нет ли у вас... как это называется... трех рюблей?

---

[1] Почему? *(франц.)*
[2] И так далее? *(франц.)*
[3] Загадка! *(франц.)*

— К сожалению!.. — вздохнул Ромашов.
— А рубля?
— Мм!..
— Дезагреабль-с...[1] Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки.
— Увы! И кредита нет, Петр Фаддеевич.
— Да-а? О, повр анфан!..[2] Все равно, пойдем. — Бобетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия. — Я вас приветствую.

В столовой между тем разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились.

Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский — личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.

— Это хорошо дуэль в гвардии — для разных там лоботрясов и фигель-миглей, — говорил грубо Арчаковский, — а у нас... Ну, хорошо, я холостой... положим, я с Василь Василичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мною не захочет стреляться — вон из полка; спрашивается, что его дети будут жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего... Чепуха все.

— Гето... ты подожди... ты повремени, — перебил его старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе, — ты понимаешь, что такое честь мундира?.. Гето, братец ты мой, та-акая штука... Честь, она... Вот, я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в тысячу восемьсот шестьдесят втором году.

— Ну, знаете, ваших случаев не переслушаешь, — развязно перебил его Арчаковский, — расскажете еще что-нибудь, что было за царя Гороха.

---

[1] Неприятно-с... *(франц.)*.
[2] Бедный ребенок!.. *(франц.)*.

— Гето, братец... ах, какой ты дерзкий... Ты еще мальчишка, а я, гето... Был, я говорю, такой случай...

— Только кровь может смыть пятно обиды, — вмешался напыщенным тоном поручик Бобетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.

— Гето, был у нас прапорщик Солуха, — силился продолжать Лех.

К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты, капитан Осадчий.

— Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать, — сказал он густым, рыкающим басом, сразу покрывая все голоса. — Здравия желаю, господин подполковник. Здравствуйте, господа.

— А, колосс родосский, — ласково приветствовал его Лех. — Гето... садись ты около меня, памятник ты этакий... Водочки выпьешь со мною?

— И весьма, — низкой октавой ответил Осадчий.

Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей дивизии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда, для пользы службы, переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бранился лишь в редких, исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному, сильному зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от

ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он не отрываясь глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул.

Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно:

— Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?

— Гето, братец ты мой, я сейчас рассказываю... Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зоон, — его солдаты звали «Под-Звон», — так он тоже однажды в собрании...

Но его перебил Липский, сорокалетний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана.

— Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха. «Треба, каже, як у нас у бурсе — дал раза по потылице и квит». Затем дебатировал поручик Бобетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно тщились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было.

Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша, со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.

— Я только, господа... Я, господа, может быть, ошибаюсь, — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. — Но, по-моему, то есть я так полагаю... нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру. Безусловно. Но иногда, знаете, это... может быть, высшая честь заключается в том, чтобы... это... безусловно

простить... Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи... вот...

— Эх вы, Декадент Иванович, — грубо махнул на него рукой Арчаковский, — тряпку вам сосать.

— Гето, да дайте же мне, братцы, высказаться!

Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий:

— Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд! Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. Пятьдесят шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю: из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка: «Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием». Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.

Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжение его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал: «А вот, гето, я, братцы мои... да слушайте же, жеребцы вы». Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу.

— Гето... хоть ты меня выслушай, прапор, — говорил Лех горестно, — садись, выпей-ка водочки... Они, братец мой, все — шалыганы. — Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки. — Гав, гав, гав, а

опыта у них нет. Я хотел рассказать, какой у нас был случай...

Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса ливером, и которых он никогда не мог довести до конца благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому — это, конечно, было в незапамятные времена — американскую дуэль, причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, — трудно было понять, кто именно, — Под-Звон или Солуха, прибегнул к мошенничеству: «Гето, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе, и вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть... Этот и говорит тому...»

Но и на этот раз подполковник не успел, по обыкновению, докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее (что вообще было не принято), она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки:

— Господа, ну что-о же это такое! Дамы уж давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь! Мы хочем танцевать!

Два-три молодых офицера встали, чтобы идти в залу, другие продолжали сидеть и курить и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания; зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением:

— Божественная! И как это начальство позволяет шущештвовать такой красоте! Рру-учку!.. Лобзнуть!..

— Юрий Алексеевич, — продолжала щебетать Петерсон, — ведь вы, кажется, на сегодня назначены? Хорош, нечего сказать, дирижер!

— Миль пардон, мадам [1]. Се ма фот!.. Это моя вина! — воскликнул Бобетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца. — Ваш-шу руку. Вотр мэн, мадам. Господа, в залу, в залу!

Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос — светского, как он воображал, дирижера:

— Месьё, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!

— Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня, — сказал Ромашов.

— Эх, братец ты мой, — с сокрушением поник головой Лех. — И ты такой же перец, как и они все... Гето... постой, постой, прапорщик... Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала... гето... и стратега Мольтке?

— Господин подполковник, право же...

— А ты не егози... Сия притча краткая... Великий молчальник посещал офицерские собрания и, когда обедал, то... гето... клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете сто девяносто лет, а кошелек его так, братец ты мой, и остался целым. Что? Раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец. Иди, иди, воробышек... попрыгай...

IX

В зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары. Бобетинский, распустив локти, точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высокой Тальман, танцевавшей с величавым спокойствием каменного монумента. Рослый, патлатый Арчаковский кружил вокруг себя маленькую,

---

[1] Тысяча извинений, сударыня *(франц.)*.

розовенькую младшую Лыкачеву, слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор; не выделывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами, как танцуют обыкновенно с детьми. Пятнадцать других дам сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались делать вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полковых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем дам, и начало вечера обещало быть скучным.

Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам служило предметом особой гордости, теперь пошла с тонким, стройным Олизаром. Он держал ее руку точно пришпиленной к своему левому бедру; она же томно опиралась подбородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а голову повернула назад, к зале, в манерном и неестественном положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося перед ней Олизара, говорила с певучей томностью:

— Нет, ск’жи-ите, граф, отчего мне всегда так жарко? Ум’ляю вас — ск’жи-ите!..

Олизар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел рукой по усам в одну и в другую сторону.

— Сударыня, этого даже Мартын Задека не скажет.

И так как в это время Олизар глядел на ее плоское декольте, она стала часто и неестественно глубоко дышать.

— Ах, у меня всегда возвышенная температура! — продолжала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что за ее словами кроется какой-то особенный, неприличный смысл. — Такой уж у меня горячий темперамент!..

Олизар коротко и неопределенно заржал.

Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон и думал с отвращением: «О, какая она противная!» И от мысли о прежней физической близости с этой женщиной у него было такое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не переменял белья.

— Да, да, да, вы не смейтесь, граф. Вы не знаете, что моя мать гречанка!

«И говорит как противно, — думал Ромашов. — Странно, что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто бы у нее хронический насморк или полип в носу: «боя бать гречадка».

В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызывающе посмотрела на него прищуренными глазами.

Ромашов по привычке сказал мысленно:

«Лицо его стало непроницаемо, как маска».

— Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Что же вы не подойдете поздороваться? — запела Раиса Александровна.

Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставшими вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко сжала его руку.

— Я по вашей просьбе оставила вам третью кадриль. Надеюсь, вы не забыли?

Ромашов поклонился.

— Какой вы нелюбезный, — продолжала кривляться Петерсон. — Вам бы следовало сказать: аншанте, мадам [1] («адшадте, бадаб» — услышал Ромашов)! Граф, правда, он мешок?

— Как же... Я помню, — неуверенно забормотал Ромашов. — Благодарю за честь.

Бобетинский мало способствовал оживлению вечера. Он дирижировал с разочарованным и устало-покровительственным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед третьей кадрилью он оживился и, пролетая по зале, точно на коньках по льду, быстрыми, скользящими шагами, особенно громко выкрикнул:

— Кадриль-монстр! Кавалье, ангаже во дам! [2]

Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от музыкантского окна, имея vis-à-vis [3] Михина и жену Лещенки, которая едва достигала до плеча своего кава-

---

[1] Очень рад, сударыня *(франц.)*.
[2] Кавалеры, приглашайте дам! *(франц.)*
[3] Напротив *(франц.)*.

лера. К третьей кадрили танцующих заметно прибавилось, так что пары должны были расположиться и вдоль залы и поперек. И тем и другим приходилось танцевать по очереди, и потому каждую фигуру играли по два раза.

«Надо объясниться, надо положить конец, — думал Ромашов, оглушаемый грохотом барабана и медными звуками, рвавшимися из окна. — Довольно!» — «На его лице лежала несокрушимая решимость».

У полковых дирижеров установились издавна некоторые особенные приемы и милые шутки. Так, в третьей кадрили всегда считалось необходимым путать фигуры и делать, как будто неумышленно, веселые ошибки, которые всегда возбуждали неизменную сумятицу и хохот. И Бобетинский, начав кадриль-монстр неожиданно со второй фигуры, то заставлял кавалеров делать соло и тотчас же, точно спохватившись, возвращал их к дамам, то устраивал grand-rond [1] и, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам.

— Медам, авансе... виноват, рекуле! Кавалье, соло! Пардон, назад, балянсе авек во дам! [2] Да назад же!

Раиса Александровна тем временем говорила язвительным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах:

— Я не позволю так со мною обращаться. Слышите? Я вам не девчонка. Да. И так порядочные люди не поступают. Да.

— Не будем сердиться, Раиса Александровна, — убедительно и мягко попросил Ромашов.

— О, слишком много чести — сердиться! Я могу только презирать вас. Но издеваться над собою я не позволю никому. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?

— Но меня ваше письмо не застало дома, клянусь вам.

— Ха! Вы мне морочите голову! Точно я не знаю, где вы бываете... Но будьте уверены...

---

[1] Большой круг *(франц.)*.

[2] Дамы, вперед... назад! Кавалеры, одни! Простите... направляйте ваших дам! *(франц.)*

— Кавалье, ан аван! Рон де кавалье[1]. А гош! Налево, налево! Да налево же, господа! Эх, ничего не понимают! Плю де ля ви, месьё! [2] — кричал Бобетинский, увлекая танцоров в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами.

— Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки, — продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место. — Только напрасно она так много о себе воображает! Что она дочь проворовавшегося нотариуса...

— Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых, — сурово остановил Ромашов.

Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась безобразною бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о своих деланных улыбках и, вся в пятнах, старалась перекричать музыку своим насморочным голосом. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и оттого, что ему сквозь оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни одного слова, а главное — потому, что на них уже начинали обращать внимание.

— Да, да, у нее отец проворовался, ей нечего подымать нос! — кричала Петерсон. — Скажите пожалуйста, она нам неглижирует[3]. Мы и про нее тоже кое-что знаем! Да!

— Я вас прошу, — лепетал Ромашов.

— Постойте, вы с ней еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого она третий год не может пропихнуть в академию. И куда ему поступить, когда он, дурак, не видит, что у него под носом делается. Да и то сказать — и поклонник же у нее!..

— Мазурка женераль! Променад! — кричал Бобетинский, проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе летящего архангела.

Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым топотом ног, в такт мазурке зазвенели подвески у

---

[1] Кавалеры, вперед! Кавалеры, в круг! *(франц.)*
[2] Больше жизни, господа! *(франц.)*
[3] Пренебрегает (от франц. négliger).

люстры, играя разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые занавеси на окнах.

— Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо? — кротко спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнусную, но непобедимую трусость. — Вы меня не любите больше... Простимся же добрыми друзьями.

— А-а! Вы мне хотите зубы заговорить? Не беспокойтесь, мой милый, — она произнесла: «бой билый», — я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу. Но я не могу достаточно надивиться на вашу низость...

— Кончим же скорее, — нетерпеливо, глухим голосом, стиснув зубы, проговорил Ромашов.

— Антракт пять минут. Кавалье, оккюпе во дам! [1] — крикнул дирижер.

— Да, когда я этого захочу. Вы подло обманывали меня. Я пожертвовала для вас всем, отдала вам все, что может отдать честная женщина... Я не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Для вас я забыла обязанности жены и матери. О, зачем, зачем я не осталась верной ему!

— По-ло-жим!

Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочисленные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавшими на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходившие между всеми семьюдесятью пятью офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде: «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит» и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже.

— А! Вы еще имеете наглость смеяться? Хорошо же! — вспыхнула Раиса. — Нам начинать! — спохватилась она и, взяв за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно раскачивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь.

---

[1] Кавалеры, развлекайте дам! *(франц.)*

Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло сердитое выражение, «точно у разозленного насекомого», — подумал Ромашов.

— Я этого не прощу вам. Слышите ли, никогда! Я знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так не будет же того, что вы затеяли, не будет, не будет, не будет! Вместо того чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой... на всякий случай, если там не удастся. Ха-ха-ха!..

— Ну хорошо, будем говорить начистоту, — со сдержанной яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал губы. — Вы сами этого захотели. Да, это правда: я не люблю вас.

— Ах, скажи-ите, как мне это обидно!

— И не любил никогда. Как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую, лживую и грязную игру, какой-то пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что, — Ромашову вдруг вспомнились слова Назанского, — потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры!

— Ха, это, конечно, вы — избранная натура?

Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на сияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен.

— Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в том, что вам, с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным честолюбием, надо непременно, чтобы вас кто-нибудь «окружал» и чтобы другие видели это. Или, вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона, в то время когда на нас смотрели посторонние? Да, да, непре-

менно, чтобы смотрели. Иначе вся эта игра для вас не имеет смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз скомпрометированной.

— Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас, — с напыщенной гордостью возразила Петерсон.

— Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю: вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы все реже и реже. И для того чтобы не потерять последнего вздыхателя, вы, холодная, бесстрастная, приносите в жертву и ваши семейные обязанности и вашу верность супружескому алтарю.

— Нет, вы еще обо мне услышите! — зло и многозначительно прошептала Раиса.

Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой, чахоточный человек, с лысым желтым черепом и черными глазами — влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную, слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва только они с облегчением и радостью уходили от его жены.

Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами.

— Танцуешь, Раечка? Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что вас так давно не видно? Мы так к вам привыкли, что, право, уж соскучились без вас.

— Так... как-то... все занятия, — забормотал Ромашов.

— Знаем мы ваши занятия, — погрозил пальцем Петерсон и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на лицо Ромашова.

— А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите и о чем-то горячитесь. Что у вас?

Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона. Но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи:

— Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что танцы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно.

— А сам пляшет, — с ехидным добродушием заметил Петерсон. — Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю.

Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством:

— И этого святого, необыкновенного человека я обманывала!.. И ради кого же! О, если бы он знал, если б он только знал...

— Маз-зурка женераль! — закричал Бобетинский. — Кавалеры отбивают дам!

От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, подымавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве: танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару. Вертясь вокруг нее и выделывая в то же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он старался улучить момент, когда дама станет к нему лицом. Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он отбил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону; а сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета.

— Актриса! — хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близко к Раисе. — Вас смешно и жалко слушать.

— Вы, кажется, пьяны! — брезгливо воскликнула Раиса и кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини меряют злодеев с головы до ног.

— Нет, скажите, зачем вы обманули меня? — злобно восклицал Ромашов. — Вы отдались мне только для того, чтобы я не ушел от вас. О, если б вы это сделали по любви, ну, хоть не по любви, а по одной только чувственности. Я бы понял это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тщеславия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадки мы были с вами оба, принадлежа друг другу без любви, от скуки, для развлечения, даже без любопытства, а так... как горничные в праздники грызут подсолнышки. Поймите же: это хуже того, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн... Поймите, мне стыдно, мне гадко думать об этом холодном, бесцельном, об этом неизвиняемом разврате!

С холодным потом на лбу он потухшими, скучающими глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на своего кавалера, едва перебирая ногами, с неподвижными плечами и с обиженным видом суровой недотроги величественная Тальман и рядом с ней веселый, скачущий козлом Епифанов. Вот маленькая Лыкачева, вся пунцовая, с сияющими глазками, с обнаженной белой, невинной, девической шейкой... Вот Олизар на тонких ногах, прямых и стройных, точно ножки циркуля. Ромашов глядел и чувствовал головную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказмом:

— Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного!

— Да, да, именно в роли... — вспыхнул Ромашов. — Сам знаю, что это смешно и пошло... Но я не стыжусь скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте. Мы оба добровольно влезли в помойную яму, и я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей, свежей любовью. И в этом виноваты вы, — слышите: вы, вы, вы! Вы старше и опытнее меня, вы уже достаточно искусились в деле любви.

Петерсон с величественным негодованием поднялась со стула.

— Довольно! — сказала она драматическим тоном. — Вы добились, чего хотели. Я ненавижу вас!

Надеюсь, что с этого дня вы прекратите посещения нашего дома, где вас принимали, как родного, кормили и поили вас, но вы оказались таким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу. Это святой человек, я молюсь на него, и открыть ему все — значило бы убить его. Но поверьте, он сумел бы отомстить за оскорбленную беззащитную женщину.

Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искривленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки музыки, с упорным постоянством кашлял ненавистный тромбон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками и не понимал их. Но ему казалось, что и они, как и звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг.

Раиса с треском сложила веер.

— О, подлец-мерзавец! — прошептала она трагически и быстро пошла через залу в уборную.

Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидаемого удовлетворения, и с души его не спала внезапно, как он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. Нет, теперь он чувствовал, что поступил нехорошо, трусливо и неискренно, свалив всю нравственную вину на ограниченную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, растерянность и бессильную злобу, воображал ее горькие слезы и распухшие красные глаза там, в уборной.

«Я падаю, я падаю, — думал он с отвращением и со скукой. — Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное... Эта развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы, и хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука — где все это?»

Он пошел опять в столовую. Там Осадчий и товарищ Ромашова по роте, Веткин, провожали под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Осадчий с серьезным лицом говорил рокочущей октавой, по-протодьяконски:

— Благослови, преосвященный владыка. Врррремя начатия служения...

По мере того как танцевальный вечер приходил к концу, в столовой становилось еще шумнее. Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов.

— Нет, нет, господа... позвольте, вот я вам расскажу! — кричал Арчаковский. — Приходит однажды солдат на постой к хохлу. А у хохла кра-асивая жинка. Вот солдат и думает: как бы мне это...

Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо своей очереди Василий Васильевич Липский.

— Нет, это что, господа... А вот я знаю один анекдот.

И он еще не успевал кончить, как следующий торопился со своим рассказом.

— А вот тоже, господа. Дело было в Одессе, и притом случай...

Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные, и, как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рассказчиков, самый уверенный и циничный.

Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в экипаж, пригласил к столу Ромашова.

— Садитесь-ка, Жоржинька... Раздавим. Я сегодня богат, как жид. Вчера выиграл и сегодня опять буду метать банк.

Ромашова тянуло поговорить по душе, излить кому-нибудь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и говорил убедительным, теплым, дрожащим голосом:

— Мы все, Павел Павлыч, все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно... Друг мой, *как* мы живем! Как мы живем!

— Н-да, брат, что уж тут говорить, жизнь, — вяло ответил Павел Павлович. — Но вообще... это, брат, одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что та-такое за штука — энергетика?

— О, что мы делаем! — волновался Ромашов. — Сегодня напьемся пьяные, завтра в роту — раз, два, левой, правой, — вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только — вся, вся жизнь!

Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким, дребезжащим тенорком:

В тиши жила,
В лесу жила,
И вертено крути-ила...

— Плюнь на все, ангел, и береги здоровье.

И от всей своей души
Прялочку любила.

Пойдем играть, Ромашевич-Ромашовский, я тебе займу красненькую.

«Никому это непонятно. Нет у меня близкого человека», — подумал горестно Ромашов. На мгновение вспомнилась ему Шурочка, — такая сильная, такая гордая, красивая, — и что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около сердца.

Он до света оставался в собрании, глядел, как играют в штосс, и сам принимал в игре участие, но без удовольствия и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, занимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапорщиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: «Эх, все равно. Ничего этим не поправлю».

Веткин, проигравший свои миллионы в пять минут, сидел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ромашовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было понять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким тоскливым выражением лица.

Рассвело. Оплывшие свечи горели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих офицеров были бледны и казались измученными. А Ромашов все глядел на карты, на кучи серебра и бумажек, на зеленое сукно, исписанное мелом, и в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли: о своем падении и о нечистоте скучной, однообразной жизни.

X

Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха.

Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными.

Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и т. п., он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, — и это могло быть правдой, — что в

одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послушал и вдруг крикнул денщику:

— З-захарчук! П-рогони эту п-тицу ка-камнем. М-мешает...

Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытее и веселее, чем у него.

Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:

— От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу.

Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял:

— З-за исключением г-господ офицеров и подпрапорщика.

Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту, и это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив подпоручика, Слива командовал роте «смирно», точно устраивая опоздавшему иронически-почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростною вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что

видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор.

«Эх, все равно уж! — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. — И здесь плохо и там плохо, — одно к одному. Пропала моя жизнь!»

Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя — сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее.

«Но, может быть, это вовсе не так уж позорно? — пробовал он мысленно себя утешить, по привычке многих застенчивых людей. — Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно. Ну, вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну, и ничего особенного: Лбов — как Лбов... Все пустяки, — решил он, наконец, и сразу успокоился. — Положим, совестно... Но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается».

Против обыкновения, Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок:

— Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за десять до ротного командира.

— Виноват, господин капитан, — деревянным голосом ответил Ромашов.

— От, извольте, — виноват!.. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам.

Вся рота была по частям разбросана на плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами, на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми, для облегчения движений, мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:

— Подымание на носки и плавное приседание. Рук-и-и... на бедр!

И потом затянул, нараспев, низким голосом:

— Начина-а-ай!

— Ра-аз! — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом.

А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сероштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:

— Выпад с левой и правой ноги, с выбрасываньем соответствующей руки. — Товсь! Начинай! Ать-два, ать-два! — и десять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: — гау, гау, гау, гау!

— Стой! — выкрикнул пронзительно Сероштан. — Ла-апшин! Ты там что так семетрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом: хоу, хоу!.. Делай у меня движения чисто, матери твоей черт!

Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко, по-кошачьи, присел на землю.

— Подпрапорщик Лбов! Опять фокусничаете! — притворно-строго окрикнул его Слива. Старый «бур-

бон» в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. — Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе.

— Слушаю, господин капитан! — весело гаркнул Лбов. — Слушаю, но не исполняю, — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову.

Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.

— Не болтай ногами. Носки уверх!

Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как будто раз навсегда, с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести.

Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.

— Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! — кричал унтер-офицер. — Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.

— А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! — заорал унтер-офицер. — Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я т-тебе!

— Шаповаленко, не сметь драться! — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. — Не смей этого делать никогда! — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо.

Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.

— Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доложить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу.

После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца, у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.

— От, извольте угадать, где нарвешься! — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. — То есть, скажу я вам: именно, у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все побоку. С утра до вечера строили всякие ложементы, матери их бис! Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир десятой роты, капитан Алейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в два часа построил какой-то там люнет чи барбет.

— Ловко! — вставил Лбов.

— Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлыч, — стрельба при генерале Арагонском.

— А! Примостився стреляти? — засмеялся Веткин.

— Что это такое? — спросил Ромашов.

Слива презрительно махнул рукой.

— А это то, что тогда у нас только и было в уме, что наставления для обучения стрельбе. Солдат один отвечал «Верую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем Пилате» — «примостився стреляти». До того головы всем забили! Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза — был прицельный глаз.

— А помните, Афанасий Кириллыч, как теорию

зубрили? — сказал Веткин. — Траектория, деривация... Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату: вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь? «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллыч?

— Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. Десять процентов свыше отличного — от, извольте. Однако и жулили мы, б-батюшки мои! Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать.

— А при Слесареве, помните шрейберовскую гимнастику?

— Еще бы не помнить! Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл! Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется — приидите, последнее целование. Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь? Ах, помилуйте, солдатик — ближний, нужна гуманность. Дррать его надо, расподлеца! Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить. От, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку...

— Да, это не шоколад! — сочувственно кивнул головой Веткин.

— Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь! Ну-ка, попробуй — посторонись-ка. Сейчас приказ: «У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».

— Лукавый старикашка, — сказал Веткин. — Он в К-ском полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать: «Ложись!» Тот помялся, однако командует: «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал

при нижних чинах давай пушить командира: «Как ведете роту! Белоручки! Неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымите, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир — баба! На абвахту!»

— А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А ударить его, каналью, не смей. Не-е-ет... Помилуйте — он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев не было, и лупили их, скотов, как сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

— Бить солдата бесчестно, — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. — Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

— Что т-тако-е? — протянул он тоном крайнего презрения.

Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось, точно во всем теле сразу.

— Я сказал, что это нехорошо... Да, и повторяю... вот что, — сказал он несвязно, но настойчиво.

— Скажи-т-те пож-жалуйста! — тонко пропел Слива. — Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.

Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом:

— Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка.

— Что-с? — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. — Однако довольно-с этой чепухи-с, — сказал он сухо. — Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы

учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью двадцать пять лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу, — закончил он сердито.

Он резко повернулся к офицерам спиной.

— Охота вам было ввязываться? — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. — Сами видите, что эта слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, — он вас под арест законопатит.

— Да послушайте, Павел Павлыч, это же ведь не служба, это — изуверство какое-то! — со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. — Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами! Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество.

— Ну да, это, конечно, так, — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул.

А Ромашов продолжал с горячностью:

— Ну кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем, совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называл подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик, а во-вторых... во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином!» И я встал и стоял перед ним как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлыч. Мне все это до такой степени надоело и опротивело!..

XI

В ротной школе занимались «словесностью». В тесной комнате, на скамейках, составленных четырехугольником, сидели лицами внутрь солдаты третьего

взвода. В середине этого четырехугольника ходил взад и вперед ефрейтор Сероштан. Рядом, в таком же четырехугольнике, так же ходил взад и вперед другой унтер-офицер полуроты — Шаповаленко.

— Бондаренко! — выкрикнул зычным голосом Сероштан.

Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом.

— Если ты, примерно, Бондаренко, стоишь у строю с ружом, а к тебе подходит начальство и спрашивает: «Что у тебя в руках, Бондаренко?» Что ты должен отвечать?

— Ружо, дяденька? — догадывается Бондаренко.

— Брешешь. Разве же это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски: рушница. То дома было ружо, а на службе зовется просто: малокалиберная скорострельная пехотная винтовка системы Бердана, номер второй, со скользящим затвором. Повтори, сукин сын!

Бондаренко скороговоркой повторяет слова, которые он знал, конечно, и раньше.

— Садись! — командует милостиво Сероштан. — А для чего она тебе дана? На этот вопрос ответит мне... — Он обводит строгими глазами всех подчиненных поочередно: — Шевчук!

Шевчук встает с угрюмым видом и отвечает глухим басом, медленно и в нос и так отрывая фразы, точно он ставит после них точки:

— Вона мини дана для того. Щоб я в мирное время робил с ею ружейные приемы. А в военное время. Защищал престол и отечество от врагов. — Он помолчал, шмыгнул носом и мрачно добавил: — Как унутренних, так и унешних.

— Так. Ты хорошо знаешь, Шевчук, только мямлишь. Солдат должен иметь в себе веселость, как орел. Садись. Теперь скажи, Овечкин: кого мы называем врагами унешними?

Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, отвечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия:

— Внешними врагами мы называем все те самые государствия, с которыми нам приходится вести войну. Французы, немцы, атальянцы, турки, иропейцы, инди...

— Годи, — обрывает его Сероштан, — этого уже в уставе не значится. Садись, Овечкин. А теперь скажет мне... Архипов! Кого мы называем врагами у-ну-трен-ни-ми?

Последние два слова он произносит особенно громко и веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный взгляд в сторону вольноопределяющегося Маркусона.

Неуклюжий, рябой Архипов упорно молчит, глядя в окно ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне службы, он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Очевидно, это происходит оттого, что его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему «словесностью» и действительной жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых вещей, к великому удивлению и негодованию своего взводного начальника.

— Н-ну! Долго я тебя буду ждать, пока ты соберешься? — начинает сердиться Сероштан.

— Нутренними врагами... врагами...

— Не знаешь? — грозно воскликнул Сероштан и двинулся было на Архипова, но, покосившись на офицера, только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза. — Ну, слухай. Унутренними врагами мы называем усех сопротивляющихся закону. Например, кого?.. — Он встречает искательные глаза Овечкина. — Скажи хоть ты, Овечкин.

Овечкин вскакивает и радостно кричит:

— Так что бунтовщики, стюденты, конокрады, жиды и поляки!

Рядом занимается со своим взводом Шаповаленко. Расхаживая между скамейками, он певучим тонким голосом задает вопросы по солдатской памятке, которую держит в руках.

— Солтыс, что такое часовой?

Солтыс, литвин, давясь и таращa глаза от старания, выкрикивает:

— Часовой есть лицо неприкосновенное.

— Ну да, так, а еще?

— Часовой есть солдат, поставленный на какой-либо пост с оружием в руках.

— Правильно. Вижу, Солтыс, что ты уже начинаешь стараться. А для чего ты поставлен на пост, Пахоруков?

— Чтобы не спал, не дремал, не курил и ни от кого не принимал никаких вещей и подарков.

— А честь?

— И чтобы отдавал установленную честь господам проезжающим офицерам.

— Так. Садись.

Шаповаленко давно уже заметил ироническую улыбку вольноопределяющегося Фокина и потому выкрикивает с особенной строгостью:

— Вольный определяющий! Кто же так встает? Если начальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружина. Что есть знамя?

Вольноопределяющийся Фокин, с университетским значком на груди, стоит перед унтер-офицером в почтительной позе. Но его молодые серые глаза искрятся веселой насмешкой.

— Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой...

— Брешете! — сердито обрывает его Шаповаленко и ударяет памяткой по ладони.

— Нет, я говорю верно, — упрямо, но спокойно говорит Фокин.

— Что-о?! Если начальство говорит нет, значит нет!

— Посмотрите сами в уставе.

— Як я унтер-офицер, то я и устав знаю лучше вашего. Скаж-жите! Всякий вольный определяющий задается на макароны. А может, я сам захочу податься в юнкерское училище на обучение? Почему вы знаете? Что это такое за хоругь? Хе-руг-ва! А отнюдь не хоругь. Свяченая воинская херугва, вроде как образ.

— Шаповаленко, не спорь, — вмешивается Ромашов. — Продолжай занятия.

— Слушаю, ваше благородие! — вытягивается Шаповаленко. — Только дозвольте вашему благородию доложить — все этот вольный определяющий умствуют.

— Ладно, ладно, дальше!

— Слушаю, вашбродь... Хлебников! Кто у нас командир корпуса?

Хлебников растерянными глазами глядит на унтер-офицера. Из его раскрытого рта вырывается, точно у осипшей вороны, одинокий шипящий звук.

— Раскачивайся! — злобно кричит на него унтер-офицер.

— Его...

— Ну, — его... Ну, что ж будет дальше?

Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным тоном, хрипло:

— Вот погоди, я тебе после учения разглажу морду-то!

И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему, он произносит громко и равнодушно:

— Его высокопревосходительство... Ну, что ж ты, Хлебников, дальше!...

— Его... инфантерии... лентинант, — испуганно отрывисто бормочет Хлебников.

— А-а-а! — хрипит, стиснув зубы, Шаповаленко. — Ну, что я с тобой, Хлебников, буду делать? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем как верблюд, только рогов у тебя нема. Никакого старания. Стой так до конца словесности столбом. А после обеда явишься ко мне, буду отдельно с тобой заниматься. Греченко! Кто у нас командир корпуса?

«Так сегодня, так будет завтра и послезавтра. Все одно и то же до самого конца моей жизни, — думал Ромашов, ходя от взвода к взводу. — Бросить все, уйти?.. Тоска!..»

После словесности люди занимались на дворе приготовительными к стрельбе упражнениями. В то время как в одной части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробинками в мишень, — в третьей наводили винтовки в цель на приборе Ливчака. Во вто-

ром взводе подпрапорщик Лбов заливался на весь плац веселым звонким тенорком:

— Пря-мо... по колонне... па-альба ротою... ать, два! Рота-а... — он затягивал последний звук, делал паузу и потом отрывисто бросал: — Пли!

Щелкали ударники. А Лбов, радостно щеголяя голосом, снова заливался:

— К но-о-о... ип!

Слива ходил от взвода к взводу, сгорбленный, вялый, поправлял стойку и делал короткие, грубые замечания.

— Убери брюхо! Стоишь, как беременная баба! Как ружье держишь? Ты не дьякон со свечой! Что рот разинул, Карташов? Каши захотел? Где трыньчик? Фельдфебель, поставить Карташова на час после учения под ружье. Кан-налья! Как шинель скатал, Веденеев? Ни начала, ни конца, ни бытия своего не имеет. Балбес!

После стрельбы люди составили ружья и легли около них на молодой весенней травке, уже выбитой кое-где солдатскими сапогами. Было тепло и ясно. В воздухе пахло молодыми листочками тополей, которые двумя рядами росли вдоль шоссе. Веткин опять подошел к Ромашову.

— Плюньте, Юрий Алексеевич, — сказал он Ромашову, беря его под руку. — Стоит ли? Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмке, и все пройдет. А?

— Скучно мне, милый Павел Павлыч, — тоскливо произнес Ромашов.

— Что говорить, невесело, — сказал Веткин. — Но как же иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война?

— Разве что война, — уныло согласился Ромашов. — А зачем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка, какое-то всемирное заблуждение, помешательство? Разве естественно убивать?

— Э-э, развели философию. Какого черта! А если на нас вдруг нападут немцы? Кто будет Россию защищать?

— Я ведь ничего не знаю и не говорю, Павел Павлыч, — жалобно и кротко возразил Ромашов, — я ничего, ничего не знаю. Но вот, например, североамериканская война или тоже вот освобождение Италии, а при Наполеоне — гверильясы... и еще шуаны во время революции... Дрались же, когда приходила надобность! Простые землепашцы, пастухи...

— То американцы... Эк вы приравняли... Это дело десятое. А по-моему, если так думать, то уж лучше не служить. Да и вообще в нашем деле думать не полагается. Только вопрос: куда же мы с вами денемся, если не будем служить? Куда мы годимся, когда мы только и знаем — левой, правой, — а больше ни бе, ни ме, ни кукуреку. Умирать мы умеем, это верно. И умрем, дьявол нас задави, когда потребуют. По крайности не даром хлеб ели. Так-то, господин филозоф. Пойдем после ученья со мной в собрание?

— Что ж, пойдемте, — равнодушно согласился Ромашов. — Собственно говоря, это свинство так ежедневно проводить время. А вы правду говорите, что если так думать, то уж лучше совсем не служить.

Разговаривая, они ходили взад и вперед по плацу и остановились около четвертого взвода. Солдаты сидели и лежали на земле около составленных ружей. Некоторые ели хлеб, который солдаты едят весь день, с утра до вечера, и при всех обстоятельствах: на смотрах, на привалах во время маневров, в церкви перед исповедью и даже перед телесным наказанием.

Ромашов услышал, как чей-то равнодушно-задирающий голос окликнул:

— Хлебников, а Хлебников!..

— А? — угрюмо в нос отозвался Хлебников.

— Ты что дома делал?

— Робил, — сонно ответил Хлебников.

— Да что робил-то, дурья голова?

— Все. Землю пахал, за скотиной ходил.

— Чего ты к нему привязался? — вмешивается старослуживый солдат, дядька Шпынев. — Известно, чего робил: робят сиськой кормил.

Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство.

— В ружье! — крикнул с середины плаца Слива. — Господа офицеры, по местам!

Залязгали ружья, цепляясь штыком за штык. Солдаты, суетливо одергиваясь, становились на свои места.

— Рравняйсь! — скомандовал Слива. — Смиррна!

Затем, подойдя ближе к роте, он закричал нараспев:

— Ружейные приемы, по разделениям, счет вслух... Рота, ша-ай... на кра-ул!

— Рраз! — гаркнули солдаты и коротко взбросили ружья кверху.

Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замечания: «доверни приклад», «выше штык», «приклад на себя». Потом он опять вернулся перед роту и скомандовал:

— Дела-ай... два!

— Два! — крикнули солдаты.

И опять Слива пошел по строю проверять чистоту и правильность приема.

После ружейных приемов по разделениям шли приемы без разделений, потом повороты, вздваивание рядов, примыкание и размыкание и другие разные построения. Ромашов исполнял, как автомат, все, что от него требовалось уставом, но у него не выходили из головы слова, небрежно оброненные Веткиным: «Если так думать, то нечего и служить. Надо уходить со службы». И все эти хитрости военного устава: ловкость поворотов, лихость ружейных приемов, крепкая постановка ноги в маршировке, а вместе с ними все эти тактики и фортификации, на которые он убил девять лучших лет своей жизни, которые должны были наполнить и всю его остальную жизнь и которые еще так недавно казались ему таким важным и мудрым делом, — все это вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то бесцельным и праздным, порожденным всеобщим мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред.

Когда же учение окончилось, они пошли с Веткиным в собрание и вдвоем с ним выпили очень много водки. Ромашов, почти потеряв сознание, целовался с Веткиным, плакал у него на плече громкими истеричными слезами, жалуясь на пустоту и тоску жизни, и на то, что его никто не понимает, и на то, что его не любит «одна женщина», а кто она — этого никто никогда не узнает; Веткин же хлопал рюмку за рюмкой и только время от времени говорил с презрительной жалостью:

— Одно скверно, Ромашов, не умеете вы пить. Выпили рюмку и раскисли.

Потом вдруг он ударял кулаком по столу и кричал грозно:

— А велят умереть — умрем!

— Умрем, — жалобно отвечал Ромашов. — Что — умереть? Это чепуха — умереть... Душа болит у меня...

Ромашов не помнил, как он добрался домой и кто его уложил в постель. Ему представлялось, что он плавает в густом синем тумане, по которому рассыпаны миллиарды миллиардов микроскопических искорок. Этот туман медленно колыхался вверх и вниз, подымая и опуская в своих движениях тело Ромашова, и от этой ритмичной качки сердце подпоручика ослабевало, замирало и томилось в отвратительном, раздражающем чувстве тошноты. Голова казалась распухшей до огромных размеров, и в ней чей-то неотступный, безжалостный голос кричал, причиняя Ромашову страшную боль:

— Дела-ай раз!.. Дела-ай два!

XII

День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в десять утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых, с запиской от Александры Петровны.

«Милый Ромочка, — писала она, — я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что

сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. *Несмотря ни на что,* я все-таки хочу вас сегодня видеть! Только не приходите поздравлять днем, а прямо к пяти часам. Поедем пикником на Дубечную.

Ваша А. Н.»

Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то насмешливого, то дружески-внимательного лица Шурочки, не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня!» — радостно сказал внутри его ликующий шепот.

— Сегодня! — громко крикнул Ромашов и босой соскочил с кровати на пол. — Гайнан, умываться!

Вошел Гайнан.

— Ваша благородия, там денщик стоит. Спрашивает: будешь писать ответ?

— Вот так-так! — Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. — Ссс... Надо бы ему на чай, а у меня ничего нет. — Он с недоумением посмотрел на денщика.

Гайнан широко и радостно улыбнулся.

— Мине тоже ничего нет!.. Тебе нет, мине нет. Э, чего там! Она и так пойдет.

Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь, грязь, мокрый, скользкий плетень, к которому он прижался, и равнодушный голос Степана из темноты: «Ходит, ходит каждый день...» Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за двугривенный, за один двугривенный!

Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения.

— Гайнан, — сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь. — Гайнан, ты поди скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышишь: непременно.

Ромашов переживал теперь острую денежную нужду. Кредит был прекращен ему повсюду: в буфете, в офицерской экономической лавочке, в офицерском

капитале... Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Оставалась только, по какой-то насмешливой игре случая, огромная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахару, а вслед за ним, с такой же покорностью судьбе, допивал его Гайнан.

И теперь, с гримасами отвращения прихлебывая черную, крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко задумался над своим положением. «Гм... во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи: конфеты здесь отвратительные... Веер? Гм!.. Да, конечно, лучше духи. Она любит Эсс-буке. Потом расходы на пикнике: извозчик туда и обратно, скажем — пять, на чай Степану — ррубль! Да-с, господин подпоручик Ромашов, без десяти рублей вам не обойтись».

И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалованье? Но не далее как вчера он расписался на получательной ведомости: «Расчет верен. Подпоручик Ромашов». Все его жалованье было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям; подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им по крайней мере тридцать раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко — человек мрачный и суровый, особенно к «фендрикам». В турецкую войну он был ранен, но в самое неудобное и непочетное место — в пятку. Вечные подтрунивания и остроты над его раной (которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление) сделали то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который уже третий месяц пишет: «Расчет верен».

«Но не будем унывать! — говорил сам себе Ромашов. — Переберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных. По порядку. Первая рота — Осадчий».

Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего, с его тяжелым, звериным взглядом. «Нет — кто угодно, только не он. Только не он. Вторая рота — Тальман. Милый Тальман: он вечно и всюду хватает рубли, даже у подпрапорщиков. Хутынский?»

Ромашов задумался. Шальная, мальчишеская мысль мелькнула у него в голове: пойти и попросить взаймы у полкового командира. «Воображаю! Наверно, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры: «Что-о? Ма-ал-чать! На четверо суток на гауптвахту!»

Подпоручик расхохотался. Нет, все равно, что-нибудь да придумается! День, начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием.

«Капитан Дювернуа? Его солдаты смешно называют: Доверни-нога. А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус, — так его солдаты окрестили: Будка за цехаузом. Нет, Дювернуа скуп и не любит меня — я это знаю...»

Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой и даже до нестроевой, потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове: «Подполковник Рафальский!»

— Рафальский. А я-то ломал голову!.. Гайнан! Сюртук, перчатки, пальто — живо!

Подполковник Рафальский, командир четвертого батальона, был старый причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Бремом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на ученьях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям — птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец. Полковые

дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского: «Ах, это такой ужас, эти звери! И притом, извините за выражение, — ззапах! фи!»

Все свои сбережения полковник Брем тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимого: носил шинель и мундир бог знает какого срока, спал кое-как, ел из котла пятнадцатой роты, причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным — на то он и слыл чудаком, полковником Бремом.

Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить взаймы два целковых, так и говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. «Иван Антоныч, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста. Так вы все это интересно рассказываете...»

Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей: он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь сенбернара; теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться: в детстве — из-за той бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал «представительной фигурой».

Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лаской гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемухи и лиловые — сирени. Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в

груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкино письмо, перечитал его и крепко прижался губами к ее подписи.

— Милое небо! Милые деревья! — прошептал он с влажными глазами.

Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись: «Без звонка не входить. Собаки!!» Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик.

— Полковник дома?

— Пожалуйте, ваше благородие.

— Да ты поди доложи сначала.

— Ничего, пожалуйте так. — Денщик сонно почесал ляжку. — Они этого не любят, чтобы, например, докладать.

Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться передними ногами то вправо, то влево и еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора, на зеленой молодой траве, стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах; раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая йоркширская свинья.

Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна, спиною к двери, и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руку по локоть. Ромашов должен был два раза громко прокашляться, прежде

чем Брем повернул назад свое худое, бородатое, длинное лицо в старинных черепаховых очках.

— А-а, подпоручик Ромашов! Милости просим, милости просим... — сказал Рафальский приветливо. — Простите, не подаю руки — мокрая. А я, видите ли, некоторым образом, новый сифон устанавливаю. Упростил прежний, и вышло чудесно. Хотите чаю?

— Покорно благодарю. Пил уже. Я, господин полковник, пришел...

— Вы слышали: носятся слухи, что полк переведут в другой город, — говорил Рафальский, точно продолжая только что прерванный разговор. — Вы понимаете, я, некоторым образом, просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет. А аквариум? Стекла — посмотрите вы сами — в полторы сажени длиной. Ах, батеньки! — вдруг перескочил он на другой предмет. — Какой аквариум я видал в Севастополе! Водоемы... некоторым образом... ей-богу, вот в эту комнату, каменные, с проточной морской водой. Электричество! Стоишь и смотришь сверху, как это рыбье живет. Белуги, акулы, скаты, морские петухи — ах, миленькие мои! Или, некоторым образом, морской кот: представьте себе этакий блин, аршина полтора в диаметре, и шевелит краями, понимаете, этак волнообразно, а сзади хвост, как стрела... Я часа два стоял... Чему вы смеетесь?

— Простите... Я только что заметил, — у вас на плече сидит белая мышь...

— Ах ты, мошенница, куда забралась! — Рафальский повернул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой в бороду и в рот человеку.

— Как они вас знают! — сказал Ромашов.

— Да... знают. — Рафальский вздохнул и покачал головой. — А вот то-то и беда, что мы-то их не знаем. Люди выдрессировали собаку, приспособили, некоторым образом, лошадь, приручили кошку, а что это за

существа такие — этого мы даже знать не хотим. Иной ученый всю жизнь, некоторым образом, черт бы его побрал, посвятит на объяснение какого-то ерундовского допотопного слова, и уж такая ему за это честь, что заживо в святые превозносят. А тут... возьмите вы хоть тех же самых собак. Живут с нами бок о бок живые, мыслящие, разумные животные, и хоть бы один приват-доцент удостоил заняться их психологией!

— Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем? — робко предположил Ромашов.

— Труды? Гм... конечно, есть, и капитальнейшие. Вот, поглядите, даже у меня — целая библиотека. — Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен. — Умно пишут и проникновенно. Знания огромнейшие! Какие приборы, какие остроумные способы... Но не то, вовсе не то, о чем я говорю! Никто из них, некоторым образом, не догадался задаться целью — ну хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот поди-ка, понаблюдай-ка: как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушайте: я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно!.. Вообразите себе гипноз, некоторым образом, настоящий, неподдельный гипноз! Что мне один клоун показывал в Киеве в гостинице — это удивительно, просто невероятно! Но ведь вы подумайте — клоун, клоун! А что если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием, с их замечательным умением обставлять опыты, с их научными средствами. О, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о чем! Целый мир, огромный, интересный мир. Ну, вот, как хотите, а я убежден, например, что у собак есть свой язык, и, некоторым образом, весьма обширный язык.

— Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович? — спросил Ромашов. — Это же так просто!

Рафальский язвительно засмеялся.

— Именно оттого, — хе-хе-хе, — что просто. Именно оттого. Веревка — вервие простое. Для него, во-первых,

собака — что такое? Позвоночное, млекопитающее, хищное, из породы собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке, как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки от мужика, полагающего, что у собаки, некоторым образом, вместо души пар.

Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну аквариума. Ромашов собрался с духом.

— Иван Антонович, у меня к вам большая, большая просьба...

— Денег?

— Право, совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но...

Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем.

— Десять могу. Больше не могу, а десять с превеликим удовольствием. Вам небось на глупости? Ну, ну, ну, я шучу. Пойдемте.

Он повел его за собою через всю квартиру, состоявшую из пяти-шести комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним скользили ноги.

Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек без доньев. В двух комнатах стояли развесистые деревья — одно для птиц, другое для куниц и белок, с искусственными дуплами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность.

— Видите вы этого зверя? — Рафальский показал пальцем на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия, величиной с донце стакана, сверкали две черные яркие точечки. — Это самое хищное, самое, некоторым образом, свирепое животное во всем мире.

Хорек. Нет, вы не думайте, перед ним все эти львы и пантеры — кроткие телята. Лев съел свой пуд мяса и отвалился, — смотрит благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит — непременно у каждой перекусит вот тут, сзади, мозжечок. До тех пор не успокоится, подлец. И притом самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. У, ты, злодей!

Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель.

— Видите, каков? А ведь целый год его кормлю...

Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция: белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий, прекрасный экземпляр ангорской кошки.

— Что? Хороша? — спросил Рафальский, указывая на кошку. — Не правда ли, некоторым образом, прелесть? Но не уважаю. Глупа. Глупее всех кошек. Вот опять! — вдруг оживился он. — Опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке? А лошади? А коровы? А свиньи? Знаете, кто еще замечательно умен? Это свинья. Да, да, вы не смейтесь, — Ромашов и не думал смеяться, — свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году какую штуку выдумал. Привозили мне барду с сахарного завода, некоторым образом, для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку

из бочки. Барда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это что еще: один раз, когда его уличили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья. Признаться, — Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо, — признаться, я о своих свиньях маленькую статеечку пишу... Только шш!.. секрет... никому. Как-то неловко: подполковник славной русской армии и вдруг — о свиньях. Теперь у меня вот йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький, премилый барсучишка... Пойдемте?

— Простите, Иван Антонович, — замялся Ромашов. — Я бы с радостью. Но только, ей-богу, нет времени.

Рафальский ударил себя ладонью по лбу.

— Ах, батюшки! Извините вы меня, ради бога. Я-то, старый, разболтался... Ну, ну, ну, идем скорее.

Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно которой провисло, точно дно лодки, да ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги.

— Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад. Ну, вот... какие еще там благодарности!.. Пустое... Я рад... Заходите, когда есть время. Потолкуем.

Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фуражка с приплюснутыми на боках, для франтовства, полями ухарски сидела набекрень.

— А-а! Принц Гамлет! — крикнул радостно Веткин. — Откуда и куда? Фу, черт, вы сияете, точно именинник.

— Я и есть именинник, — улыбнулся Ромашов.

— Да? А ведь и верно: Георгий и Александра. Божественно. Позвольте заключить в пылкие объятия!

Они тут же, на улице, крепко расцеловались.

— Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Вонзим точию по единой, как говорит наш великосветский друг Арчаковский? — предложил Веткин.

— Не могу, Павел Павлыч. Тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились?

— О-о-о! — Веткин значительно и гордо кивнул подбородком вверх. — Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти.

— Именно?

Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишенной остроумия, причем главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары, но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а тридцать рублей наличными деньгами.

— И в конце концов оба мы остались довольны, — говорил ликующий Веткин, — и жид доволен, потому что вместо своих тридцати рублей получит из обмундировальной кассы сорок пять, и я доволен, потому что взогрею сегодня в собрании всех этих игрочишек. Что? Ловко обстряпано?

— Ловко! — согласился Ромашов. — Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлыч. Желаю счастливой карты.

Они разошлись. Но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся.

— Зверинец смотрели? — лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского.

Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением:

— Брем у нас славный человек. Такой милый!

— Что и говорить! — согласился Веткин. — Только — псих!

XIII

Подъезжая около пяти часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в нем каким-то странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо

раньше; очевидно, тревога нарастала в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили подобные явления и прежде, с самого раннего детства, и он знал, что, для того чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза, испугался и, сам этого не заметив, пришел в дурное настроение; но — вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело.

И он принялся быстро перебирать в памяти все впечатления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского; духи; нанял извозчика Лейбу — он чудесно ездит; справлялся на почте, который час; великолепное утро; Степан... Разве в самом деле Степан? Но нет — для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое? Что?

У забора уже стояли три пароконные экипажа. Двое денщиков держали в поводу оседланных лошадей: бурого старого мерина, купленного недавно Олизаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом, золотую кобылу Бек-Агамалова.

«Ах — письмо! — вдруг вспыхнуло в памяти Ромашова. — Эта странная фраза: *несмотря ни на что...* И подчеркнуто... Значит, что-то есть? Может быть, Николаев сердится на меня? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев был в последние дни так сух со мною. Нет, нет, проеду мимо!»

— Дальше! — крикнул он извозчику.

Но тотчас же он — не услышал и не увидел, а скорее почувствовал, как дверь в доме отворилась, — почувствовал по сладкому и бурному биению своего сердца.

— Ромочка! Куда же это вы? — раздался сзади него веселый, звонкий голос Александры Петровны.

Он дернул Лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шурочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было белое гладкое платье с красными цвета-

ми за поясом, с правого бока; те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах. Странно: Ромашов знал безошибочно, что это — она, и все-таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое, праздничное и сияющее.

В то время когда Ромашов бормотал свои поздравления, она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным усилием заставила его войти вместе с ней в темную переднюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса:

— Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что вы откажетесь. Слушайте: будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Вы смешной: чуть вас тронешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза.

— Александра Петровна... сегодня ваше письмо так смутило меня. Там есть одна фраза.

— Милый, милый, не надо!.. — Она взяла обе его руки и крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза. В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову — какая-то ласкающая нежность, и пристальность, и беспокойство, а еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души...

— Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом... Неужели вам не довольно того, что я все время стерегла, как вы проедете. Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смейте на меня так глядеть!

Она смущенно засмеялась и покачала головой.

— Ну, довольно... Ромочка, неловкий, опять вы не целуете рук! Вот так. Теперь другую. Так. Умница. Идемте. Не забудьте же, — проговорила она торопливым, горячим шепотом, — сегодня наш день. Царица Александра и ее рыцарь Георгий. Слышите? Идемте.

— Вот, позвольте вам... Скромный дар...

— Что это? Духи? Какие вы глупости делаете! Нет, нет, я шучу. Спасибо вам, милый Ромочка. Володя! — сказала она громко и непринужденно, входя в гостиную. — Вот нам и еще один компаньон для пикника. И еще вдобавок именинник.

В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стремясь из окон, наклонные снопы весеннего солнца. Посреди гостиной стояли, оживленно говоря, семь или восемь офицеров, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом, ежесекундно кашляя, высокий Тальман. Тут были: капитан Осадчий, и неразлучные адъютанты Олизар с Бек-Агамаловым, и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с острым крысиным личиком, и еще кто-то, кого Ромашов сразу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина. Обе барышни были в одинаковых простеньких, своей работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами; обе розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках; у обеих были ослепительно белые, но неправильно расположенные зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую, своеобразную прелесть; обе хорошенькие и веселые, чрезвычайно похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена жена поручика Андрусевича, маленькая белолицая толстушка, глупая и смешливая, любительница всяких двусмысленностей и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтливые и картавые барышни Лыкачевы.

Как и всегда в офицерском обществе, дамы держались врозь от мужчин, отдельной кучкой. Около них сидел, небрежно и фатовски развалясь в кресле, один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную, скандальную историю. Он отличался непоколебимым апломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью — с дамами и вел большую, всегда счастливую карточную игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах городских чиновни-

ков и у окрестных польских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались, и все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь грязной и громкой выходки. Говорили, что он находится в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, который жил в том же городе. Было так же наверно известно о его близости с madame Тальман: ради нее его и приглашали обыкновенно в гости — этого требовали своеобразные законы полковой вежливости и внимания.

— Очень рад, очень рад, — говорил Николаев, идя навстречу Ромашову, — тем лучше. Отчего же вы утром не приехали к пирогу?

Он говорил это радушно, с любезной улыбкой, но в его голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужденное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессознательно чувствовал, встречаясь с Николаевым, все последнее время.

«Он меня не любит, — решил быстро про себя Ромашов. — Что он? Сердится? Ревнует? Надоел я ему?»

— Знаете... у нас идет в роте осмотр оружия, — отважно солгал Ромашов. — Готовимся к смотру, нет отдыха даже в праздники... Однако я положительно сконфужен... Я никак не предполагал, что у вас пикник, и вышло так, точно я напросился. Право, мне совестно...

Николаев широко улыбнулся и с оскорбительной любезностью потрепал Ромашова по плечу.

— О нет, что вы, мой любезный... Больше народу — веселее... что за китайские церемонии!.. Только, вот не знаю, как насчет мест в фаэтонах. Ну, да рассядемся как-нибудь.

— У меня экипаж, — успокоил его Ромашов, едва заметно уклоняясь плечом от руки Николаева. — Наоборот, я с удовольствием готов его предоставить в ваше распоряжение.

Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой.

«Спасибо, милый!» — сказал ее теплый, по-прежнему странно-внимательный взгляд.

«Какая она сегодня удивительная!» — подумал Ромашов.

— Ну вот и чудесно. — Николаев посмотрел на часы. — Что ж, господа, — сказал он вопросительно, — можно, пожалуй, и ехать?

— Ехать так ехать, сказал попугай, когда его кот Васька тащил за хвост из клетки! — шутовски воскликнул Олизар.

Все поднялись с восклицаниями и со смехом; дамы разыскивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки; Тальман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том, чтобы не забыли теплых платков; поднялась оживленная суматоха.

Маленький Михин отвел Ромашова в сторону.

— Юрий Алексеич, у меня к вам просьба, — сказал он. — Очень прошу вас об этом. Поезжайте, пожалуйста, с моими сестрами, иначе с ними сядет Диц, а мне это чрезвычайно неприятно. Он всегда такие гадости говорит девочкам, что они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия, но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде!..

Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой, но так как Михин всегда был ему приятен и так как чистые, ясные глаза этого славного мальчика глядели с умоляющим выражением, а также и потому, что душа Ромашова была в эту минуту вся наполнена большим радостным чувством, — он не мог отказать и согласился.

У крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поместился с двумя барышнями Михиными. Между экипажами топтался с обычным угнетенным, безнадежно-унылым видом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не заметил и которого никто не хотел брать с собою в фаэтон. Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с собою на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпоручика собачьими, преданными, добрыми глазами и со вздохом полез в экипаж.

Наконец все расселись. Где-то впереди Олизар, паясничая и вертясь на своем старом, ленивом мерине, запел из оперетки:

Сядем в почтовую карету скорей,
Сядем в почтовую карету поскоре-е-е-ей.

— Рысью ма-а-арррш! — скомандовал громовым голосом Осадчий.

Экипажи тронулись.

XIV

Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошливым. Приехали за три версты в Дубечную. Так называлась небольшая, десятин в пятнадцать, роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами.

Прямо на земле разостлали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки, мужчины помогали им с шутливым, преувеличенно-любезным видом. Олизар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову, в виде колпака, и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемежку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах, это было ново и занимательно, и по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напыщенным и глупым видом:

— Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки.

Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, а с другой — Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно-красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча, может быть только полусе-

кундой больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда, но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему, горячую, притягивающую силу.

Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом, который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса:

— Ну-с, господа... Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей бог всякого счастья и чин генеральши.

И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мочь своей страшной глотки:

— Урра!

Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала, — думал Ромашов, — ах, что же она сказала?» Это волновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка; он хотел поймать таким образом эти слова в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый?», «Люблю вас?», «Ромочка?» — Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех слогах.

Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе, пили в таком духе, точно никогда и никто не сомневался, что ему действительно удастся, наконец, поступить в ака-

демию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова; пили за присутствующих дам и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного полка, и за непобедимую русскую армию...

Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно:

— Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашего обожаемого монарха, за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови!

Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди воздуху. Его цыганские, разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы полились по смуглым щекам.

— Гимн, гимн! — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич.

Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам. Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще, и всех громче, всех фальшивее, с лицом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко.

Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку: в гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.

— Я не люблю этих провинциальных пикников, в них есть что-то мелочное и пошлое, — сказала она. — Правда, это нужно было сделать для мужа, перед отъездом, но, боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду, — вы знаете, какой у нас прекрасный сад — старый, тенистый. И все-таки, не знаю почему, я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю почему, и я вам это потом скажу, я вам потом

скажу... Я скажу... Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю.

Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице было что-то манящее и обещающее и мучительно-нетерпеливое. Оно стало бесстыдно-прекрасным, и Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди.

— Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? — спросил он шепотом.

Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удивлением:

— Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите: небо голубое, свет голубой... И у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какая-то голубая радость! Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик...

На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов зараз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый, решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.

— Ерунда! — воскликнул он резко. — Я утверждаю, что все это ерунда. Война выродилась. Все выродилось на свете. Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. «Ах, кровь! Ах, я падаю в обморок!» — передразнил он кого-то гнусавым тоном. — И все это оттого, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны. Разве это война? За пятнадцать верст в тебя — бах! — и ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! Взяли тебя в плен. «Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?» У-у! — Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар. —

В средние века дрались — это я понимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. «На три дня отдаю город солдатам на разграбление!» Ворвались. Кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей храбрецов!..

— Однако вы не очень распространяйтесь, — заметила шутливо Софья Павловна Тальман.

— По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали вóроны. А под виселицами горели костры и пировали победители. Пленных не было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них лишние силы? А-ах! — яростно простонал со сжатыми зубами Осадчий. — Что это было за смелое, что за чудесное время! А битвы! Когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бешено, с озверением и с поразительным искусством. Какие это были люди, какая страшная физическая сила! Господа! — Он поднялся на ноги и выпрямился во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью. — Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но я пью... Если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!

Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и со страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек-Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскрикнула в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали, крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов.

— О, о!.. Вот это... вот, я понимаю!! А! — Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего. — К черту эту кислятину! К черту жалость! А! Р-руби!

Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная, родовая кровожадность. Он, с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и, вдруг выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.

— Бек! Сумасшедший! Дикарь! — закричали дамы.

Бек-Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых с шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, исподлобья, но с вызовом обводили присутствующих.

Ромашов слушал и не слушал Осадчего. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, не существующим на земле напитком. Ему казалось, что теплая, нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, *как будто* неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бек-Агамалова доносились до него из какого-то далекого, фантастического тумана и были понятны, но пусты.

«Осадчий... Он жестокий человек, он меня не любит, — думал Ромашов, и тот, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий, а новый, страшно далекий, и не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии. — У Осадчего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная... Он ее никуда с собой не берет... У него в прошлом году повесился молодой солдат... Осадчий... Да... Что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит... Кто этот человек? Разве я его знаю? Да, я его знаю, но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною рядом... Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость!.. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен. Он все молчит. Глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами.

Ах, пускай сердится — все равно. О, голубая радость!»

Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась:

— Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать.

— Поздно, — заметил кто-то. — Теперь в траве ничего не увидишь.

— Теперь в траве легче потерять, чем найти, — сказал Диц, скверно засмеявшись.

— Ну, тогда давайте разложим костер, — предложил Андрусевич.

Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно вспугнутые, сразу исчезли последние остатки дня, уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов, и казалось, что деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад в темноту.

Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники. Олизар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький, неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более высокого и стройного противника. Потом стали прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об окно муха и как старая птичница ловит курицу, изображал, спрятавшись за кусты, звук пилы и ножа на точиле, — он на это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жонглировал пустыми бутылками.

— Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный фокус! — закричал вдруг Тальман. — Здэсь нэт никакой чудеса или волшебство, а не что иной, как проворство рук. Прошу почтеннейший публикум обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав. Начинаю. Ейн, цвей, дрей... алле гоп!..

Он быстро, при общем хохоте, вынул из кармана

две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой.

— Винт, господа? — предложил он. — На свежем воздухе? А?

Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты, Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку, но так как из-за света костра ему трудно было присматриваться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение.

Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре окончилась, после того как старшая Михина, которую поймал Диц, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила.

Ромашов пошел в глубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему — легкая и стройная, мелькая, точно светлый лесной дух, своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце.

— Сядем, — сказала Шурочка.

Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и подбородка.

Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом:

— Ромочка, хорошо вам?

— Хорошо, — ответил он. Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: — О да, мне сегодня так хорошо, так хорошо! Скажите, отчего вы сегодня такая?

— Какая?

Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову.

— Вы чу́дная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное, я не понимаю что... Но... вы не сердитесь на меня, Александра Петровна... вы не боитесь, что вас хватятся?

Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Ромашова радостной дрожью.

— Милый Ромочка! Милый, добрый, трусливый, милый Ромочка. Я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет? Не знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображайте, это завтра же пройдет...

Ромашов протянул к ней руки, ища ее тела.

— Александра Петровна... Шурочка... Саша! — произнес он умоляюще.

— Не называйте меня Шурочкой, я не хочу этого. Все другое, только не это... Кстати, — вдруг точно вспомнила она, — какое у вас славное имя — Георгий. Гораздо лучше, чем Юрий... Гео-р-гий! — протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова. — Это гордо.

— О милая! — сказал Ромашов страстно.

— Подождите... Ну, слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь, новое пианино блестело, два окна с красными занавесками, — все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали... Нет, нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались

ногами пола, а точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно-приятно... Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне?

Ромашов не сразу ответил. Он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и внимательные, притихшие деревья кругом, и странная, милая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко от него. И, чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие.

— Конечно, летаю, — ответил он. — Но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху: как будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать половой щеткой, но не могли. А я все летаю и все смеюсь. Теперь уже этого нет, теперь я только прыгаю, — сказал Ромашов со вздохом. — Оттолкнусь ногами и лечу над землей. Так, шагов двадцать — и низко, не выше аршина.

Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво:

— И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?

В пол-аршине от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному, сквозь чулок, телу.

— Ромочка... Не надо, — услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос.

Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и

с черными, редкими, молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной, высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари — не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная, прекрасная белая женщина.

Ромашов придвинулся к ней ближе. Ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние. Глаз ее не было видно — вместо них были два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него.

— Это сказка! — прошептал он тихо одним движением рта.

— Да, милый, сказка...

Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом:

— Саша... Я люблю вас... Я люблю...

Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:

— Нет, нет, нет... Мой милый, нет...

— Дорогая моя... Какое счастье!.. Я люблю тебя... — твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду. — Я люблю тебя. Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого, кроме нас. О счастье мое, как я тебя люблю!

Но она говорила шепотом: «нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом:

— Ромочка, зачем вы такой... слабый! Я не хочу скрывать, меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю,

я вижу вас во сне, я... чувствую вас... Меня волнует ваша близость и ваши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный! — Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. — Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..

— Я сделаю, я сделаю это! — тихо воскликнул Ромашов. — Будьте только моей. Идите ко мне. Я всю жизнь...

Она перебила его с ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне:

— Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка, славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что бог создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века одна половинка другую — и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами — эти две половинки; у нас все общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни.

— Да, я знаю.

— Он говорил тебе? — спросила Шурочка быстро.

— Нет, это вышло случайно. Я знаю.

Они замолчали. На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной, задумчивой тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы, мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова; когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту.

— Я своего мужа не люблю, — говорила она медленно, точно в раздумье. — Он груб, он нечуток, неделикатен. Ах, — это стыдно говорить, — но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения, фу... Задает мерзкие вопросы. Господи! Это же был невинный полудетский роман! Но он от одного его имени приходит в бешенство.

Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову.

— Тебе холодно? — спросил Ромашов.

— Нет, милый, мне хорошо, — сказала она кротко.

И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она воскликнула:

— Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!

Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам:

— Скажи мне... Прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его... Зачем же вы вместе?..

Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь.

— Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй, — сказала она другим, совершенно спокойным голосом.

Они встали с травы и стояли друг против друга молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их.

— Прощай! — вдруг воскликнула она звенящим голосом. — Прощай, мое счастье, мое недолгое счастье!

Она обвилась руками вокруг его шеи и прижалась горячим влажным ртом к его губам и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что время остановилось.

Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо:

— Прощай. Довольно. Теперь пойдем.

Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими, крепкими поцелуями.

— Саша, Сашенька! — лепетал он бессмысленно. — Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!..

— Пойдем, пойдем, — торопила она его. — Да встаньте же, Георгий Алексеевич. Нас хватятся. Пойдемте!

Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги и било в виски. Он шатался на ходу.

— Я не хочу обмана, — говорила торопливо и еще задыхаясь Шурочка, — впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же — всегда трусость. Я тебе скажу правду: я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны, они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас, — нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах, — я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства. И потом... подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно... потом — я не хочу ребенка. Фу, какая гадость! Обер-офицерша, сорок восемь рублей жалованья, шестеро детей, пеленки, нищета... О, какой ужас!

Ромашов с недоумением посмотрел на нее.

— Но ведь у вас муж... Это же неизбежно, — сказал он нерешительно.

Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, от чего пахнуло холодком в душу Ромашова.

— Ромочка... ой-ой-ой, какой же вы глу-упы-ый! — протянула она знакомым Ромашову тоненьким, детским голосом. — Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите правду — не понимаете?

Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто неловко за свою наивность.

— Извините... но я должен сознаться... честное слово...

— Ну, и бог с вами, и не нужно. Какой вы чистый, милый, Ромочка! Ну, так вот, когда вы вырастете, то вы наверно вспомните мои слова: что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом. Это гадко — но что же поделаешь.

Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет.

— Ну, а если я возьму себя в руки? — спросил Ромашов. — Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего? Тогда?

Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто:

— Тогда — да. Да, да, да...

Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры людей вокруг него.

— Ромочка, теперь последнее, — сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. — Я не хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не должны у нас больше бывать.

Он остановился изумленный, растерянный.

— Почему же? О Саша!..

— Идемте, идемте... Я не знаю, *кто* это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам.

— Саша! — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки.

— Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный! Но это необходимо. Итак, слушайте: я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом... Умоляю вас, ради бога, будьте сдержанны. Обещайте мне это.

— Хорошо, — произнес печально Ромашов.

— Ну, вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка! Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так,

чтобы мне стало больно. Вот так... Ой!.. Теперь прощайте. Прощай, радость моя!

Не доходя костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу, обходом, вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно-скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой.

Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. И этот большой, сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного.

Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела, и от реки потянуло сыростью. Запас веселости давно истощился, и все разъезжались усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья, и темная гора, и кровавая полоса зари над ее вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про самого себя патетически:

«Его красивое лицо было подернуто облаком скорби».

XV

Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в двух верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры, по положению, должны были жить в лагерное время около своих рот в деревянных бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение шестой роты пришло в страшную ветхость и грозило разру-

шением, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних четыре конца: на утреннее ученье, потом обратно в собрание — на обед, затем на вечернее ученье и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел, почернел, и глаза у него ввалились.

Впрочем, и всем приходилось нелегко: и офицерам и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и — только спустя секунду — сухой треск удара, и опять, и опять, и опять... В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, — били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться: наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно зноен.

У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам, после переклички, веселиться. И они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали:

Для расейского солдата
Пули, бонбы ничего,
С ними он запанибрата,
Всё безделки для него.

А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал:

— Грегораш, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Веселись!

Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать.

Одной только пятой роте жилось легко и свободно. Выходила она на ученье часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству; даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский, странный человек: холостяк, довольно богатый для полка, — он получал откуда-то ежемесячно около двухсот рублей, — очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто и отдаленно с товарищами и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами, и это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказаний, оранья и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину: пример, может быть, единственный во всей русской армии.

Наступило, наконец, пятнадцатое мая, когда, по распоряжению корпусного командира, должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме пятой, унтер-офицеры подняли людей в четыре часа. Несмот-

ря на теплое утро, невыспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих каламянковых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра их лица казались серыми, глянцевитыми и жалкими.

В шесть часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в десять часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставления к стрельбе, особенно густо висела в воздухе скверная ругань и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины.

В девять часов роты стянулись на плац, шагах в пятистах впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией, растянувшись на полверсты, шестнадцать ротных желонеров с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер поручик Ковако, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии, выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив поводья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Ковако зависело очень многое: по его желонерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все шестнадцать рот полка.

Ровно без десяти минут в десять вышла из лагеря пятая рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти сто человек, все как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький, худощавый человек в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в пяти сбоку правого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению.

Батальонный командир, подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно:

— В приказе сказано собраться к десяти. Теперь без трех минут десять. Я не считаю себя вправе морить людей зря.

— Не разговарива-а-ать! — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь. — Прошу, гето, молчать, когда вам делают замечания по службе-е!..

Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на восьмую роту, в которой офицеры проверяли выкладку ранцев:

— Гет-то, что за безобразие! Гето, базар устроили? Мелочную лавочку? Гето, на охоту ехать — собак кормить? О чем раньше думали! Одеваться-а!

В четверть одиннадцатого стали выравнивать роты. Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желонера до желонера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревки самыми кончиками носков — в этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало; требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался ружейный приклад и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый носок назад! Еще!..»

В половине одиннадцатого приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных яблоках, все четыре ноги белые до колен. Полковник Шульгович имел на лошади внушительный, почти величественный вид и сидел прочно, хотя чересчур по-пехотному, на слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крикнул молодцевато, с наигранным веселым задором:

— Здорово, красавцы-ы-ы!..

Ромашов вспомнил свой четвертый взвод и в особенности хилую, младенческую фигуру Хлебникова и не мог удержаться от улыбки: «Нечего сказать, хороши красавцы!»

При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынесли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко вперед, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира, тянулась цепь махальных, которые должны были сигналами предупредить о прибытии начальства. Несколько раз поднималась ложная тревога. Поспешно выдергивались колышки с веревками, полк выравнивался, подтягивался, замирал в ожидании, — но проходило несколько тяжелых минут, и людям опять позволяли стоять вольно, только не изменять положение ступней. Впереди, шагах в трехстах от строя, яркими разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зонтики и шляпки: там стояли полковые дамы, собравшиеся поглядеть на парад. Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в этой светлой, точно праздничной группе, но когда он глядел туда, — всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца, и хотелось часто дышать от странного, беспричинного волнения.

Вдруг, точно ветер, пугливо пронеслось по рядам одно торопливое короткое слово: «Едет, едет!» Всем как-то сразу стало ясно, что наступила настоящая, серьезная минута. Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервностью, сами, без приказания, суетливо выравнивались, одергивались и беспокойно кашляли.

— Смиррна! Желонеры, по места-ам! — скомандовал Шульгович.

Скосив глаза направо, Ромашов увидел далеко на самом краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников, которые в легких клубах желтоватой пыли быстро приближались к строю. Шульгович со строгим и вдохновенным лицом отъехал от середины полка на расстояние, по крайней мере вчетверо большее, чем требовалось. Щеголяя тяжелой красотой приемов, подняв кверху свою серебряную бороду, оглядывая черную неподвижную массу полка грозным, радостным и

отчаянным взглядом, он затянул голосом, покатившимся по всему полю:

— По-слк, слуш-а-ай! На крра-а-а...

Он выдержал нарочно длинную паузу, точно наслаждаясь своей огромной властью над этими сотнями людей и желая продлить это мгновенное наслаждение, и вдруг, весь покраснев от усилия, с напрягшимися на шее жилами, гаркнул всей грудью:

— ...ул!..

Раз-два! Всплеснули руки о ружейные ремни, брякнули затворы о бляхи поясов. С правого фланга резко, весело и отчетливо понеслись звуки встречного марша. Точно шаловливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты и кларнеты, с победным торжеством вскрикнули и запели высокие медные трубы, глухие удары барабана торопили их блестящий бег, и не поспевавшие за ним тяжелые тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосами. На станции длинно, тонко и чисто засвистел паровоз, и этот новый мягкий звук, вплетясь в торжествующие медные звуки оркестра, слился с ним в одну чудесную, радостную гармонию. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля, — точно он не замечал их раньше, — и вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, неподвижной, могучей массе людей, таинственно скованных одной незримой волей...

Шульгович, держа обнаженную шашку у самого лица, тяжелым галопом поскакал навстречу.

Сквозь грубо-веселые, воинственные звуки музыки послышался спокойный, круглый голос генерала:

— Здорово, первая рота!

Солдаты дружно, старательно и громко закричали. И опять на станции свистнул паровоз — на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором. Здороваясь поочередно с ротами, корпусный командир медленно ехал по фронту. Уже Ромашов отчетливо видел его грузную,

оплывшую фигуру с крупными поперечными складками кителя под грудью и на жирном животе, и большое квадратное лицо, обращенное к солдатам, и щегольской с красными вензелями вальтрап на видной серой лошади, и костяные колечки мартингала, и маленькую ногу в низком лакированном сапоге.

— Здорово, шестая!

Люди закричали вокруг Ромашова преувеличенно громко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уверенно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно похрустывая железом мундштука во рту и роняя с морды легкую белую пену, шла частым, танцующим, гибким шагом. «У него виски седые, а усы черные, должно быть нафабренные», — мелькнула у Ромашова быстрая мысль.

Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к козырьку фуражки. Ромашов стоял, весь вытянувшись, с напряженными мускулами ног, крепко, до боли, стиснув эфес опущенной вниз шашки. Преданный, счастливый восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступно в лицо корпусного командира, он подумал про себя, по своей наивной детской привычке: «Глаза боевого генерала с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого подпоручика».

Корпусный командир объехал таким образом поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной блестящей группой двигалась свита: около пятнадцати штабных офицеров на прекрасных, выхоленных лошадях. Ромашов и на них глядел теми же преданными глазами, но никто из свиты не обернулся на подпоручика: все эти парады, встречи с музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были для них привычным, давно наскучившим делом. И Ромашов со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал, что эти высокомерные люди живут какой-

то особой, красивой, недосягаемой для него, высшей жизнью.

Кто-то издали подал музыке знак перестать играть. Командир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к правому вдоль линии полка, и за ним разнообразно волнующейся, пестрой, нарядной вереницей растянулась его свита. Полковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая поводья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры:

— Капитан Осадчий! Выводите роту-у! Жива-а!..

У полкового командира и у Осадчего на всех ученьях было постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь даже в шестнадцатой роте была слышна щегольская металлическая команда Осадчего:

— Рота, на плечо! Равнение на середину, шагом марш!

У него в роте путем долгого, упорного труда был выработан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый шаг, причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и с силою бросали ее на землю. Это выходило громко и внушительно и служило предметом зависти для других ротных командиров.

Но не успела первая рота сделать и пятидесяти шагов, как раздался нетерпеливый окрик корпусного командира:

— Это что такое? Остановите роту. Остановите! Ротный командир, пожалуйте ко мне. Что вы тут показываете? Что это: похоронная процессия? Факельцуг? Раздвижные солдатики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не николаевские времена, когда служили по двадцати пяти лет. Сколько лишних дней у вас ушло на этот кордебалет! Драгоценных дней!

Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, сумрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и насмешливым выражением:

— Небось людей совсем задергали шагистикой? Эх, вы, Аники-воины. А спроси у вас... да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия?

Генерал показал пальцем на второго от правого фланга солдата.

— Игнатий Михайлов, ваше превосходительство, — безучастным, солдатским деревянным басом ответил Осадчий.

— Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он? Женат? Есть у него дети? Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь горе? Беда? Нуждишка? Что?

— Не могу знать, ваше превосходительство. Сто человек. Трудно запомнить.

— Трудно запомнить! — с горечью повторил генерал. — Ах, господа, господа! Сказано в писании: духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь эта самая святая, серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы — не могу знать.

И, мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нужды поводья, генерал закричал через голову Осадчего на полкового командира:

— Полковник, уберите эту роту. И смотреть не буду. Уберите, уберите сейчас же! Петрушки! Картонные паяцы! Чугунные мозги!

С этого и начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе — все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй роте люди не знали «Отче наш», в третьей сами офицеры путались при рассыпном строе, в четвертой с каким-то солдатом во время ружейных приемов сделалось дурно. А главное — ни в одной роте не имели понятия о приемах против неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и знали их важность. Приемы эти были изобретены и введены в практику именно самим корпусным командиром и заключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий раз от начальников находчивости, быстрой сообразительности и широкой личной инициативы. И на них срывались поочередно все роты, кроме пятой.

Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, получают ли всё по положению, нет ли жалоб и претензий? Но солдаты дружно гаркали, что они «точно так, всем довольны». Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как сзади него фельдфебель его роты, Рында, говорил шипящим и угрожающим голосом:

— Вот объяви мне кто-нибудь претензию! Я ему потом таку объявлю претензию!

Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молодцеватые, свежие люди проделывали ротное ученье таким легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свободой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаменом, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Генерал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята!» — это в первый раз за все время смотра.

Приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными, быстрыми фразами: «Кавалерия справа, восемьсот шагов», и Стельковский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы — головной с колена, второй стоя, — назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа и затем командовал: «На руку!» «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» — хвалил генерал.

После опроса рота опять выстроилась развернутым строем. Но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вглядывался в солдатские лица, и тонкая, довольная улыбка светилась сквозь очки в его умных глазах под тяжелыми, опухшими веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад, к начальнику своего штаба:

— Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды! Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, эй ты, толсторожий, — указал он движе-

нием подбородка на одного солдата, — тебя Коваль звать?

— Тошно так, ваше превосходительство, Михайла Борийчук! — весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат.

— Ишь ты, а я думал, Коваль. Ну, значит, ошибся, — пошутил генерал. — Ничего не поделаешь. Не удалось... — прибавил он веселую, циничную фразу.

Лицо солдата совсем расплылось в глупой и радостной улыбке.

— Никак нет, ваше превосходительство! — крикнул он еще громче. — Так что у себя в деревне займался кузнечным мастерством. Ковалем был.

— А, вот видишь! — генерал дружелюбно кивнул головой. Он гордился своим знанием солдата. — Что, капитан, он у вас хороший солдат?

— Очень хороший. У меня все они хороши, — ответил Стельковский своим обычным, самоуверенным тоном.

Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески-милым.

— Ну, это вы, капитан, кажется, того... Есть же штрафованные?

— Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного.

Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке.

— Спасибо вам великое, родной мой, — сказал он дрожащим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать. — Спасибо, утешили старика. Спасибо, богатыри! — энергично крикнул он роте.

Благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стельковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благополучно. Генерал не хвалил, но и не бранился. Однако и шестая рота осрамилась, когда солдаты стали колоть соломенные чучела, вшитые в деревянные рамы.

— Не так, не так, не так, не так! — горячился корпусный командир, дергаясь на седле. — Совсем не так! Братцы, слушай меня. Коли от сердца, в самую середку, штык до трубки. Рассердись! Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь...

Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные, хлесткие замечания и сидел на лошади молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. Пятнадцатую и шестнадцатую роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукою:

— Ну, это... недоноски какие-то.

Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную, сомкнутую колонну, пополуротно. Опять выскочили вперед желонеры и вытянулись против правого фланга, обозначая линию движения. Становилось невыносимо жарко. Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком черного хлеба.

Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офицеры почти упрашивали солдат: «Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным. Не осрамите». И в этом обращении начальников с подчиненными проскальзывало теперь что-то заискивающее, неуверенное и виноватое. Как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусный командир, вдруг придавил общей тяжестью и офицера и солдата, обезличил и уравнял их и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими.

— Полк, смирррна-а... Музыканты, на линию-у! — донеслась издали команда Шульговича.

И все полторы тысячи человек на секунду зашевелились с глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли, нервно и сторожко вытянувшись.

Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный, разливающийся голос:

— Полк, на плечо-о-о!..

Четверо батальонных командиров, повернувшись на лошадях к своим частям, скомандовали вразброд:

— Батальон, на пле... — и напряженно впились глазами в полкового командира.

Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опустилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и четверо батальонных командиров разом вскрикнули:

— ...чо!

Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья. Где-то залязгали штыки.

Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко, во всю мочь своих огромных легких, скомандовал:

— К це-ре-мо-ни-аль-но-му маршу-у!..

Теперь уже все шестнадцать ротных командиров невпопад и фальшиво, разными голосами запели:

— К церемониальному маршу!

И где-то, в хвосте колонны, один отставший ротный крикнул, уже после других, заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды:

— К цериальному... — и тотчас же робко оборвался.

— Попо-лу-ротна-а! — раскатился Шульгович.

— Пополуротно! — тотчас же подхватили ротные.

— На двух-взво-одную дистанцию! — заливался Шульгович.

— На двухвзводную дистанцию!..

— Ра-внение на-права-а!

— Равнение направо! — повторило многоголосое пестрое эхо.

Шульгович выждал две-три секунды и отрывисто бросил:

— Первая полурота — шагом!

Глухо доносясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего:

— Пер-рвая полурота. Равнение направо. Шагом... арш!

Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики.

Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе.

— Вторая полурота, прямо! — услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского.

И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише, точно он опускался вниз, под землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватила темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся: головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела, прояснились серые, усталые лица.

Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все ярче, возбужденней и радостней становились звуки полкового марша. Вот отхлынула последняя полурота первого батальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой вороной лошади, в сопровождении Олизара. У обоих шашки «подвысь» с кистью руки на уровне лица. Слышна спокойная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Высоко над штыками плавно заходило древко знамени. Капитан Слива вышел вперед — сгорбленный, обрюзгший, оглядывая строй водянистыми выпученными глазами, длиннорукий, похожий на большую старую скучную обезьяну.

— П-первая полурота... п-прямо!

Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. «Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором», — мелькает у него в голове пышная фраза в то время, когда он сам тянет лихо, нараспев:

— Втор-ая полуро-ота-а...

«Раз, два!» — считает Ромашов мысленно и держит такт одними носками сапог. «Нужно под левую ногу. Левой, правой». И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкрикивает высоким, звенящим на все поле тенором:

— Пряма!

И, уже повернувшись, точно на пружине, на одной ноге, он, не оборачиваясь назад, добавляет певуче и двумя тонами ниже:

— Ра-авне-ние направа-а!

Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется, что это музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепительного света и что медные, ликующие крики падают сверху, с неба, из солнца. Как и давеча, при встрече, — сладкий, дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой и приподымает и шевелит волосы на голове.

Дружно, в такт музыке, закричала пятая рота, отвечая на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь подпоручик совсем отчетливо видит впереди и справа от себя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дамских платьев, которые в ослепительном полуденном свете кажутся какими-то сказочными, горящими цветами. А слева блестят золотые поющие трубы оркестра, и Ромашов чувствует, что между генералом и музыкой протянулась невидимая волшебная нить, которую и радостно и жутко перейти.

Но первая полурота уже вступила в эту черту.

— Хорошо, ребята! — слышится довольный голос корпусного командира. — А-а-а-а! — подхватывают солдаты высокими, счастливыми голосами. Еще громче вырываются вперед звуки музыки. «О милый! — с умилением думает Ромашов о генерале. — Умница!»

Теперь Ромашов один. Плавно и упруго, едва касаясь ногами земли, приближается он к заветной черте. Голова его дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена влево. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свободы, точно он получил неожиданную способность летать. И, сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радужном, восторженном сне:

«Посмотрите, посмотрите, — это идет Ромашов». «Глаза дам сверкали восторгом». Раз, два, левой!.. «Впереди полуроты грациозной походкой шел красивый молодой подпоручик». Левой, правой!.. «Полковник Шульгович, ваш Ромашов одна прелесть, — сказал корпусный командир, — я бы хотел иметь его своим адъютантом». Левой...

Еще секунда, еще мгновение — и Ромашов пересекает очарованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, огненным торжеством. «Сейчас похвалит», — думает Ромашов, и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос корпусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса... «Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади, из рядов... Что случилось?»

Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых, стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось от того, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один, шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос.

Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами.

К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью, нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами:

— Подпоручик... Ромашов... Командир полка объявляет вам... строжайший выговор... На семь дней... на гауптвахту... в штаб дивизии... Безобразие, скандал... Весь полк о...... и!.. Мальчишка!

Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться! Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай слышали, так мне и надо, и пускай, — с острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов. — Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно, непременно застрелюсь!»

Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.

Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:

— С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в другую роту.

Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку.

— Пойдем покурим, Юрий Алексеич, — сказал Веткин.

И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой:

— Эх, голубчик!..

У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:

— Нет уж... что уж тут... я не хочу...

Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас подойду и ударю Сливу по щеке», — мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль. — Или подойду к корпусному и скажу: «Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя две недели били солдат».

Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала, — и ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной.

«Ты смешной, презренный, гадкий человек! — крикнул он самому себе мысленно. — Знайте же все, что я сегодня застрелюсь!»

Смотр кончался. Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром: сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около четырех часов. Наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-горнист затрубил «вызов начальников».

— Господа офицеры, к корпусному командиру! — пронеслось по рядам.

Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому сильно утомленный, но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки.

— Буду краток, — заговорил он отрывисто и веско. — Полк никуда не годен. Солдат не браню, обвиняю начальников. Кучер плох — и лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо: «Блажен, иже душу свою положит за други своя». А у вас одна мысль — лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, шестой или седьмой роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно! Не требую шагистики в три темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего.

«Обо мне!» — с ужасом подумал Ромашов, и ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала.

— Командиру пятой роты мое горячее спасибо! — продолжал корпусный командир. — Где вы, капитан? А, вот! — генерал несколько театрально, двумя руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. — Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет бог драться моему корпусу под моим начальством, — глаза генерала заморгали и засветились слезами, — то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню.

— Ваше превосходительство, — выступил вперед Шульгович, — осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем...

— Нет, уж зачем! — сухо оборвал его генерал. — Премного благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому.

Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встрепенулись, вытянулись и затихли.

— Спасибо, N-цы! — твердо и приветливо крикнул генерал. — Даю вам два дня отдыха. А теперь... — он весело возвысил голос, — по палаткам бегом марш! Ура!

Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным радостным ревом кинулись полторы тысячи людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами.

Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой.

Когда он проходил сзади палаток свой роты, по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького, краснолицего, апоплектического крепыша, который, неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацали друг о друга его челюсти.

Ромашов торопливо, почти бегом, прошел мимо. У него не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно-близко и противно сплелись за нынешний день. Точно

они были двое калек, страдающих одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, но в нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно человеческое.

XVI

Из лагеря в город вела только одна дорога — через полотно железной дороги, которое в этом месте проходило в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной, почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе и в шинели внакидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева.

«Сейчас будет самое неприятное!» — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия. Но он все-таки покорно подымался кверху.

Офицеры не видались около пяти дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного, точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый, несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке.

— Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеич, — сказал Николаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь, через плечо Ромашова.

— К вашим услугам, Владимир Ефимыч, — ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую былинку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура, с узкой, маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутая в боках.

— Я вас не задержу, мне только два слова, — сказал Николаев.

Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решившегося быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно:

— Так пойдемте?

Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молчали. Наконец Николаев, переведя широко и громко, с видимым трудом, дыхание, заговорил первый:

— Я прежде всего должен поставить вопрос: относитесь ли вы с должным уважением к моей жене... к Александре Петровне?

— Я не понимаю, Владимир Ефимович... — возразил Ромашов. — Я, с своей стороны, тоже должен спросить вас...

— Позвольте! — вдруг загорячился Николаев. — Будем спрашивать поочередно, сначала я, а потом вы. А иначе мы не столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего: интересует вас хоть сколько-нибудь то, что о ней говорят и сплетничают? Ну, словом... черт!.. ее репутация? Нет, нет, подождите, не перебивайте меня... Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем доме приняты, как близкий, свой человек, почти как родной.

Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо:

— Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне...

— Ах, нет, вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности, — рассердился Николаев. — Я хочу сказать только то, что моей жены коснулась грязная, лживая сплетня, которая... ну, то есть в которую... — Николаев часто задышал и вытер

лицо платком. — Ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба — я и она — мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские анонимные письма. Не стану вам их показывать... мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится... — Николаев замялся на секунду. — Ну, да, черт!.. говорится о том, что вы — любовник Александры Петровны и что... ух, какая подлость!.. Ну, и так далее... что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость!

Он злобно заскрипел зубами и сплюнул.

— Я знаю, кто писал, — тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону.

— Знаете?

Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова:

— Так как же вы смеете молчать, если знаете! В вашем положении долг каждого мало-мальски порядочного человека — заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы... армейский донжуан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь...

Ромашов, беднеея, посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели, голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глубоко вниз и билось там огромными, болезненными толчками, сотрясая все тело.

— Я попрошу вас не кричать на меня, — глухо и протяжно произнес Ромашов. — Говорите приличнее, я не позволю вам кричать.

— Я вовсе на вас и не кричу, — все еще грубо, но понижая тон, возразил Николаев. — Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю.

— Хорошо, я сделаю все, что могу, — сухо ответил Ромашов.

Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки. Николаев тотчас же догнал его.

— И потом... только вы, пожалуйста, не сердитесь... — заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. — Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до конца... Не правда ли?

— Да? — полувопросительно произнес Ромашов

— Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть я и Александра Петровна. И если я теперь вынужден... Ах, да вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни!

— Хорошо, — грустно ответил Рома́шов. — Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня? Ну, хорошо. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на пять минут, возвратить Александре Петровне ее книги, и, смею уверить вас, это в последний раз.

— Да... так вот... — сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал

Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще шагов триста, и так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался — ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым.

Наконец около первых домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его.

— Да... так вот... — опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову. — Итак, до свидания, Юрий Алексеевич.

Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его

жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное.

Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и, по своему обыкновению, приплясывал на месте.

— Твоя не обедал? — спрашивал он с участливой фамильярностью. — Небось голодный? Сейчас побежу в собранию, принесу тебе обед.

— Убирайся к черту! — визгливо закричал на него Ромашов. — Убирайся, убирайся и не смей заходить ко мне в комнату. И кто бы ни спрашивал — меня нет дома. Хоть бы сам государь император пришел.

Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами. У него горели глаза, что-то колючее, постороннее распирало и в то же время сжимало горло, и хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя, точно со стороны, оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили.

Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мыслей, закрыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим, с прежней тоской на душе. Но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более пяти часов.

Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко, всего шагов двести, и туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и перелазами.

В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы, и оттого грязный, загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым

чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, резкие удары бильярдных шаров.

Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив в столовой раздраженный и насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в двух шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира.

— В-вся рота идет, к-как один ч-человек — ать! ать! ать! — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь, — а *оно одно,* точно на смех — о! о! — як тот козел. — Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх. — Я ему п-прямо сказал б-без церемонии: уходите-ка, п-почтеннейший, в друг-гую роту. А лучше бы вам и вовсе из п-полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, м-междометие какое-то...

Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он минуту или две. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль стены, прошел, все ускоряя шаг, до ворот и, быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора.

Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет. Раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глянцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам — одна половина была совсем черная, а другая масляно блестела гладким, круглым булыжником.

За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю тебя!» — прошептал Ромашов,

делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди.

Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю:

«Посмотри в окно... Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну».

Занавески оставались неподвижными. «Ты не слышишь меня! — с горьким упреком прошептал Ромашов. — Ты сидишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная, равнодушная, красивая. Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!»

Он вздохнул и утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше.

Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда, почудилось, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского.

Спустя несколько дней Ромашов вспоминал, точно далекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и взбиралось на гору, обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из светлой спящей травы печально подымались кверху голые, однообразные, холодные камни, бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго царствовала торжественная простота уединения.

Потом он видел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во сне? Он стоял на середине длинной укатанной, блестящей плотины, широко пересекающей Буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая

о землю, а месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это миллионы серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустынному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду — и на улицах и за городом — шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аромат цветущей белой акации.

Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь — одинокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно, по-детски, смешные. Чаще же всего ему, точно неопытному игроку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хохочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обрывались воспоминаниями о брани Федоровского, о язвительных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым, и Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным.

Тайный, внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятно-самолюбивым чувством. Обычная, неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами.

«Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо искажено испугом. Бледный, трясущийся, вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно подымаются с мест при его появлении. «Ваше высокоблагородие... подпоручик... застрелился!..» — с трудом произносит Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах отражается ужас. «Кто застрелился? Где? Какой подпоручик?» — «Господа, да ведь это денщик Ромашова! — узнает кто-то Гайнана. — Это его черемис». Все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер

Смита и Вессона, казенного образца... Сквозь толпу офицеров, наполнявших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойко. «В висок! — произносит он тихо среди общего молчания. — Все кончено». Кто-то замечает вполголоса: «Господа, снимите же шапки!» Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает ее вслух: «Прощаю всех, умираю по доброй воле, жизнь так тяжела и печальна! Сообщите поосторожнее матери о моей смерти. Георгий Ромашов». Все переглядываются, и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невысказанную мысль: «Это *мы* его убийцы!»

Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покровом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом. Позади их — шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь, на улице, он сдерживает себя. Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не стыдясь своего горя, — милый, добрый мальчик! Глубокими, скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы и Шурочка. «Я его целовала! — думает она с отчаянием. — Я его любила! Я могла бы его удержать, спасти!» — «Слишком поздно!» — думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов.

Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом: «Эх, как жаль беднягу! Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер!.. Да... не понимали мы его!» Сильнее рыдает похоронный марш: это — музыка Бетховена «На смерть героя». А Ромашов лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букет фиалок, — никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил: и Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни! Ему будет лучше *там!*»

Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправедливо обиженным!

Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва пестрела путаными белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ромашова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной валик и остановился над железнодорожной выемкой.

Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал ярко-бледный свет, и казалось, на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть; на дне ее слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля правильные ряды остроконечных палаток.

Немного ниже гребня выемки, вдоль полотна, шел неширокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка — наполовину в тени, наполовину в свете, смутно-прозрачный воздух, росистая трава, — все было погружено в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной ночи их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение.

Ромашов лег на спину. Белые, легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. «Там — бог!» — подумал Ромашов, и вдруг, с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он заговорил страстным и горьким шепотом.

— Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я — маленький, я — слабый, я — песчинка, что я сделал тебе дурного, бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь, — зачем же ты несправедлив ко мне, бог?

Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо:

— Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня! Я не стану больше. — И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью: — Делай со мной все, что тебе угодно. Я всему повинуюсь с благодарностью.

Так он говорил, и в то же время у него в самых тайниках души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего бога, и тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее — тягостное и неприятное — окажется лишь дурным сном.

«Где ты ту-ут?» — сердито и торопливо закричал паровоз.

А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой:

«Я — ва-ас!»

Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним.

Вот оно перешло через рельсы. «Кажется — солдат? — мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. — Во всяком случае, это человек. Но так странно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?»

Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло две-три минуты, и снизу начала медленно подыматься круглая стриженая голова без шапки.

Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты — Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом, безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней, таинственной силы. Он прошел так близко около офицера, что почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими, острыми точками отражался лунный свет.

— Хлебников! Ты? — окликнул его Ромашов.

— Ах! — вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга.

Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны».

— Куда ты, голубчик? Что с тобой? — спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату.

Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на приторную щекотку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.

— Тебя били? Да? Ну, скажи же. Да? Сядь здесь, сядь со мною.

Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то нелепо-легко и послушно упал на мокрую траву, рядом с подпоручиком.

— Куда ты шел? — спросил Ромашов.

Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками опускалась на грудь. Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость.

— Ты хотел убежать? Надень же шапку. Послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник, я сам — несчастный, одинокий, убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Поговори же со мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? — спрашивал Ромашов бессвязным шепотом.

Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова, дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Эта

бессонная лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат — все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью:

— Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все — какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть... Это надо.

Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий.

— Не могу больше... — лепетал Хлебников бессвязно, — не могу я, барин, больше... Ох, господи... Бьют, смеются... взводный денег просит, отделенный кричит... Где взять? Живот у меня надорванный... еще мальчонком надорвал... Кила у меня, барин... Ох, господи, господи!

Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно:

— Брат мой!

Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез

холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку.

Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот.

Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать:

— Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена!..

— Не разговаривать! — крикнул на него Ромашов. — Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал... Так ты придешь завтра ко мне? — спросил он Хлебникова, и тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом.

Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку:

— Во-от посылает той самый черт до того солдата самого своïо главного вовшебника. Вот приходит той вовшебник и говòрит: «Солдат, а солдат, я тебя зъем!» А солдат ему отвечает и говòрит: «Ни, ты меня не можешь зъесть, так что я и сам вовшебник!»

Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено:

— Ты! Старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и смеешь, то... ну вот: сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу.

Он стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом взобрался

наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.

XVII

С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он стал уединяться от общества офицеров, обедал большею частью дома, совсем не ходил на танцевальные вечера в собрание и перестал пить. Он точно созрел, сделался старше и серьезнее за последние дни и сам замечал это по тому грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь относился к людям и явлениям. Нередко по этому поводу вспоминались ему чьи-то давным-давно слышанные или читанные им смешные слова, что человеческая жизнь разделяется на какие-то «люстры» — в каждом люстре по семи лет — и что в течение одного люстра совершенно меняется у человека состав его крови и тела, его мысли, чувства и характер. А Ромашову недавно окончился двадцать первый год.

Солдат Хлебников зашел к нему, но лишь по второму напоминанию. Потом он стал заходить чаще.

Первое время он напоминал своим видом голодную, опаршивевшую, много битую собаку, пугливо отскакивающую от руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта офицера понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и виноватой жалостью узнавал Ромашов подробности о его жизни. Дома — мать с пьяницей-отцом, с полуидиотом-сыном и с четырьмя малолетними девчонками; землю у них насильно и несправедливо отобрал мир; все ютятся где-то в выморочной избе из милости того же мира; старшие работают у чужих людей, младшие ходят побираться. Денег из дома Хлебников не получает, а на вольные работы его не берут по слабосилию. Без денег же, хоть самых маленьких, тяжело живется в солдатах: нет ни чаю, ни сахару, не на что купить даже мыла, необходимо время от времени угощать взводного и отделенного водкой в солдатском буфете,

все солдатское жалованье — двадцать две с половиной копейки в месяц — идет на подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются над ним, издеваются, назначают не в очередь на самые тяжелые и неприятные работы.

С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов понимать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до сих пор и сам Ромашов, даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмысленными лицами — на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком...

Ромашов кое-что сделал для Хлебникова, чтобы доставить ему маленький заработок. В роте заметили это необычайное покровительство офицера солдату. Часто Ромашов замечал, что в его присутствии унтер-офицеры обращались к Хлебникову с преувеличенной насмешливой вежливостью и говорили с ним нарочно слащавыми голосами. Кажется, об этом знал и капитан Слива. По крайней мере он иногда ворчал, обращаясь в пространство:

— От-т из-звольте. Либералы п-пошли. Развращают роту. Их д-драть, подлецов, надо, а они с-сюсюкают с ними.

Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и чаще приходили ему в голову непривычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так потрясли его месяц тому назад, в день его ареста. Случалось это обыкновенно после службы, в сумерки, когда он тихо бродил в саду под густыми засыпающими деревьями и, одинокий, тоскующий, прислушивался к гудению вечерних жуков и глядел на спокойное розовое темнеющее небо.

Эта новая внутренняя жизнь поражала его своей многообразностью. Раньше он не смел и подозревать,

какие радости, какая мощь и какой глубокий интерес скрываются в такой простой, обыкновенной вещи, как человеческая мысль.

Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только минуют три обязательных года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. Но он никак не мог себе представить, что он будет делать, ставши штатским. Поочередно он перебирал: акциз, железную дорогу, коммерцию, думал быть управляющим имением, поступить в департамент. И тут впервые он с изумлением представил себе все разнообразие занятий и профессий, которым отдаются люди. «Откуда берутся, — думал он, — разные смешные, чудовищные, нелепые и грязные специальности? Каким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, мозольных операторов, палачей, золотарей, собачьих цирюльников, жандармов, фокусников, проституток, банщиков, коновалов, могильщиков, педелей? Или, может быть, нет ни одной даже самой пустой, случайной, капризной, насильственной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас же исполнителя и слуги?»

Также поражало его, — когда он вдумывался поглубже, — то, что огромное большинство интеллигентных профессий основано исключительно на недоверии к человеческой честности и таким образом обслуживает человеческие пороки и недостатки. Иначе к чему были бы повсюду необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролеры, инспекторы и надсмотрщики — если бы человечество было совершенно?

Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях — обо всех этих людях, которым по роду их занятий приходится постоянно соприкасаться с душами, мыслями и страданиями других людей. И Ромашов с недоумением приходил к выводу, что люди этой категории скорее других черствеют и опускаются, погружаясь в халатность, в холодную и мертвую формалистику, в привычное и постыдное равнодушие. Он знал, что существует и еще

одна категория — устроителей внешнего, земного благополучия: инженеры, архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но они, которые могли бы общими усилиями сделать человеческую жизнь изумительно прекрасной и удобной, — они служат только богатству. Над всеми ими тяготеет страх за свою шкуру, животная любовь к своим детенышам и к своему логовищу, боязнь жизни и отсюда трусливая привязанность к деньгам. Кто же, наконец, устроит судьбу забитого Хлебникова, накормит, выучит его и скажет ему: «Дай мне твою руку, брат».

Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно медленно, но все глуже и глубже вдумывался в жизненные явления. Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части: одна — меньшая — офицерство, которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость; другая — огромная и безличная — штатские, иначе шпаки, штафирки и рябчики; их презирали; считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр; о таких подвигах еще в училище рассказывали друг другу с восторгом желторотые юнкера. И вот теперь, отходя как будто в сторону от действительности, глядя на нее откуда-то, точно из потайного угла, из щелочки, Ромашов начинал понемногу понимать, что вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным всечеловеческим недоразумением. «Каким образом может существовать сословие, — спрашивал сам себя Ромашов, — которое в мирное время, не принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время — идет бессмысленно убивать и калечить таких же людей, как они сами?»

И все ясней и ясней становилась для него мысль, что существуют только три гордых призвания человека: наука, искусство и свободный физический труд. С новой силой возобновились мечты о литературной

работе. Иногда, когда ему приходилось читать хорошую книгу, проникнутую истинным вдохновением, он мучительно думал: «Боже мой, ведь это так просто, я сам это думал и чувствовал. Ведь и я мог бы сделать то же самое!» Его тянуло написать повесть или большой роман, канвой к которому послужили бы ужас и скука военной жизни. В уме все складывалось отлично, — картины выходили яркие, фигуры живые, фабула развивалась и укладывалась в прихотливо-правильный узор, и было необычайно весело и занимательно думать об этом. Но когда он принимался писать, выходило бледно, по-детски вяло, неуклюже, напыщенно или шаблонно. Пока он писал, — горячо и быстро, — он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему рядом с своими страницами прочитать хоть маленький отрывок из великих русских творцов, как им овладевало бессильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству.

С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая. Незаметно для самого себя он избирал все одну и ту же дорогу — от еврейского кладбища до плотины и затем к железнодорожной насыпи. Иногда случалось, что, увлеченный этой новой для него страстной головной работой, он не замечал пройденного пути, и вдруг, приходя в себя и точно просыпаясь, он с удивлением видел, что находится на другом конце города.

И каждую ночь он проходил мимо окон Шурочки, проходил по другой стороне улицы, крадучись, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем, чувствуя себя так, как будто он совершает какое-то тайное, постыдное воровское дело. Когда в гостиной у Николаевых тушили лампу и тускло блестели от месяца черные стекла окон, он притаивался около забора, прижимал крепко к груди руки и говорил умоляющим шепотом:

— Спи, моя прекрасная, спи, любовь моя. Я — возле, я стерегу тебя!

В эти минуты он чувствовал у себя на глазах слезы, но в душе его вместе с нежностью, с умилением и с самоотверженной преданностью ворочалась слепая, животная ревность созревшего самца.

Однажды Николаев был приглашен к командиру полка на винт. Ромашов знал это. Ночью, идя по улице, он услышал за чьим-то забором, из палисадника, пряный и страстный запах нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки, перепачкав руки в сырой земле, целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов.

Окно в Шурочкиной спальне было открыто; оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которой он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате. Минуты три Ромашов стоял и ждал, и биение его сердца наполняло стуком всю улицу. Потом, съежившись, краснея от стыда, он на цыпочках вышел на улицу.

На другой день он получил от Шурочки короткую сердитую записку:

«Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они происходят в пехотном армейском полку».

Днем Ромашов старался хоть издали увидать ее на улице, но этого почему-то не случалось. Часто, увидав издали женщину, которая фигурой, походкой, шляпкой напоминала ему Шурочку, он бежал за ней со стесненным сердцем, с прерывающимся дыханием, чувствуя, как у него руки от волнения делаются холодными и влажными. И каждый раз, заметив свою ошибку, он ощущал в душе скуку, одиночество и какую-то мертвую пустоту.

XVIII

В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат, и, по странному расположению судьбы, повесился в то же самое число, в которое в прошлом году произошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали, Ромашов был помощником дежурного по полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не успел разложиться. Ромашов слышал, как из его развороченного на куски тела шел густой запах сырого мяса, точно от

туш, которые выставляют при входе в мясные лавки. Он видел его серые и синие ослизлые глянцевитые внутренности, видел содержимое его желудка, видел его мозг — серо-желтый, весь в извилинах, вздрагивавший на столе от шагов, как желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и противно и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку.

Изредка, время от времени, в полку наступали дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и бессмысленную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в запутанном и угнетенном сознании, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумия. И тогда спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего русла.

Так случилось и после этого самоубийства. Первым начал Осадчий. Как раз подошло несколько дней праздников подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и страшно много пил. Странно: огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся книзу воронку, и во все время этого стихийного, припадочного кутежа Осадчий с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища отпора и возражения, поносил скверными словами имя самоубийцы.

Было шесть часов вечера. Ромашов сидел с ногами на подоконнике и тихо насвистывал вальс из «Фауста». В саду кричали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил, но между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени.

Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с воодушевлением, но фальшиво:

Бесятся кони, бренчат мундштуками,
Пенятся, рвутся, храпя-а-ат...

С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату ввалился Веткин. С трудом удерживая равновесие, он продолжал петь:

Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.

Он был пьян, тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от бессонной ночи у него покраснели и набрякли. Шапка сидела на затылке. Усы, еще мокрые, потемнели и висели вниз двумя густыми сосульками, точно у моржа.

— Р-ромуальд! Анахорет сирийский, дай я тебя лобзну! — завопил он на всю комнату. — Ну, чего ты киснешь? Пойдем, брат. Там весело: играют, поют. Пойдем!

Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в губы, смочив его лицо своими усами.

— Ну, будет, будет, Павел Павлович, — слабо сопротивлялся Ромашов, — к чему телячьи восторги?

— Друг, руку твою! Институтка. Люблю в тебе я прошлое страданье и юность улетевшую мою. Сейчас Осадчий такую вечную память вывел, что стекла задребезжали. Ромашевич, люблю я, братец, тебя! Дай я тебя поцелую, по-настоящему, по-русски, в самые губы!

Ромашову было противно опухшее лицо Веткина с остекленевшими глазами, был гадок запах, шедший из его рта, прикосновение его мокрых губ и усов. Но он был всегда в этих случаях беззащитен и теперь только деланно и вяло улыбался.

— Постой, зачем я к тебе пришел?.. — кричал Веткин, икая и пошатываясь. — Что-то было важное... А, вот зачем. Ну, брат, и выставил же я Бобетинского. Понимаешь — все дотла, до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись! Ну, уж я тут ему говорю: «Нет уж, батенька, это ата́нде-с, не хотите ли чего-нибудь помягче-с?» Тут он ставит револьвер. На-ка вот, Ромашенко, погляди. — Веткин вытащил из брюк, выворотив при этом карман наружу, маленький изящный револьвер в сером замшевом чехле. — Это, брат, системы Мервина. Я спрашиваю: «Во сколько ставишь?» — «Двадцать пять». — «Десять!» — «Пятнадцать». — «Ну, черт с тобой!» Поставил он рубль в цвет и в масть в круглую. Бац, бац, бац, бац! На пятом абцуге я его даму — чик! Здра-авствуйте,

сто гусей! За ним еще что-то осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На́ тебе, Ромашевич. В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер, и помни всегда прилежно, какой Веткин — храбрый офицер. На! Это стихи.

— Зачем это, Павел Павлович? Спрячьте.

— Что, ты думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить. Постой, мы сейчас попробуем. Где у тебя помещается твой раб? Я пойду, спрошу у него какую-нибудь доску. Эй, р-р-раб! Оруженосец!

Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновенно помещался Гайнан, повозился там немного и через минуту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст Пушкина.

— Будет, Павел Павлович, не стоит, — слабо останавливал его Ромашов.

— Э, чепуха! Какой-то шпак. Вот мы его сейчас поставим на табуретку. Стой смирно, каналья! — погрозил Веткин пальцем на бюст. — Слышишь? Я тебе задам!

Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом с Ромашовым и взвел курок. Но при этом он так нелепо, такими пьяными движениями размахивал револьвером в воздухе, что Ромашов только испуганно морщился и часто моргал глазами, ожидая нечаянного выстрела.

Расстояние было не более восьми шагов. Веткин долго целился, кружа дулом в разные стороны. Наконец он выстрелил, и на бюсте, на правой щеке, образовалась большая неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от выстрела.

— Видал миндал? — закричал Веткин. — Ну, так вот, на́ тебе, береги на память и помни мою любовь. А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем во славу русского оружия.

— Павел Павлович, право ж, не сто̀ит, право же, лучше не нужно, — бессильно умолял его Ромашов.

Но он не сумел отказаться: не находил для этого ни решительных слов, ни крепких интонаций в голосе. И, мысленно браня себя за тряпичное безволие, он

вяло поплелся за Веткиным, который нетвердо, зигзагами шагал вдоль огородных грядок, по огурцам и капусте.

Это был беспорядочный, шумный, угарный — поистине сумасшедший вечер. Сначала пили в собрании, потом поехали на вокзал пить глинтвейн, опять вернулись в собрание. Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за уступчивость и испытывал то нудное чувство брезгливости и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остроты — плоскими, пение — фальшивым. Но красное горячее вино, выпитое им на вокзале, вдруг закружило его голову и наполнило ее шумным и каким-то судорожным весельем. Перед глазами стала серая завеса из миллионов дрожащих песчинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно.

Час за часом пробегали, как секунды, и только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени и наступила ночь.

— Господа, поедемте к девочкам, — предложил кто-то. — Поедемте все к Шлейферше.

— К Шлейферше, к Шлейферше. Ура!

И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись. В этот вечер все делалось как-то само собой. У ворот собрания уже стояли пароконные фаэтоны, но никто не знал, откуда они взялись. В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался кто-то третий, но лицо его Ромашов никак не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бессильно мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это казалось темным и то суживалось в кулачок, то растягивалось в косом направлении и было удивительно знакомо. Ромашов вдруг засмеялся и сам точно со стороны услыхал свой тупой, деревянный смех.

— Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем, — сказал он с пьяным лукавством. — Ты, брат, меня везешь к женщинам. Я, брат, знаю.

Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой экипаж. Быстро и сумбурно промелькнули в свете фонарей гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер, неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера, которые с криком и свистом качались на своих сиденьях.

Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точностью вернулось к Ромашову. Да, вот он едет в то место, где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои ласки и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту? Ах, не все ли равно! Женщины! Женщины! — кричал внутри Ромашова какой-то дикий и сладкий нетерпеливый голос. Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный звук, мысль о Шурочке, но в этом совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а, наоборот, было что-то отрадное, ожидаемое, волнующее, от чего тихо и приятно щекотало в сердце.

Вот он сейчас приедет к ним, еще не известным, еще ни разу не виданным, к этим странным, таинственным, пленительным существам — к женщинам! И сокровенная мечта сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и пение, и это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шурочке! Но в мыслях его не было никакой определенно чувственной цели, — его, отвергнутого одной женщиной, властно, стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви, как тянет в холодную ночь на огонь маяка усталых и иззябших перелетных птиц. И больше ничего.

Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук колес и дребезжание гаек. Экипаж сильно и мягко заколебался на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов открыл глаза. Глубоко внизу под его ногами широко и в беспорядке разбросались маленькие огоньки. Они то ныряли за деревья

и невидимые дома, то опять выскакивали наружу, казалось, что там, по долине, бродит большая разбившаяся толпа, какая-то фантастическая процессия с фонарями в руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни, большая темная ветка зашелестела по головам, и тотчас же потянуло сырым холодом, точно дыханием старого погреба.

— Куда мы едем? — спросил опять Ромашов.

— В Завалье! — крикнул сидевший впереди, и Ромашов с удивлением подумал: «Ах, да ведь это поручик Епифанов. Мы едем к Шлейферше».

— Неужели вы ни разу не были? — спросил Веткин.

— Убирайтесь вы оба к черту! — крикнул Ромашов.

Но Епифанов смеялся и говорил:

— Послушайте, Юрий Алексеич, хотите, мы шепнем, что вы в первый раз в жизни? А? Ну, миленький, ну, душечка. Они это любят. Что вам сто̀ит?

Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, точно без малейшего перерыва, он увидел себя в большой зале с паркетным полом и с венскими стульями вдоль всех стен. Над входной дверью и над тремя другими дверьми, ведущими в темные каморки, висели длинные ситцевые портьеры, красные, в желтых букетах. Такие же занавески слабо надувались и колыхались над окнами, отворенными в черную тьму двора. На стенах горели лампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кухней, но по временам из окон доносился свежий запах мокрой зелени, цветущей белой акации и весеннего воздуха.

Офицеров приехало около десяти. Казалось, что каждый из них одновременно и пел, и кричал, и смеялся. Ромашов, блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому, узнавая, точно в первый раз, с удивлением и с удовольствием, Бек-Агамалова, Лбова, Веткина, Епифанова, Арчаковского, Олизара и других. Тут же был и штабс-капитан Лещенко; он сидел у окна со своим всегдашним покорным и унылым видом. На столе, точно сами собой, как и все было в этот

вечер, появились бутылки с пивом и с густой вишневой наливкой. Ромашов пил с кем-то, чокался и целовался, и чувствовал, что руки и губы у него стали липкими и сладкими.

Тут было пять или шесть женщин. Одна из них, по виду девочка лет четырнадцати, одетая пажом, с ногами в розовом трико, сидела на коленях у Бек-Агамалова и играла шнурами его аксельбантов. Другая, крупная блондинка, в красной шелковой кофте и темной юбке, с большим красивым напудренным лицом и круглыми черными широкими бровями, подошла к Ромашову.

— Мужчина, что вы такой скучный? Пойдемте в комнату, — сказала она низким голосом.

Она боком, развязно села на стол, положив ногу на ногу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало холодно во рту. Он спросил робко:

— Как вас зовут?

— Меня? Мальвиной. — Она равнодушно отвернулась от офицера и заболтала ногами. — Угостите папиросочкой.

Откуда-то появились два музыканта-еврея: один — со скрипкой, другой — с бубном. Под докучный фальшивый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащими ударами, Олизар и Арчаковский стали плясать канкан. Они скакали друг перед другом то на одной, то на другой ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук, пятились назад, раскорячив согнутые колени и заложив большие пальцы под мышки, и с грубо-циничными жестами вихляли бедрами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад. Вдруг Бек-Агамалов вскочил со стула и закричал резким, высоким, исступленным голосом:

— К черту шпаков! Сейчас же вон! Фить!

В дверях стояло двое штатских — их знали все офицеры в полку, так как они бывали на вечерах в собрании: один — чиновник казначейства, а другой — брат судебного пристава, мелкий помещик, — оба очень приличные молодые люди.

У чиновника была на лице бледная насильственная улыбка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать себя развязно:

— Позвольте, господа... разделить компанию. Вы же меня знаете, господа... Я же Дубецкий, господа... Мы, господа, вам не помешаем.

— В тесноте, да не в обиде, — сказал брат судебного пристава и захохотал напряженно.

— Во-он! — закричал Бек-Агамалов. — Марш!

— Господа, выставляйте шпаков! — захохотал Арчаковский.

Поднялась суматоха. Все в комнате завертелось клубком, застонало, засмеялось, затопало. Запрыгали вверх, коптя, огненные язычки ламп. Прохладный ночной воздух ворвался из окон и трепетно дохнул на лица. Голоса штатских, уже на дворе, кричали с бессильным и злым испугом, жалобно, громко и слезливо:

— Я этого так тебе не оставлю! Мы командиру полка будем жаловаться. Я губернатору напишу. Опричники!

— У-лю-лю-лю-лю! Ату их! — вопил тонким фальцетом Веткин, высунувшись из окна.

Ромашову казалось, что все сегодняшние происшествия следуют одно за другим без перерыва и без всякой связи, точно перед ним разматывалась крикливая и пестрая лента с уродливыми, нелепыми, кошмарными картинами. Опять однообразно завизжала скрипка, загудел и задрожал бубен. Кто-то, без мундира, в одной белой рубашке, плясал вприсядку посредине комнаты, ежеминутно падая назад и упираясь рукой в пол. Худенькая красивая женщина — ее раньше Ромашов не заметил — с распущенными черными волосами и с торчащими ключицами на открытой шее обнимала голыми руками печального Лещенку за шею и, стараясь перекричать музыку и гомон, визгливо пела ему в самое ухо:

Когда заболеешь чахоткой навсегда,
Станешь бледный, как эта стена, —
Кругом тебя доктора.

Бобетинский плескал пивом из стакана через перегородку в одну из темных отдельных каморок, а оттуда

недовольный, густой, заспанный голос говорил ворчливо:

— Да, господа... да будет же. Кто это там? Что за свинство!

— Послушайте, давно ли вы здесь? — спросил Ромашов женщину в красной кофте и воровато, как будто незаметно для себя, положил ладонь на ее крепкую теплую ногу.

Она что-то ответила, чего он не расслышал. Его внимание привлекла дикая сцена. Подпрапорщик Лбов гонялся по комнате за одним из музыкантов и изо всей силы колотил его бубном по голове. Еврей кричал быстро и непонятно и, озираясь назад с испугом, метался из угла в угол, подбирая длинные фалды сюртука. Все смеялись. Арчаковский от хохота упал на пол и со слезами на глазах катался во все стороны. Потом послышался пронзительный вопль другого музыканта. Кто-то выхватил у него из рук скрипку и со страшной силой ударил ее об землю. Дека ее разбилась вдребезги, с певучим треском, который странно слился с отчаянным криком еврея. Потом для Ромашова настало несколько минут темного забвения. И вдруг опять он увидел, точно в горячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали, забегали, замахали руками. Вокруг Бек-Агамалова быстро и тесно сомкнулись люди, но тотчас же они широко раздались, разбежались по всей комнате.

— Все вон отсюда! Никого не хочу! — бешено кричал Бек-Агамалов.

Он скрежетал, потрясал пред собой кулаками и топал ногами. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись, как шнурки, две жилы, сходящиеся к носу, голова была низко и грозно опущена, а в выкатившихся глазах страшно сверкали обнажившиеся круглые белки.

Он точно потерял человеческие слова и ревел, как взбесившийся зверь, ужасным вибрирующим голосом:

— А-а-а-а!

Вдруг он, быстро и неожиданно ловко изогнувшись телом влево, выхватил из ножен шашку. Она лязгнула

и с резким свистом сверкнула у него над головой. И сразу все, кто были в комнате, ринулись к окнам и к дверям. Женщины истерически визжали. Мужчины отталкивали друг друга. Ромашова стремительно увлекли к дверям, и кто-то, протесняясь мимо него, больно, до крови, черкнул его концом погона или пуговицей по щеке. И тотчас же на дворе закричали, перебивая друг друга, взволнованные, торопливые голоса. Ромашов остался один в дверях. Сердце у него часто и крепко билось, но вместе с ужасом он испытывал какое-то сладкое, буйное и веселое предчувствие.

— Зарублю-у-у-у! — кричал Бек-Агамалов, скрипя зубами.

Вид общего страха совсем опьянил его. Он с припадочной силой в несколько ударов расщепил стол, потом яростно хватил шашкой по зеркалу, и осколки от него сверкающим радужным дождем брызнули во все стороны. С другого стола он одним ударом сбил все стоявшие на нем бутылки и стаканы.

Но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестественно-наглый крик:

— Дурак! Хам!

Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов раньше не видел ее. Она стояла в нише за печкой и, упираясь кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без перерыва криком обсчитанной рыночной торговки:

— Дурак! Хам! Холуй! И никто тебя не боится! Дурак, дурак, дурак, дурак!..

Бек-Агамалов нахмурил брови и, точно растерявшись, опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно бледнело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать прыжок.

— Замолчи! — бросил он хрипло, точно выплюнул.

— Дурак! Болван! Армяшка! Не замолчу! Дурак! Дурак! — выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом крике.

Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновением. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости, пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он увидел, что Бек-Агамалов, не сводя глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток безумного восторга, ужаса, физического холода, смеха и отваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел расслышать, как Бек-Агамалов прохрипел яростно:

— Ты не замолчишь? Я тебя в последний...

Ромашов крепко, с силой, которой он сам от себя не ожидал, схватил Бек-Агамалова за кисть руки. В течение нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально глядели друг на друга, на расстоянии пяти или шести вершков. Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыхание Бек-Агамалова, видел его страшные белки и остро блестящие зрачки глаз и белые, скрипящие движущиеся челюсти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой игре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо, — так тихо, что где-то в двух шагах, в темноте, соловей вдруг залился громкой, беззаботной трелью.

— Пусти!— хрипло выдавил из себя Бек-Агамалов.

— Бек, ты не ударишь женщину, — сказал Ромашов спокойно. — Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь.

Последние искры безумия угасли в глазах Бек-Агамалова. Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядочно, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой и теплой.

— Пусти! — еще раз крикнул Бек-Агамалов с ненавистью и рванул руку.

Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах

сопротивляться ему, но он уже не боялся его и говорил жалостливо и ласково, притрогиваясь чуть слышно к плечу товарища:

— Простите меня... Но ведь вы сами потом скажете мне спасибо.

Бек-Агамалов резко, со стуком вбросил шашку в ножны.

— Ладно! К черту! — крикнул он сердито, но уже с долей притворства и смущения. — Мы с вами еще разделаемся. Вы не имеете права!..

Все глядевшие на эту сцену со двора поняли, что самое страшное пронеслось. С преувеличенным, напряженным хохотом толпой ввалились они в двери. Теперь все они принялись с фамильярной и дружеской развязностью успокаивать и уговаривать Бек-Агамалова. Но он уже погас, обессилел, и его сразу потемневшее лицо имело усталое и брезгливое выражение.

Прибежала Шлейферша, толстая дама с засаленными грудями, с жестким выражением глаз, окруженных темными мешками, без ресниц. Она кидалась то к одному, то к другому офицеру, трогала их за рукава и за пуговицы и кричала плачевно:

— Ну, господа, ну, кто мне заплатит за все: за зеркало, за стол, за напитки и за девочек?

И опять кто-то неведомый остался объясняться с ней. Прочие офицеры вышли гурьбой наружу. Чистый, нежный воздух майской ночи легко и приятно вторгся в грудь Ромашова и наполнил все его тело свежим, радостным трепетом. Ему казалось, что следы сегодняшнего пьянства сразу стерлись в его мозгу, точно от прикосновения мокрой губки.

К нему подошел Бек-Агамалов и взял его под руку.

— Ромашов, садитесь со мной, — предложил он, — хорошо?

И когда они уже сидели рядом и Ромашов, наклоняясь вправо, глядел, как лошади нестройным галопом, вскидывая широкими задами, вывозили экипаж на гору, Бек-Агамалов ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго сжал ее. Больше между ними ничего не было сказано.

XIX

Но волнение, которое было только что пережито всеми, сказалось в общей нервной, беспорядочной взвинченности. По дороге в собрание офицеры много безобразничали. Останавливали проходящего еврея, подзывали его и, сорвав с него шапку, гнали извозчика вперед; потом бросали эту шапку куда-нибудь за забор, на дерево. Бобетинский избил извозчика. Остальные громко пели и бестолково кричали. Только Бек-Агамалов, сидевший рядом с Ромашовым, молчал всю дорогу, сердито и сдержанно посапывая.

Собрание, несмотря на поздний час, было ярко освещено и полно народом. В карточной, в столовой, в буфете и в бильярдной беспомощно толклись ошалевшие от вина, от табаку и от азартной игры люди в расстегнутых кителях, с неподвижными кислыми глазами и вялыми движениями. Ромашов, здороваясь с некоторыми офицерами, вдруг заметил среди них, к своему удивлению, Николаева. Он сидел около Осадчего и был пьян и красен, но держался твердо. Когда Ромашов, обходя стол, приблизился к нему, Николаев быстро взглянул на него и тотчас же отвернулся, чтобы не подать руки, и с преувеличенным интересом заговорил с своим соседом.

— Веткин, идите петь! — крикнул Осадчий через головы товарищей.

— Сп-о-ем-те что-ни-и-будь! — запел Веткин на мотив церковного антифона.

— Спо-ем-те что-ни-будь. Споемте что-о-ни-и-будь! — подхватили громко остальные.

— За поповым перелазом подралися трое разом, — зачастил Веткин церковной скороговоркой, — поп, дьяк, пономарь та ще губернский секретарь. Совайся, Ничипоре, со-вайся.

— Совайся, Ничи-поре, со-о-вай-ся, — тихо, полными аккордами ответил ему хор, весь сдержанный и точно согретый мягкой октавой Осадчего.

Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и распростирая над поющими руки. Он делал то страшные, то ласковые и одобрительные глаза, шипел на тех,

кто пел неверно, и едва заметным трепетанием протянутой ладони сдерживал увлекающихся.

— Штабс-капитан Лещенко, вы фальшивите! Вам медведь на ухо наступил! Замолчите! — крикнул Осадчий.— Господа, да замолчите же кругом! Не галдите, когда поют.

— Как бога-тый мужик ест пунш гля-се... — продолжал вычитывать Веткин.

От табачного дыма резало в глазах. Клеенка на столе была липкая, и Ромашов вспомнил, что он не мыл сегодня вечером рук. Он пошел через двор в комнату, которая называлась «офицерскими номерами», — там всегда стоял умывальник. Это была пустая холодная каморка в одно окно. Вдоль стен стояли разделенные шкафчиком, на больничный манер, две кровати. Белья на них никогда не меняли, так же как никогда не подметали пол в этой комнате и не проветривали воздух. От этого в номерах всегда стоял затхлый, грязный запах заношенного белья, застарелого табачного дыма и смазных сапог. Комната эта предназначалась для временного жилья офицерам, приезжавшим из дальних отдельных стоянок в штаб полка. Но в нее обыкновенно складывали во время вечеров, по двое и даже по трое на одну кровать, особенно пьяных офицеров. Поэтому она также носила название «мертвецкой комнаты», «трупарни» и «морга». В этих названиях крылась бессознательная, но страшная жизненная ирония, потому что с того времени, как полк стоял в городе, — в офицерских номерах, именно на этих самых двух кроватях, уже застрелилось несколько офицеров и один денщик. Впрочем, не было года, чтобы в N-ском полку не застрелился кто-нибудь из офицеров.

Когда Ромашов вошел в мертвецкую, два человека сидели на кроватях у изголовий, около окна. Они сидели без огня, в темноте, и только по едва слышной возне Ромашов заметил их присутствие и с трудом узнал их, подойдя вплотную и нагнувшись над ними. Это были штабс-капитан Клодт, алкоголик и вор, отчисленный от командования ротой, и подпрапорщик Золотухин, долговязый, пожилой, уже плешивый, игрок, скандалист, сквернослов и тоже пьяница, из типа вечных подпра-

порщиков. Между обоими тускло поблескивала на столе четвертная бутыль водки, стояла пустая тарелка с какой-то жижей и два полных стакана. Не было видно никаких следов закуски. Собутыльники молчали, точно притаившись от вошедшего товарища, и когда он нагибался над ними, они, хитро улыбаясь в темноте, глядели куда-то вниз.

— Боже мой, что вы тут делаете? — спросил Ромашов испуганно.

— Т-ссс! — Золотухин таинственно, с предостерегающим видом поднял палец кверху. — Подождите. Не мешайте.

— Тихо! — коротким шепотом сказал Клодт.

Вдруг где-то вдалеке загрохотала телега. Тогда оба торопливо подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно выпили.

— Да что же это такое наконец?! — воскликнул в тревоге Ромашов.

— А это, родной мой, — многозначительным шепотом ответил Клодт, — это у нас такая закуска. Под стук телеги. Фендрик, — обратился он к Золотухину, — ну, теперь подо что выпьем? Хочешь под свет луны?

— Пили уж, — серьезно возразил Золотухин и поглядел в окно на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял над городом. — Подождем. Вот, может быть, собака залает. Помолчи.

Так они шептались, наклоняясь друг к другу, охваченные мрачной шутливостью пьяного безумия. А из столовой в это время доносились смягченные, заглушенные стенами и оттого гармонично-печальные звуки церковного напева, похожего на отдаленное погребальное пение.

Ромашов всплеснул руками и схватился за голову.

— Господа, ради бога, оставьте: это страшно, — сказал он с тоскою.

— Убирайся к дьяволу! — заорал вдруг Золотухин. — Нет, стой, брат! Куда? Раньше выпейте с порядочными господами. Не-ет, не перехитришь, брат. Держите его, штабс-капитан, а я запру дверь.

Они оба вскочили с кровати и принялись с сумасшедшим лукавым смехом ловить Ромашова. И все это

вместе — эта темная вонючая комната, это тайное фантастическое пьянство среди ночи, без огня, эти два обезумевших человека — все вдруг повеяло на Ромашова нестерпимым ужасом смерти и сумасшествия. Он с пронзительным криком оттолкнул Золотухина далеко в сторону и, весь содрогаясь, выскочил из мертвецкой.

Умом он знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению он вернулся в столовую. Там уже многие дремали, сидя на стульях и подоконниках. Было невыносимо жарко, и, несмотря на открытые окна, лампы и свечи горели не мигая. Утомленная, сбившаяся с ног прислуга и солдаты-буфетчики дремали стоя и ежеминутно зевали, не разжимая челюстей, одними ноздрями. Но повальное, тяжелое, общее пьянство не прекращалось.

Веткин стоял уже на столе и пел высоким чувствительным тенором:

Бы-ы-стры, как волны-ы,
Дни-и нашей жиз-ни...

В полку было много офицеров из духовных и потому пели хорошо даже в пьяные часы. Простой, печальный, трогательный мотив облагораживал пошлые слова. И всем на минуту стало тоскливо и тесно под этим низким потолком в затхлой комнате, среди узкой, глухой и слепой жизни.

Умрешь, похоронят,
Как не жил на свете... —

пел выразительно Веткин, и от звуков собственного высокого и растроганного голоса и от физического чувства общей гармонии хора в его добрых, глуповатых глазах стояли слезы. Арчаковский бережно вторил ему. Для того чтобы заставить свой голос вибрировать, он двумя пальцами тряс себя за кадык. Осадчий густыми, тягучими нотами аккомпанировал хору, и казалось, что все остальные голоса плавали, точно в темных волнах, в этих низких органных звуках.

Пропели эту песню, помолчали немного. На всех нашла сквозь пьяный угар тихая, задумчивая минута. Вдруг Осадчий, глядя вниз на стол опущенными глазами, начал вполголоса:

«В путь узкий ходшие прискорбный вси — житие, яко ярем, вземшие...»

— Да будет вам! — заметил кто-то скучающим тоном. — Вот прицепились вы к этой панихиде. В десятый раз.

Но другие уже подхватили похоронный напев, и вот в загаженной, заплеванной, прокуренной столовой понеслись чистые ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, проникнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни:

«И мне последовавшие верою приидите, насладитеся, яже уготовах вам почестей и венцов небесных...»

И тотчас же Арчаковский, знавший службу не хуже любого дьякона, подхватил возглас:

— Рцем вси от всея души...

Так они и прослужили всю панихиду. А когда очередь дошла до последнего воззвания, то Осадчий, наклонив вниз голову, напружив шею, со странными и страшными, печальными и злыми глазами заговорил нараспев низким голосом, рокочущим, как струны контрабаса:

«Во блаженном успении живот и вечный покой подаждь, господи, усопшему рабу твоему Никифору... — Осадчий вдруг выпустил ужасное, циничное ругательство, — и сотвори ему ве-е-ечную...»

Ромашов вскочил и бешено, изо всей силы ударил кулаком по столу.

— Не позволю! Молчите! — закричал он пронзительным, страдальческим голосом. — Зачем смеяться? Капитан Осадчий, вам вовсе не смешно, а вам больно и страшно! Я вижу! Я знаю, что вы чувствуете в душе!

Среди общего мгновенного молчания только один чей-то голос промолвил с недоумением:

— Он пьян?

Но тотчас же, как и давеча у Шлейферши, все загудело, застонало, вскочило с места и свернулось в какой-то пестрый, движущийся, крикливый клубок. Веткин, прыгая со стола, задел головой висячую лампу; она закачалась огромными плавными зигзагами, и тени от беснующихся людей, то вырастая, как великаны, то

исчезая под пол, зловеще спутались и заметались по белым стенам и по потолку.

Все, что теперь происходило в собрании с этими развинченными, возбужденными, пьяными и несчастными людьми, совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Точно какой-то злой, сумбурный, глупый, яростно-насмешливый демон овладел людьми и заставлял их говорить скверные слова и делать безобразные, нестройные движения.

Среди этого чада Ромашов вдруг увидел совсем близко около себя чье-то лицо с искривленным кричащим ртом, которое он сразу даже не узнал, — так оно было перековеркано и обезображено злобой. Это Николаев кричал ему, брызжа слюной и нервно дергая мускулами левой щеки под глазом:

— Сами позорите полк! Не смейте ничего говорить. Вы — и разные Назанские! Без году неделя!..

Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обернулся и узнал Бек-Агамалова, но, тотчас же отвернувшись, забыл о нем. Бледнея от того, что сию минуту произойдет, он сказал тихо и хрипло, с измученной жалкой улыбкой:

— А при чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые, таинственные причины быть им недовольным?

— Я вам в морду дам! Подлец, сволочь! — закричал Николаев высоким, лающим голосом. — Хам!

Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал грозные глаза, но ударить не решался. У Ромашова в груди и в животе сделалось тоскливое, противное обморочное замирание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в правой руке у него все время находится какой-то посторонний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана.

В то же время вместе с мгновенной тупой болью белые яркие молнии брызнули из его левого глаза. С протяжным, звериным воем кинулся он на Николаева, и они оба грохнулись вниз, сплелись руками и ногами и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную, вонючую пыль. Они рвали, комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов помнил, как

случайно его пальцы попали в рот Николаеву за щеку и как он старался разорвать ему этот скользкий, противный, горячий рот... И он уже не чувствовал никакой боли, когда бился головой и локтями об пол в этой безумной борьбе.

Он не знал также, как все это окончилось. Он застал себя стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Бек-Агамалов поил его водой, но зубы у Ромашова судорожно стучали о края стакана, и он боялся, как бы не откусить кусок стекла. Китель на нем был разорван под мышками и на спине, а один погон, оторванный, болтался на тесемочке. Голоса у Ромашова не было, и он кричал беззвучно, одними губами:

— Я ему... еще покажу!.. Вызываю его!..

Старый Лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола, а теперь совсем очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил с непривычной суровой повелительностью:

— Как старший, приказываю вам, господа, немедленно разойтись. Слышите, господа, сейчас же. Обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка.

И все расходились смущенные, подавленные, избегая глядеть друг на друга. Каждый боялся прочесть в чужих глазах свой собственный ужас, свою рабскую, виноватую тоску, — ужас и тоску маленьких, злых и грязных животных, темный разум которых вдруг осветился ярким человеческим сознанием.

Был рассвет, с ясным, детски-чистым небом и неподвижным прохладным воздухом. Деревья, влажные, окутанные чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих темных, загадочных ночных снов. И когда Ромашов, идя домой, глядел на них, и на небо, и на мокрую, седую от росы траву, то он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и бесконечно чужим среди этой невинной прелести утра, улыбавшегося спросонок.

XX

В тот же день — это было в среду — Ромашов получил короткую официальную записку:

«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка

приглашает подпоручика Ромашова явиться к шести часам в зал офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная.

Председатель суда подполковник Мигунов».

Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыбки: эта «форма одежды обыкновенная» — мундир с погонами и цветным кушаком — надевается именно в самых необыкновенных случаях: на суде, при публичных выговорах и во время всяких неприятных явок по начальству.

К шести часам он пришел в собрание и приказал вестовому доложить о себе председателю суда. Его попросили подождать. Он сел в столовой у открытого окна, взял газету и стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, механически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между собой вполголоса, так, чтоб он не слышал. Только один подпоручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами, жал ему руку, но ничего не сказал, покраснел, торопливо и неловко оделся и ушел.

Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все время судорожно дергалась, а над ней ниже виска синело большое пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вчерашнюю драку и, весь сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя себя расплюснутым невыносимой тяжестью этих позорных воспоминаний, спрятался за газету и даже плотно зажмурил глаза.

Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку коньяку и как он прощался с кем-то. Потом почувствовал мимо себя шаги Николаева. Хлопнула на блоке дверь. И вдруг через несколько секунд он услышал со двора за своей спиной осторожный шепот:

— Не оглядывайтесь назад! Сидите спокойно. Слушайте.

Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашова.

— Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к черту эти французские тонкости. Что случилось, того не поправишь. Но я вас все-таки считаю

человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли, я прошу вас: ни слова о жене и об анонимных письмах. Вы меня поняли?

Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно наклонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только спустя пять минут Ромашов обернулся и поглядел на двор. Николаева уже не было.

— Ваше благородие, — вырос вдруг перед ним вестовой, — их высокоблагородие просят вас пожаловать.

В зале, вдоль дальней узкой стены, были составлены несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За ними помещались судьи, спинами к окнам; от этого их лица были темными. Посредине в кресле сидел председатель — подполковник Мигунов, толстый, надменный человек, без шеи, с поднятыми вверх круглыми плечами; по бокам от него — подполковники: Рафальский и Лех, дальше с правой стороны — капитаны Осадчий и Петерсон, а с левой — капитан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казначей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой, делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В большой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на то, что на дворе стоял жаркий, сияющий день. Пахло старым деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой.

Председатель положил обе большие белые, полные руки ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочередно, начал деревянным тоном:

— Подпоручик Ромашов, суд общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира полка, должен выяснить обстоятельства того печального и недопустимого в офицерском обществе столкновения, которое имело место вчера между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас рассказать об этом со всевозможными подробностями.

Ромашов стоял перед ними, опустив руки вниз и теребя околыш шапки. Он чувствовал себя таким затравленным, неловким и растерянным, как бывало с ним только в ученические годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрывающимся голосом, запутанными и несвязными фразами, постоянно мыча и прибавляя

нелепые междометия, он стал давать показание. В то же время, переводя глаза с одного из судей на другого, он мысленно оценивал их отношения к нему: «Мигунов — равнодушен, он точно каменный, но ему льстит непривычная роль главного судьи и та страшная власть и ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник Брем глядит жалостными и какими-то женскими глазами, — ах, мой милый Брем, помнишь ли ты, как я брал у тебя десять рублей взаймы? Старый Лех серьезничает. Он сегодня трезв, и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. Он не враг мне, но он сам так много набезобразничал в собрании в разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и непреклонного ревнителя офицерской чести. А Осадчий и Петерсон — это уже настоящие враги. По закону я, конечно, мог бы отвести Осадчего — вся ссора началась из-за его панихиды, — а впрочем, не все ли равно? Петерсон чуть-чуть улыбается одним углом рта — что-то скверное, низменное, змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах? У Дювернуа — сонное лицо, а глаза — как большие мутные шары. Дювернуа меня не любит. Да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении жалованья и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич».

— Виноват, на минутку, — вдруг прервал его Осадчий. — Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос?

— Пожалуйста, — важно кивнул головой Мигунов.

— Скажите нам, подпоручик Ромашов, — начал Осадчий веско, с растяжкой, — где вы изволили быть до того, как приехали в собрание в таком невозможном виде?

Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота.

— Я был... я был... ну, в одном месте, — и он добавил почти шепотом, — был в публичном доме.

— Ага, вы были в публичном доме? — нарочно громко, с жестокой четкостью подхватил Осадчий. — И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении?

— Д-да, пил, — отрывисто ответил Ромашов.

— Так-с. Больше вопросов не имею, — повернулся Осадчий к председателю.

— Прошу продолжать показание, — сказал Мигунов. — Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву... Дальше?

Ромашов несвязно, но искренно и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон. Потирая, точно при умывании, свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, он сказал усиленно-вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом:

— Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов... вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева?

Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато:

— Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу.

— Подождите. Прошу отвечать только на вопросы, — остановил его Петерсон. — Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде, — поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного?

Ромашов выпрямился и прямо, с открытой ненавистью посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона.

— Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых, — сказал он громко и резко. — И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы.

— Хе-хе-хе, это уже мы слыхали, о вашей нетрезвости, — опять прервал его Петерсон, — но я хочу только спросить, не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столкновения? Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве. Ну, ска-

жем, несогласие в убеждениях или там какая-нибудь интрижка. А?

— Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов? — спросил вдруг Ромашов.

— Да, это вы можете, — ответил холодно Мигунов. — Вы можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать их письменно. Это ваше право.

— В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петерсона я отвечать не буду, — сказал Ромашов. — Это будет лучше для него и для меня.

Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и донельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисциплинарного устава, строго воспрещающей разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жены — знакомым городским дамам, а те — портнихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города и героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников, из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе.

Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых, он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени.

— Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич, подите сюда!

Он остановился и поднял голову кверху. Катя Лыкачева стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез которого оставлял голою ее тоненькую прелестную девичью шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ромашову на минуту стало весело.

Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще холодную и влажную от умыванья. И в то же время она тараторила картаво:

— Отчего у нас не бываете? Стыдно дьюзей забывать. Зьой, зьой, зьой... Т-ссс, я все, я все, все знаю!— Она вдруг сделала большие испуганные глаза. — Возьмите себе вот это и наденьте на шею, непьеменно, непьеменно наденьте.

Она вынула из-за своего керимона, прямо с груди, какую-то ладанку из синего шелка на шнуре и торопливо сунула ему в руку. Ладанка была еще теплая от ее тела.

— Помогает? — спросил Ромашов шутливо. — Что это такое?

— Это тайна, не смейте смеяться. Безбожник! Зьой.

«Однако я нынче в моде. Славная девочка», — подумал Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться, чтобы и здесь в последний раз не подумать о себе в третьем лице красивой фразой:

«Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу старого бретера».

Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вместе с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти рядом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого и напряженно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смотрели на председателя, когда он читал им решение суда:

«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка, в составе — следовали чины и фамилии судей — под председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Рома-

шова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка».

Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и спрятал их в футляр.

— Вам остается, господа, — сказал он с каменной торжественностью, — выбрать себе секундантов, по два с каждой стороны, и прислать их к девяти часам вечера сюда, в собрание, где они совместно с нами выработают условия поединка. Впрочем, — прибавил он, вставая и пряча очечник в задний карман, — впрочем, прочитанное сейчас постановление суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли, или... — он развел руками и сделал паузу, — или оставить службу. Затем... вы свободны, господа... Еще два слова. Уж не как председатель суда, а как старший товарищ, советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. Это может повести к осложнениям... До свиданья.

Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из залы. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно одиноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным удивлением глядел на небо, на деревья, на корову у забора напротив, на воробьев, купавшихся в пыли среди дороги, и думал: «Вот — все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет, а мне уже больше ничто не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один».

Вяло, почти со скукой пошел он разыскивать Бек-Агамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились — Бек-Агамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями.

Идти домой Ромашову не хотелось — там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бес-

силия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга и в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека.

И вдруг он вспомнил о Назанском.

XXI

Назанский был, по обыкновению, дома. Он только что проснулся от тяжелого хмельного сна и теперь лежал на кровати в одном нижнем белье, заложив руки под голову. В его глазах была равнодушная, усталая муть. Его лицо совсем не изменило своего сонного выражения, когда Ромашов, наклоняясь над ним, говорил неуверенно и тревожно:

— Здравствуйте, Василий Нилыч, не помешал я вам?

— Здравствуйте, — ответил Назанский сиплым слабым голосом. — Что хорошенького? Садитесь.

Он протянул Ромашову горячую влажную руку, но глядел на него так, точно перед ним был не его любимый интересный товарищ, а привычное видение из давнишнего скучного сна.

— Вам нездоровится? — спросил робко Ромашов, садясь в его ногах на кровать. — Так я не буду вам мешать. Я уйду.

Назанский немного приподнял голову с подушки и, весь сморщившись, с усилием посмотрел на Ромашова.

— Нет... Подождите. Ах, как голова болит! Послушайте, Георгий Алексеич... у вас что-то есть... есть... что-то необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мыслей. Что такое с вами?

Ромашов глядел на него с молчаливым состраданием. Все лицо Назанского странно изменилось за то время, как оба офицера не виделись. Глаза глубоко ввалились и почернели вокруг, виски пожелтели, а щеки с неровной грязной кожей опустились и оплыли книзу и некрасиво обросли жидкими курчавыми волосами.

— Ничего особенного, просто мне захотелось видеться с вами, — сказал небрежно Ромашов. — Завтра

я дерусь на дуэли с Николаевым. Мне противно идти домой. Да это, впрочем, все равно. До свиданья. Мне, видите ли, просто не с кем было поговорить... Тяжело на душе.

Назанский закрыл глаза, и лицо его мучительно исказилось. Видно было, что он неестественным напряжением воли возвращает к себе сознание. Когда же он открыл глаза, то в них уже светились внимательные теплые искры.

— Нет, подождите... мы сделаем вот что. — Назанский с трудом переворотился на бок и поднялся на локте. — Достаньте там, из шкафчика... вы знаете... Нет, не надо яблока... Там есть мятные лепешки. Спасибо, родной. Мы вот что сделаем... Фу, какая гадость!.. Повезите меня куда-нибудь на воздух — здесь омерзительно, и я здесь боюсь... Постоянно такие страшные галлюцинации. Поедем, покатаемся на лодке и поговорим. Хотите?

Он, морщась, с видом крайнего отвращения пил рюмку за рюмкой, и Ромашов видел, как понемногу загорались жизнью и блеском и вновь становились прекрасными его голубые глаза.

Выйдя из дому, они взяли извозчика и поехали на конец города, к реке. Там, на одной стороне плотины, стояла еврейская турбинная мукомольня — огромное красное здание, а на другой — были расположены купальни, и там же отдавались напрокат лодки. Ромашов сел на весла, а Назанский полулег на корме, прикрывшись шинелью.

Река, задержанная плотиной, была широка и неподвижна, как большой пруд. По обеим ее сторонам берега уходили плоско и ровно вверх. На них трава была так ровна, ярка и сочна, что издали хотелось ее потрогать рукой. Под берегами в воде зеленел камыш и среди густой, темной, круглой листвы белели большие головки кувшинок.

Ромашов рассказал подробно историю своего столкновения с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, наклонив голову и глядя вниз на воду, которая ленивыми густыми струйками, переливавшимися, как

жидкое стекло, раздавалась вдаль и вширь от носа лодки.

— Скажите правду, вы не боитесь, Ромашов? — спросил Назанский тихо.

— Дуэли? Нет, не боюсь, — быстро ответил Ромашов. Но тотчас же он примолк и в одну секунду живо представил себе, как он будет стоять совсем близко против Николаева и видеть в его протянутой руке опускающееся черное дуло револьвера. — Нет, нет, — прибавил Ромашов поспешно, — я не буду лгать, что не боюсь. Конечно, страшно. Но я знаю, что я не струшу, не убегу, не попрошу прощенья.

Назанский опустил концы пальцев в теплую, вечернюю, чуть-чуть ропщущую воду и заговорил медленно, слабым голосом, поминутно откашливаясь:

— Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы хотите это делать? Подумайте: если вы знаете твердо, что не струсите, — если совсем твердо знаете, — то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и отказаться.

— Он меня ударил... в лицо! — сказал упрямо Ромашов, и вновь жгучая злоба тяжело колыхнулась в нем.

— Ну, так, ну, ударил, — возразил ласково Назанский и грустными, нежными глазами поглядел на Ромашова. — Да разве в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша боль и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Пустозвоны, фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные попугаи уверяют, что убийство на дуэли — не убийство. Какая чепуха! Но они же сентиментально верят, что разбойникам снятся мозги и кровь их жертв. Нет, убийство — всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не брезгливое отвращение к крови и трупу, — нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую радость жизни! — повторил вдруг Назанский громко, со слезами в голосе. — Ведь никто — ни вы, ни я, ах, да просто-напросто никто в мире не верит ни в какую загробную жизнь. Оттого

все страшатся смерти, но малодушные дураки обманывают себя перспективами лучезарных садов и сладкого пения кастратов, а сильные — молча перешагивают грань необходимости. Мы — не сильные. Когда мы думаем, что будет после нашей смерти, то представляем себе пустой, холодный и темный погреб. Нет, голубчик, все это враки: погреб был бы счастливым обманом, радостным утешением. Но представьте себе весь ужас мысли, что совсем, совсем ничего не будет, ни темноты, ни пустоты, ни холоду... даже мысли об этом не будет, даже страха не останется! Хотя бы страх! Подумайте!

Ромашов бросил весла вдоль бортов. Лодка едва подвигалась по воде, и это было заметно лишь по тому, как тихо плыли в обратную сторону зеленые берега.

— Да, ничего не будет, — повторил Ромашов задумчиво.

— А посмотрите, нет, посмотрите только, как прекрасна, как обольстительна жизнь! — воскликнул Назанский, широко простирая вокруг себя руки. — О радость, о божественная красота жизни! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце, тихая вода — ведь дрожишь от восторга, когда на них смотришь, — вон там, далеко, ветряные мельницы машут крыльями, зеленая кроткая травка, вода у берега — розовая, розовая от заката. Ах, как все чудесно, как все нежно и счастливо!

Назанский вдруг закрыл глаза руками и расплакался, но тотчас же он овладел собой и заговорил, не стыдясь своих слез, глядя на Ромашова мокрыми сияющими глазами:

— Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и теперь жизнь прекрасна?» — я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она прекрасна!» Сколько радости дает нам одно только зрение! А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь! И есть безмернейшее наслаждение — золотое солнце жизни, человеческая мысль! Родной мой Юрочка!.. Простите, что я вас так назвал. — Назан-

ский, точно извиняясь, протянул к нему издали дрожащую руку. — Положим, вас посадили в тюрьму на веки вечные, и всю жизнь вы будете видеть из щелки только два старых изъеденных кирпича... нет, даже, положим, что в вашей тюрьме нет ни одной искорки света, ни единого звука — ничего! И все-таки разве это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? У вас остается мысль, воображение, память, творчество — ведь и с этим можно жить. И у вас даже могут быть минуты восторга от радости жизни.

— Да, жизнь прекрасна, — сказал Ромашов.

— Прекрасна! — пылко повторил Назанский. — И вот два человека из-за того, что один ударил другого, или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы, невежливо посмотрел на него, — эти два человека стреляют друг в друга, убивают друг друга. Ах, нет, их раны, их страдания, их смерть — все это к черту! Да разве он себя убивает — жалкий движущийся комочек, который называется человеком? Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое небо, природу, — всю многообразную красоту жизни, убивает величайшее наслаждение и гордость — человеческую мысль! Он убивает то, что уж никогда, никогда, никогда не возвратится. Ах, дураки, дураки!

Назанский печально, с долгим вздохом покачал головой и опустил ее вниз. Лодка вошла в камыши. Ромашов опять взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша о борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и прохладнее, чем на открытой воде.

— Что же мне делать? — спросил Ромашов мрачно и грубовато. — Уходить в запас? Куда я денусь?

Назанский улыбнулся кротко и нежно.

— Подождите, Ромашов. Поглядите мне в глаза. Вот так. Нет, вы не отворачивайтесь, смотрите прямо и отвечайте по чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо, лучше, чем всех других, и я чувствую вашу душу. Ведь вы совсем не верите в это.

— Нет, — ответил Ромашов твердо. — Но куда я пойду?

— Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае — сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же — убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже неокончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают: стреляй, и он стреляет, — кого? за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть талантливого, способного, — спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец — и это раз в пять лет — поступает в академию, его провожают с ненавистью. Более прилизанные и с протекцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те, кто хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем, но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес, который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством, многие ждут не дождутся вечера, когда можно сесть дома, у лампы, взять иголку и вышивать по канве крестиками какой-нибудь паршивенький ненужный коверчик или выпиливать лобзиком ажурную рамку для собственного портрета. На службе они мечтают об этом, как о тайной сладостной радости. Карты, хвастливый спорт в обладании женщинами — об этом я уж не говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это —

Осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне Арчаковский так бил своего денщика, что я насилу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось, хотите ли знать? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его с запиской к фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата.

Назанский замолчал и стал нервно тереть себе виски ладонями.

— Постойте... Ах, как мысли бегают... — сказал он с беспокойством. — Как это скверно, когда не ты ведешь мысль, а она тебя ведет... Да, вспомнил! Теперь дальше. Поглядите вы на остальных офицеров. Ну, вот вам, для примера, штабс-капитан Плавский. Питается черт знает чем — сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит почти лохмотье, но из своего сорокавосьмирублевого жалованья каждый месяц откладывает двадцать пять. Ого-го! У него уже лежит в банке около двух тысяч, и он тайно отдает их в рост товарищам под зверские проценты. Вы думаете, здесь врожденная скупость? Нет, нет, это только средство уйти куда-нибудь, спрятаться от тяжелой и непонятной бессмыслицы военной службы... Капитан Стельковский — умница, сильный, смелый человек. А что составляет суть его жизни? Он совращает неопытных крестьянских девчонок. Наконец возьмите вы подполковника Брема. Милый, славный чудак, добрейшая душа — одна прелесть, — и вот он весь ушел в заботы о своем зверинце. Что ему служба, парады, знамя, выговоры, честь? Мелкие, ненужные подробности в жизни.

— Брем — чудный, я его люблю, — вставил Ромашов.

— Так-то так, конечно, милый, — вяло согласился Назанский. — А знаете ли, — заговорил он вдруг, нахмурившись, — знаете, какую штуку однажды я видел на маневрах? После ночного перехода шли мы в атаку. Сбились мы все тогда с ног, устали, разнервничались все: и офицеры и солдаты. Брем велит горнисту играть

повестку к атаке, а тот, бог его знает почему, трубит вызов резерва. И один раз, и другой, и третий. И вдруг этот самый — милый, добрый, чудный Брем подскакивает на коне к горнисту, который держит рожок у рта, и изо всех сил трах кулаком по рожку! Да. И я сам видел, как горнист вместе с кровью выплюнул на землю раскрошенные зубы.

— Ах, боже мой! — с отвращением простонал Ромашов.

— Вот так и все они, даже самые лучшие, самые нежные из них, прекрасные отцы и внимательные мужья, — все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Вы знаете ведь, как дети любят играть в войну? Было время кипучего детства и в истории, время буйных и веселых молодых поколений. Тогда люди ходили вольными шайками, и война была общей хмельной радостью, кровавой и доблестной утехой. В начальники выбирался самый храбрый, самый сильный и хитрый, и его власть, до тех пор пока его не убивали подчиненные, принималась всеми истинно как божеская. Но вот человечество выросло и с каждым годом становится все более мудрым, и вместо детских шумных игр его мысли с каждым днем становятся серьезнее и глубже. Бесстрашные авантюристы сделались шулерами. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалованье. Их доблесть — подмоченная доблесть. И воинская дисциплина — дисциплина за страх — соприкасается с обоюдною ненавистью. Красивые фазаны облиняли. Только один подобный пример я знаю в истории человечества. Это монашество. Начало его было смиренно, красиво и трогательно. Может быть — почем знать — оно было вызвано мировой необходимостью? Но прошли столетия, и что же мы видим? Сотни тысяч бездельников, развращенных, здоровенных

лоботрясов, ненавидимых даже теми, кто в них имеет время от времени духовную потребность. И все это прикрыто внешней формой, шарлатанскими знаками касты, смешными выветрившимися обрядами. Нет, я не напрасно заговорил о монахах, и я рад, что мое сравнение логично. Подумайте только, как много общего. Там — ряса и кадило, здесь — мундир и гремящее оружие; там — смирение, лицемерные вздохи, слащавая речь, здесь — наигранное мужество, гордая честь, которая все время вращает глазами: «А вдруг меня кто-нибудь обидит?» — выпяченные груди, вывороченные локти, поднятые плечи. Но и те и другие живут паразитами и знают, ведь знают это глубоко в душе, но боятся познать это разумом и, главное, животом. И они подобны жирным вшам, которые тем сильнее отъедаются на чужом теле, чем оно больше разлагается.

Назанский злобно фыркнул носом и замолчал.

— Говорите, говорите, — попросил умоляюще Ромашов.

— Да, настанет время, и оно уже у ворот. Время великих разочарований и страшной переоценки. Помните, я говорил вам как-то, что существует от века незримый и беспощадный гений человечества. Законы его точны и неумолимы. И чем мудрее становится человечество, тем более и глубже оно проникает в них. И вот я уверен, что по этим непреложным законам все в мире рано или поздно приходит в равновесие. Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы — слепы и глухи ко всему. Давно уже, где-то вдали от наших

грязных, вонючих стоянок, совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные свободные мысли. Как в последнем действии мелодрамы, рушатся старые башни и подземелья, и из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!» И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят — во веки веков.

Лодка выехала в тихую, тайную водяную прогалинку. Кругом тесно обступил ее круглой зеленой стеной высокий и неподвижный камыш. Лодка была точно отрезана, укрыта от всего мира. Над ней с криком носились чайки, иногда так близко, почти касаясь крыльями Ромашова, что он чувствовал дуновение от их сильного полета. Должно быть, здесь, где-нибудь в чаще тростника, у них были гнезда. Назанский лег на корму навзничь и долго глядел вверх на небо, где золотые неподвижные облака уже окрашивались в розовый цвет.

Ромашов сказал робко:

— Вы не устали? Говорите еще.

И Назанский, точно продолжая вслух свои мысли, тотчас же заговорил:

— Да, наступает новое, чудное, великолепное время. Я ведь много прожил на свободе и много койчего читал, много испытал и видел. До этой поры старые вороны и галки вбивали в нас с самой школьной скамьи: «Люби ближнего, как самого себя, и знай, что кротость, послушание и трепет суть первые достоинства человека». Более честные, более сильные, более хищные говорили нам: «Возьмемся об руку, пойдем и погибнем, но будущим поколениям приготовим светлую и легкую жизнь». Но я никогда не понимал этого. Кто мне докажет с ясной убедительностью, — чем связан я с этим — черт бы его побрал! — моим ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом? О, из всех легенд я более всего ненавижу — всем сердцем, всей способностью к презрению — легенду об Юлиане Милостивом. Прокаженный говорит: «Я дрожу, ляг со мной

в постель рядом. Я озяб, приблизь твои губы к моему смрадному рту и дыши на меня». Ух, ненавижу! Ненавижу прокаженных и не люблю ближних. А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою голову ради счастья людей тридцать второго столетия? О, я знаю этот куриный бред о какой-то мировой душе, о священном долге. Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни разу не чувствовал его сердцем. Вы следите за мной, Ромашов?

Ромашов со стыдливой благодарностью поглядел на Назанского.

— Я вас вполне, вполне понимаю, — сказал он. — Когда меня не станет, то и весь мир погибнет? Ведь вы это говорите?

— Это самое. И вот, говорю я, любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая пребудет бессмертной до конца мира. Это любовь к себе, к своему прекрасному телу, к своему всесильному уму, к бесконечному богатству своих чувств. Нет, подумайте, подумайте, Ромашов: кто вам дороже и ближе себя? Никто. Вы — царь мира, его гордость и украшение. Вы — бог всего живущего. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, принадлежит только вам. Делайте, что хотите. Берите все, что вам нравится. Не страшитесь никого во всей вселенной, потому что над вами никого нет и никто не равен вам. Настанет время, и великая вера в свое Я осенит, как огненные языки святого духа, головы всех людей, и тогда уже не будет ни рабов, ни господ, ни калек, ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами. И подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толкнуть, обмануть человека, в котором я чувствую равного себе, светлого бога? Тогда жизнь будет прекрасна. По всей земле воздвигнутся легкие, светлые здания, ничто вульгарное, пошлое не оскорбит наших глаз, жизнь станет сладким трудом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым, вечным и легким праздником. Любовь, освобожденная от темных пут собственности, станет светлой религией мира, а не тайным позорным грехом в темном углу, с оглядкой, с отвраще-

нием. И самые тела наши сделаются светлыми, сильными и красивыми, одетыми в яркие великолепные одежды. Так же, как верю в это вечернее небо надо мной, — воскликнул Назанский, торжественно подняв руку вверх, — так же твердо верю я в эту грядущую богоподобную жизнь!

Ромашов, взволнованный, потрясенный, пролепетал побледневшими губами:

— Назанский, это мечты, это фантазии!

Назанский тихо и снисходительно засмеялся.

— Да, — промолвил он с улыбкой в голосе, — какой-нибудь профессор догматического богословия или классической филологии расставит врозь ноги, разведет руками и скажет, склонив набок голову: «Но ведь это проявление крайнего индивидуализма!» Дело не в страшных словах, мой дорогой мальчик, дело в том, что нет на свете ничего практичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь немногие. Они, эти фантазии, — вернейшая и надежнейшая спайка для людей. Забудем, что мы — военные. Мы — шпаки. Вот на улице стоит чудовище, веселое, двухголовое чудовище. Кто ни пройдет мимо него, оно его сейчас в морду, сейчас в морду. Оно меня еще не ударило, но одна мысль о том, что оно меня может ударить, оскорбить мою любимую женщину, лишить меня по произволу свободы, — эта мысль вздергивает на дыбы всю мою гордость. Один я его осилить не могу. Но рядом со мною стоит такой же смелый и такой же гордый человек, как я, и я говорю ему: «Пойдем и сделаем вдвоем так, чтобы оно ни тебя, ни меня не ударило». И мы идем. О, конечно, это грубый пример, это схема, но в лице этого двухголового чудовища я вижу все, что связывает мой дух, насилует мою волю, унижает мое уважение к своей личности. И тогда-то не телячья жалость к ближнему, а божественная любовь к самому себе соединяет мои усилия с усилиями других, равных мне по духу людей!

Назанский умолк. Видимо, его утомил непривычный нервный подъем. Через несколько минут он продолжал вяло, упавшим голосом:

— Вот так-то, дорогой мой Георгий Алексеевич. Мимо нас плывет огромная, сложная, вся кипящая жизнь, родятся божественные, пламенные мысли, разрушаются старые позолоченные идолища. А мы стоим в наших стойлах, упершись кулаками в бока, и ржем: «Ах вы, идиоты! Шпаки! Дррать вас!» И этого жизнь нам никогда не простит...

Он привстал, поежился под своим пальто и сказал устало:

— Холодно... Поедемте домой...

Ромашов выгреб из камышей. Солнце село за дальними городскими крышами, и они черно и четко выделялись в красной полосе зари. Кое-где яркими отраженными огнями играли оконные стекла. Вода в сторону зари была розовая, гладкая и веселая, но позади лодки она уже сгустилась, посинела и наморщилась.

Ромашов сказал внезапно, отвечая на свои мысли:

— Вы правы. Я уйду в запас. Не знаю сам, как это сделаю, но об этом я и раньше думал.

Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода.

— Идите, идите, — сказал он с ласковой грустью. — В вас что-то есть, какой-то внутренний свет... я не знаю, как это назвать. Но в нашей берлоге его погасят. Просто плюнут на него и потушат. Главное — не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая, занятная, чудная штука — эта жизнь. Ну, ладно, не повезет вам — падете вы, опуститесь до босячества, до пропойства. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в десять тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Иваныч Зегржт или капитан Слива. Ходишь по земле туда-сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множеством странных, беспечных, насмешливых людей, смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на росистой траве, мерзнешь на морозе, ни к чему не привязан, никого не боишься, обожаешь свободную жизнь всеми частицами души... Эх, как люди вообще мало понимают! Не все ли равно: есть воблу или седло дикой козы с трюфелями, напиваться водкой или шампанским, умереть под балдахином или в полицейском участке. Все это детали, маленькие удобства, быстро проходящие при-

вычки. Они только затеняют, обесценивают самый главный и громадный смысл жизни. Вот часто гляжу я на пышные похороны. Лежит в серебряном ящике под дурацкими султанами одна дохлая обезьяна, а другие живые обезьяны идут за ней следом, с вытянутыми мордами, понавесив на себя и спереди и сзади смешные звезды и побрякушки... А все эти визиты, доклады, заседания... Нет, мой родной, есть только одно непреложное, прекрасное и незаменимое — свободная душа, а с нею творческая мысль и веселая жажда жизни. Трюфели могут быть и не быть — это капризная и весьма пестрая игра случая. Кондуктор, если он только не совсем глуп, через год выучится прилично и не без достоинства царствовать. Но никогда откормленная, важная и тупая обезьяна, сидящая в карете, со стекляшками на жирном пузе, не поймет гордой прелести свободы, не испытает радости вдохновения, не заплачет сладкими слезами восторга, глядя, как на вербовой ветке серебрятся пушистые барашки!

Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за борт, он продолжал:

— Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли, и если вернулся назад, в загаженную клетку, то виною тому... ну, да ладно... все равно, вы понимаете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похожа на огромное здание с тысячами комнат, в которых свет, пение, чудные картины, умные, изящные люди, смех, танцы, любовь — все, что есть великого и грозного в искусстве. А вы в этом дворце до сих пор видели один только темный, тесный чуланчик, весь в сору и в паутине, — и вы боитесь выйти из него.

Ромашов причалил к пристани и помог Назанскому выйти из лодки. Уже стемнело, когда они приехали на квартиру Назанского. Ромашов уложил товарища в постель и сам накрыл его сверху одеялом и шинелью.

Назанский так сильно дрожал, что у него стучали зубы. Ежась в комок и зарываясь головой в подушку, он говорил жалким, беспомощным, детским голосом:

— О, как я боюсь своей комнаты... Какие сны, какие сны!

— Хотите, я останусь ночевать? — предложил Ромашов.

— Нет, нет, не надо. Пошлите, пожалуйста, за бромом... и... немного водки. Я без денег...

Ромашов просидел у него до одиннадцати часов. Понемногу Назанского перестало трясти. Он вдруг открыл большие, блестящие, лихорадочные глаза и сказал решительно, отрывисто:

— Теперь уходите. Прощайте.

— Прощайте, — сказал печально Ромашов.

Ему хотелось сказать: «Прощайте, учитель», но он застыдился фразы и только прибавил с натянутой шуткой:

— Почему — прощайте? Почему не до свидания?

Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом.

— А почему не досвишвеция? — крикнул он диким голосом сумасшедшего.

И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса.

XXII

Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты, среди теплого мрака летней ночи, брезжит чуть заметный свет. «Что это значит? — подумал он тревожно и невольно ускорил шаги. — Может быть, это вернулись мои секунданты с условиями дуэли?» В сенях он натолкнулся на Гайнана, не заметил его, испугался, вздрогнул и воскликнул сердито:

— Что за черт! Это ты, Гайнан? Кто тут?

Несмотря на темноту, он почувствовал, что Гайнан, по своей привычке, заплясал на одном месте.

— Там тебе барина пришла. Сидит.

Ромашов отворил дверь. В лампе давно уже вышел весь керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними чадными вспышками. На кровати сидела неподвижная женская фигура, неясно выделяясь в тяжелом вздрагивающем полумраке.

— Шурочка! — задыхаясь, сказал Ромашов и почему-то на цыпочках осторожно подошел к кровати. — Шурочка, это вы?

— Тише. Садитесь, — ответила она быстрым шепотом. — Потушите лампу.

Он дунул сверху в стекло. Пугливый синий огонек умер, и сразу в комнате стало темно и тихо, и тотчас же торопливо и громко застучал на столе не замечаемый до сих пор будильник. Ромашов сел рядом с Александрой Петровной, сгорбившись и не глядя в ее сторону. Странное чувство боязни, волнения и какого-то замирания в сердце овладело им и мешало ему говорить.

— Кто у вас рядом, за стеной? — спросила Шурочка. — Там слышно?

— Нет, там пустая комната... старая мебель... хозяин — столяр. Можно говорить громко.

Но все-таки оба они продолжали говорить шепотом, и в этих тихих, отрывистых словах, среди тяжелого, густого мрака, было много боязливого, смущенного и тайно крадущегося. Они сидели, почти касаясь друг друга. У Ромашова глухими толчками шумела в ушах кровь.

— Зачем, зачем вы это сделали? — вдруг сказала она тихо, но со страстным упреком.

Она положила ему на колено свою руку. Ромашов сквозь одежду почувствовал ее живую, нервную теплоту и, глубоко передохнув, зажмурил глаза. И от этого не стало темнее, только перед глазами всплыли похожие на сказочные озера черные овалы, окруженные голубым сиянием.

— Помните, я просила вас быть с ним сдержанным. Нет, нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссоры — я знаю это. Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь, вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне и остановиться. Вы никогда не любили меня!

— Я люблю вас, — тихо произнес Ромашов и слегка прикоснулся робкими, вздрагивающими пальцами к ее руке.

Шурочка отняла ее, но не сразу, потихоньку, точно жалея и боясь его обидеть.

— Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего имени, но ваше рыцарство пропало понапрасну: все равно по городу катится сплетня.

— Простите меня, я не владел собой... Меня ослепила ревность, — с трудом произнес Ромашов.

Она засмеялась долгим и злым смешком.

— Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж был так великодушен после вашей драки, что удержался от удовольствия рассказать мне, откуда вы приехали тогда в собрание? Он и про Назанского мне сказал.

— Простите, — повторял Ромашов. — Я там ничего дурного не делал. Простите.

Она вдруг заговорила громче, решительным и суровым шепотом:

— Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая минута. Я и то ждала вас около часа. Поэтому будем говорить коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня Володя. Я его не люблю, но я на него убила часть своей души. У меня больше самолюбия, чем у него. Два раза он проваливался, держа экзамен в академию. Это причиняло мне гораздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. Я тянула мужа изо всех сил, подхлестывала его, зубрила вместе с ним, репетировала, взвинчивала его гордость, ободряла его в минуту уныния. Это — мое собственное, любимое, больное дело. Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что бы там ни было, но он поступит в академию.

Ромашов сидел, низко склонившись головой на ладонь. Он вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Он спросил с горестным недоумением:

— Что же я могу сделать?

Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал щекой податливую упругость ее тела и услышал его теплый, пряный, сладострастный запах.

Когда она говорила, он ощущал ее прерывистое дыхание на своих волосах.

— Ты помнишь, тогда... вечером... на пикнике. Я тебе сказала всю правду. Я не люблю его. Но подумай: три года, целых три года надежд, фантазий, планов и такой упорной, противной работы! Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной, я хочу поклонения, власти! И вдруг — нелепая, пьяная драка, офицерский скандал — и все кончено, все разлетелось впрах! О, как это ужасно! Я никогда не была матерью, но я воображаю себе: вот у меня растет ребенок — любимый, лелеемый, в нем все надежды, в него вложены заботы, слезы, бессонные ночи... и вдруг — нелепость, случай, дикий, стихийный случай: он играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз, на камни. Милый, только с этим материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя.

Ромашову было неудобно сидеть перегнувшись и боясь сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые и точные биения ее маленького сердца.

— Ты слушаешь меня? — спросила она, нагибаясь к нему.

— Да, да... Говори... Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь.

— Нет, нет. Выслушай меня до конца. Если ты его убьешь или если его отставят от экзамена — кончено! Я в тот же день, когда узнàю об этом, бросаю его и еду — все равно куда — в Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая фраза из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна, образованна. Некрасива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк!

Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы.

— Не говори так... не надо... мне больно, — произнес он печально. — Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка, извинюсь перед ним? Сделать это?

Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы темной комнаты. Наконец она произнесла еле слышно, точно в раздумье, с выражением, которого Ромашов не мог уловить.

— Я так и знала, что ты это предложишь.

Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею рукой, выпрямился на кровати.

— Я не боюсь! — сказал он громко и глухо.

— Нет, нет, нет, нет, — заговорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом. — Ты меня не понял. Иди ко мне ближе... как раньше... Иди же!..

Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку:

— Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый, и я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая...

— Нет, говори все. Я тебя люблю.

— Послушай, — заговорила она, и он скорее угадывал ее слова, чем слышал их. — Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но, пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то... как бы сказать?.. Ну, что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование... Понимаешь ли ты меня? — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волосы.

— Да. Так что же?

— То, что в этом случае мужа почти наверно не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем если бы

вы на самом деле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное. Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают. Потом... после дуэли... ты мог бы, если хочешь, и извиниться... Ну, это уж твое дело.

Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, касаясь лицами и руками друг друга, слыша дыхание друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего пахнуло холодом на его душу. Он опять хотел высвободиться из ее рук, но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное, глухое раздражение, он сказал сухо:

— Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю.

Тогда она повелительно заговорила около самого его рта, и слова ее были, как быстрые трепетные поцелуи:

— Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. О пойми же, пойми меня, не осуждай меня! Я сама презираю трусов, я женщина. Но ради меня сделай это, Георгий! Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я все, все, все сделала.

Теперь ему удалось упрямым движением головы освободиться от ее мягких и сильных рук. Он встал с кровати и сказал твердо:

— Хорошо, пусть будет так. Я согласен.

Она тоже встала. В темноте, по ее движениям он не видел, а угадывал, чувствовал, что она торопливо поправляет волосы на голове.

— Ты уходишь? — спросил Ромашов.

— Прощай, — ответила она слабым голосом. — Поцелуй меня в последний раз.

Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви. Впотьмах, ощупью, он нашел руками ее голову и стал целовать ее щеки и глаза. Все лицо Шурочки было мокро от тихих, неслышных слез. Это взволновало и растрогало его.

— Милая... не плачь... Саша... милая... — твердил он жалостно и мягко.

Она вдруг быстро закинула руки ему за шею, томным, страстным и сильным движением вся прильнула к нему и, не отрывая своих пылающих губ от его рта, зашептала отрывисто, вся содрогаясь и тяжело дыша:

— Я не могу так с тобой проститься... Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться... Я хочу, хочу этого. Один раз... возьмем наше счастье... Милый, иди же ко мне, иди, иди...

И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполнились каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом. На секунду среди белого пятна подушки Ромашов со сказочной отчетливостью увидел близко-близко около себя глаза Шурочки, сиявшие безумным счастьем, и жадно прижался к ее губам...

— Можно мне проводить тебя? — спросил он, выйдя с Шурочкой из дверей на двор.

— Нет, ради бога, не нужно, милый... Не делай этого. Я и так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час?

— Не знаю, у меня нет часов. Положительно не знаю.

Она медлила уходить и стояла, прислонившись к двери. В воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным запахом жаркой ночи. Было темно, но сквозь мрак Ромашов видел, как и тогда в роще, что лицо Шурочки светится странным белым светом, точно лицо мраморной статуи.

— Ну, прощай же, мой дорогой, — сказала она, наконец, усталым голосом. — Прощай.

Они поцеловались, и теперь ее губы были холодны и неподвижны. Она быстро пошла к воротам, и сразу ее поглотила густая тьма ночи.

Ромашов стоял и слушал до тех пор, пока не скрипнула калитка и не замолкли тихие шаги Шурочки. Тогда он вернулся в комнату.

Сильное, но приятное утомление внезапно овладело им. Он едва успел раздеться — так ему хотелось спать. И последним живым впечатлением перед сном был легкий, сладостный запах, шедший от подушки — запах волос Шурочки, ее духов и прекрасного молодого тела.

XXIII

2-го июня 18**.
Город Z.

Его высокоблагородию командиру N-ского пехотного полка

Штабс-капитана того же полка *Диц*.

РАПОРТ

Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего 2-го июня, согласно условиям, доложенным Вам вчера, 1-го июня, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретились без пяти минут в 6 часов утра, в роще, именуемой «Дубечная», расположенной в $3^1/_2$ верстах от города. Продолжительность поединка, включая сюда и время, употребленное на сигналы, была 1 мин. 10 сек. Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. По команде «вперед» оба противника пошли друг другу навстречу, причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота. Для выстрела поручик Николаев остановился, точно так же, как и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной полуминуты для ответного выстрела обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты подпоручика Ромашова предложили считать поединок оконченным. С общего согласия это было сделано. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния. Секундантами со стороны поручика Николаева были: я и поручик Васин, со стороны же подпоручика Ромашова: поручики Бек-Агамалов и Веткин. Распоряжение дуэлью, с общего согласия, было предоставлено мне. Показание младшего врача кол. ас. Знойко при сем прилагаю.

Штабс-капитан *Диц*.

СНЫ

I

В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками; грохотали извозчичьи экипажи, с понурыми послушными лошадьми, со сгорбленными извозчиками на козлах; женщины, мужчины, дети, собаки — все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице.

И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими — притворяются потому, что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал: вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль, — и сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе — все, все, — и живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела, призывающая к Страшному суду.

С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

II

Был у меня также один страшный сон, повторявшийся почти каждый месяц и мучивший меня.

В темной голой комнате томится несколько человек, раздавленных ужасом, дрожащих, обессиленных. Я тоже с ними. Некоторые из нас сидят вдоль стен, по углам, и, обхватив руками угловатые колени, медленно качаются взад и вперед. Другие рвут на себе волосы. Иные ходят взад и вперед, избегая друг друга при встречах уклончивыми движениями, движениями зверей, запертых в клетку.

Но ни одного слова, ни одного звука не произносят наши губы, оледенелые от ужаса. Глаза наши, не отрываясь, устремлены, точно прикованы невидимыми нитями к тому месту в стене, где находится дверь. Время от времени она отворяется, и тотчас же один из нас, без зова, покорно, низко опустив голову, идет и исчезает за дверью. Дверь опять закрывается.

Но на минуту мы все видим огромную комнату, залитую багровым светом, в котором мечутся бледные, измученные тени, слышим крики боли и отчаяния и наконец видим его — Палача! Он стоит неподвижно, огромный, сильный и серьезный, красное платье тесно обтягивает его мускулистое тело, его широкое лицо бледно. Это — Палач, и так его зовут потому, что у него нет другого имени.

Закрывается дверь — и снова темница и ужас. Я знаю, что сейчас придет и моя очередь. В смертельной тоске я хватаюсь руками за голову и шепчу:

— Нет... не может быть... Это сон, это только сон. Я сейчас проснусь!..

Но я не просыпаюсь и опять думаю, весь холодея и дрожа от страха: «Если бы я спал, то не думал бы о том, что сплю. Все это живая, настоящая действительность: эти отчаянные, безмолвные фигуры, кровавая комната, Палач, ожидающий меня... Смерть!»

Открывается дверь. «Моя очередь», — думаю я и покорно встаю, чувствуя ужас каждой частичкой своего тела. Широкое, бледное лицо Палача поворачивается ко мне. И тогда я просыпаюсь.

III

Но теперь все чаще и чаще снится мне земля — это огромное живое ядро, которое, вращаясь, летит стремительно в какую-то черную, бесконечную, безвестную бездну, летит, повинуясь точным и таинственным законам. И кругом земли — тьма, густая, красная тьма, насыщенная испарениями крови и запахом трупов. Это навис и сгустился над нею страшный, липкий кошмар, и она стонет и мечется во сне и не может проснуться.

Вижу я свою бедную, прекрасную, удивительную, непонятную родину. Вижу ее, точно возлюбленную женщину,— обесчещенной, изуродованной, окровавленной, поруганной и обманутой. Вижу ее, неизмеримо громадную, от Ледовитого океана до теплых морей, от Запада до сказочного Востока, и вся она в зареве пожаров, вся залита кровью и усеяна трупами, вся содрогается от стонов и проклятий. Кровавый сон ходит над нею, и в этом сне озверелые шайки с хохотом убивают женщин и стариков, разбивают головы детей о камни мостовой, и в этой красной мгле руки людей дымятся от крови.

Я вижу, как повсюду простираются исхудалые руки и как сухие, искривленные рты беззвучно вопят:

— Хлеба!

— Терпите! — отвечают им одни.

— Молчите! — кричат другие.

Я вижу людей с телами, иссушенными огнем, с руками, подорванными непосильной работой, людей с разбитой чахлой грудью.

— Наш труд — проклятие, не хотим рабства! — слышу я их беззвучные вопли.

— Терпите! — отвечают одни.

— Молчите! — кричат другие.—Терпите рабство — или смерть вам и щенятам вашим.

И вижу я также сытых, изрыгающих обильную пищу, которая не вместилась в желудках их, и вижу недоверчивых, что прячут от голодного недоеденную корку хлеба, и вижу рабов, убивающих по неведению, и вижу трупы мучеников попранными и оплеванными.

И тогда-то мне начинает казаться, что скоро про-

снется окровавленный мир. Чудится мне, что однажды ночью или днем, среди пожаров, насилия, крови и стонов раздастся над миром чье-то спокойное, мудрое, тяжелое слово — понятное и радостное слово. И все проснутся, вздохнут глубоко и прозреют. И сами собою опустятся взведенные ружья, от стыда покраснеют лица сытых, светом загорятся лица недоверчивых и слабых, и там, где была кровь, вырастут прекрасные цветы, из которых мы сплетем венки на могилы мучеников. Тогда вчерашний раб скажет: «Нет больше рабства». И господин скажет: «Нет в мире господина, кроме человека!» А сияющая, пробужденная земля скажет всем ласково: «Дети! Идите к сосцам моим, идите все, равные и свободные. Я изнемогаю от обилия молока».

IV

Я верю: кончается сон, и идет пробуждение. Мы просыпаемся при свете огненной и кровавой зари. Но это заря не ночи, а утра. Светлеет небо над нами, утренний ветер шумит в деревьях! Бегут темные ночные призраки. Товарищи! Идет день свободы!

Вечная слава тем, кто нас будит от кровавых снов.

Вечная память страдальческим теням.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том включены произведения А. И. Куприна, опубликованные в 1902—1905 годах. Именно в эти годы из молодого, начинающего литератора Куприн превратился во всероссийски известного писателя, одного из виднейших представителей реалистического направления в русской литературе начала века.

Этому способствовало многое. Обстановка революционного подъема — подготовки и нарастания первой русской революции — привела к прояснению демократических симпатий и настроений Куприна, к углублению в его творчестве гуманистической критики современного общественного порядка.

Богатейший запас жизненных наблюдений, накопленных ранее в годы странствий по стране, положен в основу большей части его произведений. Россия, по преимуществу провинциальная, украинские городки и белорусские местечки, Черное море и рязанские леса, северные болота и южный берег Крыма во всей пестроте и разнообразии красок встают в произведениях Куприна. Героями их являются разнообразные люди: актеры и учитель на пенсии, контрабандисты и конокрады, офицеры и солдаты, крестьяне и босяки. Большей частью это люди маленькие, придавленные гнетом обстоятельств, иногда гибнущие под тяжестью этого гнета, иногда изуродованные до потери человеческого облика, но нередко и непокорные, полные энергии, отстаивающие достоинство своей личности.

Главную свою задачу в это время писатель видел в том, чтобы оставаться верным суровой правде жизни. «А как вы смотрите на задачи художественного творчества?» — спрашивал Куприна корреспондент «Петербургской газеты» в 1905 году. «Я лично люблю правду, голую, бьющую по головам, как говорится, и по сусалам.

Потом нахожу, что писатель должен изучать жизнь, не отворачиваться ни от чего... Скверно ли пахнет, грязно ли — иди, наблюдай. Не пристанет, а живых документов зато — не огребешь лопатой! Так я и делаю... Писатель ничем и никем не должен пренебрегать», — отвечал он («Петербургская газета», 1905, № 203, 4 августа).

В становлении писательской индивидуальности Куприна большую роль сыграло влияние Чехова — влияние не только идейно-художественное, но и личное. С 1901 года до самой смерти Чехова (познакомились они в 1899 году) Куприн виделся с ним неоднократно и поддерживал регулярную переписку, при этом информировал буквально о каждом шаге своей литературной деятельности — о начале работы в редакции «Журнала для всех» (1901) и в «Мире божьем» (1902), о связи с товариществом «Знание», о литературных знакомствах, о появлении в печати каждого своего нового произведения. Он посылал Чехову свои рассказы еще в корректурных оттисках, прося советов и критики.

Влияние на Куприна художественного стиля Чехова многократно отмечалось критикой. Куприн учился у Чехова художественному лаконизму, умению пользоваться выразительной деталью так, чтобы, избегая описаний, по ходу действия показывать героев в самых характерных признаках внешнего и внутреннего облика.

В. Воровский в статье «А. И. Куприн» (1910) указывал, что Чехов «оставил также характерное идейное наследие: насмешливое, но в то же время сострадательное отношение к людям, забитым и опошленным кошмарной действительностью, отношение, чуждое политической окраски, но насквозь пропитанное верой в то, что «лет через 200—300» жизнь станет прекрасной. Если другие переняли у Чехова его художественную форму, то идейное настроение его большей частью унаследовал А. И. Куприн» (В. Воровский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, 1956, стр. 274). Воровский писал далее, что хотя «политические интересы и политические симпатии у них имеются» (у Куприна и Чехова. — *А. Т.*), у обоих писателей «порабощение и освобождение человека трактуется с внутренней, духовной, эстетической стороны, а не с внешней, материальной, политической» (там же, стр. 277).

Однако жизнь, которую Куприн так знал и любил, ставила перед ним все новые вопросы; обойти их в писательской работе было невозможно. Для того чтобы быть последовательным реалистом в изображении новых явлений исторической жизни, когда

борьба за революционное преобразование действительности возглавлялась уже социалистическим пролетариатом, Куприн должен был яснее определить свою позицию в открытой политической борьбе классов. В эти наиболее трудные минуты его горячо поддерживал и подбадривал Горький.

В 1898 году вышли «Очерки и рассказы» Горького, и Куприн, по его собственным воспоминаниям, «тогда же, прочитав эти книги, предсказал автору шумный успех, который и не замедлил прийти». В 1902 году произошло личное знакомство. 6 декабря 1902 года Куприн писал Чехову: «Кстати, я познакомился с Горьким — он у нас обедал вместе с Пятницким. Знаете, в нем есть что-то аскетическое, суровое, проповедническое. Все рассказывает о молоканах, о духоборах, о сормовских и ростовских беспорядках, о раскольниках и т. д. И при этом глаза у него смотрят точно не от мира сего» (Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина).

В том же письме он сообщал, что его сборник пойдет в издательстве «Знание»: «Знание» купило мою книгу рассказов. Не говоря уже об очень хороших материальных условиях, приятно выйти в свет под таким флагом».

Творческое влияние Горького на Куприна начинает явно ощущаться в годы их личного знакомства и сотрудничества Куприна в сборниках «Знание». До 1903 года героями произведений Куприна были, как правило, люди, придавленные обстоятельствами; человек выступал только как жертва удушающих условий несправедливого общественного быта, бессильная что-либо изменить в своей собственной судьбе. Критик Ю. Александрович правильно говорит о рассказах Куприна тех лет: «Жизнь человеческая скучна, бедна и противна — таково было credo Куприна. Все персонажи его небольших рассказов снабжены всепоглощающим, гнетущим, покорным пессимизмом. Покорно идут в поход массы солдат; покорно не спит по ночам дневальный Меркулов, покорно доживают в немощном одиночестве свои дни престарелые артисты в доме призрения, покорно идет на смертельную для него борьбу тяжело и опасно больной атлет Арбузов и покорно, без протеста и ропота, умирает от паралича сердца. Покорная, безропотная жизнь, покорная смерть. И в этой покорности весь ужас положения» (Ю. Александрович, После Чехова, 1908, стр. 107).

Такое изображение связи человека и среды явилось в какой-то степени выражением демократической критики уродливых социальных условий и сочувствия простым людям, придавленным

этими условиями. В новой исторической обстановке, когда назрела неотложная потребность в активном, преобразующем отношении человека к обстоятельствам его общественного бытия, этого было уже недостаточно.

Вслед за Горьким Куприн пытается как-то решить проблему художественного изображения активного, протестующего характера. Он обращается к образам людей общественного «дна» — среды, которую он тоже хорошо знал еще по своим странствиям.

Писатель в эти годы (1902—1905) не только правдиво отражал доступные ему стороны действительности, но и сумел поставить острые общественные вопросы, назревшие в жизни и требовавшие общего внимания.

В этом смысле его «Поединок» — самое выдающееся произведение русской художественной прозы 1905 года, оказавшее серьезное влияние на развитие передового общественного мнения. Поэтому современная критика справедливо видела в Куприне одного из самых ярких представителей «знаньевского» направления, душою и организатором которого был Горький, в то же время сохранившего характерные черты писателя чеховской школы: «Сгруппировавшийся вокруг них (сборников «Знание». — *А. Т.*) кружок беллетристов соединяет с целями чисто художественными цели общественные, и это соединение почти в совершенстве достигнуто в последней повести Куприна «Поединок»... в характере... выраженного... миросозерцания, а также в самой манере рисунка автора — мягкого, тонкого, захватывающего много своеобразных переживаний, чувствуется внимательный и чуткий ученик А. П. Чехова, сохранивший индивидуальность мастерства» (Н. Арский, Из жизни и литературы, «Новости дня», 1905, № 7884, 17 мая).

В своем этюде о Куприне Ф. Батюшков так характеризовал лучшие черты писательской индивидуальности Куприна: «Реалист по письму, он изображает людей в реальных очертаниях, в чередованиях света и теней, настаивая на том, что нет ни абсолютно хороших, ни абсолютно дурных людей, что самые разнообразные свойства умещаются в одном и том же человеке и что жизнь станет прекрасной, когда человек будет свободен от всяких предрассудков и предубеждений, будет сильным и независимым, научится подчинять себе условия жизни, станет сам создавать свой быт» (ИРЛИ).

Соединение чеховского «сострадательного и насмешливого» отношения к людям со стремлением показать пробуждение активных сил характера, восстающего против гнетущих условий жизни,

с горьковским настроением смелого и буйного протеста против всего, что уродует человека, — наиболее привлекательная особенность многих произведений Куприна этого периода.

В ЦИРКЕ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1902, № 1.

Куприн трижды правил текст рассказа. Наибольшее количество поправок было сделано в 1903 году при подготовке первого тома рассказов для изд. т-ва «Знание».

По воспоминаниям М. Куприной-Иорданской, рассказ «В цирке» Куприн писал на даче у Чехова в Ялте. Прямое свидетельство о начале работы над рассказом содержит письмо самого Куприна к Л. И. Елпатьевской (август 1901 г.): «Облюбовал я одну темку; вот она в сжатом виде: профессиональный атлет, борец, русский, даже полуинтеллигент, должен состязаться вечером в цирке с американцем Джоном Ребером. Отказаться нельзя, он уже внес 100 р. на пари и афиши выпущены. Но он чувствует с утра озноб и лень во всем теле. Видит на репетиции утром своего противника (тот тренируется) и чувствует страх. Вечером он борется, побежден и умирает у себя в уборной, не успев снять трико, от разрыва сердца. Тема сама по себе не больно сложная, но какой простор для меня: цирк днем во время репетиций и вечером во время представления, жаргон, обычаи, костюмы, описание борьбы, напряженных мускулов и красивых поз, волнений толпы и т. д.

Когда я вчера придумал это, то у меня от радости даже руки похолодели. Я танцевал по комнате и пел: пишу, пишу, пишу! И вот сегодня я опять сижу бесплодно за столом, а тема кажется мне бледной, неинтересной, вылинявшей. Голубчик, что же это со мной! Неужели я впадаю в идиотство?» (ИРЛИ)

В декабре 1901 года рассказ уже был набран в журнале и оттиск послан Чехову: «Исполняя Ваше желание, я высылаю Вам оттиск рассказа, который пойдет в январской книжке «Мира божьего». Мне бы очень хотелось услышать от Вас два-три веских, хотя бы и жестких слова об этом рассказе» (Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина).

В рассказе сказалось знание среды, вынесенное из личных наблюдений. Куприн с детства знал и любил цирк. Еще мальчиком он познакомился с Анатолием Дуровым (1879): «Анатолий демонстрировал свои номера перед товарищами. Он вертелся

колесом, ходил на руках и изображал клоуна... Тайно я благоговел перед ним» («Об Анатолии Дурове»). В молодости Куприн сам занимался в кружке любителей тяжелой атлетики (1895), и интересовался классической борьбой. «Одно время он страстно увлекался цирком, организует в Киеве атлетическое общество, в котором получил первые уроки известный впоследствии атлет Поддубный, «чемпион мира», близко сживается с деятелями цирковой арены и черпает отсюда материал для целого ряда очерков, из которых с особым мастерством написан рассказ «В цирке» (из жизни атлетов), краткий и выразительный эскиз — «Allez!», сценка «Клоун», очерк «Лолли» и др.» (Ф. Батюшков, Этюд о Куприне, ИРЛИ).

По словам Куприна, имя Арбузова не вымышлено. Отвечая на вопрос корреспондента, Куприн писал: «В Одессе я знавал русского атлета Арбузова, которого я потом изобразил «В цирке» («Петербургская газета», 1905, № 203, 4 августа).

Изображая болезнь Арбузова, Куприн, плохо знакомый с медициной, консультировался у Чехова: «Он, как врач, давал Куприну указания, на какие симптомы болезни атлета (гипертрофия сердца) автор должен обратить особенное внимание и выделить их так, чтобы характер болезни не оставлял сомнений» (М. Куприна-Иорданская, «Огонек», 1948, № 38, стр. 19).

Рассказ был хорошо принят критикой. А. Богданович писал, что в нем «тонкая психология действующих лиц изображена с редким мастерством, доступным только настоящим художникам. Что особенно выделяет г. Куприна, это его сжатая манера, — ни одного лишнего штриха, ни одного шаблонного эпитета, во всем строгая соразмерность. Уверенность и твердость рисунка, умение сразу найти сущность изображаемого явления и нужную для данного образа точку освещения обнаруживают в г. Куприне художника, идущего своею самостоятельною дорогою» («Мир божий», 1903, № 4, стр. 10).

Высоко оценили рассказ «В цирке» Чехов и Толстой. Прочитав рассказ еще в корректурном оттиске, Чехов писал О. Книппер-Чеховой: «В цирке» — это свободная, наивная, талантливая вещь, притом написанная несомненно знающим человеком» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. XIX, стр. 234). Самого Куприна Чехов спешил обрадовать: «Дорогой Александр Иванович, сим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась» (там же, стр. 229). О том, что Толстой хвалил этот рассказ, вспоминает и П. Сергеенко: «Заговорили

почему-то о Куприне. Лев Николаевич очень хвалил его рассказ «В цирке», велел найти «Мир божий», начал читать... и не раз делал одобрительные замечания» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1955, т. II, стр. 100).

Стр. 6. *...супинаторы и пронаторы.* — Пронаторно-супинаторная группа мышц предплечья вращает кисть руки.

НА ПОКОЕ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1902, № 11.

После журнальной публикации рассказ правился автором четыре раза — для сборников рассказов в изд. т-ва «Знание», в изд. «Мир божий», для собрания сочинений «Московского книгоиздательства» и для Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс. Поправки носили чисто стилистический характер.

Проявившееся в рассказе знание актерской среды связано с личными наблюдениями Куприна, который во время своих скитаний по стране в поисках заработка в 1898 году провел на сцене «три четверти года, играл... в Сумах, как актер на выходных ролях» («Биржевые ведомости», 1913, № 13764, 21 сентября). Ф. Батюшков сообщает, что и «раньше того он уже служил суфлером в малороссийской труппе» (ИРЛИ).

Куприн работал над рассказом в июле 1902 года, окончил его в августе в Мисхоре и тогда же послал Н. К. Михайловскому в «Русское богатство». Прочитав корректурный оттиск, Куприн остался не вполне доволен рассказом и хотел его переделать. «Я думаю кое-что в рассказе урезать, напр., в гл. III актерскую перебранку, а иные места надо переделать; так, например, в последней главе сон старого актера; мне кажется, я бессознательно кого-то в ней повторил, кого именно — вспомнить не могу, но это меня беспокоит», — писал он Михайловскому 23 сентября (ИРЛИ). В октябре 1902 года Куприн писал Чехову: «Посылаю Вам, многоуважаемый Антон Павлович, вместе с этим письмом корректурный оттиск моего рассказа «На покое», который появится в «Русском богатстве» в ноябрьской книжке. Если у Вас хватит досуга и охоты пробежать его, то не откажите в большой милости написать в двух словах: какое он на Вас произведет впечатление, главное — в отрицательном смысле» («Октябрь», 1944, № 7—8, стр. 131). Ответ Чехова содержал критические замечания: «Дорогой Александр Иванович, «На покое» получил и прочел, большое

Вам спасибо. Повесть хорошая, прочел я ее в один раз, как и «В цирке», и получил истинное удовольствие. Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее некоторыми. Например, героев своих, актеров, Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми, писавшими о них; ничего нового. Во-вторых, в первой главе Вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных...

Вот и все, что я могу сказать Вам в ответ на Ваш вопрос о недостатках, больше же ничего придумать не могу» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. XIX, стр. 368—369).

С замечаниями Чехова Куприн согласился и 6 декабря 1902 года писал ему: «То, что Вы писали мне о рассказе «На покое», — очень верно, хотя и прискорбно для меня. Кое-что, сообразно с Вашим взглядом, я исправил, только этого очень мало, и впечатление остается то же» («Октябрь», 1944, № 7—8, стр. 131—132). Видимо, исправления, о которых пишет здесь Куприн, были внесены им еще в корректуру журнального текста, так как в последующих переизданиях никаких исправлений, связанных с критическими замечаниями Чехова, нет.

Критика видела главное достоинство рассказа в точном знании среды и достоверности ее изображения: «На покое» — рассказ о том, как живут и ссорятся в богадельне старые актеры; тут же и прожитая ими жизнь. Видно, что все это наблюдено, видено, а не писано где-нибудь в петербургском кабинете в созерцании брандмауэра соседнего дома» («Вестник литературы», 1905, № 8, стр. 166).

Стр. 40. *...приписываемых Ленскому, Милославскому, Каратыгину...* — *Ленский* (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805—1860) — актер, первый исполнитель роли Хлестакова в Москве, автор известного водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». *Милославский* (Фриденберг) Николай Карлович (1811—1882) — актер и режиссер. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — знаменитый русский актер-трагик.

Стр. 46. *Таков наш жребий, всех живущих — умирать...* — слова королевы из трагедии В. Шекспира «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого.

Стр. 52. *...углубленным в «Новое время»...* — *«Новое время»* — ежедневная реакционная газета, издававшаяся в Петербурге с 1868 по 1917 г.

Стр. 56. *...Для чего*

Ты не растаешь, ты не распадешься прахом... — цитируется монолог Гамлета из трагедии В. Шекспира «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого.

...я по Полевому не могу. Я по Кронебергу. — *Полевой* Николай Алексеевич (1796—1846) — русский писатель, историк. Автор известного в свое время прозаического перевода трагедии Шекспира «Гамлет». *Кронеберг* Андрей Иванович (ум. в 1855) — переводчик Шекспира.

Стр. 59. *А каким я был Коррадо!* — *Коррадо* — главная роль в драме Паоло Джакометти (1816—1882) «Гражданская смерть», которую перевел с итальянского А. Н. Островский, назвав ее «Семья преступника».

Стр. 63. *...помню в «Женитьбе Белугина».* — *«Женитьба Белугина»* — комедия в 5-ти действиях А. Н. Островского и Н. Соловьева, поставлена впервые в Малом театре в 1877 г.

Стр. 64. *...гнусный водевиль: «Ревнивый муж и храбрый любовник».* — Речь идет о комедии-водевиле в одном действии, перевод с французского Сабурова (Н. Куликова).

БОЛОТО

Впервые — в журнале «Мир божий», 1902, № 12.

Подготавливая рассказ для первого тома собрания сочинений «Московского книгоиздательства» и для первого тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн каждый раз стилистически правил его.

Возникновение замысла рассказа связано с впечатлениями осени 1901 года, когда Куприн взялся провести землемерные работы в Зарайском уезде Рязанской губернии. «С утра раннего до глубокой ночи занят делом, не дающим мне ни одной — буквально ни одной минуты свободной. Дело это заключается в том, что я взял нечто вроде подряда, обмерить около 600 десятин крестьянской земли в Зарайском уезде и составить планы лесного хозяйства в деревнях Григорьевской, Тюнины, Лучконцах, Козловке, Филипповичах, Городище, Клин-Бильдище, Костенковой.

Время теперь позднее (сегодня 18 октября и в первый раз выпал снег), и меня с работой прямо гонят в шею, ибо это смешная и наивная ложь, будто — зима, крестьянин торжествуя и т. д. Крестьянин зиму ненавидит и боится ее больше всего на свете. Итак я с утра, когда еще темно, бегу с рабочими в лес и, не присаживаясь ни на минуту, хожу до тех пор, пока волоски в визирной трубке моего теодолита еще можно различить глазами. А весь вечер я сижу не разгибаясь и заношу все снятое днем на план», — писал он Л. И. Елпатьевской в 1901 году (ИРЛИ).

В декабре того же года он писал об этом же Чехову: «Уехав из Ялты, я попал в лес, в Рязанскую губернию, и 4 месяца занимался там землемерной работой, снимая при помощи инструмента, называемого теодолитом, крестьянские леса — всего урочищ около 100 с самыми удивительными названиями, от которых веет татарщиной и даже половецкой древностью...» (Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.)

Впечатления, накопившиеся во время этой работы, натолкнули Куприна на мысль обратиться к новой для него теме — к вопросу о современном положении и судьбе русского мужика.

Работал Куприн над рассказом в июне — августе 1902 года в Петербурге, затем в сентябре в Ялте. В октябре 1902 года в письме Н. К. Михайловскому он предлагает опубликовать в «Русском богатстве» или рассказ «На покое», или «Болото» и излагает сюжет последнего:

«Студент и землемер ночуют в сторожке лесника, где вся семья больна малярией. Впечатление, как будто эти люди одержимы духами, в которых сами с ужасом верят. Баба поет:

И все люди спят,
И все звери спят...

И от этого напева веет древним ужасом пещерных людей перед таинственной и грозной природой. Среди ночи лесника вызывают стуком в окно на пожар в лесную дачу. Кругом сторожки туман, густой и липкий, который пахнет сырыми грибами и дымом болотного пожара. Студент, чуткий и слабонервный человек, никак не может отделаться от мучительного и суеверного страха за лесника, который один среди этой ночи и тумана идет теперь по лесу. Вот и все. Рассказ весь в настроении» (ИРЛИ).

В «Русском богатстве» «Болото» не было напечатано, вероятно потому, что народническая идеализация крестьянской патриархальности и противопоставление ее буржуазной цивилиза-

ции в речах студента Сердюкова по существу опровергнуты сценами жизни лесника Степана и его семьи.

В своем отзыве о рассказе журнал «Русское богатство» отмечал, что Куприн «не ограничивается изображением этого почти зоологического быта оторванных от настоящего человеческого общения людей, но вкладывает в уста студента страстное желание как-нибудь помочь этим «пасынкам цивилизации», чтобы употребить выражение одного известного социолога. Еще вечером, бродя по лесу, экспансивный молодой человек раздражал горячими речами своего угрюмого товарища по съемке и то развивал взгляды на мужика, напоминающие «Власть земли» Успенского... то, признавая подавленность крестьянства, выносящего на своих плечах всю тяжесть общественной пирамиды, звал на помощь ему» («Русское богатство», 1903, № 2, стр. 150).

Автор статьи подчеркивал, что общественная проблематика и демократическое сочувствие угнетенным выгодно отличают рассказ от «декадентских фиоритур»: «Читатель, я уверен, с интересом пробежит рассказ Куприна, выгодно отличающийся среди современной безыдейности и декадентских фиоритур своим жизненным сюжетом и симпатиею к тем, для кого история была до сих пор жестокою мачехой» (там же).

Другие критики подчеркивали, что трагические коллизии рассказа, найденные писателем в «чаще жизни», не разрешимы при помощи каких бы то ни было «малых дел», что писатель в частном эпизоде сумел обнаружить глубокие противоречия действительности, характерные для всей общественной жизни: «И рассказ «Болото» гораздо шире своего содержания. Болота в жизни у нас везде и всюду очень много, и много гибнет там Степанов «и в полночь и за полночь». И не только хлеб, лекарство и школа, как думает юный студент Сердюков, спасет Степанов от гибели вырождения и гибели вследствие столкновения с культурой. Здесь нужно нечто побольше, пошире, нечто захватывающее жизнь, как кольцом, своей всесторонностью. В болоте умирает человек, нужно воскресить *человека*. А эта задача потруднее и поважнее хлеба, лекарства и школы...

Автор вдумчив и к жизни относится не безразлично. У него ценный дар — отзываться на неправды жизни. Пусть эти неправды — маленькие. Но в каждой из них, как в капле воды солнце, отражается вся тягота крупных неправд, давящих жизнь» (Ник. Ашешов, Рассказы А. Куприна, «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 17, стр. 747).

Стр. 72. *...сервитуты будут для него мертвыми словами.* — *Сервитуты* — термин римского рабовладельческого права, перешедший в феодальное и буржуазное право, означает пользование в определенном отношении чужой собственностью.

Стр. 78. *...на картинах прерафаэлитов.* — *«Братство прерафаэлитов»* — художественная группировка, возникшая в Англии в 1848 г. и пропагандировавшая религиозно-мистические настроения в искусстве.

Стр. 83. *Пандекты* — сборники, содержащие полное изложение каких-либо материалов, в частности по вопросам права.

ТРУС

Впервые — в «Журнале для всех», 1903, № 1.

После того как рассказ был напечатан в журнале, Куприн почти не правил его. Несколько мелких стилистических исправлений было внесено при подготовке рассказа для третьего тома рассказов в изд. «Мир божий» и для третьего тома собрания сочинений «Московского книгоиздательства».

После выхода журнала Чехов писал Куприну: «Был у меня Вересаев, хвалил очень Вашего «Труса» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. XX, стр. 87).

В печати рассказ тоже встретил одобрительные отзывы: «Рассказ «Трус», напечатанный в январском номере «Журнала для всех», по оригинальности задачи и художественному выполнению — лучшая вещь, напечатанная за последнее время. Психология труса, еврея-актера, отправляющегося в экспедицию с суровым и смелым контрабандистом, — это настоящий шедевр. Цирельман — нервная и тонкая натура, чуткость и раздражительность которой делают его превосходным артистом, увлекающим зрителей неподдельностью выражаемых им чувств, и его товарищ — Файбиш, грубый и смелый благодаря тупости, с которой относится к окружающим явлениям, два поистине превосходных образа. Настроение Цирельмана в бойкой корчме, где он увлекает зрителей своей игрою, и ночью во время злополучной экспедиции передано с полнотою и законченностью, удовлетворяющею самую придирчивую критику» (А. Богданович, Критические заметки, «Мир божий», 1903, № 4, стр. 10).

В рассказе «Трус» Куприн по существу впервые (если не считать раннего очерка «Босяк» в сб. «Киевские типы», 1896) обращается к изображению людей, стоящих вне «нормальных» общественных связей, — тема, получившая широкое развитие в после-

дующем его творчестве. Позднее В. Воровский писал: «Поскольку у Куприна изображаются картины современной «порочной и уродливой» жизни, его внимание больше всего привлекает мир людей, стоящих в силу ли своего образа жизни, в силу ли своих антиобщественных инстинктов вне общества. С одной стороны, это — счастливые дети природы... С другой стороны, это — отверженные мира сего: подонки, собирающиеся в кабачке... профессиональные воры... конокрады, контрабандисты, шулера... проститутки» (В. Воровский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, 1956, стр. 280—281).

«Трус», однако, по своей проблематике стоит несколько особняком среди рассказов Куприна о таких людях. Противоречия «порочной и уродливой» действительности отражены здесь в резких художественных контрастах.

Эта особенность рассказа была отмечена критикой. «Новым по существу в творчестве А. Куприна является прием психологических контрастов... — писал Ф. Батюшков. — Сложность природы человека, сочетание в одном лице высоких побуждений и либо низменных свойств, либо позорных занятий, чередование трагического и комического, пафоса и изобличений, — вот новые черты, которые автор придал своим персонажам и порою выставляет их с такой захватывающей правдой изображения, что заставляет вас переживать самые сложные ощущения, привлекая и отталкивая, возбуждая жалость, сострадание, заглушающие протест и негодование по поводу поступков. Особый интерес в этом отношении представляет рассказ «Трус» («Речь», 1906, № 253, 28 декабря).

Стр. 95. *...сравнивали его с сокрушителем зданий — Самсоном. — Самсон* — библейский мифический герой, которому приписывалась сверхъестественная физическая сила. По библейскому преданию, сила Самсона была заключена в семи прядях его волос. Его возлюбленная, филистимлянка Далила, выстригла, когда он спал, эти пряди. Самсон лишился своей силы, был захвачен филистимлянами и заключен в подземелье храма. Но как только волосы Самсона отросли, сила его вернулась и он сокрушил стены храма, под развалинами которого погибли его враги и он сам.

КОНОКРАДЫ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1903, № 11.

Правя текст для последующих изданий, Куприн особенно тщательно уточнял детали пейзажных зарисовок. Например, была изменена фраза: «Небо из зеленого сделалось темно-синим, и серп

луны сиял на нем, как кривое лезвие серебряного ятагана». Картина наступления темноты завершалась в журнальном тексте таким образом: «Только у того берега, в чистой речной заводи, рдели две длинные кровавые полосы». Эту цифровую деталь Куприн снял, когда правил текст для первого тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Критика отмечала, что в рассказе: «Тип главного конокрада идеализирован, как идеализируются вообще в последнее время романтические отщепенцы низшего класса. Мстительность и нежность, свойства вора и не знающая пределов удаль, сила, творящая зло и способная на геройство, — таковы черты, характеризующие главное лицо. Рядом с ним — такой же герой, мальчик лет тринадцати, будущий конокрад. А как противовес этим двум фигурам изображены раб-нищий и алчный торгаш-конокрад, оба рискующие сравнительно мало и пользующиеся работой и риском других. Несмотря на такую кажущуюся искусственность, фигуры конокрадов просты, естественны, живы» («Русские ведомости», 1903, № 340, 11 декабря).

Отмечалось также растущее мастерство Куприна — бытописателя народной жизни: «В «Конокрадах» ярче смелого Бузыги старый нищий Онисим Козел, а еще ярче общая картина сплетений народных настроений, мыслей, интересов» («Русское богатство», 1907, № 2, стр. 162).

Стр. 112. *Ледве* — едва.

Стр. 121. *Калюжа* — яма, наполненная водой.

Стр. 122. *Посессор* — арендатор.

Стр. 128. *Млин* — мельница.

Капшук — здесь: младенец.

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ

Впервые — в журнале «Юный читатель», 1904, №№ 2, 3 (дата цензур. разрешения 30 дек. 1903 г.).

После первой публикации рассказ правился автором неоднократно.

Преобладает мелкая стилистическая правка. Сделаны уточнения, касающиеся возраста и биографии героев, а также топографии места действия, расстояний и т. д. Иногда, в поисках точного слова, писатель несколько раз возвращается к одной и той же фразе. Например, фраза журнального текста: «...позеле-

невший на воротнике и на рукавах пиджак...» — переделана в сборнике «Детские рассказы» («...позеленевший на руках пиджак...») и еще раз уточнена в седьмом томе Полного собрания сочинений («...позеленевший на швах пиджак...»)

Рассказ печатается по сборнику: А. И. Куприн, Рассказы для детей, Париж, 1921.

Стр. 138. *...унылый немецкий вальс Лаунера. — Ланнер* Иозеф Франс Карл (1801—1843) — австрийский композитор.

...галоп из «Путешествия в Китай». — «Путешествие в Китай» — опера в 3-х действиях, перевод Н. Куликова.

Стр. 139. *...им сейчас «Гейшу» подавай. — «Гейша»* — оперетта английского композитора Джонса Сиднея (1869—1914).

...из «Продавца птиц» — вальс. — «Продавец птиц» — оперетта австрийского композитора Целлера Карла (1842—1898).

МИРНОЕ ЖИТИЕ

Впервые — в сборнике т-ва «Знание», 1904, кн. 2.

После первой публикации Куприн правил текст главным образом при подготовке третьего тома рассказов в изд. «Мир божий». Кроме мелких стилистических уточнений, следует отметить сокращение длиннот и излишней мелочной детализации.

В Полном собрании сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, в рассказ было внесено только одно исправление — вместо «уже смутно чувствовался» — «уже чувствовался».

«Мирное житие» — первый рассказ, появившийся в организованных Горьким сборниках «Знание». Горький хотел, чтобы Куприн принял участие еще в первом сборнике, но Куприн не успел закончить для него рассказ.

Узнав от Горького и Пятницкого, что вторая книга «Знание» скоро сдается в набор, Куприн 16 января 1904 года выехал из Москвы в Сергиев посад для работы над рассказом. К концу месяца рассказ был закончен и выслан Пятницкому, о чем 30 января Куприн сообщил ему телеграммой.

Рассказ был замечен критикой. В. Г. Короленко писал: «В «Мирном житии» А. Куприна характерными чертами изображена фигура доносчика по призванию» («Русское богатство», 1904, № 8, стр. 148). Одновременно рецензия на сборник появилась в «Мире божьем» и тоже выделяла фигуру старого Наседкина: ...фигура, как видит читатель, сильная, может быть, не

совсем новая, но нарисованная живописно и даже немного красочно, с несколько подчеркнутым, — именно à la Маковский, — комизмом и яркостью. Отметим, что нарисованный г. Куприным спаситель человечества является единственным образом благополучного человека во всей серии очерков, помещенных в сборниках» (М. Неведомский, О современном художестве. По поводу сборников «Знание», «Мир божий», 1904, № 8, стр. 30—31).

В связи с выходом третьего тома рассказов Куприна в изд. «Мир божий» «Русское богатство» еще раз вернулось к этому рассказу. Рецензент писал, что бытовой колорит и отрицательные характеры, рожденные уродливыми условиями жизни, отражаются в произведениях Куприна особенно ярко: «С эпическим спокойствием изобразил он полную достоинства и самоуважения смрадную душу старого ябедника, заканчивающего свое «мирное житие» в писании доносов и зловредных анонимных писем» («Русское богатство», 1907, № 2, стр. 162).

Рассказ высоко оценил Л. Н. Толстой: «Не помню уже, как называется у него вещица: старичок идет в церковь, — какая это прелесть!» («Петербургская газета», 1907, № 202, 26 июля.)

Критика отмечала общие черты между героем рассказа и учителем Беликовым в рассказе Чехова «Человек в футляре».

Стр. 177. *...подобно древней Мессалине. — Мессалина* Валерия (I в. н. э.) — см. т. 1, стр. 583.

...к ефимонам звонют... — Ефимоны — вечерняя церковная служба в великий пост.

Стр. 181. *Лица дискантов... стали похожи на личики тех мурильевских херувимов, которые поют у ног мадонны, держа развернутые ноты.* — Имеются в виду картины знаменитого испанского живописца Мурильо Бартоломе Эстеван (1617—1682), его изображения мадонны, парящей среди облаков и окруженной херувимами.

...слова ирмоса. — Ирмос — название вступительного песнопения, раскрывающего содержание остальных песен церковного богослужения.

КОРЬ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1904, № 4.

Рассказ подвергался незначительной стилистической правке главным образом при подготовке текста для третьего тома рассказов в изд. «Мир божий», а также для четвертого тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс. Большая часть исправлений

сводится к сокращению лишних определений, к устранению многословия и чрезмерной детализации описаний.

Рассказ печатается по сборнику: А. И. Куприн, Суламифь, Париж, 1921.

«Корь» — одно из немногих произведений Куприна, рисующих быт и психологию крупной буржуазии. В. Воровский писал: «Буржуазное общество в его столкновении с трудящимися классами Куприн характеризовал только однажды в своем рассказе «Молох», отчасти еще в рассказе «Корь», хотя там буржуазная семья изображена скорее в своей внутренней жизни» (В. Воровский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, 1956, стр. 280).

Критика отмечала, что рассказ «интересен... нарисованным в нем типом современного националиста» («Киевские отклики», 1904, № 140, 22 мая).

В этом рассказе действительно проявилась зоркость Куприна-художника: еще накануне первой русской революции он заметил и запечатлел тип, получивший особенно широкое развитие и распространение после ее поражения в годы столыпинской реакции, — тип русского черносотенца, шовиниста и антисемита.

Стр. 188. *...в гостях у пациентов любил декламировать никитинского «Ямщика».* — Имеется в виду стихотворение И. С. Никитина «Выезд ямщика».

Стр. 189. *...и ты, Брутус?* — Слова, которые якобы произнес римский полководец и политический деятель Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.), когда он увидал среди напавших на него заговорщиков своего друга Марка Юлия Брута. Эта фраза стала нарицательной для характеристики неожиданной измены, предательства.

Стр. 192. *В вашем доме узнал я впервые*
Сладость чистой и нежной любви... — неточно цитируются слова Ленского из либретто М. И. Чайковского к опере «Евгений Онегин».

...все эти ренессансы, рококо и готики! — названия западноевропейских художественных стилей. *Ренессанс* (Возрождение) — эпоха художественного развития в ряде стран Центральной и Западной Европы (XV—XVI вв.); характеризуется высвобождением искусства из-под власти церкви и религиозного догматизма, обращением к великим достижениям античного искусства и т. д. *Рококо* — художественный стиль, получивший развитие главным образом в XVIII в. в архитектуре Франции, Германии, Австрии и других европейских стран; характеризуется сложным

сплетением резного и лепного орнамента, театральностью и манерностью образов, утонченной декоративностью. *Готика* — условное название художественного стиля, господствовавшего в архитектуре западноевропейских стран в эпоху средних веков. Ярче всего готический стиль сказался в архитектуре общественных зданий, в особенности больших соборов в крупнейших городах средневековой Европы.

ЖИДОВКА

Впервые — в журнале «Правда», 1904, № 9.

Написан рассказ весною 1904 года.

После первой публикации текст рассказа правился автором для последующих изданий. Наибольшее количество исправлений Куприн внес в текст при подготовке третьего тома рассказов в изд. «Мир божий».

Кроме стилистических уточнений, есть и смысловые, иногда существенные. Одно из них связано, например, с оценкой русско-японской войны. В журнальном тексте на вопрос Хацкеля о войне Кашинцев отвечает: «Стоим на одном месте». В третьем томе рассказов эта фраза изменена на более определенную: «Мы отступаем, нас бьют».

В 1911 году рассказ был переделан автором для юношества (Одесса, 1911). Переработка свелась главным образом к исключению из текста таких мест и выражений, которые слишком прямо связывали восхищение героя исключительной красотой женщины с желанием обладать ею. Опущено также двусмысленное предложение Хацкеля насчет «бывшей гувернантки» и фривольные намеки в речах пристава.

В последующих изданиях рассказ публиковался без этих купюр.

Готовя рассказ для первого тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, писатель учел все прежние исправления и внес новые.

В годы, когда реакция разжигала и культивировала шовинизм, в частности антисемитские погромные настроения, социально-политическое значение рассказа определялось звучавшей в нем нотой сочувствия к судьбе еврейского народа.

Стр. 224. *Вот тоже писали за сионистов.* — *Сионизм* — националистическое течение, возникшее в конце XIX в. среди еврейской буржуазии.

Стр. 226. *...и мрачная Юдифь, и кроткая Руфь; и нежная Лия, и прекрасная Рахиль, и Агарь, и Сарра* — женские образы библейских преданий.

...идет в своей умопомрачительной генеалогии к Моисею, подымается к Аврааму. — *Моисей* — в библейской мифологии пророк, которому приписывается освобождение древних евреев от преследований со стороны египетских фараонов. *Авраам* — по библейскому сказанию, родоначальник еврейского народа.

С УЛИЦЫ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1904, № 12.

После первой публикации рассказ подвергся мелкой стилистической правке при подготовке текста для ряда изданий. Последний раз Куприн его правил для сборника «Суламифь» (1921).

Куприн работал над рассказом в мае — июне 1904 года, живя в селе Большие Изори близ ст. Преображенская Варшавской железной дороги.

Критика отмечала, что рассказ «является у Куприна и по технике и по уверенности тона наиболее зрелым, обличающим в нем вполне сложившегося хорошего мастера. В нем особенно ярко сказалось необыкновенное уменье молодого писателя владеть диалогом, передавать простонародный и вообще жаргонный язык с его типичными особенностями» («Вестник литературы», 1905, № 8, стр. 167).

Стр. 257. *...да и тексты-то подбирал не такие, что «рука дающего не оскудеет», или «просите и дастся вам», а, например, из «Премудростей сына Сирахова», из пророка Варуха...* — Речь идет об известных текстах из евангелия и о двух книгах из Ветхого завета: «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова» и «Книга пророка Варуха».

Стр. 259. *Гармидер* — крик, шум.

Стр. 261. *Вот где я узнал настоящие «Тайны мадридского двора».* — Выражение, употребляемое в связи с сенсационным разоблачением какой-нибудь тайны. Возникло после опубликования русского перевода романа немецкого писателя Г. Борна «Тайны мадридского двора» (1870).

ЧЕРНЫЙ ТУМАН

Впервые — в иллюстрированном еженедельном журнале «Родная нива», 1905, январь, №№ 3 и 4.

После первой публикации рассказ правился Куприным дважды: для четвертого тома собрания сочинений «Московского книгоиздательства» и для шестого тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Стр. 273. *Прямо капище Ваала и жрецов его.* — *Капище* — языческий храм, в переносном значении употребляется как место служения чему-нибудь. *Ваал* — название божества у древних семитов. Служители его культа славились как стяжатели. В переносном смысле выражение «служить Ваалу» означает гнаться за наживой.

ХОРОШЕЕ ОБЩЕСТВО

Впервые — в журнале «Новый мир», 1905, №№ 8, 9, 10, апрель — май. Рассказ больше не перепечатывался.

Редакция журнала представила Куприна своим читателям как писателя передового направления: «Имя автора настоящего рассказа хорошо известно всей читающей русской публике. Оно стоит рядом с именами Максима Горького, Леонида Андреева, Скитальца, Юшкевича и неразрывно связано с тою плеядою молодых беллетристов, которые составляют теперь гордость русской литературы. Новый рассказ Куприна, по новизне сюжета, по яркой обрисовке типов и по внутреннему интересу, должен занять очень видное место в числе других рассказов этого талантливого писателя» («Новый мир», 1905, № 8, стр. 83).

Стр. 284. *Сарра Бернар* (1844—1923) — французская актриса.

ПОЕДИНОК

Впервые — в сборнике т-ва «Знание», 1905, кн. 6, с посвящением: «Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и глубокого уважения эту повесть посвящает автор».

Уже в следующем издании «Поединка», тоже вышедшем в издательстве «Знание» (1906), вероятно по цензурным соображениям, посвящение Горькому было снято (Горький был уже в это

время в политической эмиграции и приказ об его аресте оставался в силе). Однако ни в одном из последующих изданий романа (даже после возвращения Горького в Россию) посвящение не было восстановлено.

Пересматривая в 1912 году текст «Поединка» для Полного собрания сочинений, Куприн не ограничился стилистической правкой, но исключил из монолога Назанского резкие фразы о паразитизме царского офицерства и о позоре, которое ожидает его в будущем: «И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, *когда нас, господ штаб- и обер-офицеров, будут бить по щекам в переулках, в темных коридорах, в ватерклозетах, когда нас* станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться *наши преданные* солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного, *и не за то также, что мы, начальственные дармоеды, покрывали во всех странах и на всех полях сражений позором русское оружие, а наши же солдаты выгоняли нас из кукурузы штыками*». (Подчеркнуто исключенное. — *А. Т.)*

Повесть в значительной мере автобиографична. На вопрос корреспондента «Петербургской газеты»: «Почему вы так хорошо знаете военный быт, описанный вами в «Поединке»?» — Куприн ответил: «Как же мне не знать?.. Я сам прошел эту «школу», был армейским офицером, батальонным адъютантом» («Петербургская газета», 1905, № 203, 4 августа).

О герое «Поединка» юном офицере Ромашове Куприн говорил: «Он мой двойник». «Куприн в слабого Ромашова вложил свои чувства», — говорил Л. Н. Толстой (Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки, «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1955, т. II, стр. 192).

Знание офицерской среды отмечалось критикой сразу после выхода «Поединка»: «Офицерский быт Куприну знаком близко, до интимности, до мелочей... Без всякого сомнения, это близкое, короткое знакомство с изображенной жизнью наложило и печать чего-то домашнего на весь рассказ, на его эпитеты, на его диалоги, на отношение автора к героям, к быту, нравам и фактам, и окрасило всю повесть ярким и густым цветом реализма» («Русская мысль», 1905, № 11, стр. 65).

Первые главы «Поединка» писались в апреле — июне 1902 года.

Летом 1903 года в сборнике «Помощь» появился рассказ «В казарме», впоследствии положенный в основу XI главы «Поединка». Рассказ высоко оценил Л. Толстой: «Вы знаете «В казармах»? Как он прекрасно взял солдата! Его «Поединок» слабее, потому что растянут. А это превосходно» (А. Измайлов, У Льва Толстого, «Биржевые ведомости», 1907, № 9979, 4 июля).

Дальнейшая работа над повестью связана с личным влиянием, советами и одобрением А. М. Горького. «Зимой 1904 года, отправляясь к Горькому читать первые главы «Поединка», Куприн говорил: «Если Алексей Максимович найдет начало неудачным, я разорву рукопись и брошу ее на улице в мусорный ящик...» От Горького он вернулся бодрый и сияющий» (М. Куприна-Иорданская, Из воспоминаний о Куприне, «Огонек», 1948, № 38, стр. 20).

В первые месяцы 1905 года Куприн работал над завершением «Поединка» особенно напряженно, чтобы успеть в шестой сборник «Знания».

Сам Куприн впоследствии вспоминал: «Помню, я много раз бросал «Поединок», мне казалось недостаточно ярко сделано, но Горький, прочитав написанные главы, пришел в восторг и даже прослезился. Если бы он не вдохнул в меня уверенность в работе, я романа, пожалуй, своего так бы и не закончил» («Литературная газета», 1937, № 32, 15 июня). И в другом месте: «Поединок» не появился бы в печати, если бы не влияние Алексея Максимовича. В период моего неверия в свои творческие силы он оказал мне большую помощь» («Коммунист» (Саратов), 1937, 18 июня).

Особенно трудно шла работа над последней главой, которая писалась в большой спешке. М. Куприна-Иорданская вспоминает: «Так как сцена дуэли Куприну не давалась, а издательство не могло ждать с печатанием сборника, то Куприн и оборвал «Поединок» протоколом о смерти Ромашова... «Боюсь, — сказал он, — что последняя глава у меня не вышла. Не нравится она мне». Глава действительно не совсем удалась. Я сказала ему об этом. И Куприн решил закончить «Поединок» протоколом о дуэли...» («Огонек», 1945, № 36, стр. 8).

Закончив «Поединок», Куприн писал Горькому: «Завтра выходит VI сборник «Знания»... Теперь, наконец, когда уже все окончено, — я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это» (Архив А. М. Горького).

Концом «Поединка» автор оставался недоволен и после его опубликования. На вопрос корреспондента: «Вы сами вполне довольны вашим произведением?» — Куприн отвечал: «Нет! Последние главы скомканы. Пришлось торопиться к выходу очередной книжки «Знания» и наскоро диктовать.

Я хотел, например, дать целую картину дуэли между Ромашовым и Николаевым, а вынужден был ограничиться только одним протоколом секундантов» («Петербургская газета», 1905, № 203, 4 августа). Писатель долго не оставлял мысли заново написать эту главу. По крайней мере в конце 1907 или начале 1908 годов он в письме к И. Бунину предлагал Московскому издательству писателей «ненаписанную главу из «Поединка», именно, как Ромашов едет на дуэль, его мысли и чувства, и как он в последний момент, после команды «готовсь», безошибочно понимает, что Николаев, догадавшийся, куда ходила вчера и что делала Шурочка, убьет его» (цит. по кн. П. Н. Берков, А. И. Куприн, изд. АН СССР, 1956, стр. 137).

Куприн опасался, что «Поединок» будет искалечен цензурой. В этом основная причина, почему он торопился с окончанием работы над произведением, и главный мотив его отказа от первоначального намерения отдать повесть журналу «Мир божий». «О перемене моего решения относительно «Поединка» я только потому не уведомил Вас, что был вполне уверен, что это сделает Мария Карловна. Действительно, я отдаю повесть в другое место. Делаю это по многим причинам: 1) потому что в журнале (каком бы то ни было) у меня цензура съела бы три четверти произведения, и притом из лучших мест...» — писал он редактору журнала «Мир божий» Ф. Д. Батюшкову 25 августа 1904 года (ИРЛИ).

К. Пятницкий надеялся обойти цензуру и торопил с окончанием повести. «Александр Иванович не успел закончить романа к сроку — к пасхе. Между тем коммерческий директор издательства «Знание» Пятницкий поставил ему жесткий срок: во что бы то ни стало закончить роман к пасхе. Это требование диктовалось цензурными условиями того времени. Каждая книжка должна была находиться в цензуре от недели до десяти дней. После этого срока, если цензура не выкидывала из книги отдельных фраз, не вырезала страниц или целиком не запрещала ее, канцелярия главного управления по делам печати выдавала типографии разрешение на выпуск книги.

Пятницкий был уверен, что цензура не пропустит «Поединка», поэтому он решил представить книжку в цензуру в субботу на

страстной неделе, чтобы, пролежав там пасхальные каникулы, она проскочила комитет, не попадая на глаза цензорам. В четверг на страстной вся книга без последней главы была отпечатана» (М. Куприна-Иорданская, Из воспоминаний о А. И. Куприне, «Огонек», 1945, № 36, стр. 8).

Видимо, эта хитрость удалась, потому что 5 мая шестой сборник «Знание» вышел в свет без каких-либо столкновений с цензурным ведомством. Несколько месяцев спустя после опубликования «Поединка» Куприн заявил: «Если бы не цензурные условия, я бы и не так еще «хватил» («Петербургская газета», 1905, № 203, 4 августа); и тогда же (10 августа 1905 года) в письме к Пятницкому высказал опасение, что отдельное издание повести окажется невозможным из-за цензурных препятствий.

«Поединок» вышел в свет в обстановке нарастания первой русской революции и стал крупным литературно-общественным событием, вызвавшим широкий отклик в печати. Прежде всего обратило на себя внимание критики, как передовой, так и реакционной, разоблачение царской военщины, направленное против милитаризма. Повесть вышла непосредственно после тяжелых и позорных поражений царизма в войне с Японией, в связи с которыми В. И. Ленин писал: «Бюрократия гражданская и военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 35).

Рисуя внутреннюю жизнь армейской среды, облик офицеров и солдат в условиях мирного времени, Куприн наглядно показывал, почему русская армия оказалась несостоятельной в условиях войны.

12 мая 1905 года в газете «Слово» появилась первая статья о «Поединке». Она называлась «Чудовище милитаризма». «Давно уже не выходило на русском языке романа, который сразу завладел бы читателем с такой силой, как роман Куприна «Поединок», посвященный изображению армейской жизни во всей ее ужасной и трагической неприглядности», — писал М. Чуносов (И. И. Ясинский). Герои «Поединка», указывал рецензент, являются живым укором «современному порядку вещей». «Дело, разумеется, когда мы говорим о «порядке вещей», не в конституции

и даже не в республике, а в той бюрократической мертвечине, которая сильнее всяких политических новшеств, и в той роковой ржавчине, которая... разъедает машину милитаризма и медленно и незаметно подготовляет его к крушению и к банкротству» (т а м ж е).

О разоблачении милитаризма и военной бюрократии в повести писал и критик А. Измайлов: «Это — трезвое, беспристрастное и осведомленное слово о быте сословия, до сих пор, по особым обстоятельствам, всего менее подлежавшего всестороннему и откровенному освещению, — о быте русского офицерства, с его условными повышенными понятиями о чести, своеобразною кастовою замкнутостью, мировоззрением и увлечениями...

Прекрасное знание быта (Куприн сам — бывший офицер) дает возможность автору... предложить целый ряд ярких и сильных своей правдою картин. Сцены солдатских учений, загула офицерства, подготовлений к походу и самого похода — полны жизни и дают красноречивые показания для характеристики «гидры милитаризма», — писал он в журнале «Родная нива» (1905, № 32, стр. 279—280).

В. Львов (Рогачевский) в статье «Жрецы и жертвы» утверждал, что в «Поединке» «художник дал потрясающую картину солдатчины, он собрал богатейший материал для обвинительного акта, он сказал офицерам, мечтающим о возрождении милитаризма: «Оставьте всякую надежду навсегда», сказал сильно, убежденно и с фактами в руках» («Образование», 1905, № 7, стр. 101).

Критику армейских порядков связывали с разоблачением всей бюрократической государственной машины в своих статьях также А. Скабичевский (Каста воинов, «Новости и биржевая газета», 1905, № 150, 16 июня), А. Богданович (На войне и дома, «Наша жизнь» 1905, № 186, 30 июля), Ф. Батюшков (Обреченные, «Мир божий», 1905, № 8) и другие.

«Поединок» сравнивали с книгою Ф. Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» («Aus einer kleinen Garnison», вышла в Германии в 1902 году, в русском переводе в 1904), которая имела шумный успех именно как сенсационное обличение прусской военщины. Сам Куприн с огорчением говорил по этому поводу: «Мое несчастие заключается в том, что когда я что-нибудь задумаю и пока соберусь задуманное написать, — в этот промежуток кто-либо обязательно уже это напишет! Так было с «Ямой», — появилась «Ольга Ерузалем», так было и с «Поединком» ...когда появились записки Бильзе «В маленьком гарнизоне». Даже мой «Поединок»

переводили на французский язык так: «La petite garnison russe». Подумайте, какой ужас!» («Русское слово», 1910, № 60, 14 марта).

Большая часть критики подчеркивала превосходство «Поединка» над книгой Бильзе. «Так нашумевший недавно роман прусского лейтенанта Бильзе «В маленьком гарнизоне»... положительно бледнеет перед повестью Куприна», — писал рецензент «Всемирного вестника» (1905, № 7, стр. 122). Эту же мысль обосновывал и другой критик — Н. Арский: «Поединок» Куприна, — писал он, — сравнивают с «Историей маленького гарнизона» лейтенанта Бильзе, но разница между этими двумя вещами значительная. Бильзе... дал картину военного быта местного характера, в которой все упущения, все безобразия, все черты деморализации, косности и варварства должны быть отнесены за счет известных условий местности, а не самого духа милитаризма, обусловливающего тот или иной склад военного быта. В глубоко поучительной книге Куприна раскрывается внутренняя психологическая мотивировка всех этих странных и страшных вещей» («Новости дня», 1905, № 7884, 17 мая).

Критикой революционного лагеря обличение армейских порядков рассматривалось с точки зрения того идейного влияния, которое повесть способна оказать на лучших людей из военной среды, в частности из офицерства. Это было особенно важно на подъеме революции 1905 года, когда армия еще оставалась оплотом реакции и от успеха ее революционного разложения в значительной мере зависел исход событий. Горький в связи с выходом «Поединка» говорил корреспонденту «Биржевых ведомостей»: «Великолепная повесть! Я полагаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неотразимое впечатление. Целью А. Куприна было — приблизить их к людям, показать, что они одиноки от них... В самом деле, изолированность наших офицеров — трагическая для них изолированность. Куприн оказал офицерству большую услугу. Он помог им до известной степени познать самих себя, свое положение в жизни, всю его ненормальность и трагизм!» (Вас. Регинин, Из беседы с Максимом Горьким, «Биржевые ведомости», 1905, № 8888, 22 июня).

Луначарский писал: «Не могу также не обратить внимания читателя на прекрасные страницы Куприна — настоящее обращение к армии. Хочется думать, что не один офицер, прочтя эти красноречивые страницы... услышит в себе голос настоящей чести» (А. Луначарский, Жизнь и литература, Журн. «Правда», 1905, № 9—10, стр. 174).

18 июня 1905 года газета «Петербургский листок» сообщала: «Группой петербургских офицеров послан сочувственный адрес писателю А. Куприну за мысли, высказанные в повести «Поединок»... В адресе, между прочим, сказано: «Язвы, поражающие современную офицерскую среду, нуждаются не в паллиативном, а в радикальном лечении, которое станет возможным лишь при полном оздоровлении всей русской жизни».

Известно также, что в октябре 1905 года, когда Куприн на студенческом вечере в Севастополе читал отрывки из повести, с ним познакомился лейтенант Шмидт, пришедший выразить свое восхищение «Поединком» (Э. Ротштейн, Материалы к биографии А. И. Куприна. А. И. Куприн. Забытые и несобранные произведения. Пензенское областное издательство, 1950, стр. 291). Это было незадолго до восстания на крейсере «Очаков».

Сильную сторону реализма Куприна составляют в «Поединке» его критический пафос, глубина и точность гуманистической критики действительности. Как только Куприн начинает развивать свой положительный идеал, обнаруживается ограниченность его идейно-эстетической позиции. В. Воровский указывал на это противоречие в его творчестве: с одной стороны — талантливая художественная критика «современной порочной и уродливой жизни» и «сочувствие борьбе угнетенных классов за освобождение от гнета», с другой — полное непонимание законов общественной жизни, отрицание роли масс в историческом движении общества, народнические иллюзии о том, что исторический прогресс двигают «героические личности». Поэтому в «Поединке» положительная программа сбивчива и непоследовательна.

Единственным спасением от нравственной гибели, единственным практическим выходом для его героев оказывается бегство от всяких общественных связей и обязательств. Эти противоречия резче всего выражены в монологах Назанского.

Пафос общественного обличения в них настолько силен, что в разгар революции именно эти монологи Куприн читал во время публичных выступлений, вызывая горячее сочувствие революционно настроенной аудитории и злобное негодование реакционеров. Так, во время второго чтения в Севастополе (в декабре 1905 года) на благотворительном вечере в пользу революционных организаций произошел следующий инцидент. По свидетельству В. Боцяновского, «чтение Куприна произвело впечатление исклю-

чительное. В то время как одна часть публики бурно аплодировала и устроила овацию автору, другая часть, которую составляли «господа офицеры», громко негодуя, покинула зал. Ответственный устроитель вечера, отставной генерал Н. Лескевич, не мог скрыть своего возмущения. «Вы, — обратился он сердито к Куприну, — подвели меня, милостивый государь! Вы оскорбили все офицерство, вы черт знает что читали!» Выслушав негодующую речь генерала, Куприн спокойно ему ответил:

— Если господа офицеры чувствуют себя оскорбленными, я готов дать им удовлетворение. Мой адрес: Балаклава, гостиница «Гранд-Отель».

— Драться?! Я сам буду с вами драться, — петушился генерал» («Резец», 1939, № 15—16, стр. 25.)

Резче и определеннее всех характеризовал общественный смысл декларации Назанского А. Луначарский: «Вся внешне красивая, мнимоницшеанская теория Назанского есть типичнейшее мещанство. Мы уверены, однако, что Назанских много, и есть и Ромашовы, с разинутым ртом их слушающие.

Но если премудрость мудрейшего из офицеров плоха, то повесть г. Куприна все же очень хороша...» (А. Луначарский, Жизнь и литература, Журн. «Правда», 1905, № 9—10, стр. 174).

«Назанский — индивидуалист-мещанин... сквозь пламенную любовь к жизни все время звучит какая-то трусливая судорога. Тюрьма физическая, допустим, лучше смерти, но чувство порабощения? унижения? Ведь сама жизнь, сама личность отравляется изнутри, когда уже не может себя уважать. Но как может уважать себя человек, для которого жизнь выше всего и которого, следовательно, всегда можно купить жизнью? И в дальнейшем Назанский упирается в весьма некрасивые, весьма мещанские мысли, хотя внешне прикрытые мнимокрасивой, мнимогордой индивидуалистической фразеологией» (там же, стр. 169—170).

Критика отмечала, что и в художественном отношении Назанский слабее других образов повести.

Сам писатель чувствовал, что этот образ ему не вполне удался. Не случайно еще в 1904 году он бросал работу и даже порвал рукопись потому, что первый монолог Назанского ему не удавался. А в 1908 году Куприн говорил корреспонденту В. Регинину: «Некоторые мои любимые мысли в устах героев романа звучат как граммофон (эта ошибка была сделана мной, например, с Назанским в «Поединке»), и я стремлюсь истребить это»

(Вас. Регинин, Куприн, «Биржевые ведомости», 1908, № 10557, 17 июня).

О том, как прозвучал «Поединок» в момент своего появления, свидетельствует не только сочувствие демократической общественности, но и злобные нападки реакционной печати. С наибольшим ожесточением нападали на него как раз те, кого Куприн так беспощадно поставил перед лицом общественного осуждения, — реакционная военщина и ее защитники в черносотенной прессе. В «Русском инвалиде» выступил генерал-лейтенант П. Гейсман (профессор Академии генерального штаба) со статьей «Поединок» Куприна и современные фарисеи с точки зрения критики», изданной затем в июле 1905 года отдельным оттиском.

Преувеличение и тенденциозность, стремление возвести частный случай в типичное явление и «злобу против всего военного» находили в «Поединке» и Бассаргин (черносотенец А. И. Введенский), назвавший свою статью «Литературная вылазка против военных» («Московские ведомости», 1905, № 137, 21 мая), и Стародум (Н. Стечкин), выступивший в «Русском вестнике» (1905, № 6), и авторы специальных брошюр В. Федоров («По поводу «Поединка» Куприна», 1907), Дрозд-Бонячевский («Поединок» Куприна с точки зрения строевого офицера», СПб., 1910) и другие.

Все «критики» этого сорта от обвинений в клевете переходили к политическому доносу о связи автора с «крамольной» литературой, подрывающей устои общества. В разгар революции 1905 года они еще ограничивались намеками на то, что «Куприн является лишь слепым орудием в руках своих вдохновителей» (Гейсман), толкающих его на путь дискредитации существующих учреждений; при этом неизменно упоминали посвящение Горькому: «Господин Куприн посвятил свой роман Горькому и смело идет по стопам своего друга и учителя» (Гейсман).

В годы столыпинской реакции доносительская тенденция таких выступлений становилась все откровеннее.

Несколько иначе подошла к «Поединку» буржуазно-эстетская критика. Она сходится с критиками из военного ведомства в осуждении общественной тенденции повести и ее связи с реалистическим направлением; она тоже отдает предпочтение любовно-психологическим сценам перед картинами армейской жизни, но аргументирует свои суждения совершенно иначе, апеллируя к требованиям «чистой художественности». С этой стороны и дискре-

дитируется повесть рецензентами журналов «Искусство», «Вопросы жизни», «Весы».

Литературно-критическая борьба вокруг «Поединка», однако, не мешала, а скорее способствовала его успеху у читателей. Именно это произведение сделало Куприна всероссийски известным писателем: шестой сборник «Знания» был отпечатан в 20 000 экземпляров, и через месяц понадобилось новое издание этого тома. Затем «Поединок» неоднократно переиздавался и был переведен на немецкий, французский, итальянский, испанский, шведский, болгарский, польский и другие языки.

Шумный успех повести толкал Куприна к продолжению работы в большом повествовательном жанре. Как продолжение «Поединка» был задуман роман «Нищие» — история скитаний молодого офицера по Руси после его выхода в отставку. «Сейчас пишу большой роман «Нищие», который мучит меня уже четыре года. Весь план у меня настолько готов, так живы все лица и события, что я мог бы закончить его в месяц», — говорил Куприн (Вас. Регинин, Куприн, «Биржевые ведомости», 1908, № 10557, 17 июня).

М. Куприна-Иорданская вспоминает: «Роман «Нищие» был задуман Куприным как продолжение «Поединка»... Весь план романа «Нищие» был известен Горькому...

Замысел так и не был осуществлен писателем.

Стр. 305. *...сказал генерал Дохтуров.* — *Дохтуро*в Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — герой Отечественной войны 1812 г.

Стр. 306. *Драгомиров сделал рупор...* — *Драгомиров* Михаил Иванович (1830—1905) — в годы службы Куприна в армии был командующим войсками Киевского военного округа, в подчинении которого находился 46-й Днепровский полк, где служил Куприн.

Стр. 313. *...Поль де Коков читаете?...* — *Кок* Шарль Поль де (1794—1871) — французский писатель, имя которого стало нарицательным для характеристики развлекательной литературы.

Стр. 320. *Капонир* — крытая траншея для прохода перед укреплениями.

Стр. 331. *Центавр.* — Кентавры, в греческой мифологии дикое племя; существа с конским туловищем и человеческой головой.

Стр. 336. *...сейчас же после разрешения поединков.* — Поединки были запрещены в России со времен Петра I (в 1701 г., затем в 1715 г. уложением Шереметьева — «Патент о поединках и начинании ссор»). В 1832 г. запрещение было подтверждено

первым судебным Сводом законов; с 1845 г. статьи о дуэлях в «Уложении о наказаниях» были отнесены в главу преступлений против жизни, но наказание за убийство снижено.

13 мая 1894 г. приказом по военному ведомству были введены «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде», согласно которым дуэль не только разрешалась, но объявлялась обязательной для офицеров, если суд общества офицеров считал ее необходимой. Отказ от дуэли влек за собой увольнение со службы. В 1912 г. эти «Правила» были подтверждены законом.

Стр. 346. *...возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты.* — *Каноны* — установления о вере и церковных обрядах. *Акафисты* — церковные хвалебные песни и молитвы.

Стр. 356. *Владеть кинжалом я умею,*
Я близ Кавказа рождена —
неточно цитируются слова Заремы из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Стр. 358. *...с усердием читали «Инвалид».* — *«Русский инвалид»* — военная газета реакционного направления, издавалась в Петербурге с 1813 по 1917 г.

Стр. 359. *...о войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года.* — *Карлисты* — реакционное политическое течение в Испании, опиравшееся на духовенство и верхушку армии. Группировалось вокруг претендента на престол Дон Карлоса (1788—1855) и его потомков. Стремясь восстановить в Испании абсолютную монархию, карлисты дважды развязывали гражданскую войну — в 1833 и в 1872 гг.

Франко-прусская война (1870—1871) привела к падению Второй империи во Франции и к объединению всех германских государств (кроме Австрии) под гегемонией Пруссии.

Стр. 376. *...подпоручик Ромашов — наш, пензенский!.. Из Наровчата!.. Земляк!..* — Куприн сам родился в Наровчате Пензенской губернии. Весь эпизод разговора с командиром полка и обеда у него, по свидетельству Ф. Батюшкова, автобиографичен.

Стр. 380. *...сочиняемая Ромашовым повесть, под заглавием: «Последний роковой дебют».* — Будучи в Александровском училище, Куприн написал и напечатал свой первый рассказ «Последний дебют» (см. т. 2, Приложения).

Стр. 383. *...раскаты увертюры из «Жизни за царя»...* — опера Глинки М. И. (1804—1857) «Иван Сусанин», переименованная по требованию Николая I в «Жизнь за царя».

Стр. 392. *...и стратега Мольтке? — Мольтке* Хельмут Карл Бернгард (1800—1891) — прусский фельдмаршал, с 1857 по 1888 г. начальник германского генерального штаба.

Стр. 393. *Мартын Задека* — имя, под которым в России издавались с 1770 по 1914 г. гадательные книги, сонники, сборники предсказаний, фокусов и т. п.

Стр. 401. *Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного* — см. т. 1, стр. 575.

Стр. 410. *Люнет* — полевое или долговременное укрепление, открытое с тыла.

Барбет — насыпная площадка для установки артиллерийского оружия.

Солдат один отвечал «Верую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем Пилате»... — «Верую» — молитва, кратко излагающая основные положения христианской веры. *Понтий Пилат* — наместник Иудеи в 26—36 гг. н. э. — по евангельскому преданию, утвердил решение жрецов о казни Иисуса Христа.

Стр. 412. *...а у нас были и Севастополь, и итальянский поход...* — Имеется в виду героическая оборона Севастополя русскими войсками в Крымской войне 1853—1856 гг. и так называемый итальянский поход Суворова в 1799 г., когда русско-австрийские войска под командованием Суворова разгромили превосходящие силы французских войск.

Стр. 419. *Североамериканская война* — освободительная война английских колоний в Северной Америке против Англии за свою независимость, окончившаяся поражением Англии.

...или... вот освобождение Италии... — Имеется в виду борьба итальянского народа против австрийского владычества, в которой решающую роль играл корпус добровольцев под командованием одного из крупнейших вождей итальянской революционной демократии Джузеппе Гарибальди (1807—1882).

...а при Наполеоне — гверильясы... — Герильясы — партизанские отряды в Испании, героически боровшиеся с вторгшимися в 1808 г. войсками Наполеона.

...и еще шуаны во время революции... — Контрреволюционные отряды в департаменте Франции Вандее, поднявшие в 1793 г. восстание против республиканского правительства Франции.

Стр. 424. *...за глаза звали полковником Бремом. — Брем* Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, автор широко популярного труда «Жизнь животных».

Стр. 454. *Для расейского солдата...* — песня, много раз печатавшаяся в различных сборниках военных и солдатских песен (примерно с 80-х годов XIX в.). Данный текст — из «Сборника избранных песен для солдатского хорового пения», собрал и с голоса на ноты положил П. Егоров, изд. 3-е, СПб., 1903.

Стр. 460. *...с красными вензелями вальтрап.* — *Вальтрап* — покрышка на седло, или потник.

...костяные колечки мартингала. — *Мартингал* — часть конской упряжи, удерживающая голову лошади в положении, необходимом для правильного действия поводьев.

Стр. 495. *Люблю в тебе я прошлое страданье и юность улетевшую мою* — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю».

Стр. 509. *Быстры, как волны,*
Дни нашей жизни... —
Автор песни А. П. Сребрянский (1810—1838).

Стр. 510. *...аккорды панихиды Иоанна Дамаскина.* — *Иоанн Дамаскин* (конец VII в. — ок. 754 г.) — византийский богослов и философ, родом из Дамаска, автор надгробного гимна, который поется в православной церкви при погребении умерших.

СНЫ

Впервые — в газете «Одесские новости», 1905, № 6814, 25 декабря.

Перепечатывался в собраниях сочинений без каких-либо изменений.

Рассказ написан в конце 1905 года, когда Куприн жил в Крыму, в Балаклаве. Является своеобразным откликом писателя на тяжелые впечатления, связанные с кровавым подавлением революционного движения.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Иванович Куприн
Собр. соч., т. 3

Редактор *М. Сергиевская*
Худож. редактор *И. Жихарев*
Техн. редактор *М. Позднякова*
Корректоры *В. Брагина* и *Л. Коншина*

Подписано к печати с матриц 15/I 1958 г. Бумага 84 × 108 1/32 — 18,25 печ. л. = 29,9 усл. печ. л. 28,25 уч.-изд. л. Тираж 550 000 (150 001—550 000) экз. Заказ 1242.
Цена 12 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

